4.1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

На цветных иллюстрациях номера

работы монгольского художника

Нямосорына Цултэма

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1977

4 АПРЕЛЬ

Содержание

Из польской поэзии

ТАДЕУШ НОВАК. ЕЖИ ХАРАСЫМОВИЧ *(Вступление и перевод Натальи Астафьевой)* 3

ПЕНТТИ ХААНПЯЯ — Рассказы *(Перевод с финского и предисловие Ю. Александрова)* 15

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ — День нетерпения *(Роман. Продолжение. Перевод с болгарского Лидии Баша)* 32

МЕДЖА МВАНГИ — Неприкаянные *(Повесть. Окончание. Перевод с английского К. Чугунова)* 100

ХОРХЕ КАРРЕРА АНДРАДЕ — Стихи *(Переводы с испанского Сергея Гончаренко, О. Савича, Бориса Слуцкого. Вступление Сергея Гончаренко)* 137

Литературное наследие

ГЕРМАН ГЕССЕ — Степной Волк *(Перевод с немецкого С. Апта)* 145

Критика

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС — Движение вширь и вглубь. О прозе ГДР семидесятых годов *(Перевод с немецкого Н. Литвинец)* 195

Заметки писателя

ЮРИЙ НАГИБИН — Голландия Боба ден Ойла 203

Культура и современность

Заметки на полях

Р. Филипчикова — Оглядываясь на пройденный путь. Аполлон Давидсон — «Дьявольский ящик» в Трансваале 214

Наши гости

В. Агриколянский — Леслав Бартельский. Ежи Плесняревич (Польша) 221

Публицистика

ТАМАРА ХОВИ — Джон Рид — свидетель революции *(Фрагменты книги. Перевод с английского Г. Ерофеевой. Вступление Саввы Дангулова)* 223

Антирубрика

ЖАК ПРЕВЕР — Стихи *(Перевод с французского Натальи Стрижевской)* 252

КЛАРИСС РАЦИФАНДРИХАМАНАНА — Кто я? *(Рассказ. Перевод с малагасийского Людмилы Карташевой)* 256

Среди книг

Издано в СССР

Валериан Гончаров — Альфредо Варела — поэт и гражданин ✦ И. Васильева — В поисках истоков ✦ Вадим Сикорский — «Огня следы...» ✦ Юрий Хазанов — Многоликий брат мой.. ✦ А. Иванова — В Финша пришла новая жизнь 259

Издано за рубежом

Алекс Ла Гума — В ожидании нового романа ✦ Е. Книпович — Легенда и современность ✦ Пьер Гамарра — О женщинах Алжира ✦ Карло Бенедетти — Об одной литературной сенсации 264

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 285

На обложке: НЯМОСОРЫН ЦУЛТЭМ «Река Чулуут»

© «Иностранная литература», 1977.

Из польской поэзии

■

Вступление и перевод НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Тадеуш Новак (род. в 1930 г.) и Ежи Харасымович (род. в 1933 г.) в польскую поэзию вошли почти одновременно. В 1953 г., когда появился первый тоненький сборник стихов Т. Новака со скромным названием «Учусь говорить», в журналах и газетах начали изредка мелькать отдельные стихи Е. Харасымовича, первая книга которого «Чудеса» была издана три года спустя.

Оба молодых поэта поселились в Кракове, где живут и поныне. Оба они много пишут о горах и предгорьях польских Карпат: если Т. Новак особенно охотно рисует пейзажи берегов Дунайца, то любимая река Харасымовича — По́прад, приток Дунайца. Это естественно. Ведь Т. Новак родился и прожил первые пятнадцать лет жизни в деревне над Дунайцем, а Е. Харасымович окончил лесное училище (получив специальность землемера) в маленьком городке Лиманова, близ впадения Попрада в Дунаец.

Поэтика Т. Новака и Е. Харасымовича во многом восходит к устному народному творчеству, особенно к образам волшебных сказок. В стихах обоих, как в волшебной сказке, реальность переплетается с фантастикой, оба мыслят метафорами. Оба давней и постоянной любовью любят Есенина. (Есенин по-польски издавался не однажды, последнее издание двуязычное: слева — русский оригинал, справа — перевод Т. Новака. Книга разошлась мгновенно.) Можно добавить еще, что оба они, будучи поэтами глубоко польскими, пристально вглядываются в жизнь, быт, фольклор, историю и культуру других славянских народов. Харасымович особенно зачарован Украиной, откуда происходят его предки, и Словакией, откуда течет его любимый Попрад и куда сам поэт часто в последние годы ездит. Внимание Т. Новака привлекают Украина, Россия, Киевская Русь. В стихотворении «Вступление», которым Т. Новак открывает свой последний и лучший сборник избранных стихов («Белее, чем снег», 1975), краковский критик Е. Квятковский разглядел близость к образному строю древнерусского «Слова о полку Игореве». Пожалуй, он прав:

> Горьки эти холмы, где по острым каменьям
> ночь несется за днем, будто волк за оленем,
> не настигнет, и встретиться им не придется,
> волк оленем и волком олень обернется...

Но при всей близости Т. Новака и Е. Харасымовича друг к другу или к кому-то третьему, будь то наш Есенин или польский поэт Лесьмян, столь же разительны черты оригинальности и неповторимости каждого из двух краковских поэтов. Даже причадлежность их к одному поколению довольно условна: три года разницы в данном случае — не пустяк. Войну, оккупацию Е. Харасымович пережил ребенком, Т. Новак — подростком, причем не только его отец и дядя были в партизанах, но и сам он тайком передавал на волю записочки заключенных, прячась, проносил оружие «лесным людям». Вот почему война, почти отсутствующая в светлом и праздничном творчестве Е. Харасымовича, стала постоянной темой прозы Т. Новака, а в его поэзии война присутствует и как тема («Деревянные лошадки»), и как источник образов и сравнений («Заминированный псалом»). Порой она ощущается подспудно в самой суровости и мрачноватости колорита, возвращается неким рефреном, неотвратимым, как ритм жиз-

ни природы: даже в «Майский псалом», где май изображен языческим богом весны, возрождения и любви, вторгается память войны:

...и каждый год мать вспоминает мертвых
и жаворонков им несет высоких
хоть вечной раною зияет двор.

В стихотворении «Заминированный псалом» мы видим, что война оставила «комки железа» не только в глине польских полей, но и в памяти поляков: сны людей, переживших войну, «минированы», люди кричат во сне, и этот крик «пахнет железом».

«Пораненный псалом», «Заминированный псалом», «Псалом о собачьей радости», «Псалом о чесноке и хлебе». Уже из этих названий видно, что речь идет, разумеется, не о религиозной поэзии, а об особом жанре лирики. Об этом говорил Т. Новак на встрече в редакции журнала «Иностранная литература» в ноябре 1976 года. А вот что он писал в автобиографии об особенностях своего пути в литературу: «Долго, до пятнадцатилетнего возраста, не знал я, что существует нечто, называемое стихотворением... Ведь не мог же я знать, ибо никто в нашей деревне не знал, что псалмы, которые поют в костеле, пел когда-то царь Давид, а нам перевел их королевский придворный Ян Кохановский [1]. Не догадывался я также, что колядные песни, которые я пел, переодетый рождественским пастушком, ангелом, чертом или туронем, написал когда-то польский дворянин Францишек Карпиньский [2]». Т. Новак рассказывает, что образы псалмов были для него столь же сказочными, как образы народных сказок и легенд, что поэзия колядных песен, песен свадебных и песен разбойничьих была для него чем-то единым. Отсюда и родились «коляды», «ярмарочные баллады», наконец, «псалмы» самого Т. Новака.

С 1962 г., когда вышла первая книга прозы (рассказы «Пробуждения»), творчество Т. Новака развивалось по двум параллельным руслам. Поэзия Т. Новака и поэтическая проза его рассказов, повестей, романов питаются из одного источника, из одного, как он сказал бы, «прародника». Иногда проза помогает понять сложные (для русского читателя, потому что польские крестьяне, земляки Т. Новака, прекрасно понимают поэта, который для них пишет и к ним приезжает читать стихи) образы лирики Т. Новака. В стихотворении «Автопортрет» изображен внутренний мир поэта, польского крестьянина, неотделимый от окружающих ячменных и гречишных полей, связанный пуповиной с недавним прошлым, где еще были и костел, и барская усадьба, где жива была память о Якубе Шеле, вожаке крестьянского восстания 1846 г., народном мстителе. Лучший комментарий к этим стихам — те страницы романа «Черти» («Иностранная литература» № 3, 1975, стр. 43—45), где описан раздел помещичьих земель в 1945 г., а перед крестьянкой-рассказчицей являются, как живые, ее прадед, насмерть засеченный помещиком, и Якуб Шеля на гнедом коне.

Иные грани народного мышления и мироощущения раскрываются в поэзии Е. Харасымовича. Среди польских народных песен были песни о помещичьем гнете и крестьянском гневе, о тяжелом труде и неволе, но всегда были также песни, полные света, жизнерадостности и веселья. Особенно же отличается яркостью, праздничностью, декоративностью польское народное изобразительное и прикладное искусство: живопись на стекле, резьба по дереву, вышивка, вырезки из цветной бумаги. Именно с ними часто хочется сравнить яркие, декоративные стихи Е. Харасымовича.

В своей поэзии Харасымович — прежде всего художник. Некоторые стихи его просты, бесхитростны и как бы даже наивны, подобно детскому рисунку. Поэт действительно любит детские рисунки, есть у него даже стихотворение «Выставка детских рисунков», хотя, разумеется, его кругозор в области искусства ни детскими рисунками, ни работами польских народных мастеров резьбы по дереву, о которых он часто пишет, никоим образом не ограничивается. Ему дороги многие польские художники XIX и XX веков: Ян Матейко, Тадеуш Маковский (стихотворением «Искусство Маковского» Е. Харасымович открывал свою первую книгу стихов), Зыгмунт Валишевский. Он благодарен польским архитекторам и скульпторам разных эпох, создавшим сообща прекрасный город Краков («Краков — это столица моих стихов»,— пишет Е. Харасымович в письме ко мне). Его привлекает также искусство далекой и давней Византии, искусство Китая (стихотворение «Старинный китайский рисунок») и Японии. Любит он и современных художников, вместе с друзьями выбирается на этюды (именно «этюдами» можно назвать многие его пейзажные миниатюры); отсюда, кстати, и неожиданное сравнение в стихотворении «Снегири»: «...скачут в куртках снегири как художников гурьба...». В свою очередь польские — особенно краковские — художники любовно оформляют его книги, а книга «Миф о саятом Ежи» (1960), создание двух авторов, поэта Ежи Харасымовича и художника Даниэля Мруза, осталась ярким явлением и в польской поэзии последнего двадцатилетия, и в польской книжной графике этого периода. Впрочем, и все последующие книги Е. Харасымовича (а всего он опубликовал их двадцать две, причем некоторые переиздавались дважды, трижды) радовали и глаз, и сердце.

[1] Ян Кохановский (1530—1584) — великий польский поэт.
[2] Францишек Карпиньский (1741—1825) — польский поэт.

ТАДЕУШ НОВАК

Псалом о лете

Кочевало степями славянское лето
белым посохом зноя ведущее в зелень
Муравью иль волу поклониться за это
что в полях калачи золотые созрели

Отломив калача убегаем в березы
где сонливость томит разливаясь широко
там украшены лентами дикие козы
скрыто веком ветвей провидения око

Сумрак манит нас верой забытой и дикой
от церквей и от кладбищ уходим в былое
наш умерший стократно чернеет черникой
терпко щиплет язык нам как свежая хвоя

С нами с нами он здесь в гуще леса и лета
лес и лето ведь именно этим и мудры
а потом паутинка прицепится где-то
желтый листик береза вплетет в твои кудри

Майский псалом

Лежишь ты май лежишь ты над рекой
А над тобою звездный воз на небе
везет в ночи пшеницу и ячмень
Девчата те что помнят вкус хмельной
берез в лесу целованных украдкой
купаются нагие аж по гребень
стыдливо чуя взгляд твоих очей

Лежишь ты май лежишь ты над рекой
А под тобою муравьи и травы
их вносит в книгу крот бродя средь мрака
Вдали скликается труба с трубой
царь и царица и дракон кровавый
там в сонном царстве конопли и мака
сегодня отреклись от власти злой

Лежишь ты май лежишь ты над рекой
По дну реки идет отец и смотрят
глаза животных на меня в упор
У нас ведь первым терн цветет весной
и каждый год мать вспоминает мертвых
и жаворонков им несет высоких
хоть вечной раною зияет двор

Псалом о собачьей радости

Щенится сука и щенят
мозжат о яблонь не жалея
на это бельма рыб глядят
глядит в тазу цыплячья шея

А яблонь на крови дика
цветет не воя и не лая
Под осень слаще молока
срывает яблоки хозяин

Он с яблоком в саду как царь
глядит на космос серебристый
и сука спит у ног как встарь
и сон по капле льется с листьев

Швырнет он яблоко-звезду
что светится зрачком кровавым
оно скуля под конуру
покатится по мокрым травам

А утром кончиком сапог
из конуры ту суку выжив
он видит как вцепясь в сосок
пьет молоко волчонок рыжий

Заминированный псалом

Я сплю в полях Сна моего поля
минированы Снег засыпал мины
Ручей магнитом тянет тополя
комки железа выглодав из глины

А тут от царства у меня ключи
из рук которых нет уже в помине
Мать я учусь и я нашел в ночи
калитку к зорям тайную в долине

А тут ботинки грубые на мне
с убитого в лесном овраге немца
Отец отец я в сельской стороне
мечтал о галстуке и о цилиндре с детства

Но ближе чем военная стезя
был сеновал где мне стелили летом
Бинтуй сестра погрызенные пальцы
Во сне кричал я А кричать нельзя
железом пахнет крик перед рассветом

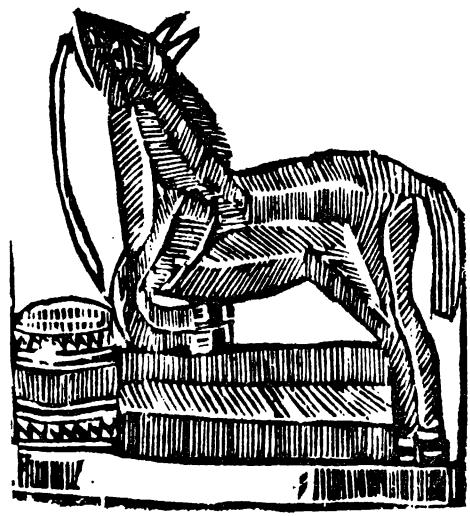
Деревянные лошадки

Плоды сочат тяжелый мрак.
И вязко рыбье брюхо рек.
Лишь светится на бойне бык:
мир, четвертованный на мясо.

Мы на лошадках деревянных
и на коленях матерей.
А в поле козерог бодает,
блеск с яблонь сыплется — и виден
монгольский лик зимы славянской
среди заснеженных ветвей.

Отцы в табачных армяках
тел пропотевших катят дыни,
их память в погребе, в бутылях
бушует в яблочном вине.
Невестами оделись вдовы.
Рассвет, созревших яблок стук —
вихры пригладить, вымыть руки
и снова мчаться на коне.

Плоды сочат тяжелый мрак.
Лежат под яблонями тени.
Лошадки ржут на чердаке.
А матери оделись в траур,
идут к холмам, политым желчью,
и вновь берут нас на колени.



Плачущий конь

Мариану Гжещаку [1]

Конь вдруг расплакался Был вечер
Снопы за домом сложенные в стог
светились так что искры шли
что с легким сердцем тяжко было
войти под пересушенную крышу

Конь вдруг расплакался Не помню кто заметил
С крыльца рванувшись вся семья
сбежалась в сад где прислонясь к забору
плакал наш конь

Коня и в ноздри целовали
и заплетали в гриву павлиньи перья ленты
охапками тащили ему овес и клевер
и даже погремушку кто-то принес но конь
игрушек не хотел тряс головой и плакал

[1] Мариан Гжещак (род. в 1934 г.) — современный польский поэт.

Ему пытались петь псалмы
приободрить военной песней
В конфедератке подходили
в косматой шкуре Чингисхана
но конь все плакал по колено в луже
звериных слез

И плакал он когда его
носили на руках и пели
и как больного укрывали
перинами со всех сторон

Конь плакал Светлый стог за ним
терся о сад сыпал овес
зверино ржал

Автопортрет

Выстланный изнутри колосьями ячменя,
я слушаю, как зной звенит над гречишным полем.
В мое нутро, в лучистую солому,
винные яблоки
ссыпают козероги.

Вокруг меня, во всей моей округе,
запах разломленного руками хлеба
и запах лимфатических сосудов,
которые дерут зубами козы
из белой шеи дерева на зорьке.

А в центре круг. На нем две головы,
Христос и Шеля[1]. Оба в позолоте,
по кругу движутся средь черной тьмы
меж барским домом, небом и костелом.

Во мне все это видит минерал,
трава, и зверь, и деревенский лирник,
одну лепешку с ними я ломал,
одною парою сапог делился.

Выстланный изнутри, вновь возвращаюсь
внутрь,
иду в свое нутро через нутро вещей,
вбаюканных в меня, как дерево в антрацит,
как антрацит в алмаз.

[1] Якуб Шеля — предводитель крестьянского восстания 1846 г. в Галиции.

ЕЖИ ХАРАСЫМОВИЧ

Пóпрад

Пóпрад
река с форелью
в гербе

Я в тебя бросил
юность
букетом маков

Теперь тобою
плывет моя зрелость
охапкой полыни

И поплывут
по тебе
поздние годы
перышком белым

Моды

В поэзии одна за другой
меняются моды
выскакивает все новый
знахарь слова
я
ждать могу долго

Подпоясавшись лесом
еду лениво в телеге лет
моя мода рубаха неба
распахнутая просторно
на дожди и морозы

Пробуждение в горах

Мгла отелилась
Я у нее принимаю
день

Потягиваюсь плечами
гор

Я выхожу на поляну
Меня приветствует рысь
сторож лабазов моих
сивки-бурки берез
сахар берут из рук

Я их запрягаю
еду в свои горы
чтобы привезти
длинные поэмы
лежащие там
уж несколько зим

Осенняя ночь

Всю ночь топочется
еж по комнате

Я всю ночь пишу
черкаю
будоражу бумагу

Я и еж трудясь носим
лунный свет во тьме ночи

А потом ляжем спать
в голенище дня...

Лопух

Лопух
глаза у него от пыли
красные
слабые

он не отличает
козы
от старостихи

в зной деревянному святому
он вместо шляпы

после обедни
в белой пыли
мотыльков
он слушает
концерт кузнечиков

издали
он кажется облаком
движущимся по августовской дороге

лопух
для коровы
священная роща

для масла
молодой
зеленый любовник

для кошек
тенистое
пышное кладбище

Мухомор

Третьего дня
встретил я мухомора

ярко-красный
в туристском костюме в крапинку
в гольфах

он держал под мышкой
журнал по искусству

вы знаете он сказал мне
с тех пор как я не выступаю
в эстрадных представленьях гномов

а занимаюсь
разработкой
расписанья движения
летающих древесных грибов

мое искусство
не понимают

и говорят
таких ядовитых типов
как мухомор
надо уничтожать

а разве
я для того
чтоб мной обжираться

я же
абстракция

Краковский фавн

У фонтана
дремлет фавн
в галошах

в длинную трость
будто в трубу
дует мелодию
сонную

брови его
подняты вверх
будто от удивленья
ах до чего вдохновенный
концерт

чутко
слушают эту музыку
скалы каменных стен

и зеленые луга
куполов

и снятся
старому фавну
наяды
в мантильях

Старинный китайский рисунок

Дом стоит как живой
еще немного
и он протянет нам руку

Ветер шумит как живой
еще немного
и он будет морщить бумагу

Птица сидит на дереве
я над ней поработаю
еще немного
и слышна будет песня

До такого совершенства дошел я
что я могу еще

Что я могу сказать
об истребляющих нас войнах

Живопись всего только шутка
императора

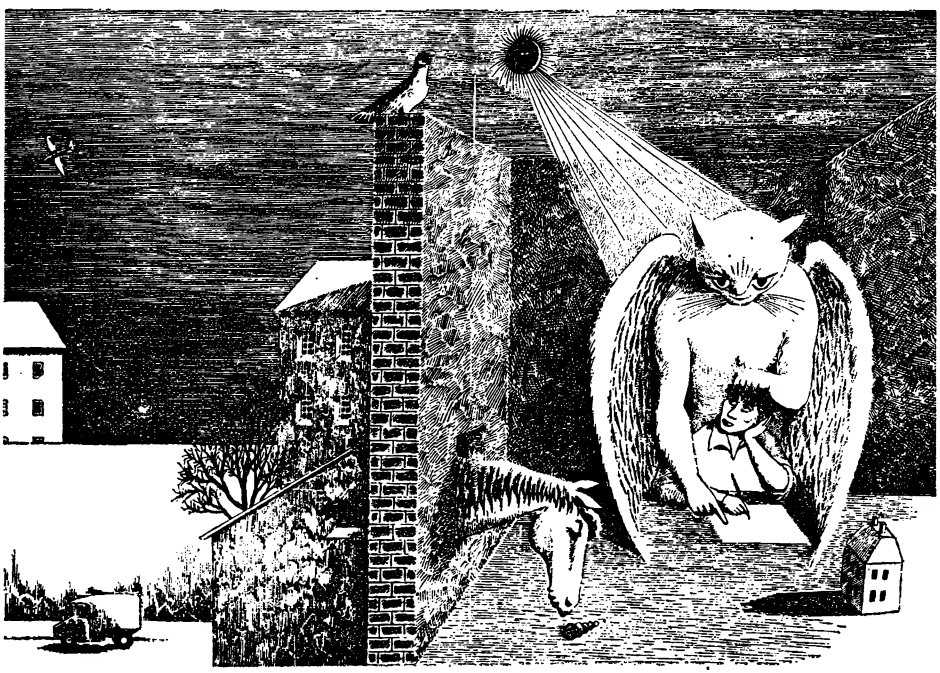
Кот

Ты мурлыкаешь кот как котел где кипят для меня волшебные зелья
Усатый в длинной белой рубашке до самых когтей ты святой без
портфеля

Но едва твои очи-калейдоскопы небесной грозой блеснут
В них для птиц живых и мертвых
Страшный суд

Сидящий на крыше ты черен как труба ты для птиц как чертик
С красным язычком
На ножке стола ты когтями пишешь список своих жертв несчетных:
«Нынче займусь этой галкой ведьмой что летает хвост помелом
а соловья на потом»

А когда ты спишь положив под голову рыжую лапку как подушку
пуховую
Никто не вылавливает мне мух из чернильницы и пишу я только
чушь чепуховую



ПЕНТТИ ХААНПЯЯ

Рассказы

■

Перевод с финского и предисловие Ю. АЛЕКСАНДРОВА

Пентти Хаанпяя, классик финской литературы, родился в 1905 году. После окончания рабочей школы занимался земледелием, работал на лесоразработках, сплавщиком. Уже в возрасте 15 лет были опубликованы его первые рассказы. Когда Хаанпяя исполнилось 19 лет, сборнику его рассказов была присуждена первая национальная премия. В центре его рассказов того периода — жизни и судьбы простых людей.

В 1928 году был издан сборник рассказов Хаанпяя «Плац и казарма», общая тема которых — будни финской армии. Автор высмеивает планы создания «Великой Финляндии». Сборник вызвал бурю негодования в буржуазных кругах, издательства длительное время бойкотировали публикацию его произведений.

30-е годы являются периодом подъема в творчестве Хаанпяя. От простого описания отдельных жизненных и общественных явлений он переходит к их обобщениям, пытается их объяснить. Наиболее значительным произведением этого периода является роман «Хозяева и тени хозяев» (переведен и издан в СССР), посвященный положению беднейших слоев крестьян.

Наиболее зрелыми являются послевоенные произведения Хаанпяя. Его роман «Сапоги девяти солдат», написанный в 1945 г. (переведен и издан в СССР), является резко антимилитаристским.

В это же время Хаанпяя становится активным общественным деятелем, вступает в прогрессивное общество «Кийла», которое отстаивало прогрессивные позиции в искусстве, пропагандировало реалистическую литературу.

Накануне своего 50-летия в 1955 году Хаанпяя трагически погиб.

Подлинное признание пришло к Хаанпяя лишь после его смерти. В 1956 г. было издано полное собрание его сочинений.

Ниже публикуются переводы рассказов Хаанпяя, входящих в первый том полного собрания его сочинений. Они написаны в начале 30-х годов — как раз в тот период, когда Хаанпяя подвергался критике и бойкоту, поэтому большинство рассказов той поры не были опубликованы при жизни автора.

Рассказы Хаанпяя того периода не потеряли актуальности и в наши дни, ибо основная их тема — экономический кризис 30-х годов, его пагубное влияние на различные слои населения капиталистического общества. Думается, они с интересом будут встречены советскими читателями.

Дорога

Над хутором и вокруг него, где десятки лет работал и строил планы на будущее прежний хозяин, царило гнетущее уныние. Старый хозяин ощущал его уже давно, но в последнее время атмосфера еще больше сгустилась. А с того момента, когда в газете появилось объявление о распродаже хуторов с аукциона, даже воздух, казалось, пропитался унынием.

Да, речь шла о нескольких хуторах, потому что земля, которой прежде старый хозяин владел один, была разделена на несколько участков. Его сыновья с семьями жили каждый в новом хуторе — пока еще жили. Однако отсутствие денег, множество векселей и долгов, как гигантская грозная волна, могли в одно мгновение выплеснуть их из убежища в холодное море жизни.

В недавние, благополучные, времена старый хозяин поделил всю землю и строения между сыновьями, не потребовав с них за это ни пенсии, ни компенсации. Он жил день или неделю в доме одного сына, работая по старой привычке, затем переходил к другому.

— Сколько стогов я еще мальчишкой наворошил. Так неужто старый воробей не осилит и этот...— шутил он.

А теперь, видно, приближался не на шутку трудный стог. В доме каждого из сыновей, правда, был еще хлеб и даже немного похлебки: урожай только что убрали в закрома. Но не было уверенности, как долго он у них пробудет. Отсутствие денег, векселя. Принудительные торги были уже объявлены.

И теперь на хуторах переживали тягостное время ожидания. Поездки в банки, к финансистам, оказались напрасными. Поэтому все сидели дома, выполняя только самую необходимую работу по хозяйству, слонялись из комнаты в комнату встревоженные, недовольные друг другом. Старый хозяин скоро почувствовал, что именно его присутствие стало особенно раздражать обитателей хуторов. На фоне мрачной тучи приближавшихся торгов его потерявшая счет времени, примелькавшаяся физиономия представлялась каким-то дьявольским видением: и этот здесь. Поди угадай, сколько еще с ним придется возиться...

Однажды вечером старший сын сказал тихо, с трудом выдавливая из себя слова:

— Как же теперь с вами-то быть?.. Если случится что, придется убираться из-под этих крыш, и весь урожай уплывет в более достойные рты. У вас же там, в городе, есть дочь... Муж ее последнее время хорошо зарабатывал, и у них нет детей...

Старый хозяин понял — достаточно было намека, а можно и вообще было ничего не говорить. Распродажа ожидалась через неделю, и ему все равно не хотелось при этом присутствовать. Он тихо сказал:

— Да я уж и сам подумывал пойти постучаться туда. А там видно будет. Надо бы только захватить провизии на дорогу...

Было раннее осеннее утро, еще совсем темно, но восходящее солнце уже окрасило гряду облаков в восточной половине неба. Старый хозяин поднялся, когда все еще спали,— он так и не смог уснуть в эту ночь, да и прощания никому не были нужны. Кроме того, чувство обиды на близких слегка щемило сердце, да и стыдно было признаться себе в том, что потерпел полный крах.

И вот он стоит на дороге, возле ворот, с кожаной сумкой на боку и разглядывает дома и постройки. На этой земле прошли годы его

зрелости. Работа и борьба, но был и успех — во всяком случае, так казалось, пока сыновья не подросли и не переженились, а теперь вот всем им придется уходить со своей земли и из домов, не получив за свое добро ни гроша. Их старый отец уже стоит у края дороги, отправляется попрошайничать, просить милостыню. Но ведь и начинал он с того, что просил милостыню. Этим, видно, и кончит. Хотя пока ведь он еще не побирается. В его сумке есть хлеб, мясо, масло, а в потайном кармане кальсон — двести марок. И он идет в город, к своей дочери, как бы в гости. Он решил идти пешком. Можно было бы и подъехать на маршрутном автобусе, но деньги нужно беречь. А торопиться некуда.

Да, пока он еще не побирался. Но, отправляясь в путь, сказал себе: «Хорошо, что покойнице не пришлось это увидеть...»

Он имел в виду покойную жену.

По правде говоря, и его время уже подходит к концу. Потому что он чувствовал, что не успевает за временем. Хоть он и читал газеты, но не понимал ничего из прочитанного. Экономический кризис, золотой паритет, проценты — все это было для него непостижимо. Странное время. Земля уродила хорошо, обошлось без заморозков, но и это не исправило положения. Расплодилось столько векселей, что они все перечеркнули. Деньги, деньги господствовали над всем. Он считал, что большей части долгов, наделанных детьми, можно было избежать, живя более разумно. Он дал им землю и даже кое-какие постройки. Но каждый поставил себе добротный дом на деньги, взятые в долг, на средства, полученные из различных касс. Приобретали машины и ели до отвала. Нет, маленькие клочки земли не в состоянии вынести такого... И вот последствия: деньги и бумаги, сделав жизнь поначалу привлекательной, все перечеркнули и теперь уносят прочь. Вот и он вынужден брести по дороге, направляясь в гости, где еще неизвестно как его примут. Да, нужно было вести себя осмотрительнее и попридержать хоть что-нибудь про черный день... Но там, наверху, есть кто-то, без чьей воли и волос не упадет с головы нашей. Да свершится воля его.

Так размышлял старый человек, шагая в утреннем тумане по дороге с черной сумкой на плече.

Еще до завтрака он добрался до соседней деревни. Там, у ворот одного дома, стоявшего прямо на шоссе, он увидел человека, который показался ему удивительно знакомым. Пожилой, статный, похожий на барина, не обремененного никакими заботами, с трубкой в зубах. Он тоже уставился на старого хозяина, и они долго, с удивлением разглядывали друг друга. Затем наступило прозрение, и старый хозяин с искренней радостью воскликнул:

— Так это же Антти! Вернулся все же из-за моря...

— Вернулся. Хоть уже и стариком. Заходи, пожалуйста, в дом. Я снимаю здесь комнату.

Этот хорошо сохранившийся полноватый доброжелательный человек был другом детства старого хозяина, его собратом по нищете и скитаниям. Более пятидесяти лет назад, в голодные времена, они бродили и по этой дороге с котомкой за плечами. Позже один из них уехал за море, в Новый Свет, а второй остался жить и работать здесь. Узнали же они друг друга потому, что «американец» побывал на своей родине лет двадцать назад.

У них было о чем поговорить и поспрашивать друг друга. Выяснилось, что пришелец из Америки был по-прежнему холостяком, человеком одиноким. Он предложил своему приятелю закусить, и они очень приятно провели время, болтая без умолку.

— Так ты в город? У меня там тоже есть дело. Я могу отправиться туда сейчас, вместе с тобой, подвезу тебя на машине.

Старый хозяин, увидев автомобиль, сказал, что его приятель, видно, не на шутку разбогател.

— Да что ты, откуда взяться богатству у обыкновенного рабочего, живущего тяжелым трудом! Просто этих игрушек там, за морем, очень много. Я пробовал сплавить свою, собираясь домой, но там сейчас ничего не продашь. Вот и пришлось с собой везти.

Старый хозяин заметил, что, мол, изобилие хороших вещей и бедность бок о бок шагают по миру. Эти автомобили и другие подобные штучки как раз и принесли с собой бедность, сказал он.

— Как знать. Сейчас здесь много толкуют о кризисе в сельском хозяйстве, и он действительно наступил. Но если бы ты владел своим хутором один, то жил бы там и по сей день, а не шагал бы по дорогам. Я вот вижу — те, что много болтают, будто потеряли состояние, на самом деле никогда его и не имели. Цена на землю повысилась — вот они и решили, будто чем-то владеют. Молодой парень, без средств, женился и, пользуясь тем, что заимодавцев было хоть отбавляй, приобрел в долг землю и кое-какую недвижимость, ну и, конечно, стал работать, приводить в порядок свое хозяйство. А тем временем молодая жена его плодоносила, как ячменное поле, и даже быстрее, рожая чуть не два раза в год. А тут пошли проценты, погашения. Нет, так дело не пойдет, не пойдет, даже если бы на каждом колоске болталось по монетке...

Старый хозяин почувствовал, как под влиянием этих речей остывает его сердце к другу юности. Он понял, что человек этот прошел по жизни легко, не приумножив человечества и не укрепив его. А если говорить начистоту, так ведь это не совсем честная игра. Было что-то несправедливое в том, что он стоял сейчас возле собственного автомобиля — олицетворение благополучия и благоразумия.

— Но таково человеческое естество,— сказал бывший хозяин.— Дети — это дар божий...

— Дар-то дар, конечно. Но перепроизводство этих даров лишит скоро престарелых последнего куска. Наступит день, когда людская масса обгложет землю дочерна, как саранча Египет в прежние времена...

— Ну хорошо, у тебя нет детей, и поэтому ты уверен в своем благополучии, уверен, что у тебя будет кусок хлеба и крыша над головой. А я считаю, что все в руках господа нашего.

— В руках господа нашего или, вернее, наших господ, потому что именно они видят пользу в непрерывной переоценке ценностей. Если курс доллара сохранится, то, мне кажется, причин для беспокойства не будет. Но и доллар ведь может заколебаться. Я уже подумываю о том, чтобы приобрести маленькое имение.

И опять все было слишком современно и непостижимо для старого хозяина. Всю свою жизнь он считал, что гарантии хлеба насущного и самого существования — в дарах земли. А этот человек уповает на сохранение какого-то курса. И странно, что этот человек, с которым они вместе побирались в голодные годы, идет в ногу со временем, хорошо разбирается в нынешних событиях, в то время как он все еще живет старыми представлениями, когда мысли даже и не поднимались до таких высот, как проблема ограничения деторождаемости.

Они сели в машину и покатили по дороге, по которой когда-то брели с сумой за плечами. Затем пути их разошлись. И оба они преуспевали, даже сверх своих тогдашних представлений о благополучии. Сейчас же один из них вел по дороге эту механическую игрушку, ка-

завшуюся почти огненной колесницей из Библии, тогда как второй был хозяином, который раньше давал работу и хлеб другим, а нынче снова вышел на дорогу, и не было для него ничего ближе этой дороги — разве что сама земля, сон в ее объятиях...

Оба старика тихо сидели на бархатных сиденьях автомобиля, погруженные каждый в свои мысли, пока не прибыли в следующую деревню. Здесь приезжий из-за океана остановил свою машину.

— Помнишь,— сказал он,— помнишь, как мы шли тогда через эту деревню и нигде не могли найти ночлега? Неприветливый народ. Обзывали нас ворами, хотя мы крошки никогда не брали без спроса. Но гордости у нас было предостаточно и злости тоже. Когда нас выставили из последнего дома в холодную ночь, мы развалили поленницу дров, и только отсутствие пилы помешало нам перепилить колесо на ветряной мельнице.

В следующей деревне автомобиль тоже остановился, и старый хозяин сказал:

— А помнишь, как мы заходили в тот дом? Это он, хотя снаружи сильно изменился. Хозяйка участливо расспрашивала, из каких краев ребятишки идут. И хлебом наделила — без воркотни и нравоучений. Потом мы заскочили в баню. Уж больно не хотелось из такого дома уходить. И тогда я вымазал лицо сажей, вывернул куртку наизнанку и вошел в дом еще раз, а ты остался в бане ждать. Хозяйка была так же спокойна и добра, как и в первый раз. Спросила, откуда я родом. Назвал я соседнюю волость. «Так ведь и я оттуда»,—сказала хозяйка и спросила, как меня зовут. Ответил. «Так, выходит, мы родственники. Садись, поешь». И стала расспрашивать о делах в родных краях, а я-то о них, конечно, ничего не знал. Трудно пришлось, но выкрутился. Поел и на прощание получил еще кусок ржаного хлеба с маслом.

— Да, помню,— сказал «американец».— Долго мне пришлось ждать в бане, зато какая радость была, когда ты вернулся.

— Я об этом часто вспоминал потом, да так и не понял, было ли то воровство или что другое, когда человек два раза подряд побирается в одном и том же доме.

— Мошенничество,— сказал «американец»,— чистое мошенничество, и ничего больше.

— Позже мне предлагали пойти работать батраком в тот дом. Хозяйка предлагала. Не пошел. А сейчас пошел бы, да вряд ли работодательница еще жива.

Автомобиль покатил дальше. Они прибыли в город. Приезжий из-за океана угостил старого приятеля кофе, и они расстались. Рукопожатие. Неуверенность: встретимся ли еще на этом свете, увидим ли друг друга вот этими самыми глазами? Один из стариков сел в свой автомобиль, а другой заковылял в пригород, к дому дочери.

Как-то там дела? В прошлые годы семья эта, бездетная пара, жила хорошо. Они даже приезжали на хутор к родственникам на арендованном автомобиле. Может, и теперь благодать теплого угла и кусок хлеба ждут там старого человека? Ну, а если так произойдет, сможет он привыкнуть к жизни в новом окружении, он, который весь свой век прожил в деревне, он, перед чьим взором постоянно маячат сельские домики и маленькие поля, застилая собой городские строения!

Дня через два старый хозяин уже уходил из города. Его предположения сбылись. Муж дочери остался без работы. В семью пришла бедность. Дочь явно нервничала и даже выражала недовольство — не прямо в адрес отца, а братьев. Как можно выпроваживать из дома старого человека в такие времена? В деревне всегда что-нибудь найдется,

на земле всегда можно прокормиться, а здесь все зависит от денег. Отняли у старика все его достояние, разбазарили, а теперь ему говорят: поезжай, развлекись... Кроме всего прочего, старик стал замечать, что семья зятя замешана в каких-то загадочных делах — видимо, в операциях со спиртными напитками. Нужда всегда делает человека податливым, склонным к нечестности, грехам и порокам. Добропорядочность приходится продавать за хлеб насущный.

Старик чувствовал, как угнетает его обстановка скрытности, царящая в доме. Да к тому же бездеятельность, отсутствие знакомых, чуждая среда — все это делало его жизнь здесь еще более тягостной, чем на хуторах у сыновей. И через два дня он сказал, что ему пора в путь. Дочь возражать не стала.

— Идите, конечно, идите к себе домой. Там вы прожили всю жизнь, трудились, там о вас и должны позаботиться.

Позаботиться? Возможно, что и так. Но именно это-то и вызывало горечь — о нем еще и заботиться нужно, а ведь он, будучи хозяином, вспоминал о своем голодном и нищем детстве как о чем-то прошедшем, чему нет возврата. Он ощущал тогда в себе даже гордость: вот ведь — возвысился, преуспел...

А сейчас перед ним снова была дорога, как уже однажды, более пятидесяти лет назад. Дорога и неопределенность, попрошайничество и подаяния. И произошло это накануне его смертного часа — точно так же, как на пороге вступления в жизнь. Он не поднялся ни на одну жизненную ступень — круг замкнулся... А это никак не радовало. Но раз это предопределено Всевышним, то нечего роптать. Да свершится воля его.

Так размышлял старый человек, медленно шагая сквозь осеннюю тьму с кожаной сумкой на плече.

(1931)

Пятьдесят километров

Впереди была лыжня, гоночная лыжня, пятидесятикилометровая дистанция — она змеилась по лесам, взбиралась с горы на гору, переваливала через холмы. Около ста самых быстрых и выносливых лыжников стояло у начала этой лыжни. Они собрались сюда со всей страны, чтобы пройти по этой лыжне именно эти пять десятков километров. Кто-то приехал даже из-за границы. И не исключено, что иностранец, представитель другого народа, может оказаться на этой лыжне самым быстрым и самым выносливым.

Пятьдесят километров. Толпа стояла молча. Пробежать столько километров — это спорт, борьба, но ни в коем случае не легкая забава. Это огромные усилия, пот, безмерное упорство, напряжение всех жизненных сил, борьба. Около ста лыжников знали это лучше других. Но понимание того, какого напряжения будет стоить предстоящая многочасовая борьба, казалось, передалось и зрителям.

Небо раскрыло свою синеву, снежные сугробы белели и искрились. Ветра не было, и поэтому флаг с синим крестом еле колыхался на флагштоке.

Слабо различимые слова команды. И первый спортсмен под номером один двинулся в путь. Соревнования начались. Секундомеры судей отстукивали важные, решающие секунды. Каждые тридцать секунд — очередной спортсмен, мощный толчок палками, и лыжи стремительно набирают скорость. Худощавые, исхлестанные зимним вет-

ром лица, строгая скупость движений. А под лыжными куртками сердце отстукивает: скорее, скорее, и напрягаются мускулы, способные это осуществить.

Пятьдесят километров! Самая длинная лыжная дистанция!

Время от времени над толпой раздавался легкий, как бы нерешительный возглас. Это отправлялся в путь какой-нибудь известный лыжник, участник десятков, сотен жарких, напряженных гонок, герой бескомпромиссных финишных прямых. Он побеждал тогда-то и там-то... Как-то он пробежит дистанцию на этот раз? А затем следовали номера, номера, спортсмены, за плечами которых насчитывались сотни накаленных борьбой заснеженных километров, но им никогда не удавалось пройти дистанцию первыми, стать героями больших состязаний. Их имена можно отыскать в программе. Но широкая публика не знает ни их фамилий, ни их лиц. И невозможно предположить, чтобы кто-то из них вот так вдруг, неожиданно на этой лыжне пришел к финишу первым. Для широкой публики они были лишь хорошим фоном грандиозных состязаний, номерами, которые упорно, до последнего дыхания сражались за какие-то десятые места.

Приглядимся к одному из таких спортсменов — спортсмену под номером 42. Часы показали его время. Старт! Началась его пятидесятка. Скорей! Через равнину, вверх по косогору. Только с минуту следили глаза публики за его движениями. Для нее это был еще один лыжник, один из ста, который решил, что и ему стоит померяться силами на состязании. Кто-то из рьяных болельщиков взглянул на часы:

— Здорово начал. Взял подъем как мастер...

— Вечно находятся такие молодцы, которые резво начинают. Но немногие из них так же кончают. В том-то все и дело...

Новые номера, новые участники — через каждые полминуты, пока не отправились в путь все. Около ста лыжников показывали теперь на лыжне, на что они способны. Скорость, скорость, скорость! С первого контрольного пункта по телефону уже передали фамилии, время. Радио разнесло эти вести тотчас по всей стране — по домам в городах, деревнях. Ведь речь шла о самых больших состязаниях этого года — о пятидесяти километрах по заснеженной лыжне.

Эти километры были самыми важными и для номера 42. Для него это был не просто бег на лыжах, не просто скольжение и отталкивание палками. Это была жизнь. борьба, вся судьба его здесь решалась. Это был единственный его шанс, праздник среди жизненной обыденности. Теперь или никогда.

Он уже давно ждал их, этих километров, этих часов, они многие годы маячили перед ним. Этим километрам предшествовали многочисленные, менее важные, состязания на лыжне, победы и горькие поражения. Ради этих километров были свалены им сотни строевых деревьев, тысячи тачек с глиной перевезены, чтобы укрепить спину. Об этих состязаниях думал он и когда сутками, продираясь сквозь густые леса, гнался за пятнистой рысью — под конец он все-таки загнал ее и получил в награду красивую, дорогую шкуру. Теперь же он мчится по лыжне затем, чтобы добыть себе незримую, но не менее прекрасную мантию славы.

Остальные сто парней двигались сейчас по лыжне с тем же намерением и настроением. Многим из них приходилось опасаться, как бы ранее завоеванная прекрасная мантия славы не спала с их плеч. У всех позади был тяжкий труд, одержимость и пот долгой, долгой одинокой лыжни.

Номер 42 шел с хорошей скоростью. Уже через несколько километров в длинной цепи растянувшейся гонки он увидел перед собой лыжника, стартовавшего раньше, это придало ему бодрости и послуш-

ной упругости мышцам. Он знал, что стартовавший перед ним спортсмен был старым, испытанным лыжником, участвовавшим во многих соревнованиях. Несколько рывков, мощные толчки палками — и носки его лыж уже упираются в задники лыж идущего впереди. Он заметил, как тот сгорбился, словно бы даже пошатнулся. Сорок второй и сам испытал подобное и помнил, что чувствуешь, ощутив прикосновение чужих лыж сзади. Чувство это было прямо противоположно тому, что испытывал при этом настигший.

Гонщик посторонился, и сорок второй проскользнул вперед по освободившейся лыжне. Он был в хорошем настроении. «Смотри теперь мне вслед — там, сзади, ты и останешься. Ищи утешения в километрах, которые тебе еще предстоит пройти...» Но обойденный им лыжник не хотел сдаваться. Сорок второй чувствовал, как он впился в задники его лыж. Скрип лыж и постукивание палок о снег постоянно доносились до его слуха. Так пролетал километр за километром. Через горки, по небольшим равнинам. Сорок второй забыл все свои предварительные расчеты. Надо заставить преследователя отстать. И сорок второй увеличил скорость. Он нагнал еще одного лыжника и обошел его. Но преследователь не отставал. Этот мчался за ним упрямой тенью. Иногда он отставал, когда сорок второй, напрягая все силы, взлетал на подъемах. Но на спусках и на равнинах наверстывал упущенное. Так они обошли сначала пару следовавших вместе гонщиков, затем несколько одиночек.

Преследователь должен отстать. Сорок второй думал только об этом. Напрягая все силы, он сделал бешеный рывок. Так прошел километр. Он сбавил скорость и прислушался. Тихо. Однако вскоре вновь послышались хорошо знакомые скрип и постукивание. Он шагнул в сторону, освобождая лыжню. Дорогу, дорогу — требовал этот гонщик. Но преследователь мотнул заиндевевшей головой, и слегка задыхающийся голос произнес:

— Давай двигай вперед. Скорость по мне достаточная...

И сорок второй продолжал бег. Он почувствовал, что нерасчетливый рывок лишил его сил. Нужно было идти ровней, потише, но упорно и настойчиво.

Вот уже второй контрольный пункт. Сорок второй едва заметил его. С пункта сообщили на финиш и его время — лучшее к тому моменту. Это дало пищу для возбужденных толков — и там, и по всей стране. Новое имя. Что происходит? Он же совершает глупость, выдохнется, не дотянет...

Сорок второму следовало и самому предвидеть это. Но он не думал ни о чем. Он проходил большие отрезки дистанции как во сне. Только подсознание бодрствовало. Оно приказывало — вперед, вперед, а нервы и мышцы безропотно подчинялись.

Затем на крутом спуске он словно пробудился от сна. Ага! А она, пятидесятка-то, уже остается позади... Зигзаг. Он еле сохранил равновесие и начал взбираться на противоположный склон, оглядываясь через плечо. Теперь эта досадная, болтавшаяся на задниках его лыж тень, наконец, отстала. Но вот какая-то белая куртка уже мчится вниз с горы.

И снова все ясные мысли и трезвые расчеты исчезли. Память не сохранила ничего об этих километрах, которые он прошел ценой огромного напряжения всех нервов и мышц. Затем снова наступило пробуждение, возвращение к действительности. Сознание вернулось так, как оно возвращается к человеку, просыпающемуся в своей постели. Только сорок второй, пробуждаясь, обнаружил, что мчится на полной скорости вдоль поросшего лесом хребта. На некотором расстоянии впереди показалась лыжная куртка. Сорок второй скорее ин-

стинктивно понял, чем увидел, что она принадлежит спортсмену другой страны. В его памяти возникла картина точно такого же лесистого хребта, по которому он преследовал уставшую рысь. Она метнулась было в сторону, стремясь скрыться в валежнике,— тогда раздался выстрел, еще один... Не такой уж он был меткий стрелок — скорее по чистой случайности он попал в лесную кошку, и она приникла к земле, а шкура досталась ему...

Но лыжник из другой страны не уклонялся в сторону. Его куртка покачивалась равномерно в такт движениям. И неудержимо ускользала вперед. Настичь его невозможно. Да и не нужно. Иностранец был признанным мастером лыжни. И как только сорок второй увидел и узнал его куртку, он позволил себе немного расслабиться.

Расслабиться было даже необходимо. Сорок второй вдруг почувствовал усталость. Нельзя больше так нерасчетливо, безудержно гнать. В голове замелькали какие-то пестрые картинки. Шаг утерял резкость, палки работали как попало, а руки, сжимавшие их, ослабли и скользили по ним. Лыжи казались огромными, вытесанными из камня, кружки на палках расплывались. Что это, полное изнеможение? Слишком резко рванул вначале? К счастью, в этот момент не было подъема. Но вскоре он начался. Сорок второй изо всех сил карабкался наверх, спотыкаясь, скрипя зубами. Он вдруг вспомнил об одном хозяине из своей родной деревни, солидном, верующем и большом острослове. Как-то раз тот сказал, что спортсмен должен находиться в сильном нервном возбуждении, чтобы добиться победы. На это хозяин заметил: «Нет. Возбуждения тут мало. Спортсмен должен быть безумцем от рождения...»

Сорок второй как раз и был одержимым отроду. Он знал, что пройти оставшиеся километры — дело совсем не шуточное. Это борьба, жизнь, судьба. А жизнь требует вдохновения, безмерного упорства, безумия, страсти и ненависти...

Он достиг вершины и начал спуск. Но это оказалось ничуть не легче. Колени его дрожали. Временами он едва не налетал на стоявшие вокруг сосны.

А вскоре, впервые на этих состязаниях, он узнал, что значит уступить лыжню и дать дорогу человеку, который стремится обойти тебя и у которого еще есть силы на это. Сейчас его настигает тот, кого совсем недавно он обошел, а теперь сорок второй отставал от него — понемногу, но неотвратимо.

Затем возник пункт питания, находившийся на половине пути. Сорок второй услышал, что время его по-прежнему одно из лучших. Но при этом он понял, что шансы его заметно упали. Усталость не могла оставаться только его достоянием. Знатоки на старте, да и по всей стране, слушали и делали свои прогнозы:

«Мог бы идти и порасчетливее, парень».

Сорок второй принял пищу и двинулся дальше. Он явился сюда, чтобы пройти эти пятьдесят километров, и он пройдет их. Поев, он почувствовал, казалось, еще большую усталость. Скорость снизилась. Многие из тех, кого он обогнал, теперь перегнали его. Но сорок второй, стиснув зубы, напряг все силы и продолжал идти. Минуты тянулись невыносимо долго. Ему чудилось, что он уже многие часы бредет по снежным просторам. Но дух его и тело были закалены — недаром он свалил тысячу деревьев, перевез тысячу тачек с глиной, проделал тысячи километров по обильно политой пóтом лыжне. И он шел и шел вперед.

А затем появилось то, чего он ждал все время. Появилось так называемое «второе дыхание». Усталость исчезла так же внезапно, как появилась. Шаг стал резким, руки крепко сжимали палки, мощно ими

отталкивались. Скорость заметно возросла. В глазах вновь загорался огонь надежды, когда с высоты холма он обращал взгляд в сторону финиша, через белизну снегов и зелень лесов, к небесной синеве.

Километры мелькали один за другим. Он снова настиг и обогнал своих соперников, подавив их превосходством своей скорости. На последнем контрольном пункте его встретил неистовый крик восторга. Усталость вновь начала охватывать все тело, но финиш был недалек. Появились группы зрителей, встречавших его криком. Он понял, что его выделяют. Значит, он в числе лидеров. Он еще не знал, что лыжный король этой зимы уже закончил гонку, проиграв во времени зарубежному гостю. И теперь народ возлагал свои надежды на него, новичка.

Смотри-ка! Вон та хорошенькая девушка взглянула на часы и крикнула промчавшемуся мимо сорок второму:

— На десять секунд впереди!

Сорок второй ясно услышал это. Но одновременно услышал он и другое — призрачные голоса, в глазах его замелькали пестрые блики. Тем не менее он продолжал бежать. А рядом с ним, в такой близости от финиша, один из участников сошел с дистанции. Отдых — прекрасная штука, но не для сорок второго: у него преимущество всего в несколько секунд. И вот, наконец, он на вершине последнего холма — оттуда уже виден город, синее небо, флаг, развевающийся на ветру, и толпа. Он услышал крик. И понял, что заветные секунды завоеваны. Он — победитель. Ни один из закончивших гонку не прошел дистанцию быстрее, ни один из тех, кто еще был на дистанции, уже не мог его достать.

Победа! Но он победитель лишь этой пятидесятикилометровой гонки. Следующей зимой от этой лыжни не останется и следа и новые лыжни, новые результаты будут держать в напряжении людские души. И все же сорок второй всем своим существом ощутил прелесть победы. Она лежала на его плечах будто пятнистая шкура рыси, прекрасная и бесценная. В этом было нечто, ради чего стоило жить.

(1932)

У. Т. Квист

Дождливым, серым будничным днем, когда здравый смысл подсказывает, что надо сидеть дома, под защитой стен, если, конечно, ты имеешь такую возможность, пещерная теснота комнаты может подействовать угнетающе, если тебе нечем себя занять, а на душе неспокойно.

Одинокий человек вышел из своей комнаты, решив пойти в порт — посмотреть на морской простор и корабли, которые прибыли издалека и у которых было расписание и заранее определенные рейсы. Ему захотелось почувствовать дыхание ветра и пронизывающую сырость дождя сквозь тонкий плащ.

Вода барабанила по жести крыш, мокрая улица блестела в свете фонарей, с шумом проносились машины, спешили прохожие, которые, несмотря на свою целеустремленность, казались тенями, спешащими неизвестно куда. Однако у большинства, очевидно, было свое расписание и заранее определенный рейс.

Определенное намерение было и у одинокого человека: увидеть порт, корабли и море, ощутить ветер и пронизывающую сырость дождя. Но случайно взгляд его задержался на окне букинистической лав-

ки. Он остановился. Темно-красный орнамент на обложке одной из книг приковал его к месту. Эта темно-красная книга манила его. Она открывала неизведанный путь, обещала новые переживания в мире, именуемом литературой. Она сулила водоворот фантазии, новых впечатлений, которые хотя бы ненадолго захлестнут эти серые дни и бездеятельную, бесполезную жизнь.

Одинокий человек знал, что это для него роскошь, которая сократит число сытых дней и ночей, проведенных под крышей. Но соблазн был неодолим. Можно считать, что темно-красная книга уже похитила у него ночлег и пищу на ближайшее будущее.

Золотая вещица! Золотая вещица у него в кармане была еще более нелепой роскошью, чем эта книга, пусть даже с ней связано воспоминание, которое само по себе теперь уже тоже роскошь... Пусть она лучше принесет ему новые впечатления, водоворот фантазии, чем немного скудной пищи, которая поможет протянуть еще несколько серых, мрачных дней.

Одинокий человек даже не пошел смотреть на море и на корабли. Он отыскал на одной из улиц витрину, в которой были выставлены старинные изделия из металла и висело объявление, написанное синим карандашом, и вошел внутрь.

Он очутился в тесном подвальчике, стены которого были уставлены полками, а полки забиты всякими металлическими изделиями, настольными принадлежностями, украшениями, часами. За прилавком возвышалась горой мадам, всем своим видом выражая сверхъестественное, ни с чем не сравнимое безразличие. Две молоденькие девушки обслуживали посетителей, которых в тот момент было двое.

Неряшливо одетый мужчина в высоких сапогах пытался продать закладную. Он просил за нее две десятки.

— Десять марок,— снисходительным тоном произнесла девушка.

— Дайте хоть пятнадцать!

Девушка протянула бумагу мадам, которая, едва удостоив ее взглядом, коротко бросила одно-единственное слово на иностранном языке. А девушка тем временем уже углубилась в проверку большой кучи векселей, лежавших на столе, на что ушла целая минута, после чего она сказала клиенту, кивнув на его бумагу, лежавшую на прилавке:

— Нас это вообще не интересует...

Мужчина взял свою бумагу, повернулся и пошел — наверное, куда-то еще, продолжать попытки обменять ее на что-то необходимое, может быть, на еду, ночлег, а может быть, и на спиртное.

В другом конце прилавка упитанная дама — то ли совладелица, то ли клиент — обменивалась с мадам фразами на иностранном языке. С ней были две огромные собаки — одна растянулась на диване, а другая обнюхивала штаны одинокого мужчины. И одинокий мужчина недоуменно подумал, какими же достоинствами должны обладать эти собаки, чтобы оправдать расходы на свое содержание...

Переговоры между двумя женщинами, видимо, закончились, так как мадам вытащила из складок своей юбки пачку денег и бросила на прилавок несколько бумажек с прежним несокрушимым безразличием.

В сознании одинокого мужчины возник образ библейского храма, из которого кнутом выгоняли менял,— сейчас он с удовольствием услышал бы свист этого кнута.

Теперь настала его очередь. Девушка через увеличительное стекло внимательно рассмотрела его вещицу и взвесила на маленьких весах. Затем взяла карандаш, произвела расчеты и объявила как бы в пустоту предлагаемую цену.

Одинокий мужчина подумал, что ей, собственно, ни к чему утруждать себя вежливой профессиональной улыбкой продавщицы, обслуживающей клиента. В заведениях такого рода хорошо знали, что клиентов приводит сюда нужда.

— Это же бессовестно мало,— сказал одинокий мужчина. По правде говоря, он не знал настоящей цены своей вещицы, но сказал это уверенно, не желая отдавать ее за бесценок.

Реплика одинокого мужчины не произвела никакого впечатления. Ему не удалось поднять цену ни на одну марку. Он отдал свою золотую вещицу, ему отсчитали деньги, и он вышел на улицу, раздумывая, что станет массивная мадам делать с пачкой денег, которую он на мгновение узрел... Неужели все новые и новые вещи лягут на уже забитые до отказа полки? А затем их сбудут с прибылью — сделки, сделки, а за ними — прочное, как скала, чувство безопасности и благополучия, даваемое ассигнациями...

Он вернулся к витрине со старыми книгами и вошел в лавку, где бескрайние ряды книг вызывали в воображении пустыню, несущую смерть, и манящие лесные дебри. У каждой из этих более или менее потрепанных книг была своя частная жизнь. В мире книг они были искателями приключений.

Одинокий мужчина получил свою книгу в темно-красном переплете, хотя и пришлось заплатить за нее значительно больше, чем он предполагал. Хозяин магазина, говоривший на ломаном финском языке, был прирожденный торговец и знал людей. Он сразу понял, что одинокий человек не уйдет из магазина без этой книги.

Одинокий мужчина быстрыми шагами направился домой — он шел целеустремленно, как человек, имеющий вес в обществе. Ему казалось, что он несет под мышкой целый водоем, в котором омоется и освежится его душа.

Одинокий мужчина читал книгу, которая с витрины букинистической лавки предопределила некоторые его поступки. Читал он ее медленно, наслаждаясь, покуривая и размышляя. Эта книга была словно тундра на далеком севере, она требовала усилий и пота, как при восхождении наверх, но шаг за шагом расширялся обзор и прохладный ветер вершин освежающе обдувал странника.

Книга была на иностранном языке — предыдущий читатель карандашом написал на полях перевод отдельных слов и целых фраз. Их можно было изучать, как надписи, вырезанные на стене одинокой избушки в тундре. На титульном листе остались небрежно стертые дата и даже имя прежнего владельца: У. Т. Квист. Имя, ни о чем не говорящее, но, судя по заметкам, человек этот учил в то время язык; почерк его свидетельствовал об уравновешенном характере, беспрекословно следующем принятым канонам,— стандартный человек. Но почему он расстался с этой книгой? Она выполнила свое назначение и как ненужное бремя, в соответствии с принципами коммерции, была превращена в деньги? Или же это было продиктовано крайней нуждой?

Со страниц книги на одинокого мужчину как бы смотрел его двойник. Экономический кризис, безработица, сбережения на исходе, нужда... Тот человек приобрел эту книгу в начале кризиса, чтобы учиться, не терять времени даром, но вынужден был отказаться от нее во имя нескольких марок на ночлег, на кусок хлеба...

Одинокий мужчина не раздумывал больше над судьбой прежнего владельца книги с темно-красным орнаментом. Но однажды, сидя

в харчевне, он случайно взял в руки газету месячной давности и в гуще газетных строк глаза его наткнулись на короткую заметку:

«Сегодня в 10.45 неподалеку от лодочной пристани, в заливе у зоопарка, был найден труп утонувшего мужчины. Утопленник был опознан — им оказался конторский служащий У. Т. Квист, пропавший без вести после 11-го сего месяца. Подробности происшествия неизвестны. В кармане утопленника найдена регистрационная карточка безработного. Покойный был не женат».

Так этот незнакомый ему господин У. Т. Квист, благодаря заметке в заштатной газете, вновь вынырнул на поверхность, хоть уже и покойником, чтобы оповестить о судьбе, постигшей владельца одной иностранной книги. Одинокий мужчина увидел, как призрак с расплывающимися контурами входит в букинистическую лавку с книгой под мышкой — книгой, означавшей для него последнюю пищу, которую он съест, последние папиросы, которые он выкурит, прежде чем грязная вода морского залива положит всему конец. Но почему какие-то разрозненные, незначительные факты вызвали призрак этого человека в его воображении? Что общего могло быть у него с ним? Не то ли, что оба они — из тех, кого кризис вышвырнул на обочину жизненного пути? И не увидел ли он перед собой дорогу, по которой и ему предстоит вскоре проследовать?

Одинокий мужчина вышел из харчевни и отправился спать, но сон его был беспокойным, полным видений. Конторский служащий У. Т. Квист поднялся из морских глубин и земных недр, чтобы показать ему последние эпизоды своих земных скитаний. Одинокий мужчина увидел все это так живо, картины мелькали в его воображении, с такой быстротой сменяя друг друга, как это бывает только во сне.

Проснувшись, одинокий мужчина продолжал помнить все, что видел во сне. Ему казалось теперь, будто У. Т. Квист был его хорошим знакомым, близким человеком, а не порождением газетных строк. Он относился ко всему, связанному с этим человеком, с таким душевным волнением, как будто был знаком с У. Т. Квистом десятки лет, знал о нем все, тысячи раз здоровался с ним на улице.

Молодой конторский служащий У. Т. Квист сидел однажды вечером в ресторане, в период так называемого «экономического подъема».

Все столики были заняты. Музыка, гомон, танцы, красные раки и прозрачное, искристое вино. В стране тогда была изобретена «великая афера» — сухой закон, в то время как бутылки с алкогольными напитками покачивались на подносах, стояли на столиках, а содержимое их насыщало утробы гостей.

Друзья привезли сюда У. Т. Квиста, подающего надежды молодого человека, чтобы развлечься и отдохнуть. У господина У. Т. Квиста были серьезные намерения и большие планы. Он продолжал учиться, как будто не был уже конторским служащим с приличным положением и перспективой хорошей карьеры. Если бы не друзья, он так и остался бы в стороне от светской жизни, которую многие из них считали единственно стоящей.

Жизнь еще не успела обломать У. Т. Квиста. Это был безупречно одетый, сдержанный, серьезный молодой человек. Он не страдал никакими пороками, хотя и принадлежал к поколению послевоенной молодежи. Если, конечно, не считать пороком способность много выпить и не пьянеть. Он был из числа тех, кого называли «опорой общества». Верил в частное предпринимательство и свободу личности. Счи-

тал, что если человек в этом мире не преуспел, значит виноват он сам. Знания и труд всегда найдут свое место и уважение в обществе, хотя современное социальное законодательство воспитывает в человеке безынициативность, нерадивость, лень.

Но хватит об этом. У. Т. Квист заходил весьма далеко в своих суждениях по социальным вопросам. У каждого есть свое «я», свое тело, своя душа, о которой никто, кроме тебя самого, не обязан заботиться.

Таким был этот молодой конторский служащий, который однажды вечером развлекался в ресторане в годы так называемого «экономического подъема».

В тот же вечер и в том же ресторане сидел и неизвестный мужчина. Он переживал свои лучшие дни, дни, когда он был еще молод и обеспечен. Он болтал без перебоя, то и дело вскакивал, пытался закурить папиросу не с той стороны, переходил от столика к столику.

Но У. Т. Квист остался ему неизвестен. Они развлекались каждый в своей компании. Они не могли и предположить, что их жизненные пути соединятся парой строчек в газете, когда подающий надежды молодой человек У. Т. Квист найдет свой конец в грязных прибрежных морских водах, а одинокий мужчина почувствует, что судьба влечет его в том же направлении.

Затем наступил экономический кризис — явление, которое, как утверждали противники существующего строя, объясняется пороками капиталистической системы. Его можно избежать, только установив новый, более рациональный общественный строй. Но приверженцы и хранители нынешнего строя утверждали, что кризис — это явление естественное и неизбежное, как лето и зима. Формирование общественного строя достигло вершины своего развития. Лучшего не было, нет и не будет.

Тысячи и тысячи рабочих оказывались выброшенными на улицу. Конторский служащий У. Т. Квист относился к этому сравнительно спокойно. Это явление коснется, видимо, только более низкой категории трудящихся, быстро пройдет и будет хорошим уроком тем, кто ведет борьбу за повышение заработной платы. Однако скоро стало ясно, что едва ли кому-либо удастся выбраться из этой заварухи целым и невредимым. Торговля стала сворачиваться, так как оставшиеся без жалованья рабочие не могли ничего покупать. Дирекция предприятия запланировала сокращение издержек и уменьшила число служащих. Число безработных возрастало, и оставшиеся за бортом служащие могли уповать лишь на случай — авось лошадиная подкова принесет счастье.

Затем наступил день, когда уволили и У. Т. Квиста. Для него это было в некотором роде неожиданностью. Он ведь работал в фирме со дня ее основания и был убежден, что является одним из самых способных служащих. Но борьба за существование и родственные связи решили дело. Унизительные походы на поклон к начальству не помогли, и господин У. Т. Квист вдруг обнаружил, что он безработный, человек без всяких занятий.

Он не очень испугался. Он верил в то, что образованность и трудолюбие всегда найдут признание, хотя, возможно, и не сразу. Кроме того, у него были небольшие сбережения. Подыскивая новую работу, он мог пока подучиться, чтобы расширить свои знания, например, в области иностранных языков.

Но время шло, а работу найти никак не удавалось, да и учение не идет на ум, когда не ясно, для чего, собственно, учишься. Настал день, когда У. Т. Квист обнаружил, что его сбережения на исходе и

теперь нагрянула уже настоящая беда. У него не было влиятельных родственников, а знакомые за это время стали намеренно или ненамеренно избегать его. У работников же умственного труда нет ни профсоюзов, ни касс взаимопомощи, ни даже государственных общественных работ, которые, например, давали возможность людям физического труда перебиться до наступления лучших времен. Впрочем, У. Т. Квист и не стал бы прибегать к такого рода помощи. Ведь он же всегда выступал против социального обеспечения, располагающего к безделью, деморализующего личность и подтачивающего устои общества.

Но теперешнее положение представило ему все в новом свете. В этом можно было признаться самому себе и даже кое-кому из знакомых — конечно, шепотком, один на один. Правда, была еще и мужская гордость, которая удерживала от громогласного признания своих ошибок. Это было бы уже признаком слабости, да к тому же могло лишить последних возможностей найти работу.

У. Т. Квисту оставалось только постепенно переправить имевшиеся у него ценности — всякие мелкие вещицы — в ломбард. Затем пришел черед и необходимым вещам. В глубине ломбарда скоро утонули и костюмы У. Т. Квиста — теперь он был уже так одет, что на улице его сразу причисляли к разряду так называемых «видавших лучшие дни людей».

К этому времени возможность получения работы стала уже практически нереальной.

У господина У. Т. Квиста была одна знакомая. Собственно, еще недавно, в лучшие дни, их брак считался делом решенным.

Но сейчас эта женщина тоже осталась без работы. Хотя она была продавщицей высокой квалификации и обладала приятной внешностью, что-то помешало ей в эти трудные времена сохранить свое место или найти другое.

Несмотря на то, что оба они были безработные и ни один не располагал поддержкой влиятельных родственников или знакомых, У. Т. Квист считал, что их положение никак нельзя назвать одинаковым, более того: оно прямо противоположно. Для него, мужчины, бедность в моральном плане являлась своеобразной смирительной рубашкой. Отсутствие денег установило строгие и непреодолимые границы воздержания в удовлетворении своих жизненных потребностей. А для женщины — возможно, и для его Елены — бедность и отсутствие денег могли привести к большому искушению. У женщины на крайний случай всегда есть так называемая «древнейшая в мире профессия», которая дает возможность прокормиться, торгуя своими женскими прелестями.

Так что безработица для женщины в некотором роде сводилась к проблеме нравственного порядка. Но У. Т. Квист верил, по крайней мере пока, что вопрос не встанет так перед его Еленой.

Елена же, лишившись работы, оказалась сразу в положении, в которое У. Т. Квист попал только после многих месяцев безработицы. Она получала меньше его, и у нее отсутствовала та поистине муравьиная склонность к накоплению, которая была свойственна ее другу. Поэтому она сразу же была вынуждена познакомиться с особого рода ломбардом через некоторых своих подруг. Подруги эти тоже были жертвами кризиса, выбросившего их на улицу. После более или менее упорного сопротивления они сдались и содержали себя с помощью профессии, которая и теперь приносила доход, несмотря на большую конкуренцию. Таким образом, Елена очень быстро оказалась на опасном рубеже. А не унизительнее ли, думала она, принимать в виде подаяния то, что другие получают за свои услуги? Не луч-

ше ли работать самой, чем предоставлять работать другим и сохранять таким образом мнимую чистоту?

Однажды вечером, отправившись со своими подружками в кабаре, которое было одним из лучших рынков сбыта такого товара, и выпив немного спиртного, Елена совершила свою первую относительно выгодную торговую сделку. Но она не сказала об этом своему другу, отчасти, наверно, по той причине, что У. Т. Квист под влиянием безработицы, жалкого существования и безнадежности дошел до такого душевного состояния, что его реакцию было невозможно предугадать.

Поэтому У. Т. Квист ничего и не знал о делах своей подруги. Правда, он о многом догадывался, но, боясь, что его предположения могут оказаться верными, ничего не предпринимал для их уточнения.

Наступил день, когда У. Т. Квист вынужден был съехать с квартиры, которую он до последнего момента пытался сохранить. Только теперь он понял, как это было глупо. Потому что летом, теплым летом, можно было кое-как прожить и под открытым небом. Теперь же приближалась осень, а все средства были исчерпаны.

Он мучительно искал. Что бы еще обратить в деньги, а затем в пищу, тепло, жизнь, и нашел несколько книг, в том числе и те, что приобрел в начале безработицы, чтобы совершенствовать свое образование. Каким далеким казалось ему теперь это время! Насколько нелепым и наивно чистым представлялось его тогдашнее душевное состояние!

Теперь с этими книгами надо расстаться хотя бы уже потому, что у него нет жилья и негде больше их хранить. Он стер с них резинкой свою фамилию и продал за весьма небольшую сумму букинисту.

Вечером он допоздна бродил по улицам. Жить ему было негде. Наступила полночь, и из различных увеселительных заведений хлынул на улицу поток людей. Это были люди, не обремененные заботами, некоторые из них что-то напевали, выписывая ногами кренделя по тротуару. У них еще были деньги, работа, они еще жили. Они были людьми. Тогда как некий У. Т. Квист существовал только теоретически... Его карьеру конторского служащего можно было уже изучать как окаменелость под наслоениями безработицы.

Неподалеку от одного из ресторанов он увидел картину, которая надолго пригвоздила его к тротуару. Женщина, вышедшая из ресторана в сопровождении какого-то мужчины, была не кем иным, как Еленой. Ее стройная фигура впорхнула в автомобиль, за ней последовал мужчина, мотор заворчал, и задние красные фары автомобиля замигали У. Т. Квисту как бы с издевкой.

Он долго стоял на месте. Он вдруг почувствовал огромное, давящее одиночество. Он был без работы, без дома, по сути дела без денег, если не считать нескольких оставшихся ассигнаций,— и у него не было больше Елены. Значит, эта женщина решила свои жизненные проблемы. Но У. Т. Квисту еще не удалось сделать этого и не удастся. Он никогда больше не достанет денег. А деньги — неотъемлемая часть жизни. И когда кончатся деньги, придет конец всему...

Он поднялся по ступеням ресторана и машинально сел за свободный столик. Он заказал порцию спиртного, подсчитав прежде свои капиталы. Теперь их можно истратить до последней марки. Все равно их хватило бы ненадолго.

Он пил, не обращая внимания на соседей, музыку, танцы, на шум голосов, возбужденных от алкоголя. Он сидел с отсутствующим ви-

дом и курил — папиросу за папиросой. Когда ресторан начал пустеть, он расплатился и, пошатываясь, вышел на улицу.

Денег не было, нечего было и заложить. Все, конец. Он шел по притихшим улицам, ничего не видя,— дитя, порожденное правилами и стандартами установившегося жизненного уклада, дитя, заблудившееся в дремучем лесу. Он не обладал способностью жить, не думая, где будет есть и где приклонит голову на ночь. Он не обладал несокрушимой отвагой и жизнелюбием бродяги.

Он шел, покачиваясь, сначала по освещенным, затем по менее освещенным улицам. И ушел в мягкую тьму осенней ночи, а несколько дней спустя в зарослях газетных страниц появилось то маленькое, едва заметное объявление, которое некий одинокий мужчина случайно заметил примерно месяц спустя.

Обстоятельства собственной жизни, а также книга, купленная у букиниста, привели к тому, что эта заметка воссоздала в его душе вехи жизни конторского служащего У. Т. Квиста.

Была рождественская неделя. На торговых улицах городского центра висели гирлянды, на башне какого-то ресторана ярко горела звезда, свет реклам пылал северным сиянием, витрины дышали изобилием и красотой. Улицы и магазины были полны покупателей. Деньги меняли владельцев. Ярмарочный праздник по случаю рождения сына одного плотника достиг своего апогея.

Глядя на эти пестрые картины, человек поверхностный едва ли заметил бы какие-либо признаки так называемого «мирового экономического кризиса». Плохо одетый ребенок, играющий на скрипке, рядом с ним — калека и иссохшая женщина, робким и умоляющим голосом предлагающая купить шнурки для ботинок,— все эти мелочи вписывались в пейзаж, не обращая на себя внимания.

Одинокий человек шагал по улице с пакетом, в котором была темно-красная книга. Он вошел в тот самый магазин, где месяца два назад купил ее.

— Да здравствует торговля и мореплавание,— воскликнул он.— Какова цена на это произведение?

Цена оказалась отнюдь не соответствующей тем живительным сокам, которые почерпнул одинокий мужчина из этой книги. Но все же он продал ее ради пищи и табака.

(1931)

■

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ

День нетерпения

РОМАН

Перевод с болгарского ЛИДИИ БАША

Этот простофиля Трендафил

Каждый день в половине первого, когда солнце над объектом раскалялось добела, рабочие — потные, усталые, отупевшие от жары — шли в буфет купить себе колбасы. И всегда в этот час они видели сидящего у входа в склад с полупогасшей сигаретой в зубах этого простофилю Трендафила.

В летнюю пору, если бы не река, не видневшаяся вдалеке привядшая зелень и не поднимающиеся корпуса химического комбината, огромное болото, покрытое двухметровым слоем серовато-коричневой гальки, казалось бы пустыней. Контуры Экспериментальной базы напоминали странное сооружение древности, дающее несколько десятков метров густой тени. Кругом бессмысленно торчали массивные пилоны и пирамиды. Несмотря на непрестанное движение и шум — вереницы грузовиков, оставляющих за собой облака пыли, гул компрессоров, взлетающие в поблекшее небо стрелы кранов,— люди на объекте скорее походили на археологов, работающих на раскопках, чем на строителей и монтажников. Так во всяком случае это представлялось Трендафилу.

Он сидел, слегка прищурив от яркого солнца глаза, на грубо сколоченном стуле перед складом, и многим казалось, что всю свою жизнь он так и просидел на этом стуле. Лицо его, с большими доверчивыми глазами, было простодушно, в уголке рта неизменно дымилась сигарета; а когда он улыбался, прикрыв глаза, создавалось впечатление, будто улыбка эта припудрена цементом. Неизменность позы Трендафила была подкупающе симпатичной и в то же время непонятной. Ее не могли объяснить не чем иным, как чудаковатостью, глупостью Трендафила.

Но его любили. Он всегда готов был услужить каждому — кому ссудить пятьдесят стотинок, кому дать глоток холодной воды или добрый совет. Он слушал всегда очень внимательно, сохраняя полную неподвижность.

Было даже странным, что тогда как на объекте с каждым днем все менялось, вырастая хоть на метр ввысь и вширь, физиономия

Продолжение. Начало см. в № 3.

Трендафила и его поза оставались тем единственно неизменным, с чего здесь все началось.

Никто не знал, откуда приехал на стройку Трендафил, чем занимался прежде, почему не любит рассказывать о себе. Не было и никаких особых доказательств его глупости, но рабочие считали его простофилей, потому что сам он не утверждал обратного. И эта прекрасная черта — непритязательность — вызывала к нему доверие, а привычка встречать его в обеденный перерыв превратилась в потребность.

Трендафил неизменно носил широкие клетчатые брюки, которые вызывали насмешек куда больше, чем они того заслуживали; на его белой рубашке зеленели тирольские подтяжки с огромным серебряным эдельвейсом. Довольно полный и меланхоличный Трендафил был похож на кота, всегда готового к прыжку,— когда ему приходилось принимать или выдавать материалы, он был энергичен, подвижен. В остальное время Трендафил либо поливал буйно разросшуюся тыкву, собственноручно им посаженную, либо же курил перед складом.

— Тренда, ты сокращаешь нам жизнь из-за этого лопоухого чудища! — сердились шоферы, которым приходилось совершать дьявольски трудные маневры, чтобы не раздавить широкие желтовато-зеленые листья растения.

Но Трендафил только улыбался и спокойно поглаживал эдельвейс, который почему-то вместо груди украшал его круглый живот.

Однажды в разговоре с инженером-химиком Борко Тасевым главный механик Килкин назвал Трендафила «мое самое большое открытие». И словно желая еще раз убедиться в этом, он поглядел туда, где мешки с цементом и панели стояли в таком же строгом порядке, как пузырьки с лекарствами стоят на аптечной полке.

— Вот за это я и называю его мастером складского дела,— заключил он устало, разморенный жарой.

— Малость глуповат он, недаром голова у него как переспелый арбуз.

Килкина не задело это замечание Тасева — он был убежден, что честность бай Трендафила была куда весомее его умственных способностей. Он повел джип сразу на третьей скорости и принялся насвистывать модную песенку.

— Ты прав,— немного погодя согласился Борко Тасев,— но голова у него действительно непомерно велика. Она пугает меня... опасная голова!

Товарищ Петров, представлявший столичный финансовый орган, копошился в складе, как голодная мышь в древесных стружках. Он таскал с собой огромный черный портфель, то и дело расчесывал гребенкой на темени три десятка волосинок и непрерывно повторял:

— Н-да... так я и предполагал.

Он прибыл совершенно неожиданно на черной «волге», представился и, не дожидаясь того, чтобы Трендафил свыкся с мыслью о его приезде, принялся барабанить пальцами по письменному столу. Деревянный сараюшко, служивший Трендафилу канцелярией, скрипел от порывов горячего дунайского ветра. Монотонно и нудно тикал будильник, из транзистора, стоящего на шкафу с документацией, лилась тягучая народная песня. Вот тогда-то товарищ Петров и произнес впервые:

— Н-да... так я и предполагал.

Трендафил сочувственно поглядел на его поблекшую, ничем не

приметную физиономию, на запыленный черный костюм агента похоронного бюро и предложил показать ему дорогу на пляж.

— Мерси,— ответил с французским прононсом товарищ Петров, не выражая интонацией ни согласия, ни отрицания и продолжая еще минут десять отстукивать пальцами по потускневшей полировке рассохшегося стола.

Он то ли сосредоточивался, то ли отдыхал, бесцветные глаза его понемногу оживлялись, и все это было настолько скучно, что Трендафил зевнул несколько раз. Товарищ Петров резко встал, поправил торжественно узел галстука — черного, с грязновато-белыми точками. На лице его вдруг появилось выражение решительности, острый длинный нос почти смыкался с изогнутым кверху подбородком, а лысина, освещенная красными лучами заходящего солнца, блестела, как выпуклая медная пластинка.

Два часа ходили они вокруг склада; в старые сандалии Трендафила набралось много пыли, а галька мрачно скрипела под его ногами, тогда как товарищ Петров ступал бесшумно и его старые штиблеты со стоптанными каблуками остались совершенно чистыми. Он даже не расстегнул пиджака. Останавливаясь под каждым навесом, он жадно ощупывал глазами штабеля мешков с цементом, каждую груду песка и негашеной извести, которая, растрескиваясь от жары, серебрилась на солнце. Сторожевой пес — рыжая дворняга, помесь овчарки и сенбернара — бросился было на товарища Петрова, натянул остервенело звенящую цепь, ощерил свои желтые медвежьи зубы. Пес захлебывался от бессильной ярости, а товарищ Петров, вынув из кармана карамельку, спокойно прожевал ее и с какой-то глубокой тоской произнес:

— Н-да... так я и предполагал.

Трендафил, не понимая, что «предполагал» товарищ Петров, не мог уже сидеть, как обычно, возле своей канцелярии и курить сигарету. И хотя ему нечего было бояться, эта неожиданная и поспешная проверка все же его обижала, выбивала из колеи.

Уже одно то, как товарищ Петров вошел в склад, могло насторожить каждого, но только сейчас Трендафил осознал всю меру опасности — ведь он словно бы находился в открытом поле и кто-то непрерывно наблюдал за ним, следил за каждым его действием.

Узнав о приезде ревизора, Трендафил, возможно, сперва и испугался бы, но войди товарищ Петров к нему как-то иначе, все было бы по-иному. Ведь посмотрев друг на друга, они могли бы увидеть, что они люди равные. Они могли быть просто двумя работниками, готовыми совместно проверять документацию, обшаривать запыленные навесы. Но они не были равными! Товарищ Петров сразу же стал проверяющим, а Трендафил проверяемым. Между ними уже заранее было запрограммировано отсутствие такого обычного для людей состояния, как доверие. Не был установлен нормальный человеческий контакт.

Когда Трендафил при знакомстве пожимал руку товарища Петрова, у него создалось впечатление, будто он держит в ладони рукоятку лопаты. Трендафил, конечно, сознавал, что сам он звезд с неба не хватает,— но ведь прожил уже честно сорок лет и как-никак кое-чего набрался. Он давно понял, что на свете многое случается, но не с каждым и не всегда. Не течет же, например, река вспять, а это означает, что в известной мере он может питать доверие к реке. Доверием для него было не что иное, как естественное понимание, что не все может произойти.

Они вошли в канцелярию усталые, настороженные. Товарищ Петров улыбался, хотя это было скорее жалкое подобие улыбки, и

его невыразительные коричневатые глаза, казалось, спрашивали: «А есть ли смысл обманывать друг друга? Ты же меня знаешь, будь так добр, признайся...»

Он отодвинул бутылку «Плиски», стоявшую на письменном столе, чтобы освободить себе место для пальцев, и снова принялся постукивать. Товарищ Петров не отстранил бутылку, нет, он просто освободил место для своих пальцев. Его тонкая, чистая рука производила впечатление третьего человека в этой комнате.

«Я не могу на него сердиться, он обязан все проверить»,— пытался убедить себя Трендафил и прижимал к груди серебряный эдельвейс. Но мучителен был сам факт, что ревизор явился проверять не склад, а свое доверие к Трендафилу.

И Трендафил сдал. Он почувствовал, что в глазах Петрова из София он представляет не что иное, как складской инвентарь. Ему стало страшно и больно, что его — живого человека — приравнивают к мешкам цемента, к ржавым водопроводным трубам, к негашеной извести. Ему хотелось сказать, что весь вверенный ему инвентарь находится в полном порядке и готов для проверки именно потому, что он мертвый...

И чувство недоверия, угасшее было на миг, вспыхнуло с новой силой у обоих.

«Боже, боже! К чему это может привести, если я не верю ревизору?» — размышлял Трендафил, убежденный в своей честности.

Весь следующий день Трендафил неотрывно смотрел в окно, наблюдал за товарищем Петровым, который со счастливо-надменным видом перелистывал папки с документацией и жевал свои карамельки.

Его голое темя смахивало на желтую автомобильную фару, а замедленные стариковские движения удивительно соответствовали его черному поношенному костюму. Всем своим видом он напоминал тощую охотничью собаку, которая из последних сил продолжает преследовать зайца несмотря на то, что слишком отдалилась от охотника. Время от времени он тер уставшие глаза, отнюдь не рассчитывая на сочувствие. Он ведь не верил...

И постепенно Трендафил стал задумываться — кого же все-таки представляет товарищ Петров: большую правду жизни или же свою собственную персону весом в пятьдесят килограммов; строгую беспристрастность закона, имеющего равную силу для всех, или же свою личную верность ему? Трендафил дошел до крайности — он уже ни во что не ставил собственную безупречную честность. Самый смысл его жизни, казалось, был вверен теперь чужим рукам. Белые, чистые, они рылись в ворохах бумаги с колонками цифр, словно бы вычисляя душу Трендафила. Ему хотелось объясниться с товарищем Петровым, но ему не хватало тех слов, с помощью которых он мог бы выразить, а тот — постигнуть все это. И в конце концов он пришел к выводу: «Товарищ Петров представляет самого себя, но себя как проверяющего!»

В долгий час летнего заката Трендафил напитывался прохладой, сидя у себя во дворе под шелковицей и слушая шелест ее листвы. Он сидел, покачивая рваным шлепанцем, перед неказистым кухонным столом, десятки раз залитым жиром и вином. Вокруг вились осы и остервенело накидывались на падавшие в пыль крупные темно-синие ягоды шелковицы. Трендафил сидел точно так же, как обычно сидел перед складом. Его уставшее за день тело и измученная душа жаждали покоя. Глаза его, всегда прищуренные, следили за по-

летом ласточек, которые, казалось, завязывали красивым узлом галстуки вокруг замшелой кровли старого дома. В эти часы соседи обычно делали вид, что не замечают Трендафила; кто с сочувствием, кто со злорадством проходил мимо его забора и мысленно отмечал: «Бедняга Трендафил опять ждет свою жену!»

Трендафил выкурил полпачки сигарет, не двинувшись с места, потом вдруг заметил на улице стройный силуэт жены, неуклюже поднялся и вошел в дом.

В синеватом полумраке маленькой гостиной ярко вырисовывались бежевые кресла, купленные в Софии, модный книжный шкаф, составленный из десяти секций, полированный ореховый столик и оранжевая скатерка, которой Павлина накрывала телевизор. Осторожно ступая по новому ковру из козьей шерсти, на покупку которого ему пришлось занять шестьдесят левов, и боясь, как бы эта толстая рыжая ткань не развалилась под ногами, Трендафил направился к телевизору и включил его. Затем подошел к полке с десятком книг, вынул, как всегда, «Трех мушкетеров», раскрыл наугад и принялся внимательно читать.

Присутствие Павлины он почувствовал по легкому движению воздуха из бесшумно открытой ею двери. Трендафил не обернулся и с видом занятого человека перевернул последнюю страницу книги.

— Ты тут? — тихо спросила Павлина.

Голос ее был ласковым и мелодичным, но казалось, она спросила: «Тут есть кто-нибудь?» Шорох ее красного платья кружил возле него, и он медленно поднял на нее глаза. В свои тридцать два года она выглядела девушкой — красивое с мелкими чертами лицо, густые рыжеватые волосы и нежная длинная шея. Только в волевых зеленых глазах ощущалась зрелость.

— Я купила сосиски,— поспешно продолжала она и положила на стол сетку с продуктами.— Не простые, а куриные — ты ведь их любишь.

— Да,— ответил Трендафил и снова углубился в чтение, тщательно пытаясь связать отдельные фразы в единое целое.

Павлина что-то рассказывала; она, очевидно, сердилась, что ей приходится так долго говорить, потом вошла в спальню, и Трендафил краешком глаза заметил, как платье, словно змеиная кожа, сползло у нее до талии, обнажив стройные белые плечи.

— Да,— еще раз подтвердил Трендафил, загнул страницу и со вздохом положил книгу рядом с пакетиком сосисок.

Он всегда подходил к Павлине медленно, заранее чувствуя, как каменеет, невольно противясь ему, ее тело, а в зеленых глазах постепенно смягчается злость и набегают слезы — горькие, рожденные не трезвой расчетливостью зрелой женщины, а беспомощностью ребенка. Все это казалось Трендафилу и трогательным, и жалким; он стыдился своего отвисшего живота, втягивал его что есть сил, замирая от надежды и желания.

Трендафил прикрыл дверь, но Павлина уже надела другое платье, которое купила в Софии, и нервными движениями расчесывала перед зеркалом волосы.

— Мне надо уйти...— громко заговорила она.— Я должна ехать с шефом в Божурицу... Ты же сам заставил меня пойти работать в этот Совет...

— Да,— согласился Трендафил и закурил новую сигарету.

Он беспокоился, как бы не уронить пепел на родопские одеяла, которыми Павлина покрывала постель, боялся проявить невнимание к жене и с легкой усталостью подумал: «Мы одинаково боимся друг

друга, и это крепче всего нас связывает, без этого невозможно было бы наше совместное существование...»

— Конечно,— еще раз подтвердил Трендафил и загасил недокуренную сигарету в стеклянной пепельнице.

Трендафил обнял жену, заставив ее терпеть прикосновение своих рук. Он сознавал, что Павлина и не может его понять по-настоящему. Нормальный женский эгоизм заставлял ее всегда видеть вещи такими, какими они должны быть согласно ее пониманию, вот почему она и не могла бы постичь нынешнего страха Трендафила. С приездом ревизора он вдруг стал чувствовать за собой какую-то вину. Он получал деньги, потому что работал, но работал он не только для того, чтобы получать деньги... и вот как снег на голову сваливается этот странный мрачный человек из министерства, который имеет данное ему обществом право вмешиваться в его жизнь, который может во имя честности как таковой раздавить непоказную честность Трендафила.

«Я виновен. Но может ли человек быть виновным, если он не сделал ничего предосудительного?»

Эти мысли не оставляли его и дома, их не в силах были заглушить даже крепкие духи Павлины. Трендафил невольно пришел к заключению, что, может, он действительно виноват — и перед самим собой, и перед Павлиной. Он знал, что органически неприятен ей. Она прижалась к его отражению в зеркале своим отражением, и глаза ее наполнились слезами. Было отчаянно тихо, Трендафил, пересилив себя, повернулся и вышел.

В гостиной он раскрыл на загнутой странице «Трех мушкетеров» и принялся читать. Время от времени он поглядывал на экран телевизора или в окно. Когда Павлина бесшумно прошла за его спиной, Трендафил обернулся и ласково, по-отечески попросил:

— Мне надо сказать тебе что-то очень важное, понимаешь!

— Я не могу больше задерживаться,— торопливо ответила она и мягко закрыла за собой дверь.

После трех дней проверки на Трендафила как будто нашло смирение и покорность. Он скрывал нервозность даже от самого себя, стремился всячески услужить товарищу Петрову, чтобы лучше его узнать. Ему казалось, что в тот самый момент, когда он узнает о нем больше, все сразу же изменится, пойдет на лад.

Весь день они вместе ворошили папки с документацией, вместе обедали в столовой и снова проверяли бесконечные колонки цифр; под вечер они закусили в буфете. Трендафил был просто поражен энергией этого тщедушного человека. Но его поражало и другое — товарищ Петров съедал за обедом столько, сколько съедали Трендафил и еще двое рабочих. Поглощенный своими мыслями, он откусывал сразу пол-ломтя хлеба — нос его при этом почти соединялся с подбородком — и вслед за тем отправлял в рот несколько ложек супа. Жевал он с таким серьезным видом, словно от этого зависела его жизнь. Поев, собирал со стола крошки и аккуратно высыпал их в пустую тарелку.

Чтобы хорошо узнать другого и вызвать его на откровенный разговор, надо первым делом рассказать ему что-нибудь о себе, полагал Трендафил. И он скромно и тактично принялся рассказывать Петрову свою биографию. Но дойдя до женитьбы на Павлине, он неожиданно для самого себя отклонился в сторону и все предобеденное время говорил о чем угодно, только не об этом. Петров как будто мешал ему продолжать рассказ, самим своим присутствием вынуждал его топтаться на месте. А может, Трендафилу просто трудно было

объяснить, что Павлина скорее похожа на его дочь, чем на жену, хотя ей уже тридцать два года. Сначала это казалось ему смешным, потом наивным, а под конец — ужасно запутанным...

— Она только выглядит так молодо... А может быть, я быстро старею?... Пожалуй, не в этом дело. Просто я очень люблю свою жену... Но это не все могут понять. В нашем городе ценят другое!..

Отсутствие реакции и было единственной реакцией товарища Петрова на сказанное Трендафилом.

Трендафил приготовился было начать сызнова, но нервы у него напряглись до предела, и вдруг перед глазами все померкло — осталось лишь темя проверяющего...

Итак, минул четвертый день проверки, и Трендафил вернулся домой в половине девятого с ощущением собственной неполноценности.

Павлина уже легла, и он понимал — надо считаться с ее усталостью. В окно вливался яркий свет луны, он высвечивал тело Павлины, и простыня казалась неправдоподобно прозрачной.

Трендафил раздевался с тайной надеждой, что жена проснется. Он испытывал непреодолимое желание поговорить с Павлиной о Петрове, о том, что в его присутствии он может рассказывать только о ней. Ему хотелось заглянуть ей в глаза и прочитать в них правду об их совместной жизни. Он подбирал в уме те точные слова, которыми сможет объяснить ей свое состояние. Нежность к ней и к ее жизни, которой он почти не знал, переплеталась почему-то в его сознании с непроницаемой, вопрошающей физиономией Петрова.

Павлина притворилась, что спит глубоким сном. А Трендафил со смутной тоской думал: «Ничто в жизни не бывает просто. Все требует усилий—необходимы и мои усилия...» Тепло подушки лишь обострило в нем чувство одиночества — он ни с кем не мог поделиться своими мыслями, даже с самим собой.

Он не мог заснуть до поздней ночи. Простыни прилипали к его телу; голова разламывалась от теснившихся в ней точных и искренних слов, но из них почему-то составлялись длинные неясные фразы. А ведь они должны были ей все объяснить... Сомнения его час от часу росли, тихое равномерное дыхание Павлины обижало его.

«К чему нам эта мебель... И откуда у нас берется столько терпения — у меня и у Павлины... Нет, так жить невозможно. Все это фальшь!»

Но Трендафил понимал, что выяснять отношения с Павлиной он не будет, потому что это означало бы конец. Объяснение раскрыло бы невозможность их совместной жизни, и он испугался этого.

С разбухшей от горьких мыслей головой, Трендафил встал и поплелся на кухню, включил свет и вывел своим детским неровным почерком на старой квитанции за электричество:

«Завтра я должен сказать тебе что-то очень важное!»

На следующее утро Трендафил отправился на склад на полчаса раньше обычного. Товарищ Петров почему-то пришел с небольшим опозданием. Он был все в том же помятом костюме, залоснившиеся локти которого при каждом соприкосновении с солнечным лучом доброжелательно сияли. Порой, глядя на малорослого хлипкого ревизора, Трендафил пытался уверить себя, что Петров — самый обыкновенный, ничем не примечательный человек, и вовсе не такой уж он образованный, а весьма посредственный и, следовательно, не может

представлять для него опасности. Но тщетно. Ведь уже с первой минуты, как Петров вошел, как отрекомендовался, как сел на стул, Трендафил утратил уверенность. Неизменность этого человека, уже заранее в чем-то убежденного, была куда сильнее его собственной, и была она совсем иного рода.

Трендафил начал было снова рассказывать о себе, как вдруг на этажерке зазвонил будильник. Сразу же вся его жизнь словно испарилась из памяти, и он испугался, что опять станет говорить о складе, об удовольствии, которое он получает от работы, и он говорил об этом — долго и даже свободно. Множество серых навесов, огороженных густой сеткой колючей проволоки, представлялись ему соединительным звеном между ним и Петровым.

— Я, наверное, и родился, чтобы быть кладовщиком...

Трендафил хотел было продолжить свою мысль, но заметил, что Петров слушает его с явным недоверием. Как будто бы у Трендафила вовсе и нет любви к своему делу, что все это просто-напросто придумано, чтобы обелить себя, снять с себя вину. Словно бы Трендафил этим вымаливал себе что-то или давал взятку...

Он умолк, потрясенный; почувствовал, что краснеет, а это, конечно, заметил и Петров. Трендафил смущенно, как уличенный во лжи ребенок, отошел в сторону. Прогнившие половицы заскрипели под его ногами; проверяющий в эту минуту наблюдал в окно за разгрузкой наполненного до отказа самосвала, а его темя, как огромное, непроницаемое и всевидящее око, было обращено к Трендафилу.

Понадобился целый час, чтобы спало напряжение, возникшее между ними, и все это время Трендафила мучила мысль: «Но ведь я рассказываю ему о себе именно потому, что не хочу, чтобы он был ко мне снисходителен!»

Отдельные слова этой фразы метались и сталкивались в его сознании. Он, собственно, даже не успел составить ее полностью, но чувствовал ее. Петров трещал костяшками худых белых пальцев и непрерывно жевал карамельки. Голодный рыжий пес выл в глубине склада и позвякивал цепью; грузовики влетали на территорию Экспериментальной базы, как осы, и оставляли за собой темный пыльный хвост.

— Н-да, так я и предполагал...— раздался голос Петрова.

Трендафил снова заговорил о своей женитьбе на Павлине. Он был в полном отчаянии, но и не мог молчать — это причиняло ему почти физическую боль. Слыша свой срывающийся голос, Трендафил понимал, что слабеет, и всячески старался придать сказанному значительность и достоверность. Но слова его непрерывно наталкивались на тихий шепот инспектора, который, подсчитывая, вслух произносил цифры.

— Она у меня особенная... но меня любит тоже — понимаете? — с тревогой в голосе заключил Трендафил.

Последняя фраза не произвела на Петрова никакого впечатления; но из приличия он произнес, правда, подчеркнуто равнодушно, почесывая шариковой ручкой за ухом:

— Я не женат...

— Может, я мешаю вам своей болтовней...

— Да нет... Рассказывайте, рассказывайте...

И тогда Трендафил почувствовал, что вина его останется неизгладимой на всю жизнь. Товарищ Петров был не что иное, как сама правота, точно так же как дерево есть не что иное, как дерево. Ему стало ясно, что ревизору даже хочется его слушать, но он просто не умеет слушать.

Трендафил отвернулся, прислонился к подоконнику. Раздраже-

ние его нарастало; с досадой и злостью думал он и о товарище Петрове, и о Павлине, и о самом себе.

Во время обеда, когда Петров отправился в пятнадцатый раз мыть руки, Трендафил с отчаянья, желая хоть чем-то досадить ему, незаметно подлил в его тарелку с супом две ложки уксуса, от которых глаза на лоб полезут у каждого нормального человека. В столовой было шумно и суетливо; в густой говор вплетались позвякивание ложек, стук тарелок. За соседним столом какой-то пожилой бородач крошил на куске хлеба луковицу. Трендафил, опасливо поглядывая на него, поспешными, вороватыми движениями откупорил бутылку с уксусом и подлил его в тарелку Петрова. На всякий случай он еще всыпал в суп ревизора соли и плеснул растительного масла. Он походил на алхимика, устрашенного инквизицией.

Петров вернулся к столу с прежним задумчиво-озабоченным выражением. Отломив с серьезным видом половину ломтя хлеба, он отправил его в рот и влил туда же ложку супа. Трендафил замер, но никакой реакции не последовало — ведь проверяющий всегда все знал наперед и его ничем нельзя было ни удивить, ни прошибить.

— До чего же кислый сегодня суп — тьфу!..— не удержался все же сгоравший от нетерпения Трендафил и закурил сигарету.

— Нет, ничего, хороший...— И Петров, расправившись с супом, принялся за котлеты.

«Это такой человек, что ему и вредить-то бессмысленно. Он уверен, что если кто провинится в чем, то и права защищать себя не имеет»,— подумал Трендафил. Правда, он был не вполне уверен, что подумал именно это.

Товарищ Петров доел обед. Лицо его не выражало ни насмешки, ни презрения, ни ненависти, а одну лишь его *уверенность*. Он строго взглянул на часы и категорическим тоном сказал:

— Пора!

После обеда Трендафил перестал обращать внимание на проверяющего.

Как первоклассный боец, товарищ Петров подчинялся двум началам: своему долгу и своей воле. И Трендафил должен был ему покориться и признать все, чего он даже не совершал.

Трендафил теперь уже знал, что он сам представляет для себя опасность!

Вечером, дожидаясь Павлину, он долго сидел под шелковицей.

«Я же просил ее, я так просил ее...» — думал он, но эта мысль вызывала в нем не гнев, не обиду, а решимость.

К одиннадцати часам на него напала зевота, он вошел в дом. Сел у телевизора, утонув всем своим тяжелым телом в кресле, и принялся читать «Трех мушкетеров». Его решимость усиливалась. Он понимал, как необходима ему Павлина — ее презрение, та особая печальная поволока в ее глазах и ничем не примечательные фразы, которыми они обменивались... Время шло, а Павлина не приходила. «Три мушкетера» выскользнули из его рук на колени. И Трендафил заснул с нелепой мыслью: «С кем бы Павлина ни была и где бы она ни была, она все равно вернется...»

Утром его разбудил резкий звонок. Он с трудом приподнял свое онемевшее тело, зажмурился от яркого солнца, размялся немного и с недовольным видом направился к входной двери. Шлепанцы мягко

шаркали по полу, в коридоре сохранилась еще ночная прохлада, и сон его как рукой сняло.

На пороге стояла одна из сослуживиц Павлины — женщина лет сорока пяти, с довольно унылой физиономией.

— Извините, но вчера Павлины не было на работе,— виновато заговорила она.— Шеф спрашивает, в чем дело?

— Да-да... я забыл передать... У Павлины серьезно захворала тетя. Она должна была срочно к ней уехать, понимаете? — сказал Трендафил, почесывая живот.

— Ах, вот оно что! — протянула женщина и поглядела на него с учтивым презрением, с доброжелательной насмешкой.— Я так и передам в Совете. Извините...

Трендафил пошел на кухню и включил электрическую плитку. Над алюминиевым кофейничком поднялся теплый парок, солнце отражалось на непрозрачном глянце тарелок, а он сидел с электрической бритвой в руке и тупо думал: «Презирают меня все... Я вызываю у них отвращение... А я ведь только хотел быть счастливым».

Трендафил был в состоянии полной потерянности, он чувствовал, что отчаянно запутался и что силы постепенно оставляют его. Его талант быть честным — а он был убежден, что это талант,— оказался вдруг невероятно униженным.

И он с наивной надеждой, не столько для того, чтобы убедить себя, а скорее для того, чтобы просто помочь товарищу Петрову разобраться во всем, сломленный душевной усталостью, показал ему, покусывая губы, фотографию Павлины. Снимок этот был для него не реликвией, а последним доказательством его невиновности.

Трендафил вдруг почувствовал огромное доверие к закону, который представлял товарищ Петров. И он снова стал рассказывать. Никогда еще он не говорил так хорошо о своей жизни.

— В каком смысле у тебя две жизни? — трезво спросил Петров и положил фотографию Павлины на письменный стол.

— Одна дома, другая на складе, понимаете?

— Понимаю, но у меня нет семьи... Только умирать тебе, Трендафил, придется все равно один раз, будь у тебя даже пять жизней...

Товарищ Петров криво ухмыльнулся, и Трендафил подумал, что подобрал не самый лучший снимок Павлины — глаза у нее здесь были спокойными и разумными. «Господи, да так и возненавидеть ее недолго!» Потом со все нараставшей тоской, не в силах отвести взгляд от длинной колонки цифр, он сказал себе: «И почему это Петров так уверен, что я проворовался? Ведь я же просто Трендафил...»

Отсутствие доверия, приводящее Трендафила в отчаянье, вконец истощило его. Он уже нес наказание, и это освобождало его от ответственности за преступление, которого он не совершал...

В субботу Трендафил отправился после обеда домой, оставив Петрова одного в канцелярии, среди затихающей стройки, наедине с его усталостью и величием. Трендафил испытывал чувство, будто он расстался с чем-то ему дорогим, покинул что-то важное, но сделал это только потому, что не мог остаться, был лишен возможности распоряжаться самим собой.

Он вошел прямо в их маленькую гостиную, не сняв в прихожей башмаков, заросший, пыльный, потный. Окна были закрыты, плотные голубые занавески задернуты, и в полумраке непроветренной, с застоявшимся воздухом комнаты Трендафил вдруг заметил Павлину. Она стояла, слегка склонившись над столиком, как будто ей хотелось задержаться здесь подольше. Она показалась ему постаревшей и ка-

кой-то обыкновенной, наверное, потому, что он не мог видеть ее зеленоватых глаз, а может быть, из-за его безразличия, которое вдруг охватило его. На ковре валялись туфли Павлины — совершенно новые и такие здесь лишние. Трендафил сел напротив жены, снял подтяжки с серебряным эдельвейсом.

— Вчера тебя искала Магдалена... Ну, эта толстуха из вашего отдела,— неуверенно начал он, словно ему приходилось решать сложный кроссворд.— Я ей сказал, что ты поехала к больной тетке в Софию.

Он только сейчас вспомнил, что тетка Павлины уже четыре года, как переехала к своей дочери в Варну. Ему стало вдруг неловко перед Павлиной.

— Ну, что с тетей? — тихо спросил Трендафил и погладил свой круглый живот, как это делает человек, довольный сытным обедом.— Опять ее мучит ишиас?

— Стареет она,— еще тише ответила Павлина.

И он снова подумал, что она уже не молода.

— Все мы идем к тому же,— не без злорадства заметил Трендафил.— С этим надо примириться, правда? Надо примириться!..

Он понял по легкому вздрагиванию ее плеч, что слова его попали в точку. Павлина медленно поднялась и направилась к брошенным туфлям, постояла в нерешительности, потом подошла к нему. По лицу ее было видно, что в ней боролись извечное женское смирение и отчаянье. Она обняла его, а ему было только тягостно, и он испугался собственного сострадания и своей легкой полуулыбки. Он увидел ее слезы — крупные и светлые, как роса, они капали на его клетчатую рубашку...

«Ее, наверное, кто-то обидел.. Эти мужики, эти грязные скоты... Да, ее кто-то обидел... Но я уже, кажется, ее ненавижу...»

Трендафил подошел к окну и раздвинул занавески. Свет, хлынувший в окно, ослепил его. Он увидел улицу — ехал, не держась за руль, велосипедист; брел, шатаясь, какой-то подвыпивший старикан; на засохшей клумбе копошились в пыли воробьи. За его спиной Павлина, медленно оседая, опустилась на ковер. Но он уже не думал о ней — в нем нарастало ожесточение, желание расправиться с Петровым. Трендафил задыхался. Целый город — сотни насмешливых взглядов, утешительных вздохов — не сумел ничего изменить в его отношениях с Павлиной, а тут вдруг приезжает из Софии незнакомый человек, бесцеремонно вмешивается в его жизнь, переворачивает ему всю душу, и он уже презирает себя.

Трендафил не знал, что делает сейчас Павлина, и не хотел оборачиваться, потому что в сердце его уже не было ни доброты, ни справедливости, а одна только ярость. И он решил...

— Нечего мешкать,— бросил он через плечо и широкими шагами пересек комнату.

Ему хотелось поскорее войти в склад, прижать Петрова к стене, выщибить неподвижность из его глаз, которые в эту минуту будут смотреть на него испуганно, а может быть, и виновато. Это надо было сделать, если он хочет пережить вину Павлины.

В полумраке канцелярии слабо светилось только маленькое окошко, которое отражало последние усилия оранжевого неба удержать дневной свет.

Трендафил сразу же заметил стоявшего в углу Петрова — он тяжело дышал, был возбужден. Оба они так стремительно двинулись навстречу друг другу, что чуть не столкнулись у письменного стола.

На миг их соединила тишина. Трендафил уже поднял было руку, когда товарищ Петров мрачно произнес:

— Н-да... так я и предполагал. Все в полном порядке! Завтра уезжаю...

Рука Трендафила повисла как надломленная ветка, и его охватило чувство вины, огромной вины перед товарищем Петровым и перед всем миром. Он даже усомнился было — кому нужна его честность? Она представилась ему такой наивной, дурацкой, как его клетчатые брюки. И Трендафил почувствовал, что он должен сделать все, чтобы восстановить свою невиновность.

Его парализованное сознание бороздили неясные слова извинения, ему хотелось попросить о чем-то инспектора, но товарищ Петров обошел его, как обходят стоящее на пути дерево, и исчез за дверью канцелярии. Он шел, направляясь к городу, черный портфель смешно покачивался в его руке, и Трендафил, глядя ему вслед, решил, что Петров слишком мал для своего портфеля.

Он стоял один-одинешенек возле своего сарайчика-канцелярии; на металлических конструкциях будущих цехов поблескивали, словно далекие молнии, огни электросварки; перед его глазами расстилалось ровное, покрытое речной галькой поле, а немного поодаль очерчивалось сияние города. Слабый ветер раскачивал позади него дверь канцелярии, и она слегка поскрипывала; четыре фонаря, освещавшие территорию склада, придавали ей вид театральной декорации.

«Наконец-то все кончилось!» — подумал разочарованно Трендафил, но долгожданное успокоение не наступило. Он не мог теперь ни в чем обвинить проверяющего, так как сознавал, что закон — это идея справедливости, а проверяющий — форма справедливости. Он пытался представить себе, как выглядел бы товарищ Петров без своего черного костюма, который делал его ужасно бледным. Видел лицо Павлины и ее зеленоватые глаза, которые казались бесстыдно порочными. Ему представлялось, что теперь все — даже воздух и расползающиеся от ветхости кухонные занавески, окрестная тишина и дома соседей — стали ему ближе Павлины, и он предпочитал их ей. Боль его все нарастала, потому что он утрачивал уже и последнее — надежду ждать. «Теперь я уже не могу простить ей!» Он вдруг почувствовал неодолимое желание поговорить с товарищем Петровым, чтобы и ему сказать: «Вы правы, не надо ей прощать!»

Трендафил направился к автобусной остановке. Сгущалась вечерняя темнота. Он сошел на площади. Подавляемая семнадцатиэтажным зданием Совета, она показалась ему совсем маленькой. Он пересек площадь и вошел в гостиницу «Балкантурист». Дежурная регистраторша была ему незнакома; она любезничала с каким-то мужчиной, державшим ее за руку.

— Мне нужен товарищ Петров!

По его тону она поняла, что речь идет о ком-то важном, и заглянула в список постояльцев.

— Он живет в номере... триста четыре.

— Спасибо, я просто так... До свидания...

Трендафил глуповато ухмыльнулся и ушел — он вдруг понял, что ему, собственно, нечего сказать Петрову. Закон — это идея справедливости, он — форма справедливости, и Трендафил не мог никого ни в чем обвинить.

Через несколько недель после отъезда Петрова пролился первый осенний дождь. Солнце смягчило свой пыл и стало похоже на перезревший плод, исчерпавший силы дерева. Раскаленная галька переста-

ла походить на саму себя, огромные лужи возвращали воспоминания о болоте, которое с таким трудом засыпал земснаряд. То и дело наползал туман, клубившийся по утрам и вечерам над Дунаем; тыква Трендафила перезрела и гнила на сероватом песке.

Трендафил теперь засиживался допоздна на работе — приобрел навык ежедневно проверять документацию. Сонно зевнув, он отбросил ногой какую-то бумажку, валявшуюся под его письменным столом, и встал. Он расстался с Павлиной, а это давало ему право полнеть. Он уже не расходовал энергию на ожидание, стал мрачнее, но не замыкался в себе.

Павлина жила у своей матери. Она постарела. Встречая ее иногда на площади, Трендафил всякий раз отворачивался.

На груди его по-прежнему красовался эдельвейс, он стал совершенно другим человеком, настолько непреклонным и критичным ко всем, что никто уже не осмеливался называть его *простофилей*.

В этот вечер он, как обычно, вошел в склад, тщательно осмотрел сложенные под навесом в строгом порядке материалы. Потом спокойно, не спеша и не оглядываясь по сторонам, перенес два мешка цемента в багажник своего старенького «трабанта». Он опасался брать больше, потому что при перегрузке у его доходяги-машины могла сломаться ось. Делал он это с отвращением, но не испытывал ни угрызений совести, ни страха, потому что считал: он достаточно натерпелся, заплатил за это сторицей.

Трендафил гнал свой «трабант», не объезжая ям, и вокруг него разбрызгивалась темная холодная вода. У Экспериментальной базы он свернул и, подъехав к самому берегу, остановился. Спокойно и медленно открыл багажник, вытащил мешки с цементом и бросил их в безучастные воды Дуная.

Возвращался Трендафил уже в полной темноте. Он уверенно вел машину, бессознательно устремляясь к тому будущему, которое, казалось, было где-то впереди за светом фар,— будущему, которое сулило счастье...

Килкин

Для меня *завод* ассоциируется с ощущением бесконечности, необъятности. Начало его было лишь приманкой, но настолько малозначительной и неловкой, что долгое время даже не обещало конца. Казалось, оно было лишено будущего. Земснаряд привел нас в движение, расшевелил наше праздное ожидание и скуку, как порыв ветра, ворвавшегося через открытое окно в комнату, приводит в движение спертый воздух. Работали тогда здесь человек пятьдесят. По вечерам они собирались в двух деревянных бараках с закопченными стенами и забитыми фанерой окнами, пили ракию, мрачно уставившись в догорающий очаг, они тогда и представить себе не могли, что́ здесь построят. Дунайский ветер выл нудно, как плакальщица, от дешевой ракии першило в горле. Я любил эти вечера, потому что они давали мне возможность не думать о себе и о Марии. Я тогда уже верил, что мы начали, и это заставляло меня запоминать имена ребят, их лица, выражающие и мужество, и равнодушие.

Я еще смутно представлял себе смысл своих усилий; мне казалось, что они были столь же необходимы, сколь и ненужны. В болото сыпались тонны сероватой речной гальки, я считал дни с сомнительной надеждой, что у нас впереди еще пять лет, за которые мы и построим завод. Мое нетерпение выглядело почти смешным, я утратил

присущее мне чувство юмора, месил грязь резиновыми сапогами, окутанный липким дунайским туманом, и записывал короткие фразы, в которых преобладали даты, имена и общие суждения.

Я не считал, что проявляю какое-то особое мужество, я знал, что необходимо как можно скорее засыпать болото, чтобы начать стройку. Мы все еще были по эту сторону заманчивой линии действительного начала. В те месяцы я уверовал в собственное совершенство и настойчивость при полном незнании реальных трудностей.

На стройку приходили все новые и новые люди, и уже трудно стало запоминать их имена. Мы набирали их в селах — молодых парней с модными бачками, в модных курточках и джинсах, жадно тянущихся к деятельному участию в большой жизни и к большому заработку; соблазняемых при всей бедности наших общежитий видинскими кафе; несущих в себе огромную мужскую плодовитость и презрение к городским девчонкам; не умеющих строить, но готовых этому научиться.

Приезжали и опытные монтажники на собственных «трабантах», облезлых, как старые пасхальные яйца; они сохраняли опыт своей молодости, неизбывно и мучительно тосковали по ней, прошли через многие начинающиеся и завершающиеся стройки. Эти люди с выцветшими от солнца и дождя глазами терпеть не могли чиновников и упивающихся данной им властью начальников, боялись единственно своей силы, которую непрестанно вкладывали в детородные формы огромных сооружений. Они любили петь грустными голосами «Строил Илия келью», носили грубую и удобную одежду и с трудом свыкались со своей зрелостью и надвигающейся следом за нею старостью, которая неминуемо сулила им уход на пенсию и обывательское существование.

За них мы боролись со строительными организациями, как в былые времена крестьяне вели бесконечные тяжбы и ссоры из-за злосчастных межей. Мы рассылали во все министерства письма, полные затаенной злости и просьб правильно нас понять.

Я все еще старался запоминать их имена — тогда я еще наивно верил, что запомнить все означает установить порядок.

«Потому что,— кричал уполномоченный Сиренков во время долгих ночных оперативок, когда наше желание поругаться превозмогало нашу мечту поспать,— эта стройка — не стихийное бедствие, не ураган и не грозовая молния. Сейчас самое важное — установить порядок».

«Ну, да,— так же громко возражал я и швырял сигарету прямо на пол,— но рабочих у нас уже стало пятьсот, а скоро их будет тысяча... как же все запомнить, как тут навести порядок?»

— Сколько? — спросил я Эмо, который сматывал шнур электросварочного аппарата.

— Если уж так тебе хочется мне заплатить, то дай мне две стотинки, товарищ Килкин... А лучше будь у нас с Иваной посаженым отцом...

Мы выпили с ним по рюмочке «мастики», и я почувствовал, как у меня от его слов увлажнились глаза. Только что Эмо сварил высокую железную решетку балкона, изгибавшуюся в виде цветка, и еще стоял запах раскаленного металла. Я попросил его сделать это ради Момчила, привез его прямо с объекта.

Мария укладывала в спальне ребенка, и это мне было приятно,— мне не хотелось, чтобы воскресенье уже кончилось...

Я допоздна сидел у открытого окна. С улицы долетала успокоительная тишина спящего города, синяя настольная лампа вырезала и отпечатывала на оранжевой стене мой профиль. Из сада, освеженного мимолетным дождиком, веяло прохладой. Я курил не спеша, стряхивая пепел сигареты на подоконник, и наблюдал игру лунного света на стеклах окон противоположного дома. Мною вдруг овладело смешное сентиментальное желание — захотелось, чтобы хоть на мгновение ко мне прикоснулась ручонка моего единственного сына, захотелось услышать его обращенное ко мне простое слово «папа» — сладкое, как хлеб для изголодавшегося человека.

Мне казалось, что я становлюсь все мнительнее по отношению к самому себе, я начал следить за своими мыслями, запоминать их и обстоятельства, которые их порождали, а это мешало мне отдыхать после долгой и утомительной рабочей недели, проведенной на строительстве. Я постарался прочитать за последнее время с десяток толстых романов из серии «Золотые зерна», по утрам мылся до пояса холодной водой, перестал есть хлеб и ходить на матчи. Очевидно, я пытался обрести какое-то душевное равновесие.

Мария была настолько занята собой и ребенком, что почти не присутствовала в моих вечерах,— я чувствовал только излучаемое ею материнство и молодость. У нее просто не хватало времени приобщить меня к мальчику. Это был не преднамеренный эгоизм, а скорее типичная материнская отключенность. Ведь чтобы высказать какие-то двести самых обыкновенных слов, ей потребовалось бы специально высвободить для этого время, которого у нее теперь так не хватало. Я впервые заметил, что Мария умеет и вкусно готовить, и гладить с должным уважением мои сорочки, и вообще вполне похожа на обыкновенную усталую женщину. Кухня наша уже не сверкала, как прежде, белизной, наша маленькая гостиная перестала походить на шахматную доску с расставленными по своим местам фигурами; другими словами — перемены были очевидны, но последствия их неясны.

Я воспринимал ребенка как реальность, которую готов был полюбить; как необходимость, которой я должен был обременить себя, чтобы снять другое бремя. Момчил казался мне неуловимым, потому что он проявлял себя исключительно в движении, он не мог и секунды оставаться в состоянии покоя. Он срывал лиловатые кисти сирени, которые, казалось, дымились у него в руках; пинал ногой своего резинового зайца, опрокидывал чашку с молоком или же юлой вертелся возле меня и делал все это почти одновременно. Минут через пятнадцать голова у меня шла кругом и я терял его из поля зрения. Иногда мне хотелось испытать истинную нежность — я прижимал его к себе, вдыхал запах его волос, целовал его влажную шейку или же подбрасывал вверх над собой с не вполне искренней теплотой. «Вот,— растерянно думал я,— наша жизнь теперь наполнилась... Но чем?»

Однажды, незадолго до того как нас должен был покинуть земснаряд, уполномоченный Сиренков заметил, что мы, люди, больше всего страдаем от своей неспособности примириться с действительностью. «Мы считаем нашим высшим долгом изменять порядок вещей. Это чудесно,— утверждал Сиренков, выпуская дым сигареты на белые цветущие яблоневые веточки в фарфоровой вазе.— Но самой жалкой и бессмысленной бывает попытка что-то изменить тогда, когда мы начинаем сожалеть о каком-то своем деянии. Человеческая совесть никогда не должна допускать этого...»

Только теперь я начал понимать значение этих слов. Мне трудно было принять Момчила, потому что я непрестанно хотел открыть в нем что-то мое, увидеть свое собственное отражение, чтобы назвать

его: «Мой сын». В отличие от Марии я всегда помнил, что у Момчила нет родителей, что мы просто заботимся о нем, добросовестно выполняем свои функции, подобно тому как репродукция верно воспроизводит оригинал. «Его жизнь тоже наполнилась... но чем?» Эти раздумья меня смущали и приводили в растерянность, я до глубины души жалел мальчика, а жалость никогда не бывает истинной предпосылкой, приводящей к любви. Мне было трудно думать о Момчиле, не прибавляя с горечью: «Несчастный ребенок». Его рассыпчатый благозвучный плач приводил меня в ужас — я воспринимал его как прямое обвинение самому себе. Его капризы исполнял с нарочитой готовностью, с умилением восхищался цветом его штанишек, боялся сделать ему строгое замечание (это было особенно мучительно, и если бы мальчик не был наделен природным чувством такта, я бы, наверное, его возненавидел). Я избегал смотреть ему в глаза, подобно тому как человек старательно обходит темные незнакомые улицы. Он с удовольствием ползал по чертежам завода, о которых я мог спокойно сказать: «мои чертежи», тогда как «мой сын» я произносил неспокойно и неуверенно.

И наконец я догадался: не столь уж важно, что я к нему чувствую,— важно осознание того, что я владею самой человечной собственностью. Только это дает нам право реализовать свои чувства. Я хотел принять Момчила. Эта любовь наполнила бы смыслом мои дни, как свет наполняет смыслом бесконечность, но я неотступно чувствовал, что он не мой сын...

Жажда

Он жил теперь только своей болью, и в голове его непрестанно вертелся вопрос: «Чем я это заслужил?.. что я такое сделал?» Но тот факт, что он не «заслужил», имел теперь значение выпитого стакана воды, который дает лишь влагу телу и глазам.

По привычке он закусил русый ус — годы не тронули его сединой, влажные от слюны волосинки были шелковистыми и мягкими. Он чувствовал, как липнут к щиколоткам носки, и тупую болезненную тяжесть в почках — набухших и твердых, почти чужих в его разгоряченном теле.

Соседская кошка, сидевшая на наружной лестнице, лизала белую лапу, в окно вливались запахи фруктового повидла и бензиновой гари; где-то высоко в темно-голубом небе пролетал сверхзвуковой самолет, похожий на серебряный крестик. Все эти подробности не утомляли его, а только отвлекали и словно указывали на то, что его чувства и ощущения немолоды и рождаются они в уже порядком износившемся организме. Он просто не мог отделить себя от этого трепетного предвечернего часа — ведь он жил слишком долго...

Жена уже вернулась. Хотя он и не слышал шагов, но каким-то чутьем угадал ее присутствие. В вечерние часы ее тихое равномерное дыхание создавало тот необходимый ритм, при котором сон постепенно смежал ему веки; днем, когда у него возникало это чувство, он обычно вздрагивал и искал Лалку, подобно тому как заядлый курильщик, уловив табачный дух, нервно ищет по карманам сигареты.

Она просто не осмеливалась войти; он несколько раз отчетливо слышал звяканье кастрюль, визгливое поскрипыванье крана на кухне. Пришедшее к нему с годами мудрое спокойствие, всегда столь ценимое им, сейчас его пугало, ему было страшно, что он не может изменить положение вещей.

«Все зовут меня бай Иван Спокойный, потому что я, бай Иван, действительно человек спокойный»,— с иронической улыбкой, без капли сострадания к себе подумал он.

Лалка зажгла в кухне лампу — ее мерцающий свет смешивался с последними отблесками догорающего дня. В пропахшем заправкой полумраке вырисовывался буфет с хрустальными бокалами, зеркало над умывальником, блестящая эмаль электрической плиты и беспомощная спина жены. Лалка чистила картофель. В кухне стояла тяжелая тишина, как в церкви, почти зримая, холодная.

Лалка не обернулась — в своем горе она забыла даже о муже, о его привычках. Очищенные картофелины, похожие на незапеленатых младенцев, с шумом бултыхались в кастрюлю с водой, кран над умывальником нудно капал, казалось, прямо ему в мозг.

Элена (вот уже несколько дней он избегал называть ее дочерью), наверное, читала в своей комнате. Бай Иван не желал ее видеть, даже думать о ней не хотел.

«Дом наш тесен... под его крышей мне с нею нет места»,— решил он.

— Ты сказала ей? — спросил он жену, зажег сигарету и со злостью затянулся.

— Сказала...— Презрение его жены как будто сплеталось с ее тихими, медлительными движениями.

— Что ты ей сказала, осмелюсь спросить? — Его ирония была нелепой и беспомощной.

— Чтоб осталась...

Впервые в жизни Лалка поступала наперекор ему. Удар этот ошеломил его. Он понял, что материнский инстинкт его жены взял верх над их взаимной привязанностью, над их тридцатипятилетней совместной жизнью, на протяжении которой они оба пытались внушить себе, что человек бессмертен.

Лалка беззвучно плакала — она была так одинока, несмотря на его присутствие, а у него было ощущение, что картофелины сыплются из ее глаз — белые, крупные, блестящие. «Я не могу ее ударить — это было бы все равно если бы я ударил себя...»

Он повернулся и вышел, пересек, ненадолго задержавшись, их маленькую гостиную — телевизор показался ему сейчас пустой коробкой с мертвым серебряным глазом; он снял со стены фотографию дочери и швырнул ее на пол. Осколки стекла разорвали улыбку девушки, а он с болью подумал, что она уже давно стала женщиной и его воспоминания о ней весьма недостоверны, они всего лишь притязание на нечто ему уже не принадлежащее.

Теплые пухленькие ручки младенца, настойчивый взгляд синих глаз школьницы имели теперь значение запыленных, обветшавших вещей, о которых человек вспоминает, только когда наступает какая-то перемена в его жизни. За короткое мгновенье он испытал гордость отца и гнев отца. Из телевизора на него смотрел, за ним следил, его судил весь многоликий мир, сама человеческая жизнь смотрела на него, но он не имел сил устыдиться. Пнув ногой разбитую «золотую» рамку, из которой выпала разорванная улыбка Элены, он выпил прямо из кувшина воды, машинально надел домашние туфли и вошел в спальню.

На покрытой красным шелком постели лежал полумрак; близость улицы чувствовалась в рычании проносившихся автомобилей и голосах людей — вот уже два дня ему кажется, что все как-то сочувственно улыбаются. И вот, дожив до таких лет, бай Иван вдруг стал одиноким, лишился покоя и своего огромного доверия к жизни...

Не раздеваясь, он опустился на постель и прижался головой к мягкой подушке; он ощутил запах дома, но этот дом был уже не его...

Истерзанное, жаждущее сна тело с наслаждением впитывало прохладу постели, но сознание несправедливости не давало ему покоя.

Они разошлись с Лалкой по разным комнатам — им трудно было находиться вместе. Она вдруг стала для него совершенно чужим человеком, который кинулся спасать что-то свое, во всяком случае нечто далекое бай Ивану. Ее как будто вовсе не интересовала ни его бессонница, ни его расшатанное здоровье. Она добросовестно готовила еду, гладила ему брюки, но что-то из их жизни ушло, растаяло, как снег под лучами весеннего солнца. Какая-то ранее не подозреваемая в ней воля пересиливала ее страдания — она словно бы похорошела, стала делать из своих поседевших волос красивый пучок, держаться с уверенностью человека, знающего себе цену. И если он был весь скован болью и гневом, то Лалка излучала боль и достоинство. Да, этот дом был знаком ему, но он не был его домом...

— Иван, проснись! За тобой пришли, вставай!..

Добрые пальцы Лалки коснулись его лица. Он слышал еще в полусне ее усталый властный голос. В комнате было темно, он чувствовал, как все его тело покрывает холодный пот, казалось, кто-то, навалившись, продолжает прижимать его к постели.

Над кроватью громко, в такт с его сердцем тикал старый будильник, в окне висела желтая ущербная луна, посеребрившая медную ручку двери.

Бай Иван поднялся; голова была тяжелой — ее все еще переполняли кошмары и воспоминание о том, каких усилий стоило ему заснуть. Он сунул ноги в шлепанцы и покорно последовал за женой, не вполне сознавая, что происходит. Единственное, что занимало его,— это ожидание нового приступа боли...

В гостиной его ослепил свет, желтоватой паутиной спускавшийся с люстры на стол, где стоял поднос с двумя блюдечками варенья и двумя стаканами воды.

Его ждали Килкин и инженер-химик Борко Тасев. Давно не бритые, они стояли, беспомощно опустив руки. Оба явно проявляли нетерпение, и нервы у них, видно, были порядком взвинчены. Под глазами у обоих лежали темные тени, рубахи были расстегнуты; на лбу Килкина чернела масленая отметина. Всем своим видом они смахивали сейчас на шпану из предместья.

— Бай Иван, как всегда, спокоен...— с заискивающей улыбкой заговорил первым Тасев.— Как всегда...

— Пошли, пошли... Поторапливайся,— грубо прервал его Килкин и с мрачным видом отодвинул поднос с айвовым вареньем.

— Куда? Зачем? Сегодня же воскресенье...— сказал бай Иван.

Он чувствовал себя голым рядом с этими людьми, которые куда-то торопились и вовсе не были настроены поговорить с ним толком или хотя бы объяснить причину своего прихода. «Сегодня мог быть и понедельник, но ведь они меня разбудили потому, что я им нужен... И как они со мной держатся — словно пришли меня арестовать».

— Мы знаем, что ты был машинистом... К тому же ты один из старых коммунистов — ведь так?

Килкин говорил это, машинально перебирая бахрому выцветшей скатерки и не сводя с лица бай Ивана усталых близоруких глаз. Небольшая плешь на его темени мягко светилась под лампой, привлекая к себе взгляд бай Ивана и мешая ему сосредоточиться.

Окончательно прогнав сон, он со страхом ждал, когда в его сознание снова вклинится боль, но все же приметил, что пол в гостиной аккуратно подметен, а фотография Элены вместе с «золотой» рамкой

исчезла. Лалка, стоявшая у стены со скрещенными на груди руками, напоминала ему чей-то портрет. Такая близкая и в то же время чужая.

— Он ведь ничего не знает, абсолютно ничего,— сказал Килкину Тасев.

А бай Иван в эту же минуту с мукой в сердце повторял про себя: «Они ведь ничего не знают... ничего... просто я им зачем-то нужен, и не имеет ровно никакого значения — вторник сегодня или пятница».

Тасев что-то говорил, заламывая руки, как эстрадная певица. Лалка в своем розовом капоте сливалась с розоватой стеной. Глядя на нее, бай Иван почувствовал, что она не хочет его защитить, почти по-мужски презирая его. «Мы все ужасно чем-то заняты!» — мелькнула в его голове нелепая мысль.

— Я не ужинал.

Слова его повисли в воздухе, не произведя никакого впечатления.

— Нет времени — нас ждет дело!..

Килкин чуть ли не вытолкал его из комнаты. Спотыкаясь, нащупывая вслепую стены, они шли втроем по темному коридору, утратив, казалось, и естественность и доверие друг к другу.

«Сейчас в самый раз улизнуть,— подумал бай Иван.— Если бежать, то сейчас... они только лбы себе о сучья расшибут, а не найдут — сад меня спасет».

Он почувствовал руку Килкина, которая нетерпеливо подталкивала его, и через распахнутую дверь увидел ночь. Пустая улица казалась неправдоподобно широкой, луна, опершись на крышу церкви, мягко освещала маленький сквер с неподвижными ярко-красными качелями. Килкин нервно пофыркивал и шарил в карманах брюк, отыскивая ключи от джипа.

Вот в такой же тихий вечер лет пять назад бай Иван решил поговорить с дочерью. Элена не спала ночами — читала романы, слушала радио. Она срезала длинную русую косу, по два раза в день надевала выпускное бальное платье с двумя похожими на бабочек бантами из алого шелка и вертелась перед зеркалом.

Он не знал, о чем, собственно, ему говорить с Эленой — девочка только что закончила с отличием школу, была очень застенчивой и непосредственной для своего возраста. Он чувствовал, что если упустит и эту возможность сблизиться с дочерью, то потом уже и вовсе будет поздно, потому что Элена окончательно повзрослеет.

Она читала, полуосвещенная прикрытой абажуром настольной лампой, ее хрупкие красивые плечи были непонятно напряжены, на губах ее трепетала женственная улыбка, странно сочетавшаяся с серьезностью глаз, в которых отражалось постижение каких-то важных для нее истин.

Бай Иван совсем растаял от умиления: «Потому меня и зовут бай Иван Спокойный... Все у меня есть. И я еще после себя оставлю кое-что на этой грешной земле». Потом он с глубокомысленным видом закурил сигарету и сел прямо напротив дочери, которая испытующе посмотрела на него. Он понимал, что чем больше будет ему нужна дочь, тем меньше он будет нужен ей. По дороге домой он выпил в баре «Ровно» две рюмочки «мастики», для поднятия духа. Ему хотелось рассказать Элене что-нибудь о войне или об их с Лалкой первой встрече, что-то важное, значительное, плодоносное, как осень, и такое же грустное, как она. Хотелось оправдать в глазах Элены ту нарочитую суровость, с которой он ее воспитывал. Ведь сам он был доверчив, умел верить и знал силу этого чувства. Ему казалось просто невозможным, чтобы дочь обманула его ожидания, его дочь Элена, фотография которой висела в гостиной.

— Как поживаешь? — спросил глуповато бай Иван и сам почему-то устыдился своего вопроса.— Будешь поступать на литературный, да? — продолжал он уже деловым тоном.— Конечно, раз ты так любишь стихи и романы!

А она со слегка насмешливой улыбкой, не сводя с него своего «голубого» взгляда, от которого у него сладко таяло сердце, подошла к нему, подергала за усы и поцеловала его морщинистую, недостойную ее поцелуя шею.

— Нет, папочка, на химический! Химия-алхимия... Тут у нас ведь химический завод построят.

— Разумная наша девочка,— сказал в тот же вечер Лалке бай Иван, стараясь приглушить в своем сердце чрезмерную гордость.— Мы в ее годы такими разумными не были, сама знаешь...

— Молодая она,— сонно ответила жена и щелкнула выключателем ночника.

Не в первый раз ехал бай Иван в джипе Килкина. Брезентовый тент полоскался на ветру над его головой, каждая неровность дороги заставляла напрягаться все его тело — Килкин вел машину неосторожно, на большой скорости, словно хотел побыстрее соединиться с чем-то, что поджидало его впереди. Желтоватая дуга фар стремительно теснила перед собой воздух, и если бы не заглушавший голоса шум мотора, бай Иван спросил бы: «Зачем ты так гонишь?»

Дорога казалась знакомой и в темноте; они проехали мимо нескольких до изнеможения уставших и дремлющих на катках дорожных рабочих, измазанных асфальтом, и вскоре оказались перед въездом на заводскую территорию. Освещенные изнутри ТЭЦ и Экспериментальная база выглядели необычно торжественно, были похожи на величественные мавзолеи для живых. Но джип не остановился ни у ТЭЦ, ни у Экспериментальной базы, а выехал на укатанную аллею и продолжал мчаться вниз к Дунаю.

— Через два дня пойдет смола,— заметил бай Иван и смущенно откашлялся.

— Пойдет...— машинально повторил Килкин.

Тасев обернулся к нему и почему-то рассмеялся вымученно, фальшиво.

Килкин свернул машину к проложенной недавно железнодорожной линии, еще пахнущей свежим деревом шпал, и они покатили вдоль нее. Фары джипа выхватывали из темноты то ржавые буфера, то валявшиеся на земле банки из-под консервов и битые бутылки, упаковочную бумагу, бесформенные кучи уже никому не нужной гальки.

Несколько минут спустя бай Иван увидел огромный черный локомотив, возле которого суетились люди — они разгружали трехтонный «ГАЗ» и на все лады ругали темноту. Корпус локомотива напоминал буйвола.

Погазовав на месте, Килкин выключил мотор; похоже было, что ему и Тасеву не очень-то хотелось выходить из машины. Угрюмая резкость Килкина словно испарилась, и он любезно предложил бай Ивану сигареты.

«А знает ли он, что мне сейчас чихать на все его дела?» — мстительно подумал бай Иван. Но постепенно общее напряжение охватило и его — вокруг происходило что-то необычное, требовавшее его присутствия. Килкин поглядел на часы и вздохнул.

— Это самый мощный локомотив,— глуховатым голосом заметил он, как будто бы здесь, на этой засыпанной галькой площадке, стояло

по крайней мере еще двадцать паровозов.— Мы все время будем возле тебя, будем помогать.

— Палатку тебе поставим,— добавил Тасев.— Телефон проведем...

Потом они, не стараясь скрыть своего нервного возбуждения, доверительно объяснили ему, что при монтаже ТЭЦ допущена ошибка и в любую минуту может прекратиться подача пара. Килкин ощупью протирал очки о штанину, у него был такой вид, словно он погибает от спазматических болей в желудке. Тасев похрустывал костяшками пальцев и пытался шутить. Бай Ивана вдруг охватила новая тревога — он понял, что скоро придется пережить еще что-то мучительное, какую-то катастрофу, которая озадачит весь город...

Даже те, кто на коричневатой галечной насыпи строили Экспериментальную базу, не верили, что она построена. На протяжении года бригада бай Ивана монтировала сложное переплетение систем газопроводов, синтезаторов, охладителей; у рабочих временами возникало чувство, будто они, словно малые дети, складывают из кубиков диковинные здания абстрактно красивых форм. Люди спали мало, питались кое-как тут же на объекте. И в длинном лабиринте дней всегда помнили, что смола — эта удивительная, тягучая жидкость, способная затвердевать на воздухе, эта солнечная плазма, живущая вне неба,— наконец-то потечет и будет течь. То говорили, что потечет она через шесть месяцев, потом — через пять недель, через неделю...

— Идиоты! — вырвалось вдруг у Килкина.

Глаза бай Ивана уже привыкли к темноте, и он увидел четко вырисовывающийся на фоне окна неподвижный профиль Килкина, который не выражал ни испуга, ни вины.

Бай Иван сделал глубокую затяжку, чтобы заполнить образовавшуюся в груди пустоту и немного успокоиться. Он знал, что синтез этой негодницы смолы — процесс непрерывный, требующий бесперебойной подачи тепла, живого свежего пара, и если хоть на минуту прервется его умопомрачительное движение... понадобятся месяцы труда, чтобы демонтировать аппаратуру, очистить ее от окаменевших остатков и снова смонтировать.

Килкин, очевидно, думал о том же; рука его машинально нажимала на сиденье, и он походил на пытающегося привстать паралитика.

— Понимаешь, как необходим нам пар, черт бы его...— В голосе Борко Тасева звучали испуг и деланная строгость.— Вот почему тебя и вытащили из постели в подштанниках...

— Я был одет,— прервав его, заявил бай Иван, словно этот факт имел решающее значение.

— А эта штука выручит нас? — Килкин кивком головы указал на локомотив, возле которого продолжали выгружать бревна и уголь.

Бай Иван закусил ус, вылез из джипа, и прохладный воздух принял его тяжкий вздох.

«Боже, упаси меня от моих почек и от моих мук...» — рассеянно подумал он.

Река и ночью оставалась светлой, она озаряла берега мягким фосфоресцирующим блеском. К утру небо стало высоким, воздух нежно порозовел, и тогда река постепенно померкла — ее опечаленные воды, затаив свою истинную сущность, постепенно превратились в зеркальную гладь.

Ребята с сонными лицами стояли возле локомотива почти что по стойке «смирно», словно перед фотоаппаратом,— они хорошо знали своего бригадира, его склонность к молчаливости. Перед началом ра-

боты он обычно молча стоял перед ними несколько минут — до тех пор, пока они не почувствуют прохлады легкого ветерка или сыроватого сквозняка в заводских залах. В эти минуты ни сам бай Иван, ни они ни о чем не думали, но такие психологические паузы были необходимы ему для того, чтобы каждый мог что-то почувствовать.

Он швырнул сигарету на землю, носком башмака раздавил ее, словно какую-то вредоносную букашку, и направился к бригаде, бросив мимоходом укоризненный взгляд на Килкина и Тасева, так и не сумев преодолеть своей усталости и раздражения.

«Странно то,— думал он,— что знаем об этом ЧП только мы — каких-то пятнадцать человек. Все остальные спокойны, а мы, пятнадцать, знаем. Не могу понять, почему об этом должны знать только мы,— в чем тут смысл?..»

Бай Иван сплюнул и сделал еще шаг вперед.

«Вызвали меня сюда только потому, что когда-то я работал машинистом,— подумал он, с нежностью и покорностью оглядывая неподвижный, видимо изрядно запущенный локомотив.— Я оказался тут как будто случайно, но они выбрали все же для этого именно меня. Но нет у меня ни желания, ни времени разводить турусы, говорить сладкие слова, вот так... А об остальном знаю только я, единственный!»

Бай Иван повернулся к ребятам спиной и по привычке проглотил две таблетки бускодизина, запив их невкусной теплой водой из походной фляжки. Он как-то неловко переоделся, и Килкин заметил, какие у него тонкие и бледные ноги — голубые вены на них просвечивались, словно на руках аристократа.

Так, по крайней мере, подумал Килкин. Он чувствовал: ему надо что-то сказать, в противном случае появится снова то мучительное подергивание под глазом, после которого у него зверски болела голова и приходилось возвращаться домой, чтобы прийти в себя. С неожиданной для своих девяноста килограммов легкостью он подошел к бай Ивану и подал ему поношенные холщовые штаны.

— Телефон поставьте поближе к машине — вот здесь, возле крапивы,— мягко сказал бай Иван.— Надо, чтоб я его слышал.

Никогда еще бай Иван не замечал так много разных мелочей, как здесь на локомотиве. Он сразу же увидел, что масло тут было старое, загустевшее. Но оно вряд ли могло понадобиться им. «Мы же не будем двигаться с места, и это продлится до омерзения долго»,— мелькнуло у него в голове.

Между двумя медными манометрами какой-то шальной паук плел свою западню-паутину; солнечный луч, пробившийся через разбитое оконце, позолотил ее тонкие нити, настолько гармоничные, что они казались неправдоподобными.

Бай Иван принюхивался к запаху шпал, сладкому, как дыхание молодости, и ощущал движение поезда, мчащегося мимо домиков путевых обходчиков и маленьких станций. Откуда-то из глубин сознания всплыла вдруг вся его жизнь, но настолько сконцентрированная, что он мог пересказать ее всего лишь двумя фразами, и в то же время необычайно богатая, насыщенная тысячами невероятных случаев, событий и дел, общий смысл которых можно выразить словами: «Я существую». И в то же время он с радостным возбуждением сознавал, что уже давно все для себя решил и сделал, а теперь существует для других. «Но вот, конечно, Элена... да, видно, мир все же держится на святости и прощении».

На протяжении пяти лет бай Иван каждый месяц отправлялся на скором поезде в Софию, рано утром, когда воздух был еще совсем сонным и жизнь города ощущалась только на вокзале. Брюки его лоснились от утюжки; он втискивался в переполненное купе, забывая иногда взять любовно приготовленную с вкусными приправами курицу; толкался в трамваях, вызывая улыбку столичных жителей своими длинными пышными усами, но ездил регулярно, чтобы узнать, как живет Элена.

«Я просто хочу ее видеть,— убеждал он себя.— Она ведь такая разумная...» Но, приехав в Софию, пугался огромной разницы между Видином и столицей, между их старым кокетливым домиком и прокуренной, пустой, неуютной комнатой, в которой Элена готовилась стать инженером.

— Зачем вы транжирите столько денег? — спрашивала его дочь, наглаживая свои модные брюки клеш.— Зачем ты мучаешь себя этими поездками?

— Я приезжаю, чтобы повидать тебя,— рассеянно отвечал бай Иван и ложился на постель, над которой висела цветная фотография косматого молодого человека с красной электрогитарой.— Тоскливо нам без тебя...

Дочь не стыдилась его, но она уже не была прежней Эленой, к которой он привык, взгляд ее стал каким-то тяжелым, как у мужчины, она избегала его неловких ласк, непрерывно варила кофе на замызганной электрической плитке и убирала свое выстиранное белье в полуразломанный гардероб с расхлябанной дверкой. В комнате ее стоял тяжелый дух какого-то варева, сигарет и одеколона; это вызывало у бай Ивана ощущение моральной нечистоплотности, и он подолгу проветривал помещение, угнетенный своими мыслями. Обычно он проводил у дочери два дня, дремля как кот и с тревогой в душе, настороженно-нервно наблюдая за нею. Ему все время хотелось рассказать ей что-то важное о войне, но слова как-то сами собой обезличивались. Элене становилось скучно, а он испытывал стыд за свою необразованность.

Однажды он застал у дочери высокого молодого человека в темных очках, который пил его собственное домашнее вино. Но бай Иван не огорчился, не смутился,— напротив, на лице его промелькнула даже тень удовольствия, которое испытывает каждый человек, удовлетворив свое любопытство. Комнату наполняли воющие звуки магнитофона; Элене, наверное, было трудно объединить все это с присутствием отца. А он, притупив в своем сердце и ярость, и нежность, рассматривал ее голые белые ноги и думал: «Может, так и должно быть. Она же абсолютно ничего не знает обо мне, и я ничего не знаю о ней. Может быть, так мы получше узнаем друг друга? Важно то, что Элена станет инженером... Вот в этом смысл, вот это главное...»

И вдруг все рухнуло, неожиданно, безо всякой последовательности, которая дает время свыкнуться с переменами. Когда в жизни что-то созидается, то происходит это медленно, постепенно, как строится наш завод, а разрушается все в одно мгновенье, тоже как это может быть с заводом: две минуты без пара — и сложная аппаратура вмиг заполнится бесформенной кристаллической массой, подобной окаменевшей лаве.

Бай Иван вдруг почувствовал сильную боль в пояснице и прислонился к ржавой стенке локомотива.

Стрелка манометра чуть подрагивала, вода в котле сопротивлялась, не хотела превращаться в пар, а огонь в топке был еще слабым, еще бледно-красным, а ему надлежало стать белым.

Бай Иван с легким раздражением наблюдал за потными спинами своих помощников, которые с излишним рвением загружали углем жадную пасть топки. Они покачивались, как рыбы, выскочившие на мгновенье из воды к солнцу, потом в тени кабины переводили дыхание и остывали.

— Полегче, ребята, полегче,— закашлявшись, нетерпеливо заметил бай Иван.— Бабенку эту надо сперва хорошенько расшевелить! Это вам не картишками шлепать...

Они удивленно поглядели на него — он обессиленно прислонился к заржавленному боку машины, да и по лицу его было видно, что он болен,— и с удвоенной энергией принялись кидать в топку мелкий уголь. «Об остальном знаю только я»,— с облегчением подумал бай Иван.

— Стул у тебя неудобный, бай Иван,— пробормотал один из парней.— Да и сам этот локомотив какой-то черный... сгорим еще здесь к чертям собачьим...

— А выдержит ли эта ржавая развалина такое давление...— добавил второй.

— Ты ржавое не обижай! — Бай Иван снова откашлялся, чтоб его лучше было слышно.— Ржавое и в бой шло, и из боя выходило. Ты больше блестящего опасайся.

— Ха, ха, ха...— рассмеялись двое из тех пятнадцати, которые знали о ЧП.— Ну и силен же ты, бай Иван!

Бай Иван убрал подальше ноги, потому что из топки, словно из пасти ошалевшего от жары пса, то и дело высовывались языки пламени,— ей надо было дышать свежим воздухом. Но бай Иван не думал ни о жаре, ни об Экспериментальной базе и паре, он знал, что ему просто необходимо здесь присутствовать. Он снова прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Ему даже не было тепло, несмотря на то что щиты и другие металлические детали нагрелись настолько, что, прикоснувшись к ним, можно было обжечь руку.

«Теперь, пожалуй, можно трогаться,— подумал бай Иван, бросив полусонный взгляд на стрелку манометра.— Можем трогаться, не сходя с места».

Да, бай Иван присутствовал здесь с достоинством и достойно. Хотя после многие из его ребят утверждали: «В сущности, бай Иван все время дремал, а если бы он просыпался чаще, то мы, наверное, не выдержали бы... Но дремал он просто здорово, как будто проржавевшая вонючая кабина локомотива была для него самым удобным местом отдыха...»

— ТЭЦ продержится еще два часа,— услышал бай Иван голос Килкина и открыл глаза, чтобы увидеть его. Килкин легко поднимался по наружной лесенке.— Не больше чем два часа, бай Иван...

— В самом деле?

— Сейчас мне позвонили по телефону... Ох, как бы тебе не стало худо в такой жаре, дружище.

Бай Иван хотел было съязвить — сказать ему, что заботиться о его здоровье совершенно излишне, но промолчал. Ведь и Килкин тоже был частью, малой частью тех, кто знал, он тоже не смыкал глаз и не мог спать, а не был ни в чем виноват. Не он же монтировал эту проклятую ТЭЦ. А сколько раз Килкин, когда ехал в Софию в командировку, прихватывал посылки для Элены!

— Может, манометр здесь неисправный? — спросил Килкин и протянул бай Ивану сигарету.

— Нет, работает. Только и он, как я, подремывает, старый...

— Ха, ха, ха!..— захохотали ребята.— Ну и силен мужик, наш бай Иван!

Веки над зрачками опустились, и от золотого солнца в топке осталось только сероватое сияние, в которое вплеталось множество цветных фигурок, скачущих, извивающихся, словно тугие пружины. Чувствовалось, как усиливается в котле давление пара — упругого, насыщенного от сильного нагрева; Килкин мог бы уйти, мог бы продолжать стоять, с трудом удерживая свое тучное тело на узенькой лесенке у оконца,— это уже не имело никакого значения.

Бай Иван ощущал лишь терпкость во рту и жажду — ему хотелось не только воды, но еще и познания чего-то, что упростит дело, внесет порядок в его смятенные чувства, успокоит его воспалившиеся почки. Он почему-то начал вспоминать, какой мягкой и внимательной к нему стала после отъезда Элены в Софию его жена. Она заполняла вечера разговорами, теплой привязанностью. Все в маленькой гостиной, в спальных комнатах и даже в кухне было так тщательно убрано и чисто, что сразу же охватывало ощущение какого-то ожидания, но в этом ожидании не было пустоты. Лалка выкладывалась вся без остатка, потому что чувствовала его тревогу, беспокойство, старалась во всем ему угождать.

Люди называли его «бай Иван Спокойный». Они знали, что он никогда не спешит и никогда не опаздывает; видели его и за домашними делами, когда он опрыскивал медным купоросом свою лозу, вьющуюся у входа в дом; уже одним своим присутствием он как будто бы придавал стабильность всей своей улице. Не случайно его приняли в отряд по охране порядка, дали ему красную ленту, наделили властью. Лалка переживала вместе с мужем все его тревоги и радости и сама всегда старалась доставить ему маленькие удовольствия. Зная, что он любит голубцы в виноградном листе, она готова была даже оголить их развесистую красавицу лозу и кормить его излюбленным блюдом до тех пор, пока оно ему не надоест.

В то время как бай Иван ломал голову над тем, что бы еще сделать для Элены — денег он посылал ей достаточно и каждый месяц проводил два дня в Софии, правда почти не видя ее,— Лалка писала Элене длинные бессвязные письма. Бай Иван упорно доискивался, как ему заполнить пустоту, отделявшую его теперь от дочери. Он простодушно полагал, что каждый его шаг в этом направлении уменьшает недоверие, которое порождает в нем его ничем не посрамленное прошлое, к неизвестной ему теперь жизни Элены.

Как-то в воскресенье, пока Лалка стирала во дворе у чешмы простыни, ему вдруг показалось, что он нашел выход. Он поспешил поделиться с женой.

— Не понимаю,— виновато сказала она, низко склонив поседевшую голову над жестяным корытом.

— Да разве ты когда понимала что?! Вот поступлю я на этот завод— посмотрим, какой тогда толк будет!

— В самом деле! — сказала Лалка.— Но ведь это же хорошо, Иван... Вы будете вместе с Эленой!

Это действительно было ей по душе. Она всегда соглашалась с ним, особенно после того, как уехала дочь. А вот теперь Лалка его предала — она это знает — и вместо своей любви дарит ему презрительное молчание...

А бай Иван всегда оберегал жену от своей мужской грубости, научился за годы их жизни, придя домой, надевать шлепанцы, ходить с авоськой по магазинам, сохранять в доме тишину и покой.

Когда была получена та загадочная открытка, вызывавшая на телефонный разговор с Софией, он спрятал ее в карман и сказал себе:

«Не будем тревожить Лалку.— Он говорил о себе почему-то во множественном числе.— Про Элену, если ей вдруг что придет в голову... скажу: то ли деньги у нее кончились, то ли какие-то неприятности с хозяйкой. Нет, Лалку мы не станем тревожить».

И в девять часов вечера он отправился на почту. Шел один по уже пустым окраинным улицам; не доставляли ему обычной радости ни тяжело нависавшие здесь пышные виноградные лозы, ни неоновые рекламы в центре; пахло свежестью недавно пролившегося дождя, а булыжная мостовая, казалось, следила за его шагами. Он вошел в здание почты, выкурил полпачки сигарет, уставившись в свое бледное отражение на блестящей мозаике пола. Наконец дежурная — девица из их квартала — позвала его профессионально-бесстрастным голосом:

— Бай Иван, третья кабина... вызывает София.

У него дрожали ноги, но голосом он овладел; правда, голос был слабоват от лихорадочного стука крови в висках, даже голова тряслась.

— Папочка, это я! — услышал он ласковый — «голубой» — голосок Элены, и ему показалось, что она даже чмокнула его откуда-то издалека, из своих пеленок.— Случилось нечто важное...

— Хорошее или нет?..

— Не знаю, как тебе,— мне кажется, что очень хорошее!

— Ну, ну! — сказал он, вздрогнув, и прислонился к стене кабины.— Тогда рад и я...

— Папочка, я выхожу замуж за Николая...

— Боже! — После длинной паузы, во время которой до его слуха слабо доносился чей-то чужой разговор, он успел спросить: — А когда же свадьба?

— Мы ее устроим почти тайно...

«Как это почти тайно? — подумал вконец растерявшийся и умиленный бай Иван.— Разве можно устраивать свадьбу тайно?»

Вернувшись домой, он так властно отворил дверь кухни, что Лалка с испугу уронила на пол тарелку. Он смотрел на нее свысока, очень свысока, как и должен настоящий муж глядеть на свою жену. Он, отец, знал все, а она, мать, ничего не зная, почему-то уронила тарелку — смешно, да и только...

— Привет, бабушка Лалка!..— весело сказал он.

А она разохалась, огорченная тем, что разбила посуду, и зло посмотрела на своего усатого мужа, посмевшего войти в дом, не переобувшись в комнатные туфли.

— Если ты выпил — ступай ложись в постель!

— Спокойно, бабушка Лалка... для этого мы еще найдем время.

— Не дурачься...

Ее ловкие руки собирали осколки дешевого фарфора, в которых отражался бледный свет лампы. А за окном проливной дождь причесывал листву деревьев, легко и счастливо дышалось озоном, казалось, весь воздух был насыщен молниями, ликующим электричеством.

— Элена выходит замуж за Николая! — с сигаретой во рту, сунув в карманы руки, с серьезным видом торжественно сообщил он.— Только что я говорил с нею по телефону.

— Что-о-о?! А я ничего не знала...

Она бесшумно опустилась на пол. И он, гордо поглядывая на жену сверху, чуть ли не с потолка, сказал:

— Они сделали все почти что тайно... Мы в свое время...

— Как это — почти тайно? И почему тайно?

Лалка уже не слышала того, что он говорил дальше.

— Да ладно. А вот мы с тобой давай помечтаем,— снисходительно добавил бай Иван.— Особенно если дашь мне немного ракийки покрепче... Может, теперь дом наш подремонтируем, а?

Горячая энергия молодости вдруг разлилась у него по жилам, эта забытая сила, уверенность, что все принадлежит тебе. Светлая благодать тех дней...

«Николай, Николай, Николай...» — задумчиво повторял он в уме. Что скрывается за этим именем? Николай — это не звучит так по-дурацки и пошло, как Джонни, Джекки, Цэфи, или так простовато, как Митко. Николай... Это что-то совершенно иное, куда более весомое и рассудительное.

Он представлял его себе в солидном черном костюме, с почти детской улыбкой и высоким серьезным лбом. Он умеет играть с малым ребенком и в то же время может решать извечные мужские проблемы. Ну и хорош же он, наш Николай, черт возьми!

Всю жизнь душа бай Ивана тосковала по мальчику. Это было странное ощущение своего бессилия перед природой, дикой жажды продолжения собственной жизни в потомстве; казалось, он чувствовал, как в его усталых, ослабевших руках трепещет корешок жизни. После сладостных часов минувшего дня в его мозг и сердце порой вонзался ужас: наступит миг, когда он останется один-одинешенек в полном мраке, исчезнет.

«Николай, сын мой, и ты когда-нибудь почувствуешь то же. Вдвоем с Эленой будьте опорой будущему...»

Его вытащили из кабины полузадохнувшимся. Лишь после того как Борко Тасев вылил ему на лицо и шею целую фляжку дунайской воды, он приоткрыл глаза. Но он не чувствовал себя худо.

— Ничего страшного... Это не то, что вам почудилось...— сказал им бай Иван, а сам подумал: «И не это самое главное».

— Килкин в кабине и будет следить за манометром. Уже полчаса, как отключена ТЭЦ, понимаешь?

— Понимаю...

Палатку поставили в нескольких метрах от телефона, но ведь ее ставили люди, которые *не знали!* Может быть, поэтому ее натянули так небрежно; и ветер трепал ее незакрепленные края, а раскладушки и одеяла свалили прямо на землю.

Со стороны реки медленно надвигалась прохлада, багрово-фиолетовое небо покрывали перистые облака, и в лучах заходящего солнца Экспериментальная база, окруженная грудами вздыбленной земли, железным ломом и увядшим бурьяном, казалась чем-то нереальным.

— И аптечку обеспечим. Для тебя специально взяли целый килограмм бусколизина.

— Выдержат мои почки, выдержат,— ответил вяло бай Иван и закурил сигарету.

— Наш пар...— начал было Борко Тасев, но осекся, чувствуя ненужность своих слов...

Бай Иван и Лалка присели на поломанную скамейку, с которой хорошо была видна платформа вокзала. Рядом сидели старик и старушка. От жары и томительного ожидания поезда они обливались потом и то и дело поили из бутылки своего скучающего внучонка.

Жужжали мухи, пахло гарью, пыль густым слоем покрывала обувь; начальник вокзала в надетой набекрень фуражке был похож на молодого, изнуренного жарким солнцем петуха. В эти часы жизнь на вокзале едва теплилась. Кругом царил умиротворяющий послеобеденный покой, только бай Иван и Лалка были в нервном возбуждении.

— Мы хорошо подготовились? — спросил он и, помяв пересохшими губами сигарету, глубоко затянулся.

— Конечно... Накрахмалила простыни, петух томится в духовке...— Лалка продолжала перечислять приготовленное ею деловито, но смущалась при этом так, словно сама лишь два дня назад вышла замуж.

— Тьфу...— сплюнул в пыль бай Иван.— Ну хоть бы раз в жизни ты меня поняла. Я же спрашиваю тебя: готовы ли мы вообще, душой? Петух и прочее — это же все пустяки, одна видимость...

— А вот и поезд!

Тяжелое тело паровоза, поблескивающее смазкой, словно разрезало пространство надвое; из окон вагонов выглядывали усталые полуодетые люди и подавали встречающим чемоданы, узлы безо всякой торжественности, с улыбкой спасенных.

Вдруг они увидели Элену, в коротком светло-оранжевом платье, все ту же свою девочку, но все-таки более похожую на женщину, и бай Иван, вздохнув, подумал: «Наконец-то... Худенькая какая... Ну ничего, у матери она теперь поправится».

Элена обняла его, ее худые плечики слегка вздрагивали. «Что с нею? Может, она чего-то боится?.. Но чего?»

— А где Николай? — не без тревоги спросил бай Иван.

— Николая нет, пойдемте,— сказала Элена, и его поразила строгость ее голоса — казалось, с ним говорила пожилая женщина.

Они молча зашагали втроем, пересекли несколько раскаленных зноем улиц, пытались улыбаться, но улыбка получалась напряженной, вымученной; и даже нести маленький чемоданчик Элены казалось им затруднительным. Только потом, когда они уже сидели в их маленькой прохладной гостиной и бай Иван, непонятно зачем, вынул заранее охлажденную бутылку ракии, Элена с ничего не означающей, кроткой веселостью пояснила:

— Николай не приедет, никогда не приедет...

Слова ее прозвучали совершенно естественно; бай Иван заметил, как Лалка опустилась на краешек кресла и застыла в неловкой позе — видимо, ее одеревеневшие от неожиданности руки мешали ей удобнее расположиться в нем. По лицу ее разлилась та же, что и у дочери, рассеянная улыбка; туфля с одной ноги у нее свалилась на пол. Казалось, она с неукротимой бодростью хочет сказать: «Да, именно ради этого я вычищала, мыла целую неделю дом, я нисколько не удивлена, все очень просто и хорошо».

Лалка наклонилась к Элене, и Элена прильнула к матери — обе они были так похожи, что у него замерло сердце. Жена нашла в ней, словно в зеркале, свое отражение, и теперь для него, отца, не было уже места... От охватившего его гадкого стыда он до боли стиснул кулаки. Впервые кто-то нарушил его спокойствие, потревожил его всесильную веру в незыблемость установленного порядка вещей, пытался разрушить все, что его психика воспринимала как естественное.

«Я обманут! Но она тоже обманута, мы все обмануты!»

— Почему ты плачешь? — спросил громко, но каким-то глуховатым голосом бай Иван.

— Она не плачет,— сказала Лалка, отводя от него взгляд и все еще не находя места своим рукам.

— А кто же тогда хлюпает — я, что ли?

Бай Иван вынужден был замолчать, потому что никто ему не ответил; голова Элены, склонившаяся почти до колен, сливалась в его глазах с полом.

«Так это моя дочь?! Значит, она может быть и такой — никакой?»

В нем закипала ярость; он постукивал кулаком по спинке стула, но это не расходовало энергии, накопившейся в нем от радостного ожидания, а только оттягивало взрыв. В его сознании всплывал образ той Элены, какой она была три года назад,— спокойной, уверенно идущей к своему будущему, полной решимости созидать, а не разрушать. Он и сам не знал, откуда его дитя набралось этой гордости, этой трезвой разумности; казалось, Элена сошла со страниц какой-то красивой, умной книги. И упиваясь своим гневом, он спросил:

— Так кто же ты теперь?.. Брошенная жена?..

Молчание обеих женщин распалило его еще сильнее; он чувствовал, что в эту минуту они думают не о нем, а это уже было нечестно.

«Я для нее — всего лишь воспоминание!.. Хотя я еще живу».

Он готов был от ярости ткнуть пальцами в гордые синие глаза своей дочери.

— Я жду ребенка,— бесцветно произнесла Элена, словно спрашивала его, который час.— Меня тошнит...

«Врешь! Этого не может, не должно быть!» — хотел было крикнуть бай Иван, но ощутил вдруг в себе странную пустоту. Говорить с нею не имело смысла, и он лишь с усилием обронил:

— Шлюха...

Он зажег сигарету. В окно приветливо глядел день. Он подумал, что хорошо было бы сейчас заснуть, отдохнуть, насладиться дремотой в прохладной белизне простынь, и уже одна эта мысль, казалось, смежала его веки. Уйти, кроме как в собственный дом, ему было некуда.

«Надо было бы радоваться, а приходится плакать. Она лишила меня самого дорогого... того, что продолжит мое существование на земле... Нет, он не благословит, не примет это ее дитя, потому что уверен: плод этот порожден просто нетерпением и скукой...»

Лишь к обеду, дребезжа и дурацки долго, зазвонил телефон. Бай Иван вышел из палатки и, прежде чем поднять трубку, расправил плечи. Он знал, что надо беречь себя! Не экономить силы, а просто беречь себя для дальнейшего. С упорством старого дисциплинированного человека бай Иван заставил себя съесть суп без соли и котлеты, которые ему принесли из заводской столовой двое ребят.

Теперь надо было размять поясницу, открыть глаза и увидеть яркое солнце — на локомотив он даже и не взглянул.

Телефон его раздражал не потому, что звонил, а потому, что звонил так громко. «Совсем как почтальон... звонит, чтобы воткнуть тебе что-нибудь в сердце».

— Эй, кто там — это ТЭЦ, да? — кричал в трубку неприятный мужской голос.

Бай Иван вздохнул и проглотил готовое сорваться с языка ругательство.

— Да, ТЭЦ. А что тебе надо?

— Еще спрашивает! Вот приду да так скажу, что своих не узна-

ете, бездельники вы эдакие! Пару давайте больше! Вы что — в карты там играете, олухи сонные?

Бай Иван, почесав по привычке левый ус, принял мудрое решение — он швырнул трубку. И тут же заметил, что из кабины локомотива на него испуганно глядит Килкин. В своей пестрой «молодежной» рубашке он был похож на невероятно разумного толстого младенца.

«Значит, пар не доходит,— трезво все взвесив, решил бай Иван и направился к лесенке локомотива.— Значит, надо выжимать до самого конца, выходить за черту красной стрелки». Он вспомнил вдруг паутину, которая связывала золотыми нитками два спящих манометра, и горько усмехнулся.

Мысль об Элене не покидала его. Он стал избегать соседей и друзей, испытывал потребность непрерывно что-то делать, чтобы ни минуты у него не оставалось свободной, чтобы не лишаться спасительной сосредоточенности, которой требует всякая работа, перестал заходить в «Ровно». Мнительность его усилилась неимоверно. Каждая обращенная к нему на улице улыбка сжимала его сердце, и должно было пройти несколько секунд, чтобы он мог, рассудив здраво, категорически сказать себе:

«Нет, этот не может *знать*...»

К вечеру, усталый от напряженного рабочего дня, неспособный отбиться от навалившегося на него одиночества, он повторял и повторял, убеждая себя: «Я это знаю, и потому мне кажется, что знают все. Либо я ее уговорю, либо выгоню!»

Он ловил себя на том, что все время ведет мысленный разговор с Эленой. Он находил лишь две причины ее упрямого желания родить ребенка. Первой он считал ее озлобленность на весь мир, которая всегда порождает у человека желание сделать что-то наперекор и продемонстрировать таким непристойным образом свою независимость. Элена, видимо, хотела либо отомстить Николаю, либо же простить его. Но тем самым она обижала своих близких и навсегда калечила самое себя. Он был убежден, что вторым оправданием ее поведения была ее гордость. В сущности, его собственная гордость, перелившаяся в дочь. Покрыв себя позором, она хотела доказать, что способна достойно понести наказание. Так она искупила бы свою вину — жизнь ее начнется с очищения пятна, которое останется в памяти людей как сочувственное воспоминание.

Он не находил себе места, все его раздражало, все было не так... Деревья бросали слишком редкую желтоватую тень, гнусавый звук радиоприемника соседа выводил его из себя. Его коробило и то, что накаленная зноем улица пустовала, ему казалось, что все дни живущих здесь людей заполнены сплошным бездельем и ленью. Бай Ивана окружал мир, близкий его представлениям и в то же время исключающий все, что могло бы нарушить давно установившуюся гармонию. Первый же писк этого незаконнорожденного ребенка открыл бы незаживающую рану...

«Даже если я ее прощу, они... остальные, весь город, не простят ей этого...»

Постепенно бай Иван понял, что ему больно не оттого, что дочь обманула его ожидания, не от ее непоправимой ошибки, а потому, что тайна их скоро станет всем известна. Он стыдился собственного малодушия, но не мог принять того, что считал противоестественным.

Элена, казалось, обезумела. Он не знал, что она думает, чувствует, и не интересовался этим. «Даже самые добродетельные люди могут согрешить, но они расплачиваются за свои грехи... нельзя ей

начинать самостоятельную жизнь с такой срамоты. Хоть бы поженились, ну просто так, для видимости... а потом и приехала бы сама с ребенком».

Его снедало нетерпение — когда же все это кончится?! Размышления, правда, немного отвлекали его от боли, но постепенно они отняли у него желание говорить с Эленой, потому что милосердие не может иметь места там, где угнездился стыд.

«Нет,— думал он, стараясь быть справедливым,— она не имеет права меня ненавидеть — ведь это еще не ребенок, а просто частица природы... Она его даже не видела и потому может от него избавиться. Как будет расти ребенок без отца? На улице будут показывать на него пальцем, улица...»

А Элена, та, что жила в нем самом, наблюдала за ним, старалась проникнуть в его мысли. Ей не хотелось ни плакать, ни просить о прощении — она не нуждалась в его сострадании... «Но я действительно думаю только о себе...» — приходил он к заключению.

Из дома, сквозь духоту и густую листву лозы, донесся стон и отвратительный звук — он понял, что Элену рвет...

Спавший в палатке Борко Тасев храпел всю ночь, и когда бай Иван перебрался снова в кабину локомотива, он подумал: «Выглядит таким хлипким, а гремит, как целый оркестр... Ну и хитрая эта штука — жизнь».

Бай Иван занял свое место чуть поодаль от топки и мирно задремал под благостным взглядом двух своих ребят, уже давно созревших для сна. Настроение у него было неплохим — наконец-то приблизился час, когда должно было случиться то невероятно важное, что вот уже годы ждал весь город. Надо было, чтобы перед соскучившимися журналистами установка выдала хотя бы первые десять — двадцать килограммов смолы, ведь телевизионщики хотели заснять «торжественный» момент и улыбающиеся лица,— они-то все ничего не знали про ЧП, слава богу! Они даже и не ожидали по-настоящему этого момента — нетерпение их будет формальным, лишенным подлинного чувства и усилий, можно сказать пустопорожним.

Теперь бай Иван уже понимал, что *знать* — значит быть ответственным. Он смутно догадывался, что если бы Элена своевременно избавилась от зреющего в ней плода или же если бы она родила, не сообщив ему об этом, все выглядело бы совсем по-иному. А она хотела, чтобы и он разделил с нею ответственность за ее безумное решение, хотела добавить к своему и его страдание... и тогда уже, как бы общими усилиями, родить...

«Хоть бы уж наладилось с этой смолой»,— подумал бай Иван.

Неподалеку от палатки появилась фигура главного механика; Килкин шел, как все близорукие люди,— мелкими шажками; он приблизился к локомотиву и не решился забраться в кабину в своем новом, «официальном» костюме. Его измученное, осунувшееся лицо странно контрастировало с его парадным одеянием.

— Торжество начинается...— сообщил Килкин.— Смола пошла...

Не его извинительный тон, а что-то другое, гораздо менее важное вызвало раздражение бай Ивана, но он так и не определил, что именно, потому что был слишком занят своими мыслями.

После обеда Борко Тасев улегся перед палаткой. Вскоре издалека донеслось прерывистое и неправдоподобно долгое «ура-а-а!», похожее на могучий зевок какого-то здоровяка. Бай Иван сидел в па-

латке и курил одну за другой сигареты, хотя от этого у него усиливалась жажда, сохли и болезненно трескались губы.

— Вот и родила эта женщина! Родила наконец-то наша установка смолу... — непроизвольно воскликнул вдруг бай Иван.

И сразу же в его мозгу как молния блеснуло: «А что, если Элена действительно хочет родить не со зла и не из гордости? Если она просто любит это дитя?» И сквозь марево он увидел кроткую улыбку дочери, и взгляд ее синих глаз сливался с синевой неба. Его поразила святость ее взгляда. Он протер глаза, но они были сухими. Мозг его работал быстро, лихорадочно. Он искал доказательства правоты дочери в продолжительном и прочном презрении к нему Лалки, в той боли, которую ему причиняли утробные звуки, доносившиеся из комнаты Элены. Он искал примирения с дочерью, но ничего не знал о ее жизни. «Может, это и будет тот самый последний раз, когда я буду ей нужен...» — подумал он.

Борко Тасев встал и, ухмыляясь по-мальчишески, вошел в палатку, надел очки и попытался пошутить:

— Ну, куда пойдем, бай Иван?... Вечер на носу — пора и нам кутнуть, черт подери!

— Ага...

Тасев тоже закурил, и палатка стала еще теснее. Карбидный фонарь раскачивался от сквозняка, скребясь о полотнище.

— Тасев,— неожиданно для себя обратился к нему бай Иван.— Прочитал я на днях одну книгу. И она, знаешь, здорово подействовала на меня. Хотел бы я поделиться с тобой...

— Кто автор?

— А-а, забыл я... кажется, фамилия на «Б» начинается.— Бай Иван на мгновенье задумался, словно хотел вспомнить что-то важное.— Так вот о чем там речь идет. Послал один человек свою дочь в Софию учиться. Связалась там девушка эта с каким-то вертопрахом... вернулась домой, бессовестная и неблагодарная, с ребятенком. С младенцем вернулась, понимаешь? И ни тебе замужняя, ни тебе разведенная. Как бы ты поступил, если бы оказался на его месте?

Тасев слушал рассеянно, время от времени качая головой, склоненной на тощую волосатую грудь; пальцы его пощипывали травку, росшую между двумя раскладушками.

— У меня современные понятия на сей счет,— медленно произнес он, и бай Иван оцепенел.— Но я бы ей все-таки всыпал хорошенько. А потом дал бы коленкой под зад и выставил бы из дома эту негодяйку со всеми ее шмотками.

— А знаешь, тот человек решил поступить точно так же. Забирай, мол, девка, свои чемоданы, и скатертью тебе дорога.

— Н-да...

Бай Иван выбросил окурок через оконце палатки и лег на раскладушку. «Все мы одинаково жестоки... да так оно и должно быть!» — подумал он.

И все же душу его продолжала бередить какая-то растроганность. Но теперь он думал уже о самом себе. Ведь от бай Ивана Спокойного осталось одно только имя — у него отняли самую его сущность, смысл всей его честной жизни. Он жаждал очищения...

Ребята здорово напугались, но были неправы; заговорили сразу о женах и детях, словно их на войну, на верную гибель отправляли, а неправы были потому, что хоть клапан и не удерживал высокого давления в котле, маленько пропускал пар и шипел как гадюка, но в общем старик локомотив держался крепко. Началась суматоха,

парни что-то искали, суетились. Искали слова, чтобы доказать свою порядочность, оправдать себя.

— Да погодите, люди, доверьтесь ржавому... грех вам уходить отсюда как раз тогда, когда всем нам больше всего нужна помощь друг другу.

— Тяжко нам, бай Иван, — криво улыбаясь, говорили они и били себя в грудь кулаком. — Неужели ты нас не понимаешь?!

Ночью жара спала, из трубы вылетали веселые искры, и прохладный ветер, рассеивая их, создавал иллюзию медленного движения. Бригада бай Ивана дружно сматывала удочки. Один только Гошо, отделившись от остальных, дважды повторил громко, громче, чем это было необходимо:

— Плоховат стал наш бай Иван, не могу я оставить его здесь одного — вдруг с нашим «стариком» что случится!

— Да ты что, сдурел, Гошо?! — смеясь, сказал бай Иван и похлопал его по голому плечу. — У нашего «старика», верно, выпускной клапан барахлит малость, а шипит он так потому, что мы стоим на месте...

Килкин в это время сидел на корточках у телефона и кричал что есть силы:

— ТЭЦ! ТЭЦ! Это вы? Ну как дела? Что-о — неделю?! Еще целую неделю?!

В ночи неподвижно светились окна Экспериментальной базы, в их ровном люминесцентном сиянии ощущались спокойствие и вера в человека. Над Дунаем словно бы плескалось белое сверкающее марево, мешавшее небу полностью осветиться красками восхода и приобрести глубину; за румынским островом виднелись желтоватые огоньки пассажирского парохода.

Глубокая огненная пасть топки освещала лицо Гошо, его длинные руки, державшие лопату, и старость бай Ивана.

Человек может за один вечер вдруг постареть, заглушить в себе интерес к жизни, а страх его перед смертью станет еще сильнее. Бай Иван не испытывал ни того, ни другого... но нетерпение его усиливалось, боль нарастала, и взгляд все чаще задерживался на небе. Старому оленю прощается бессилие, но он не понимает этого, он все равно вступает в поединок с молодыми, потому что смысл его жизни не в том, чтобы мирно пастись на лужайке, а жить...

— Голодно нашей смоле, но ты не надрывайся, Гошо!

— Ничего со мной не станется!

Голос Гошо, вдвое громче обычного, странным образом сливался с резким шипением пара, которое словно бы рассекало ночь.

— Не каждый так может, — прервал его бай Иван, и сердце у него мучительно сжалось. — Я, например, читал недавно книгу. Автора вот запамятовал — фамилия его, кажется, на «Б» начинается...

Бай Иван принялся рассказывать; он прислушивался к своим словам, и они казались ему красивыми, сердечными, искренними. Лицо Гошо мрачнело, становилось серьезным, и лишь непонятная усмешка кривила губы. Руки его — добрые, благородные руки — странно контрастировали с этой злой усмешкой, с мрачно наморщенным лбом.

«В конечном счете, — подумал бай Иван, — она так или иначе родит — то ли назло, то ли из гордости, то ли из святости. Все причины важны, когда нам приходится защищать себя!»

— Я бы ее, бай Иван, выгнал и глазом не моргнул, потаскуху такую! Я сраму больше, чем бешеной собаки, боюсь. Потому вот и остался в этой паровой колымаге. Уж я бы душу ей вымотал!..

— И тот отец тоже так поступил,— ответил успокоенный бай Иван и впервые подумал:

«А ведь речь идет о моей дочери, об Элене».

Килкин стоял торжественный как памятник и лил из кувшина воду. Бай Иван ловил ее пригоршнями и размазывал по телу — по груди и по икрам ног, по шее и лысоватой голове, так натирают себя целебными бальзамами.

— ТЭЦ исправили досрочно. На два часа раньше...

— Ну и хрен с ними — с вашими двумя часами!

Бай Иван принялся медленно одеваться. Складки на брюках не было и в помине; рубашка была влажной и мятой, словно ее только что постирали; набившаяся в башмаки пыль затвердела.

«Хорошо еще, что сейчас вечер»,— безвольно подумал он и обошел Килкина. У него не было времени обернуться, да и усталость сжимала словно клещами его больные почки. Локомотив, так никуда и не прибыв, остывал, но теперь это уже никого не интересовало.

По дороге он пинал ногами попадавшиеся ему пустые консервные банки, и они со звоном исчезали в кустах. Он не пожелал ехать в джипе — ему необходимо было время, чтобы настроиться, упрятать всю свою муку глубоко в сердце и предстать перед дочерью очищенным. Если бы это было необходимо, бай Иван мог бы и заплакать, размазывая слезы по своему старому лицу, ласково омыть ими ее волосы, он не побоялся бы предстать перед нею во всей своей беспомощности. «Она умная и смягчится, поймет...»

— Вот что, Лени,— голос его скрипел в свежем ночном воздухе, — сделай что надо, чтоб избавиться от этого ребенка, и останься для нас нашей радостью и любовью. Если не можешь этого сделать — уезжай. Деньги мы с матерью будем тебе посылать, пеленки и все приданое детское купим... Может, ты и святая, но лучше уезжай...

Бай Иван пересек асфальтовую аллею и, удивленный, остановился перед Экспериментальной базой. «А смола-то родилась!» — подумал он безо всякой связи с предыдущими размышлениями и невольно склонил свою старую голову.

Продолжая свой путь вниз, к автобусной остановке, бай Иван повстречал группу рабочих. Их было человек двадцать, они стояли, опершись о железные перила, но он прошел мимо, словно не заметив их. Он брел вдоль громоздящихся у шоссе куч гальки и щебня, ему ужасно хотелось пить. У бай Ивана было такое ощущение, будто по руслу Дуная течет пиво, ему казалось даже, что какой-то вставший спозаранку кузнечик стрекочет отчаянно: «Пи-и-во! Пи-и-во!» А он с пересохшим горлом, истомленный жаждой, влачит свое усталое тело домой...

Килкин

С тех пор как мы взяли Момчила, мама перестала вязать, писала мне двоюродная сестра. Разругалась с председателем объединенного ТКЗХ [1], грозилась подать на него в суд за грубое обращение с пожилыми людьми и упорно готовилась ремонтировать свой глинобитный домик. Целыми днями сидела под отяжелевшей от крупных гроздей созревшего муската лозой, слушала жужжанье хищных ос и произ-

[1] Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство.

водила какие-то расчеты в потрепанной тетрадке, оставшейся еще от моего отца.

Мы отправили ей несколько фотографий Момчила, и она повесила их на стене в своей комнате вместе с несколькими семейными портретами поры ее молодости.

Мама редко отвечала на мои аккуратно посылаемые ей письма. Она сообщала мне с возмущением, что в пекарне портят хлеб, клялась, что никогда больше не притронется к спицам; называла Марию «несчастной», а относительно Момчила писала и вовсе неясно, как будто она обо всем позабыла. Сообщала, что подумывает о чем-то очень, очень важном...

Завод рос, словно младенец,— меняясь с каждым месяцем; упорно и настойчиво, несмотря на все несовершенства, бесконечную повторяемость проблем и будничность стройки. Изо дня в день равнина оставалась как будто бы прежней и в то же время менялась; она была похожа и на нечто ушедшее, и на нечто приходящее.

В красные сети летних закатов ветер приносил резкие голоса монтажников; воздвигаемые корпуса напоминали полуразрушенные пирамиды; у новой, только построенной пристани подъемные краны рассекали небесный свод и укладывали оборудование в высоченные штабеля; грузовики-трейлеры, доставлявшие панели, роями, словно огромные жужжащие мухи, налетали на эту раскаленную равнину; садовники в грязных желтых фуфайках рылись в пересохшей гальке, устраивая цветочные клумбы, и во всем этом была и злость людей, и их признательность заводу.

Учителя городских школ часто приводили сюда своих учеников, рассказывали о заводе, показывали, где затонул бульдозер, где рассыпался ледяной блеск электросварки. Дети простодушно радовались тому, что им в этот день не надо идти в школу, что у них не будут спрашивать заданного урока,— и это было такое понятное человеческое чувство. В те долгие, медленно тянущиеся дни я реже думал о Марии и Момчиле. Я был один, но не одинок, как это бывало в присутствии Марии и Момчила, когда я был не один, но чувствовал себя одиноким...

Я сознавал, что размякаю. Стал все забывать, и меня хватало лишь на то, чтобы записать в тетрадку самые неотложные дела. Я почти не пускался в рассуждения, и, может быть, поэтому действия мои выглядели точными и тщательно продуманными. Но самым нелогичным в те месяцы были мои переживания (собственно, переживания всех нас), что я не могу быть на стройке повсюду. И я все больше замыкался в своем сарайчике, где телефоны выглядели так же нелепо, как новые парадные туфли в совершенно пустой комнате. Оперативки становились бессовестно долгими, и мы находили облегчение в спорах и ругани — стучали кулаками по столу, обманывали самих себя и друг друга, руководствуясь самыми честными побуждениями.

Борко Тасев стал и вовсе похож на шпану с городской окраины. Входя в раж, рвал перед уполномоченным Сиренковым на груди рубашку, дважды плевал мне в лицо, хотя был сам виноват; его, казалось, раздражал даже цвет моих волос. Он должен был обеспечивать монтажные бригады и зачислил в штат одного беззубого старикана, для того чтобы тот шпионил за мной. Тасев платил ему сто двадцать левов в месяц, чтобы знать, какой из моих объектов не завершен.

— Разве я не давал рабочих этому ничтожеству,— надрывался от крика Тасев, тыча в меня погасшей сигаретой.— Разве я не посылал

людей на строительство колодцев? Я дал ему двадцать человек, чтобы начать монтаж машин в цеху, а цех не был готов.

— Тасев, я привлеку тебя к партийной ответственности,— орал, стараясь перекричать его, уполномоченный.— И тебя, Килкин, тоже привлеку к партийной ответственности...

Вконец размякший и безучастный, я пытался узнавать хоть что-то: чью-то физиономию, значение какого-то случайно оброненного слова. Окно у меня всегда было широко открыто, и передо мной в лунном свете вставали надменные контуры Экспериментальной базы и завода автомобильных шин. Боль в челюсти лишала меня удовольствия мять во рту жевательную резинку и выдувать розовые шарики, которые, вылетев с губ, лопались в десяти сантиметрах от моего носа. После оперативки Борко Тасев оставался в задымленном помещении пришивать к рубашке пуговицы и со спокойной счастливой улыбкой говорил:

— Килкин, строительство — это прежде всего интеллигентность. Тебе надо научиться отфутболивать мяч, иначе песенка твоя спета. Может, это и подло, но если я не могу обеспечить тебя людьми... то лучше, чтобы виноватым был ты. Ты толстый — с тебя как с гуся вода!

Целый месяц подкупал я беззубого тасевского старикана, записал его дочь в химический техникум. И когда, наконец, доказал самому себе, когда с огромными усилиями убедил уполномоченного Сиренкова в своей жалкой правоте, Тасев ворвался в рассохшийся от жары «кабинет», всхлипнул, как ребенок, и оставил на письменном столе два исписанных мелким почерком листка.

— Вот,— заговорил он, растягивая слова и размазывая слезы,— вот мое заявление об уходе. Вот — мой партийный билет... я идиот!

Отупев от жужжания какой-то зловредной мухи, утратив начисто способность мыслить и даже желание казаться добрым, я все же называл его «друг мой», «душенька». Но я не оправдывал его, у меня недоставало сил простить, я просто принимал его таким, какой он есть... Сталкивались истины и амбиции, неспособность и воля, директивы государства и невысказанные сомнения города. Уполномоченный Сиренков вынул из кармана носовой платок и принялся вытирать шею Борко Тасева, стараясь его успокоить. Я подал Тасеву бутылку воды, и он заключил меня в объятия.

— Строительство — это прежде всего интеллигентность,— сказал он мне два часа спустя со слабой улыбкой.— Только запомни мои слова: заявление об уходе — это последний козырь. С нынешнего дня я — пропащий человек...

Завод рос, как растет младенец,— неровно и непрестанно. Всегда что-то было в избытке, а чего-то не хватало. В своем рвении мы, должно быть, слишком торопились, обогащали себя, а в чем-то и обедняли. Страдая от того, что не могу быть везде, я присутствовал не присутствуя, отчаянно боролся с телефонами, носился в своем разболтанном джипе и всегда всюду опаздывал.

— Главный механик находится между молотом и наковальней,— шипя от злости, говорил уполномоченный Сиренков, и щеки его покрывались красными пятнами.— А ты все полнеешь, Килкин, растишь пузо. Ох, убить тебя мало!

Но одновременно с нашей, ставшей уже привычной, грубостью в нас росла потребность в нежности. День нетерпения представлялся мне невообразимо прекрасным и в то же время окрашенным скромными лучами заката, когда, сидя на балконе, вслушиваешься в успокоительную тишину грядущего времени.

Я уже не стремился к порядку, спокойно разговаривал по телефону, барабаня пальцами по столу, хладнокровно тревожился о Момчиле и испытывал неясную нежность к Марии. Мое желание забыть о заводе превращалось в желание забыть о самом себе, но я был не в силах сделать это. Перегруженный обилием запомнившихся мне лиц, впечатлений, я был порой не в состоянии отличить свой дом от остальных домов нашей улицы, мне казалось, что, придя домой, я застану там всех, кого каждый день вижу на стройке.

Я пытался сравнить свое детство, самого себя с Момчилом, со всем его агрессивным присутствием. Я сознавал, что он много умнее и интеллигентнее меня, когда я был в его возрасте, но именно это в нем и раздражало. Никто не нашел бы в себе смелости назвать Момчила моим сыном по той простой причине, что я ничем не был похож на его отца. Различия между нами были слишком очевидны.

Он непрестанно вертелся возле меня. Остановившись на мгновенье на голубом фоне оконных занавесок, он вдруг оказывался в совершенно противоположном углу комнаты. В своих играх он никогда не бывал только «пиратом» или только «охотником» — этому препятствовало его непомерное желание быть всем, быть похожим на всё.

Я уставал от него, Мария с ним отдыхала. Изголодавшимся инстинктом матери она понимала, что им просто достаточно быть вместе — пусть даже она занята чем-то своим, важным или неважным. Момчил был со мною нежен, называл меня «папуля», ощупывал пальчиками мой заросший подбородок, помогал выколачивать ковры, а я воспринимал это как бессознательный упрек мне. Глядя на его нежную улыбку, я чувствовал себя тупым и бесчеловечным. Ребенок, сам того не желая, заставлял меня чувствовать себя эгоистом. Но невыносимее всего были для меня воскресенья, возможно, потому, что тогда Момчил чувствовал себя особенно счастливым. Мы прогуливались втроем по парку вдоль Дуная, гонимые тяжелым зноем и разделенные бархатистым полумраком. Мы долго созерцали реку — сиротливое лилово-желтое неподвижное отражение луны на ее прохладной глади, сверкающие подвижные отражения проходящих судов. Мы были похожи на людей, которым необходимо сказать друг другу что-то очень важное, прежде чем исчезнет извилистая полоса, оставленная баржей. Мне хотелось что-то сделать, но между нами был Момчил, одинаково доверчивый к нам обоим. С нетерпением ждал я, когда мы, наконец, доберемся до тира, потому что там нам было действительно весело. Мы стреляли, успокоенные бешеными ритмами музыки, несущимися из красного громкоговорителя, простодушная пестрота всего, что было вокруг нас, пленяла ребенка. Момчил хотел нацелиться в «Мими дает конфеты», и это заставляло его хоть на какое-то время застыть в неподвижности; женщина, выдававшая ружья, отбивала такт, постукивая грошовым перстнем по стойке. Мария, наполнив свою сумку жевательной резинкой и карамелью «Му», откровенно наблюдала за мной.

— Знаешь, Килкин,— вздохнув, сказала однажды она и погладила меня по плечу,— ты ужасно много говоришь о Момчиле, ты покупаешь ему слишком много игрушек...

Непонятный сон Графа Теренти

Его разбудили гулкое буханье барабана и плачущие звуки кларнета.

Граф подошел к окну и увидел цыганскую свадьбу, напоминавшую скорее лубочную картинку, чем реальный факт. Настолько нео-

бычной, отчаянно свежей и пестрой, утомительно шумной и наивной, очень жизненной, современной и в то же время примитивно плотской была она. Цыгане медленно шли по улице; их руки и тела были в непрерывном движении, разноцветные колготки женщин так и мелькали перед его глазами. Два стареньких «москвича» торжественно следовали за толпой. Улица сразу стала похожа на кипящую кастрюлю пестрых бобов.

Он налил себе рюмочку «ментовки» и медленно, маленькими глотками, осушил ее. Почесав с серьезным видом голову, натянул чистые носки; открыл гардероб (на внутренней стороне дверцы было зеркало) и надел костюм. Изрядно потертые брюки были явно тесноваты. Поглядев на себя в зеркало, он подумал смущенно: «Все же я еще где-то в середине жизни... Может, уже чуть переступил, но в общем я еще посередке...»

— Костюм у вас чересчур зеленый, Граф...— заметила Трендафила тоном многоопытного человека.— Совсем как офицерский мундир...

— Пусть это вас не беспокоит... Пожалуйста, дайте мне «ментовки»...

В ее присутствии Граф Теренти всегда ощущал пробелы в своем образовании. Чтобы скрыть свое смущение, он перевел взгляд на стеклянные громады корпусов шинного завода. Сидевшие за четырьмя столиками завсегдатаи заводского буфета не сводили с него глаз, готовые, казалось, в любую минуту встать и вмешаться в разговор.

— И все же он вам идет, подходит к цвету глаз...— продолжала ласково и очень серьезно Трендафила, почти прижавшись бедром к пальцам его правой руки.

— Кто? — не понял он, совсем смутившись.

— Цвет костюма, разумеется...

Трендафила с достоинством удалилась — женщина без возраста, с рыжевато-каштановыми волосами и могучими, вызывающе колышущимися формами. Граф Теренти пытался представить ее в пеньюаре, но его почти девственное воображение рисовало лишь изгиб ее груди, который он видел и так.

Солнце вышло из-за тучи и взобралось на крышу буфета — большой жестяной коробки, с пятью охромевшими столами перед нею, поставленными для того, чтобы рабочие могли тут посидеть, побалагурить.

Граф Теренти вздохнул и поправил узел на своем розовом галстуке. Уже шесть месяцев он каждый день после работы садился здесь на «свой» стул, пил со смущенно-растерянным видом «ментовку» и молчал. Трендафила вертелась вокруг него куда резвее, чем это позволяли ей годы, и всегда прижималась своим пышным бедром к пальцам его правой руки, лежавшей на краю стола.

Муки одиночества с особой силой разъедали в эти мгновенья сердце Графа Теренти; он чувствовал, что готов до конца дней своих сидеть за этим столом; а для нее его молчаливое присутствие было удобной опорой, к которой в любую минуту можно прислониться и сказать с детской улыбкой:

— Вот и второй мой двоюродный брат разошелся с женой... Какая жестокость...

Два месяца понадобилось ему, чтобы составить хоть какое-то представление о ее многочисленной родне, которая, казалось, была такой же необъятной и необъяснимой, как сама Трендафила. Женщина эта жила жизнью еще по меньшей мере тридцати родственников, подобно тому как он жил жизнью тех пятнадцати объектов, где

работал. Но Трендафила в его глазах была воплощением дружбы со всем миром. «Я же теперь все возле матери, возле печки своей... А всех тех замечательных ребят, с которыми работал и дружил, хоть и помню, но, расставшись, ни с кем связи не поддерживаю»,— думал Граф Теренти, подперев голову кулаком. Жизнь у него была богатая — он много видел и много сделал, но теперь выглядел каким-то незначительным, малоинтересным.

Три месяца понадобилось ему, чтобы собраться с духом. Однажды вечером он остался с Трендафилой с глазу на глаз. Почти целый час он молчал, глядя, как она подсчитывает выручку, и под конец произнес пересохшими губами:

— Почему бы нам не прогуляться?..

Трендафила рассмеялась, свет лампы прикрывал ее лицо желтоватой вуалью, она казалась ему тепличным цветком. И этот цветок мог быть ухожен всеми, по крайней мере, с их завода, но не таким вот молчуном, как он. «Да только у меня никогда не было потребности говорить — прок-то не в разговорах, а в делах...»

— Ах, Граф, вы такой забавный!..

И она снова чистосердечно рассмеялась. А его смешок, прозвучавший с запозданием, чем-то напоминал выбившийся из графика поезд...

Как-то на строительстве «Марица-Изток» он выпил на пари за час два с половиной литра «ментовки» и после этого прошелся на двадцатиметровой высоте по узкой балке между двумя корпусами. Когда работал на водохранилище «Тополница», исколотил троих крепких парней, которые, перепившись, пытались разрушить стену. Но ведь то были мужики! А как держаться с нею? Тревожила Графа и собственная молчаливость, нападавшая на него в ее присутствии из-за слов, оброненных как-то его приятелем Ченчо.

«Тискают ее парни наши каждый вечер в ивняке за химическим. Что ты с нею цацкаешься, Граф,— сказал Ченчо.— Возьми ее за руку и уведи к Дунаю».

— Мне будет очень приятно, я давно уже хотел вам предложить...

— Значит, вы приглашаете меня на рандеву, Граф? Моя покойная тетя, что жила в Софии, рассказывала мне...

А он с облегчением подумал: «Слава богу, что хоть эта ее тетя из Софии уже умерла», и он отдался тому теплому покою, которым его овеяла ночь, и своему нетерпеливому ожиданию.

Трендафила медленно запирала двери палатки. Глядя на нее, Граф Теренти таял от умиления, в то же время отчаянно смущаясь. А рядом забытый им завод пульсировал как чужое, но дружеское сердце.

Они вдвоем медленно шли вдоль берега Дуная, оба высокие, одного роста. Но Трендафила выглядела гораздо красивее — зрелая, сочная, она украшала собою ночь.

И он, известный всей Болгарии Граф Теренти, впервые в жизни почувствовал страх. Душа стольких компаний и строек — он сейчас еле плелся, лишенный привычной нравственной опоры. Потому что Граф Теренти, наконец, понял, что истинная нравственность — это в сущности человеческое счастье.

Отягощенный собственным молчанием, он напряженно следил за тем, чтобы идти в ногу со своей спутницей.

— Расскажите мне что-нибудь о себе, Граф... Вы сегодня такой таинственный!..

Трендафила была единственным человеком на свете, способным его смутить. Губы у него пересохли, а в мозгу то теснились какие-то

новые, незнакомые прежде слова, то образовывались провалы, глубокие как пропасть. Графу Теренти хотелось вспомнить какую-нибудь песню или же какие-то прекрасные слова, но все, что приходило ему в голову, он не решался произнести вслух. Ему казалось нелепым рассказывать Трендафиле о стройках, где прошла его молодость, о его всегдашнем стремлении бежать от монотонности разумно сложившейся жизни; о матери или же об их старом доме, который вот уже десять лет как он собирался оштукатурить и починить протекающую крышу. Граф Теренти всегда предпочитал движение всему постоянному, установившемуся, и в душе его накопилось столько участия и столько иронии по отношению к самому себе, что по утрам, задыхаясь от нетерпения, он открывал дверцы старого гардероба и вглядывался в помутневшее зеркало, чтобы увериться, что он еще не уехал. Если бы не мать, измученная до крайности склерозом... он, наверное, снова укатил бы куда-нибудь — новых мест для него в Болгарии хватит!

— Графом Теренти меня стали называть на стройке «Марица-Изток»...— начал было он и осекся: просто не знал, что еще ему сказать.

Сущность человека — нематериальна, способность Графа управлять шестью десятками людей, делающих шины, невозможно описать так же, как описывают производственный процесс — море шин, каучук, пыль, грязь, удары прессов и сосредоточенные лица рабочих, каждый захвачен чем-то своим.

— У вас такое интересное имя, Граф...— сказала Трендафила.

И тогда он спросил у нее — хорошо ли ей. Потому что, если бы все зависело только от него, он ходил бы всю ночь. «Может, мы дойдем до какого-нибудь места, просто до какого-то места и...» — подумал он, и эта мысль сделала его счастливым, словно в ней крылось невообразимое чудо.

— Давайте присядем...— робко предложил Граф Теренти и заметил на губах Трендафилы ироническую улыбку.

Он сразу же снял пиджак и постелил его на землю. Трендафила села, заполнив его целиком, что с умиленностью и удивлением сразу же отметил Граф. Она молчала, замерев в ожидании. У их ног шумел Дунай.

Граф Теренти закурил сигарету, смутно ощущая, что надо сделать что-то более значительное для Трендафилы. О себе он уже не думал — ему хватило той нежности, которая, казалось, проступала даже из пор ее кожи и вливалась в его кровь, ласково горяча ее, подобно «ментовке».

— Вы меня просто сводите с ума, Граф...— тихо сказала Трендафила и, прижавшись к нему, обвила руками его шею, едва не задушив в своих мощных объятиях.— Но я прошу вас — не надо, не надо, не надо...

Он отстранился, смущенный ее словами, не поняв их. Ее мясистая рука повисла на мгновенье в воздухе; потом она рассмеялась— звучно и презрительно.

— Одно удовольствие беседовать с вами, Граф... Вы устойчивы, надежны, выдержанны. Нынешние мужчины, как только пойдут с тобой, так сразу же начинают... вы догадываетесь, да? — И Трендафила снова рассмеялась, теперь уже окутанная мраком и, казалось, почти бесплотная.— Мой дядя рассказывал...

— Дядя Георгий, да? — поспешно спросил он, довольный, что, наконец, кое-что понял и может включиться в разговор.

— Нет,— она погладила его по голове, как это делала мать лет

тридцать назад.— Дядя Георгий — это дядя по отцовской линии, а это — брат моей мачехи...

И Трендафила снова принялась рассказывать эпизоды своей жизни со свойственной ей сентиментальной бессвязностью.

Потом Граф Теренти почувствовал, что ей становится скучно и переживания их утратили, казалось, свое очарование. Трендафила поднялась, аккуратно вытряхнула его пиджак, и оба солдатским шагом направились к автобусной остановке. Они долго ждали автобуса, Граф Теренти набрался наконец храбрости.

— Знаете,— заговорил он, глядя на крутой изгиб Большой Медведицы, бесплотно повисшей над заводом,— у меня серьезные намерения. Мои намерения очень серьезные...

Он ждал, что она рассмеется, боялся обидеть ее, но та торжественность, с которой она восприняла сказанное им, его успокоила. О Трендафиле он знал только, что прежде она держала буфет в селах софийской округи; познакомился с частью ее огромной родословной; оценил по достоинству и ее фигуру, которая напоминала ему просторный и благодатный дом.

— Это трудно... так сразу. Я одинокая женщина.— Она стояла, прислонившись к парапету, и не плакала, еще не плакала, но выглядела печальной.— И все же я благодарю вас, Граф... вы так романтичны.

Уже три месяца размышляла она над его предложением и встречала Графа, когда он приходил в буфет выпить свою рюмку «ментовки», все так же сердечно.

Однажды Ченчо, тяпнув безо всякой закуски двести граммов «мастики», сказал ему зло:

— Послушай, Граф, боюсь, что если ты засидишься в этом вонючем буфете, у тебя лопнет аппендицит! — Он щелкнул пальцами и продолжал: — Да уведи ты ее в кусты, и дело с концом...

Граф Теренти беспокойно заерзал на колченогом стуле, как это частенько бывало с ним, потому что у него от долгого сидения все немело.

Залитый лучами постаревшего осеннего солнца заводской корпус, казалось, был сделан из слюды. Рядом с жестяной коробкой буфета он выглядел непомерно большим, но был вполне соразмерен с Трендафилой. В ее психике Граф Теренти подмечал что-то трагичное и был убежден, что именно стыдливость мешает ей дать ему сразу положительный ответ. Она, очевидно, выжидала, чтобы все у них получилось прилично, по-культурному; но в голове у нее, наверное, уже вертелись модные модели и она уже выбрала фасон для свадебного платья.

«Какой хороший вечер!» — подумал Граф Теренти и увидел ее — она вышла с темным подносом, на котором поблескивали стаканы с разноцветными напитками. Трендафила проворно обслужила все столики и под конец, улыбаясь, прижалась, как всегда, бедром к его расслабленной руке. Выглядела она очень торжественно, была подкрашена и напудрена тщательнее, чем обычно, но под глазами у нее лежали густые синие тени.

— Из Софии приехал мой двоюродный брат...— сообщила она ему.

— Кто? Цецко? — смущенно спросил Граф Теренти.

— Нет, он — сын другой моей тетки.— Трендафила поставила перед ним «ментовку» и наклонилась пониже, к самому его уху.— Это замечательно, что вы познакомитесь. Я очень счастлива, Граф...

К обеду смрад в цеху становился нестерпимым. Казалось, что и приглушенный стук прессов, придающих шинам окончательную форму, и солнечный свет, вливающийся в высокие окна, и даже газоны во дворе пропитались каучуковой вонью. Граф Теренти не отличался особой остротой обоняния, но тут его обычно нечувствительный нос откупоривался, и он в течение нескольких часов испытывал ощущение, будто непрерывно жует кусок старой камеры от футбольного мяча.

В цех шины прибывали мягкие, пузатенькие, черные-пречерные. Прессы принимали их с бездушным спокойствием и безразличием; пар свистел так, словно по цеху непрерывно проносились поезда.

Еще несколько месяцев назад Графу Теренти было здесь интересно. Бригада его еще только осваивала производство и допускала много брака. Килкин влетал в цех, останавливал на нем улыбающийся взгляд близоруких глаз и удивленно качал головой:

— Терентиев, Терентиев, ведь это ужасно!..

Теперь, когда дело наладилось, Граф Теренти уподобился большому зубчатому колесу мельницы, которое просто вертится под напором воды и время от времени мучительно скрипит в буфете Трендафилы. В душе его назревал протест против собственного существования, словно бы он получал свои деньги понапрасну. Он любил начинать и всегда стремился к началу всякого дела. Прежде он никогда не чувствовал себя одиноким, потому что мог легко сменить сегодняшнее на завтрашнее...

Всю жизнь он работал чертовски много. Ему даже нравилось, когда что-то не давалось сразу, противодействовало ему. Он участвовал в строительстве по меньшей мере половины объектов общегосударственного значения. Овладевал все новыми и новыми специальностями.

Сначала он был бетонщиком на строительстве водохранилища «Тополница», где по утрам окрестные голые холмы были так похожи на караваи теплого хлеба, которые, выйдя из солнечной печи, окаменели. Плотина водохранилища напоминала беззубый рот; на разбитых дорогах вокруг нее тонули в грязи грузовики. По вечерам ребята в бараках резались в карты, Манолчо играл на гитаре. Женатые мужчины любили петь и жались к Манолчо, как будто бы он мог уберечь от соблазна их жен, приезжавших сюда раз в месяц с баницами и домашней ракией. В бараках стоял тяжкий дух мокрых ватников и подгоревшей картошки. Ребята азартно шлепали картами по перевернутому вверх дном ящику. Однажды Граф Теренти (тогда еще просто Терентиев) сказал, весь потный от напряжения: «Здорово мы сыграли! Как настоящие графы!» — а Манолчо сразу же запел: «Граф Теренти, Граф Теренти, наш учитель и вожак...»

Но как только Граф Теренти достиг здесь «максимума» и получил свой первый орден, от тут же перевелся на стройку «Марица-Изток» и стал работать сварщиком.

— Нет, ты не сделаешь карьеры,— сказал ему главный инженер «Тополницы» и зло плюнул в снег.— Именно теперь, когда о тебе пишут в газетах и мы можем направить тебя на заочное обучение, ты удираешь от нас.

И всегда, как только Граф Теренти достигал «максимума», он начинал испытывать скуку. Это состояние расстраивало его, приводило к убеждению, что жизнь может стать и бессмысленной. Видно, такой уж была его душа — слишком восприимчивая и малость большая.

Когда у него появлялось это ощущение неудовлетворенности, скуки — он словно бы находился в состоянии опьянения,— его мучила непрестанная жажда, даже повышалась немного температура; опустошенным взглядом обводил он предметы, которые для него уже ничего не значили. Вечером, когда он возвращался в барак или в общежитие, он вдруг впадал в меланхолию, в какое-то странное дремотное состояние. Все вокруг, казалось, замедляло движение, и для него приобретали значение лишь самые обыденные дела — хотелось постирать носки, отутюжить брюки или же съесть порцию кебапчет.

И тогда людям, хорошо его знавшим, становилось ясно: Граф Теренти собирается сматывать удочки... Мучительной была в нем эта борьба между двумя его влечениями — остаться или уехать. Он испытывал усталость не от работы и не от людей — его одолевало неутоленное желание рассказать что-то о себе, или нарисовать какую-нибудь картину, или спеть не известную никому песню. Впав в свою странную дремоту, он напоминал мечтателя, оказавшегося перед неведомым островом, где его могут встретить тысячи опасностей, но будут и открытия.

И половина его бригады уходила следом за ним, потому что люди доверяли его «графской» натуре.

«Раз есть комната, то надо, чтобы в ней было окно, а в окно всегда что-нибудь да увидишь...» — говорил он.

«Тополница», «Марица-Изток», химкомбинат в Стара-Загоре, химкомбинат в Бургасе... Руководители объектов просили его остаться, предлагали месячные оплачиваемые отпуска, объясняли ему, что он несознательный и что то, чем он недоволен, изменится. Однажды в Стара-Загоре один тип довел Графа до того, что он выкурил полпачки сигарет в его канцелярии.

— Ты свинья, Граф!..— заорал под конец тот.

Оказалось, что, впав в свое странное состояние, Граф Теренти плюнул на его письменный стол. Потому что знал — субчик этот крадет лесоматериалы и цемент. Плюнул так, словно письменный стол, заваленный синими папками, заставленный оглушающими телефонами, был рожей этого жулика.

Но усталость следовала за ним, как верная жена. Она не была похожа ни на боль в суставах, ни на то тяжкое состояние, когда чувствуешь, что задыхаешься; она неожиданно овладевала им в самые спокойные и прекрасные минуты, когда Манолчо напевал: «Граф Теренти, Граф Теренти, наш учитель и вожак...»

«А где же оно — твое счастье?» — спрашивала эта мерзавка усталость.

Он мужественно боролся с нею и работал до седьмого пота наравне с молодыми, потому что все еще верил, что нет силы, способной остановить фантазию, человеческую фантазию. Он мешал бетон и пробивал отверстия в панелях, карабкался по конструкциям сооружаемых зданий, до хрипоты орал, но «предупреждение» застало его все же неподготовленным.

Граф Теренти хорошо запомнил этот сравнительно небольшой корпус химкомбината в Бургасе. Ему тогда просто позарез надо было пробраться по бетонному карнизу и дать по шее парнишке из его бригады, который пытался сделать там на голове стойку. Весенний ветер был мягким и теплым. Граф Теренти до сих пор недоумевал, как подвернулась и соскользнула его правая нога; вспоминал свое ощущение разверзшейся под ним пропасти, свой плавный полет и осознание невозможности сохранить подобно птице высоту полета. Боль пришла к нему после удивления, а сломанная рука повисла как

плеть. Он перевел дух, увидев, как бегут к нему Манолчо и другие ребята, и еще раз перевел дух, чтобы сказать им:

— Смешная история... Ничего, ребята... Подумаешь — всего-то пятиметровая высота!..

«Раз есть комната, то надо, чтобы в ней было окно, а в окне всегда что-нибудь да увидишь...» — вертелась у него в голове любимая присказка. Но он уже получил первое «предупреждение» и на сорок пятом году стал вспоминать свое детство, свой старый дом в Видине, зеленый двор и старую лозу, способную жить двести лет, если ее не трогать с места и она будет прикована к своему клочку земли. И вот тогда он впервые почувствовал, что раз есть окно, то надо иметь и комнату с множеством самых разных предметов, с детьми и мягкой постелью.

На руку наложили гипс, и пришлось ждать, пока она прочно срастется. Манолчо временно принял его бригаду, а Граф Теренти валялся в общежитии, стараясь не пить и не думать. По утрам на заре бродил он по бургасскому волнорезу.

Сразу же после «предупреждения» он получил письмо от матери. За долгие годы скитаний он не замечал никаких перемен в своем отношении к ней — аккуратно посылал ей каждый месяц сто левов, любил ее по-своему — застенчиво и неизменно. Неизменным оставался в его представлении и ее образ — расторопная седая женщина, окруженная сочной зеленью их двора и множеством нахохлившихся кур. Мать не звала его, возможно, стыдилась делать это, и он с удивлением читал ее неразборчивые каракули:

«А иногда мне снится мой отец и твой дед — как он входит к нам в дом. Денег мне хватает, куры наши тоже хорошо поживают».

И Граф Теренти почувствовал себя побежденным — немного испуганным и немного неуверенным. Ребята заботились о нем, дружно слив свои усилия. Они нарочно проигрывали ему в карты, собрали деньги и купили ему прекрасный зеленоватый костюм, по вечерам не шатались по городу, как это делали обычно, а полеживали на койках в общежитии и тем еще сильнее тяготили его измученную душу.

— Граф, а не пора ли нам сматываться отсюда? — говорил ему Манолчо.— Или тебе еще любо море?

По сей день не мог забыть Граф Теренти последнего вечера, но запомнил все несколько иначе, чем было на самом деле. Потому что не позволил себе сказать им правду...

Он пил с ними «ментовку», много смеялся, то и дело чокался, и никто не знал, что вещи его уже уложены в чемодан, что все, кроме самого себя, он уже приготовил к отъезду.

Когда он днем не спеша укладывался, его прошибла вдруг слеза. Едва только он успел закрыть крышку чемодана, нагрянули парни...

— Я уже здоров, ребята,— сказал он им,— совершенно здоров, вот глядите!

Они притащили на радостях три ящика шампанского, два килограмма колбасы «София» и двадцать банок консервов «свинина в своем соку».

— Гипс тебе был к лицу, Граф,— сказал Манолчо.— Но без него ты красивее, черт побери!..

— Ну, а что, если загипсуют тут? — указав на сердце, заметил Граф Теренти.— Ты, Манолчо, такими вещами не шути!

— Ну и пойло же это шампанское — разит корчмой и духами «Весна», а толку никакого,— прервал его громко кто-то из ребят.

— Бабой разит от него,— сразу же срезал его Граф Теренти.

Ему хотелось, чтобы все увидели и почувствовали, что он окончательно выздоровел, хотя самого пробирал озноб от сознания уже

вплотную подошедшей перемены в его жизни. Ребята чокались и пили шампанское, как воду, а время от времени и воду, как шампанское. Все было так замечательно, что в глазах Графа блеснула влага. Вдали загудело судно, Манолчо фальцетом в последний раз пропел: «Граф Теренти, Граф Теренти — наш учитель и вожак».

Наутро Манолчо с трудом поднял бригаду с постелей, а Граф Теренти, накрывшись с головой одеялом, делал вид, будто крепко спит. Он слышал веселые возгласы ребят и притворялся спящим. Мысленно ощупывал свой чемодан, который стоял у него под кроватью, и ждал, когда все они уйдут и в четырех стенах этого длинного серого помещения наступит тишина.

— Оставьте его в покое — ведь этот день у него последний...— сказал Манолчо, и по полу шумно покатилась пустая бутылка.

«А я-то делал вид, будто сплю крепким сном...»

С точностью автомата Граф Теренти подхватывал с конвейера шины и клал их под пресс — огромную, неуклюжую махину. Впервые в жизни он работал под крышей. Ему казалось странным, как это удалось собрать здесь столько великолепных людей и автоматов. Но к обеду ему уже становилось скучно.

Граф Теренти терялся от скуки и от избытка сил. Возвращаясь домой, он смотрел по вечерам телевизор и мучился от мысли, что надо ремонтировать дом. Мать его, страдавшая склерозом, помнила лишь, как готовят лук, бобы и картофель. Она обычно ждала его под лозой, глядя на спокойный закат, и у него появлялось ощущение, что она постепенно закапывает себя в землю рядом с корнем лозы. Он развертывал котлеты, купленные им в ближайшем ресторане, и отправлялся на кухню жарить их, чтобы накормить ужином мать.

— Заботишься обо мне, как о больном ребенке заботишься...— говорила она растроганно.

Но склероз тут же снова уводил ее в таинственные глубины времени, и она надолго погружалась в раздумье.

— Опостылел мне этот дом... и цветы и куры, без внучат...— часто с болью говорила она сыну.

Может быть, поэтому он почувствовал себя так странно, сев впервые за столик в заводском буфете, чтобы выпить рюмку «ментовки». Багровый закат, накалившаяся за день железная крыша и болтовня Ченчо странно перемешались с первым впечатлением, которое произвела на него Трендафила. Рядом бесшумно присутствовал завод, Ченчо рассказывал, что в последнем матче на защиту видинской команды «Бенковский» было тошно смотреть, а Граф Теренти, как живую рану, ощущал томление по перемене в своей жизни.

«Нет, тут такого не может быть,— тревожно думал он.— Ну кто мне здесь принесет десять ящиков шампанского?! Люди замкнулись в себе, в своих домах. Вечером даже мало кто ходит в кино или в «Балкантурист»...»

— Ты не прав, Граф,— прервал неожиданно ход его мыслей Ченчо, словно прочитав их.— Люди смотрят, как бы устроить свою жизнь получше и правильно. И тебе тоже надо ее устроить. А устраивать ее даже приятно. Дело это не простое, а долгое и кропотливое. Очень долго устраивается человек, понимаешь? Большого постоянства требует...

И как раз в этот момент он впервые услышал смех Трендафилы, который блеснул, как цветущее дерево в темноте сада. Ее пышные

бедра слегка подрагивали, а на спину тяжело свисали рыжеватые крашеные волосы.

— Где только я не побывала,— отвечая на чей-то вопрос, говорила она,— в селах возле самой Софии держала буфет, в Тырново был у меня тир рядом с «Балкантуристом»...

Трендафила продолжала перечислять все, чем занималась, и голос ее звучал мечтательно, чуть хрипловато от непонятной восторженности. А ему казалось, будто это он сам, Граф Теренти, отвечал кому-то и, став в сторонке, слушал себя. А потом он с удивлением заметил, что она заполнила собой дверной проем буфета, и это показалось ему прекрасным.

Эта женщина могла заполнить все... потому что обладала чудесным гармоническим свойством соединять в себе большое и малое, энергию и слабость, ложь и истину. Он ощутил это столь остро, что пальцы его сжались и сердце забилось так сильно, что удары его отдались в горле. Он выпил залпом свою «ментовку», а Ченчо снова прервал ход его мыслей:

— Очень уж мощная эта Трендафила... Ребята ее каждый вечер знаешь как тискают в кустах — ха, ха, ха!..

Хотя Ченчо был достойным другом, но и он, как прочие, «устраивался». А такие люди, казалось Графу, способны были видеть лишь то, на что глядели их глаза.

Вскоре Граф Теренти убедился, что при виде Трендафилы он явно испытывает смущение, а это уже предвещало какую-то перемену в его жизни. И он, при всей своей застенчивости, все сильнее привязывался к этой женщине. Его присутствие в буфете стало обязательным; он привлекал к себе пристальное внимание остальных посетителей и самой Трендафилы, которой теперь приходилось непрестанно улыбаться. Но она еще не могла понять, чего, собственно, хочет от нее этот мужчина, тогда как она отлично понимала, чего хотят от нее остальные. Но каждая женщина счастлива, если она знает, что от нее ждут спасения...

И вот теперь должен был приехать ее двоюродный брат...

А ее двоюродный брат оказался очень веселым, несколько странным, еще довольно молодым человеком. Выглядел он даже слишком элегантно в своих бархатных брюках фасона «шериф», тонком свитере с высоким воротником, тупоносых модных ботинках и с серебряным браслетом на правой руке.

Графу Теренти казалось, что дом его вдруг стал походить на грязную поношенную кофту — теперь уже отчетливо видны были пятна на потолке, где весной протекала крыша. Две тахты, умывальник, скрипучий замызганный гардероб и новый телевизор «София» сразу же померкли, утратили свою ценность, растворились в приятной улыбке двоюродного брата с роскошным золотым зубом, придававшим вес его тридцатилетней физиономии.

«Я так и предполагал...» — убеждал самого себя Граф Теренти, а Ченчо, участвовавший в первой выпивке, смущенно и как-то неуверенно заметил:

— Мировой мужик...

Двоюродный брат Трендафилы сердечно пожал Графу руку, выпустил через нос струйку дыма и сразу же заявил:

— Называйте меня просто Пешо, я ведь близкий человек... Мерси.

Он принес с собой чемоданчик из искусственной кожи, запах

одеколона «Каро» и какую-то особую сердечность, которая смущала Графа Теренти.

— Прекрасное жилище,— сказал двоюродный брат, ощупав опытным взглядом царящий в доме беспорядок.— Я горжусь и радуюсь за Трендафилу.

Намек был столь прозрачен, что Граф Теренти, который так и увивался около этого лощеного, остроумного молодого человека, покраснел. И они разговорились, как друзья, долгие годы прожившие вместе.

«Но он все-таки не похож на Манолчо...» — подумал Граф Теренти.

— Вы на которой тахте спите, Граф? А на другой лягу я.

Граф Теренти вовсе не ожидал, что Пешо останется у него ночевать, но это, в сущности, его обрадовало. Он смущенно вывел его во двор, показал, где у них уборная, потом они поймали жирную белую курицу, которой Пешо сразу же мастерски свернул шею, а затем столь же мастерски и опалил ее.

Он без устали говорил о своей двоюродной сестре Трендафиле, которая еще двадцать лет назад привезла ему в Софию пакетик карамели «Му» и таким образом на всю жизнь привязала его к себе. На руке его были вытатуированы голые женщины и якорь, его крепкие плечи плотно облегала белая «водолазка». Он подзывал проходивших мимо забора соседок и, отпуская неприличные шутки, показывал им ощипанную курицу.

И Граф Теренти был сбит с толку; казалось, куча циркачей ввалилась к нему во двор; цветы сразу стали ярче, листва гуще, небо засияло. Он привык иметь дело с самыми разными людьми, и с чудаками тоже. Но рабочие на стройках выглядели иначе — спокойно-уверенными, солидными, усталыми, удовлетворенными...

Ченчо не мог найти себе места, Граф Теренти тоже. Оба они скорее мешали Пешо, и тот заставил их перебирать рис, а пока они справились с этой простой операцией, он уже успел сварить курицу.

Ужинали в комнате, пили ракию и пили ее так, словно хозяином был Пешо. Оказалось, что ему уже стукнуло сорок и он работает бухгалтером на каком-то кирпичном заводе возле Софии.

— У меня письменный стол... будьте здоровы! Укладываюсь на него баиньки и болтаю ножками, а когда у меня от сидения заболит зад, отправляюсь ущипнуть кассиршу. Будьте здоровы! Директор с радостью станет моим посаженым отцом, если я когда-нибудь женюсь, а премии распределяем мы с ним... Вот так...

Ченчо присвистнул как бы от полного восторга, а Граф Теренти задумался, не зная — надо ли ему восхищаться из приличия или же следует возразить.

— Что же это вы, Граф, не пьете?..— обратился к нему Пешо.

Опустились сумерки, с улицы доносились голоса детей и непрестанное завыванье бульдозера, расчищающего неподалеку площадку для строительства кооперативного дома.

— Каждый человек должен сам строить свою жизнь,— продолжал Пешо, ухмыляясь и барабаня пальцами по столу.— Я диалектик и не верю в случайности. Строить жизнь, Граф, это все равно что строить дом. Один всю ее истратит на то, чтобы заложить фундамент, а другой в это время уже возвел два этажа...

— Я ненавижу мошенников! — неожиданно и нелогично заявил Граф Теренти и покраснел, пораженный собственной смелостью.

— У Графа три ордена! — поспешил сообщить Ченчо, полагая, что таким образом разрушит «дом» Пешо, но этим он лишь окончательно запутал разговор.

— Можно хорошо жить и без орденов,— продолжал рассуждать Граф Теренти.— Мне лично очень приятно, когда я что-то делаю... Иначе какой смысл жить?

— И я спрашиваю о том же: какой смысл? — подхватил Пешо, многозначительно улыбаясь, и перестал барабанить по столу пальцами.

Граф Теренти с пугающей кротостью разглядывал на стене пятно. Полчаса все молчали и слушали эстрадную музыку, от которой сотрясался отживший свой век старенький радиоприемник Графа. Ракия застревала у них в горле, потому что самая лучшая для нее закуска — это чинная и долгая беседа. Постепенно все трое как будто почувствовали, что растеряли все свои мысли среди обглоданных красноватых костей курицы и тарелок, полных окурков и вареного риса. Ченчо откровенно зевал, а Пешо тактично и с большим изяществом прикрывал ладонью свой блестящий золотой зуб.

Первые десять дней пребывания Пешо в качестве гостя невероятно взбудоражили Графа Теренти, потому что так интересно и приятно он никогда еще не жил. Пешо спал до одиннадцати часов утра, после обеда отдыхал до четырех, и когда Граф возвращался с работы, он находил его выбритым, надушенным и свежим, как только что политый сад.

— Я привязался к тебе, Граф,— говорил Пешо и подмигивал ему с серьезным видом.— Привязался сильнейшим образом...

Они прогуливались вдвоем по площади, дожидаясь Трендафилу, которая приезжала позже на автобусе. Пешо кормил голубей или же, расположившись на одной из зеленых скамеек, с лукавым добродушием глядел на прохожих. Потом они шли в кино, иногда посиживали в кондитерской «Балкантуриста», но Граф Теренти чувствовал себя в их компании почему-то одиноким.

Трендафила обычно лузгала семечки подсолнуха, рассказывала о бесчисленной родне и время от времени пригубливала шоколадный ликер, оставляя на бокале след оранжевой губной помады. Графу Теренти в это время казалось, будто он находится где-то за границей, в атмосфере совершенно незнакомого города, потому что семнадцатиэтажное здание Совета и памятник на площади, множество фланирующих по ней модно одетых людей приобретали особый смысл. Иногда Трендафила брала его за руку и с мягкой, мечтательной улыбкой допивала свой кофе.

— И что за коварная штука — эта жизнь, Граф! — сказал однажды Пешо.— Вот мы говорим, что каждый из нас живет по-настоящему после двадцати и до пятидесяти лет. Но треть этого времени уходит на сон — это значит уже десять лет, еще треть — на работу, значит, еще десять лет. А сколько времени мы болтаемся туда-сюда, тратим на уборную? И как прикинешь — получается, что от жизни остаются у нас для настоящей жизни каких-то два-три года. Потрясающе! И печально... Будьте здоровы!

Первоначальное стремление Графа Теренти дать отпор житейскому философствованию двоюродного брата Трендафилы все слабело, а мысль о том, что она и есть та реальная женщина, которая может по вечерам надеть розовый в цветах пеньюар, вымыть посуду и которая может родить ему ребенка, крепла. Он был уже почти готов признать, что жизнь его до этого момента проходила одиноко: «И все, что я сделал, как бы значительно это ни было, я всегда делал сам...» Он все критичнее стал поглядывать на себя и решил купить себе новый костюм.

— Дядя Петр опять уехал в Ливию,— прервав его размышления, сказала Трендафила.

— Если так, я очень рад,— задумчиво заметил Пешо.

— Дядя Петр — инженер-строитель,— пояснила Трендафила и положила свою шершавую ладонь на руку Графа, погладила ее.— Он очень симпатичный, Граф, и у него есть «мерседес».

— Модель «Д-220»! — добавил Пешо.— Вместе покупали его в валютном магазине.

Обычно вечера их завершались короткой прогулкой по берегу Дуная. Они под руку шли втроем по парку. Но Пешо это быстро наскучивало. Он «отрывался» от них, заигрывал с прогуливавшимися старшеклассницами, а те в ответ смеялись хрипловатым деланным смехом.

Потом они провожали Трендафилу до новых домов на берегу Дуная, где она снимала комнату. Трендафила влажными губами целовала их в щеку и входила в дом, предоставляя им наслаждаться очарованием тихих безлюдных улиц. От домов, увитых лозами, от маленьких светлых окон веяло доверием и какой-то особой наивностью. Граф Теренти становился необычайно словоохотливым и подолгу рассказывал Пешо о Манолчо, о заводе, об автоматических прессах, об их простых движениях вверх-вниз и о сложности работы на них, об их необыкновенной способности связывать между собой людей... Утром Граф Теренти уходил на работу с видом человека, хорошо отдохнувшего за субботнюю ночь и с удовольствием отправляющегося на воскресную прогулку...

Но присутствие Пешо вносило не только успокоение. Часто он вынуждал Графа Теренти задумываться, удивляться, испытывать необъяснимую тоску по чему-то безвозвратно ушедшему. Каждый вечер они закладывали под лозой «по маленькой» — пили ракию. Вокруг освещавшей двор лампы вились бабочки и комары. Пешо рассказывал сальные анекдоты с наслаждением пожилой сплетницы, пришедшей к соседке в гости. В майке он выглядел куда субтильнее. Смеялся Пешо один. Граф Теренти задумчиво жевал огурец, все еще находясь под впечатлением встречи с Трендафилой.

— А ты знаешь, Граф, что надо сделать с твоим домом, чтобы он превратился в настоящий замок? — как-то спросил Пешо, напряженно вглядываясь в него.

Лукавый и в то же время слишком серьезный взгляд Пешо смутил Графа Теренти. У него было такое ощущение, будто он спит и слышит, что кто-то его зовет, а он все никак не может проснуться.

— Что?!

Двоюродный брат Трендафилы долго мечтательно приглядывался к улице и вдруг оживился.

— Представь себе шестьдесят квадратных метров синевато-зеленого паласа в гостиной, в спальне и в комнате матери. Оранжевые обои с большими цветами, два красивых торшера, зеркало в прихожей, новая современная спальня, стеклянный буфет и трехстворчатый гардероб. Телевизор переставить сюда в угол на вот такой столик...— Он сделал движение рукой, как бы прикидывая размеры стола.— Ну, как?

Физиономия Пешо даже исказилась от напряжения, сигарета во рту подрагивала, и создавалось впечатление, что у него под носом мелькает светлячок...

Его вдохновение передалось Графу. Он был ошеломлен — ему никогда и в голову не приходило, что все так просто и легко. «Синевато-зеленый палас и оранжевые обои с цветами... как апельсин». Воображение его, неожиданно прозрев, постигло сложную систему

символов. Ему показалось, что кто-то выпустил в его сознании разноцветные ракеты. И в самом деле, розовый пеньюар Трендафилы мог существовать только в такой обстановке, где все будет мягким и не будет никаких резко очерченных углов. Самое присутствие округлой Трендафилы не терпело углов и серости.

«Может быть, любовь — это и удобство?..»

Невероятная жизнеспособность Пешо подавляла его. Несколькими словами тот мог разрушить всю его прежнюю жизнь, потому что Пешо знал нечто такое, о чем Граф Теренти едва ли догадывался.

— Мы могли бы устроить туалет и ванную в большом чулане?— Это «мы» в устах двоюродного брата Трендафилы звучало довольно загадочно и в то же время решительно.— Я прикинул: это должно стоить не больше двух тысяч левов.

— У меня есть две тысячи левов...— сказал Граф.

Пешо засмеялся — откровенно, даже вульгарно и похлопал его по плечу.

А Граф Теренти был ему благодарен. Под влиянием этого никогда не унывающего человека он начал понимать, что значит устраивать жизнь, увидел, что и тут необходимы фантазия и любовь. Пешо постоянно овеществлял его любовь к Трендафиле, и это делало ее реальной и зримой. Пешо не понимал лишь одного — того, что любовь Графа Теренти к его двоюродной сестре — это единственное звено между его прошлым и будущим. Каким-то образом Графу Теренти их надо было слить воедино, найти четкую связь между ними. Только Трендафила могла оправдать эту перестройку дома и его самого. Только она могла связать невидимым мостом большой мир и его большие дела с маленьким миром и его неподвижностью. Без Трендафилы и завода Граф Теренти не мог бы оправдать своего бегства, своей слабости и жажды обновления...

Когда они вошли в парк и направились вдоль Дуная, Трендафила мило улыбнулась и сказала:

— Граф, а ведь я могла бы уже обращаться к вам на «ты»!

Его волновало прикосновение ее плеча, шаловливое шипенье ее плаща и тепло, которое он ощущал под ее рукой. Аллея напоминала давно пустующую и долгое время непроветриваемую комнату. От влажного и кисловатого воздуха у него першило в горле.

Неожиданно Трендафила свернула в заросли кустарника, и они сели на скамью, полностью скрытую от сторонних взоров,— сквозь ветки лишь проглядывали усталые осенние звезды, и на серьгах Трендафилы играл отблеск их слабого мерцания.

— В субботу я закрываю буфет. В субботу, Граф, с этим все будет кончено.

Граф Теренти с благодарностью погладил ее локоть и промолчал в ожидании какого-то чуда.

— Я уже устала... и годы и люди утомляют меня. Да и ты тоже наскитался достаточно, правда?

— Я никогда не мог долго усидеть на одном месте,— извиняющимся тоном ответил он.— Все вокруг движется, переворачивается, а я стой да стой на одном месте?! Вот и наваливается на меня эта страшная баба — скука...

— Это я и хотела отметить, когда говорила про субботу...

Он верил, что Трендафила говорит искренне и ей это стоит труда. Голос ее звучал необычно громко, как-то опереточно.

— У меня к тебе просьба.— Трендафила испытующе поглядела на него.— У моего двоюродного брата очень большие неприятности. Он, негодяй, растратил деньги...— Она низко опустила голову, и Граф Теренти почувствовал, какого напряжения ей стоили эти слова.— Ему надо вернуть в какую-то кассу две тысячи левов, понимаешь? У меня нет ничего! Давай начнем нашу жизнь с доброго дела, давай так начнем...

Он ответил не сразу — сказанное ею ошеломило его. Запах сырости и увядающей травы слился с видением сине-зеленого паласа, трехстворчатого гардероба и зеркала в прихожей. То, что он испытывал, было не сожалением, а возвращением назад, спокойным отдалением от того, что сейчас произошло.

Граф Теренти был потрясен благородством Трендафилы — она добровольно лишала себя осуществления такого заманчивого плана. Наконец он утвердительно кивнул головой; ее полные губы прильнули к его губам — влажные, пахнущие помадой. Она положила его руку себе на грудь и обняла, готовая вобрать его в себя. Граф Теренти повис над теплой бездной, в которой искушение смешивалось с чувством глубокой привязанности к свободе. Трендафила почти свалила его, и он, охмелев от счастья, зарылся лицом в ее волосы.

— Не надо, не надо, прошу тебя... — услышал он ее шепот, испугавший его своей резкостью; она стонала, прижимаясь к нему.— Так мы все разрушим, это нас унизит...

Граф Теренти отстранился: разомлев от счастья, он безвольно кивал головой. Трендафила выглядела испуганной, изумленной, растерянной. Как будто бы он ее ударил, грубо швырнул на скамью, и ей надо было перевести дух, собраться с силами.

— Ты... Ты... — попыталась заговорить она, но так и не сумела продолжить, потому что рыданье сдавило ей горло.

Она плакала долго, ненасытно, беспомощно, а он вертелся возле нее, не решаясь закурить. Ее мокрое от слез лицо стало ему еще милее и ближе, казалось, он годами разыскивал именно его.

— Ладно, хватит... — сказал он просто, и они побрели по аллее обратно.

Трендафила сунула руку в карман его плаща и кокетливо легонько щекотала его ладонь.

— Ты был когда-нибудь счастлив? — вдруг спросила она.

— Я всегда был доволен,— резко ответил он не задумываясь,— а это для меня самое важное.

В последний раз они поцеловались в конце парка, куда долетали неясные стоны ресторанного оркестра. Трендафила была чем-то похожа на неопытную девочку или же на человека, который, невероятно напрягая свое воображение, одолел непостижимое...

Вернувшись домой, Граф Теренти застал Пешо нервно расхаживающим по комнате. Он держал в руках какой-то детективный роман, а пепельница была переполнена окурками. На столе валялась пустая бутылка из-под вина и стояли две тарелки с кебапчетами, покрытыми застывшим жиром.

Сердечная улыбка на лице Пешо шла ему, как пиджак с чужого плеча. Но Граф Теренти не сказал ему ничего. Этот человек уже утратил для него все свое обаяние. И теперь это уже не имело никакого значения. Счастливый человек не способен презирать...

Граф Теренти полчаса жевал сухие кебапчета, выпил чашку теплой воды и закурил сигарету.

— Ну, как прошел вечер? — спросил, притворно потягиваясь, Пешо.

— Я дам тебе две тысячи левов...

И снова, казалось, в его комнате поселились циркачи и цветы от слов Пешо выросли в гигантские соцветия.

— Я сразу же напишу тебе расписку...

— Мне не нужна твоя расписка...

Граф Теренти хотел быть спокойным, в этот момент он вспомнил слезы Трендафилы, но не мог найти им объяснения.

— Хорошо, без расписки... В субботу мы с Трендафилой уедем, а в следующую субботу я тебе ее передам, Граф. Я так тебе благодарен! Ты мой спаситель...

Золотой зуб блеснул с порочной насмешливостью, но Граф Теренти думал только о слезах Трендафилы и не мог найти им объяснения.

«Что мне твоя благодарность, дурак ты...» — И он раскинулся на постели, захмелевший от счастья.

Когда миновала первая суббота, а Трендафила не приехала, Граф Теренти серьезно обеспокоился, но когда миновала и вторая...

В надвигающихся сумерках комната казалась маленькой и низкой, старый гардероб был похож на спящего человека, а на потолке резко проступали невысыхающие пятна от последнего осеннего дождя. Ченчо ковырял в зубах спичкой и непрерывно повторял:

— Две тысячи левов... без расписки? Теперь ищи ветра в поле... иди доказывай, если, конечно, знаешь, где он!

— Хватит,— устало прервал его Граф Теренти, и они стали уничтожать зажаренную специально для Трендафилы курицу.

Самым страшным было то, что он думал о Трендафиле, как думают о больном человеке. Он помнил влажное тепло ее губ, колышущуюся ширь ее мягкой груди и эти дьявольские слезы — самые искренние, какие он только видел за всю свою жизнь. Если бы здесь был Пешо, тот мог бы ему объяснить, но Пешо тут не было...

— Ох, Граф, лучше бы ты дал их мне,— бормотал Ченчо, проливая вино на кусок курицы.— Я бы сразу же вышел на пенсию. Ох...

— Ты их у меня не просил,—хмуро ответил Граф Теренти, чтобы отвязаться от него.

— Я бы их тебе обязательно вернул,— чуть не плача сказал Ченчо.

Обескураженные, мрачные, они сидели, уставившись друг на друга, и неожиданно для самих себя рассмеялись. Графа рассмешил взмокший лоб Ченчо и весь его убитый вид, а Ченчо — новый, «свадебный» костюм Графа. Они хохотали все громче, задыхаясь и чуть ли не стукаясь лбами. Вместе со взрывами этого идиотского смеха из Графа Теренти, казалось, уходила и его боль. Смех словно бы рождал в нем прозрение.

— Ну и силен же ты, Граф... жуть до чего силен!

— Ха, ха, ха...

— А что, если Пешо и Трендафила были любовниками?! Только скажи мне, как тебе удавалось ухватить ее за талию?

— Так ты вот до чего додумался... ха, ха, ха!

— По тысяче левов на рыло... и еще угощения — хо, хо, хо!..

Изнемогая от хохота, Граф Теренти повалился на тахту. Со счастливой завистью он вспомнил вдруг дни, проведенные в обществе Пешо, и сразу же почувствовал приближение своего давнего недруга — скуки.

Перед его глазами все время возникал образ Трендафилы в розо-

вом пеньюаре, которую никто, даже верный ему Ченчо, не мог бы восполнить в его доме, хотя бы по объемности.

Немного погодя они с Ченчо доели курицу, допили покупную виноградную ракию, неприятно отдающую пробкой и гнилой бочкой; потом Ченчо сердечно пожал ему руку и оставил его одного.

«Мне стыдно за нее... Вот что главное!.. Так что же мне делать с этим жуликом?.. С этими чертовыми деньгами?» — мучительно думал он.

Скука наваливалась на него все сильнее, а сердце снова разрывалось от муки. Он лег и заснул. Никогда в жизни он не видел так много снов — казалось, именно в своих снах он по-настоящему осознал происшедшее... Свалился с этого чертова карниза в Бургасе и вот, вместо того чтобы быть с Манолчо, оказался в руках Трендафилы. Когда, покалеченный, с гипсовой повязкой, выбитый из колеи «предупреждением», Граф Теренти спрашивал: «А где же счастье?» — Трендафила начинала лить свои необъяснимые слезы. Двадцать раз задавал он этот бессмысленный вопрос, и двадцать раз начинала плакать Трендафила. Только когда, наконец, Граф Теренти закричал: «А где же оно, это счастье, будьте вы прокляты?» — все исчезло, и серую мглу в его сознании вытеснила огромная жажда перемен.

Утром его разбудил Ченчо. Граф Теренти побрился, вид у него был решительный, он с остервенением тер под глазами мешки, Ченчо выглядел куда серьезнее, чем вчера, и это раздражало Графа. Он не знал еще, с чем расстался, но предчувствовал, что надвигается что-то новое, которое не объяснить обычными словами.

— Все же мы кое-чему научились у этого жулика...— сказал он Ченчо, еще не выйдя окончательно из состояния оцепенелости.

— Ты будешь его разыскивать?

— На кой мне сдался этот подонок?

— А ждать будешь?

— Подожду!..

Оба рассмеялись, и Ченчо не понял, что еще сказал ему под конец Граф Теренти.

Килкин

Мне кажется, что мучительное выжидание, боязнь неизвестности продолжались полгода — долгие зимние месяцы, когда телевизор удлинял жизнь коротких дней, и всю весну, когда в глазах Момчила я видел ее зеленые вспышки. Самыми кошмарными для меня были ночи, потому что после утомительной суетни на заводе я возвращался выпотрошенный, с той пустотой во всем существе, в которой легче всего поселяется боль. Я много курил, уставившись в мутное переплетение теней, и, слушая сонное дыхание Момчила и Марии, думал о них...

Мы все еще не знали... Мария не замечала ничего — этому мешала ее любовь к ребенку и большая близость с ним,— а я уже догадывался.

В середине мая, желая доставить радость Момчилу и в то же время бросить вызов судьбе, я купил ему детский велосипед — с фарой и маленьким багажником,— настоящий велосипед, о котором мечтает каждый мальчуган. И эта вещь, напоминающая о нашем вечном стремлении к бегу, постепенно приобрела особый смысл — непроницаемый и загадочный. Брошенная в самом дальнем углу коридора, она угнетала нас своей неподвижностью, потому что была создана для движения.

Я хорошо помню те первые тревоги и связанное с ними мое, кажущееся теперь смешным, навязчивое желание не замечать — тогда это было для меня самым важным. Я уже догадывался...

— Ребенок болен...— сказал я однажды Марии, помогая ей откупорить банку компота.— Попробуй посмотреть на него со стороны. Ты можешь посмотреть на него со стороны?

— Знаешь, Килкин, мне кажется, ты не любишь Момчила,— устало, с виноватой ноткой в голосе ответила она.

Мы просто терроризировали Момчила нашими ласками, подарками — за четыре месяца он съел шоколада и мороженого больше, чем я за всю свою жизнь.

Момчилу исполнилось пять лет. Он давно уже изменил облик нашей квартиры, окрасив ее своим непрестанным движением, десятками царапин на стенах и выжженными на паркете пятнами. Его одежда украшала окна, а его голос вносил разнообразие в телепередачи. Мне трудно описать, в чем был смысл его присутствия в нашем доме, но был он любопытным и ласковым мальчиком с красивыми русыми волосами и весил двадцать килограммов.

В самом начале болезни психика Момчила оставалась незатронутой. Он все еще доверял своему телу, полному неукротимой энергии и жизни. Дети не осознают невозможности чего-то, потому что живут более всего своим воображением. Если что-то встает на их пути, они воспринимают это как временное и преодолимое. Кроме того, Момчил питал доверие к нам — его родителям, верил, что мы с легкостью справимся с любой проблемой, которая могла бы омрачить его детство. Так он сам мешал нам вникнуть в его состояние, потому что чем труднее было ему двигаться, тем сильнее был его порыв к движению.

А я уже догадывался...

Иногда я чувствовал, как стремительно приближается он ко мне взглядом, как сияющая в его глазах радость опережает его отстающие ножки. Увидев меня, он кидался мне навстречу с такой горячностью и радостью, а преодолевал разделяющее нас расстояние медленно, как пожилой человек, который старается сохранить свое достоинство. Движения его становились хаотичными, разбросанными, ступал он неуверенно, с постоянной опаской, что может упасть; его жадное влечение к играм все нарастало, но он любил поваляться в постельке, потому что там чувствовал себя увереннее.

— У тебя болит что-нибудь? — допытывалась у него Мария.

— Нет,— категорично отвечал малыш.— Я только не могу ходить.

— Как же так? — спрашивала с преувеличенной нежностью Мария.

— Не знаю... надоел мне уже шоколад!

Этот наивный диалог был проникнут глубокой верой в счастье, наивным убеждением, что все образуется.

А болезнь развивалась. Даже на свежем весеннем воздухе Момчил двигался вяло, переваливаясь, как утка. Он начал сторониться детей, теперь для него балкон сочетал простор двора с доверчивостью неба. В глазах Момчила появилась мечтательность, желание понять нечто превышавшее его возможности.

В июне мы отсчитывали расцвеченные солнцем дни по числу инъекций, которые ежедневно делали Момчилу в детском отделении окружной больницы. В приемной, разрисованной розовыми медвежатами, зайчиками и поросятами, я слышал нервный плач своего сына, вглядывался в испуганные глаза Марии и до боли сжимал в кармане связку ключей. На лице Марии снова закрепилось виноватое выра-

жение. Она избегала моего взгляда; носила старые, попахивающие нафталином платья.

— Как хорошо было — помнишь? — пять лет назад, на море?.. Стояла такая же жара, и вода казалась зеленой,— однажды обронила она, но в словах ее я не почувствовал, что она о чем-то сожалеет.

Втроем мы медленно брели тогда по парку, под сенью жухнущей от летнего зноя зелени; коричневые обычно воды реки отливали синевой и были так равнодушны; на нагретых солнцем скамьях сидели мамаши со спящими младенцами.

— Да-а...— ответил серьезно я.

Это была наша последняя попытка обратиться к прошлому, чтобы вернуться к самим себе, потому что мы уже догадывались о предстоящем нам будущем.

Передо мной все время возникает сцена разговора с уполномоченным Сиренковым в его новом, уже настоящем кабинете. Он сидел за ультрамодным письменным столом и все не мог куда-то дозвониться по телефону. Названивая, он курил и отпивал большими глотками жидкий кофе. Гудки самосвалов разрезали пыльный воздух, а из окна виднелся недавно завершенный корпус шинного завода, напоминающий гигантский выцветший на солнце детский кубик.

В эти минуты я ненавидел Сиренкова тихой ненавистью слабого человека; упираясь разгоряченным затылком в спинку дивана, я приглядывался к узору персидского ковра.

— Еще неделя — и мы пустим цех номер сто...— сказал я, совершенно отупев.

Сиренков молчал, лицо его выражало странную смесь вежливого упрека и сострадания; он недоверчиво смотрел на меня из-под густых бровей, а у меня просто не было сил бросить ему в лицо что-нибудь резкое.

— Значит, ребенок заболел... Да, плохо дело! — сказал он с какой-то странной интонацией.

Слова его имели привкус горькой полыни. Смутная ярость медленно заполняла мне грудь, и когда он кончил, я так и не понял, отпускает он меня на один день и две ночи, чтобы отвезти Момчила в Софию.

— Жестокий ты человек, Килкин,— всю душу мне наизнанку вывернул,— продолжал он неопределенно.— Но ты не виноват,— подчеркнуто заключил Сиренков, а я почувствовал его нежелание встретить мой взгляд.

Помню долгую езду в поезде, огоньки сел и открытый беззубый рот старика — соседа по купе, который сделал Момчилу кораблик из газеты и называл его «бедняжка»,— странный синеватый полумрак купе и мое дурацкое старание прочитать газету от начала до конца.

Мария не могла заснуть и держала на коленях вспотевшую головку ребенка, а я испытывал непонятное отвращение к самому себе. Потом была старая третьеразрядная гостиница возле Крытого рынка, номер с неумолчно капающим краном посеревшего умывальника, сердитый голос уборщицы, терпеливый вопрос Момчила: «Папочка, мне опять будут делать укол?» Помню лицо шофера такси, который довез нас до скверика перед клиникой; длинный белесый коридор с рядом белых дверей; помню голубя на карнизе окна, которого спугнул Момчил, и сосредоточенное лицо санитарки — она часто повторяла: «Надо же!» В памяти моей сохранился лишь пугающий наплыв

деталей. Меня угнетала мысль о какой-то упущенной нами возможности, угнетал и взгляд Марии — странно рассеянный, устремленный вдаль...

Профессор был в накрахмаленном халате, курил второсортные сигареты и распространял вокруг себя запах лаванды.

— Ты меня боишься? — спросил он Момчила.

— Нет,— ответил тот и как опытный пациент лег на застланную простынею кушетку.

— Тогда шевели пальчиками ног, и я дам тебе конфетку.

Минуты уже не имели значения, и никто не сделал мне замечания, когда я закурил сигарету. Момчил смотрел только на меня, и мне необходимо было улыбаться. В голове была полнейшая пустота... Я испытывал лишь волчий голод.

— Несчастный мальчик... Надо же так заболеть...— тихо сказала санитарка.

На письменном столе нервно тикал мраморный будильник.

— А ты чудесный мальчик,— серьезно сказал профессор и улыбнулся.

— Да,— согласился Момчил и как опытный пациент надел штанишки.

Профессор усердно протирал очки, пока его тонкие губы выжимали слова: дистрофия конечностей, спинной мозг не может управлять какой-то группой бедренных мышц...

— Нельзя давать болезни развиваться,— устало заключил он.

Мария не заплакала, только тусклая паутина на ресницах затуманила ее взгляд. А я в этот момент почему-то ясно уловил шум улицы и подумал, что не испытываю боли. Меня тяготила только одна-единственная навязчивая мысль, которой я хотел поделиться с врачом: «*Я взял* этого мальчика, а он так разболелся...»

Схватка Джорджа

Непрерывное жужжанье толстой мухи, с ожесточением пикирующего самолета рассекавшей сырой полумрак, позволяло слышать тишину узкого, со светло-зелеными стенами зала (прежде это было торговое помещение) Дома культуры «Пробуждение». Хористы, расслабленные июльской жарой, тупо глядели перед собой. Аккомпаниатор и репетитор хора — плоскозадая старая дева с блестящими «золотыми» серьгами, восседавшая за роялем, трогательно вырисовывалась на его полированной плоскости. Джордж (так его звали в кругу друзей по Клубу работников культуры, настоящее же имя его было Георгий) с разгневанным видом почесывал у себя за ухом дирижерской палочкой.

Джордж был представительным мужчиной в возрасте между тридцатью и сорока годами. Густые курчавые волосы придавали что-то юношеское его крупному лицу, а округлый, начинавшийся сразу от груди живот говорил о почтительной зрелости, которая хоть и была фактом чисто физиологическим, но оставляла впечатление стабильности и внушала уважение.

Джордж злился — хористы безумно фальшивили, то пели тоном ниже, то тоном выше или же настолько замедляли темп, что «Лес мой красивый» звучал так же меланхолично, как «Строил Илия келью».

— А что, если бы уполномоченный Сиренков зашел нас послушать? Если бы товарищ Сиренков пришел, мы бы провалились сквозь землю от стыда...

Хористы смотрели на него с подчеркнутым уважением, но по их невыразительным лицам и старательно скрываемым зевкам было видно, что им просто невмоготу.

— Вы хотите доконать меня! — Голос Джорджа взвился до фальцета и, казалось, вытолкнул за окно солнце.— Я двадцать раз повторял вам... подготовим хороший концерт, получим премию и отправимся на экскурсию. Тогда выбирайте: хотите в Германию поезжайте, хотите — в Чехословакию... так ведь?

Он нетерпеливо подал знак аккомпаниаторше, и та лихорадочно вонзила пальцы в полированный глянец клавишей. Джордж вяло помахивал перед животом палочкой и вспоминал чудесные «интимные вечера» — как он называл эти встречи — в его оклеенной пестрыми обоями гостиной. За круглым столом собирались друзья — поэты, писатели его поколения,— выпивали пять-шесть кувшинов бурлящего домашнего вина и читали хрипловатыми от возбуждения голосами свои новые «шедевры». Джордж любил слушать полулежа, прищурив глаза и дымя сигаретой. Слова спокойно растворялись в его помутневшей от алкоголя голове, и сквозь приспущенные веки он видел свой покачивающийся на ноге шлепанец — ему необходим был ритм, чтобы лучше сосредоточиться. Когда его настроение достигало нужного тонуса, он поднимался с торжественной медлительностью и прочувственно хвалил расслабленного от волнения «творца»:

— Браво! Черт побери, как... экзистенциалистично ты это сделал! Берегись, не увлекайся!

Потом все, уже достаточно успокоенные и опьяневшие, слушали музыку. С таинственным и гордым видом он открывал патефон и проигрывал свои любимые пластинки — Бетховен, Бах, Шопен...

Он действительно любил музыку — не так уж хорошо знал, но чувствовал, воспринимал ее, казалось, всем своим большим телом. Музыка и вино были для него наслаждением, но они же вызывали у него печаль, и он сожалел о каких-то упущенных им туманных возможностях. Слушая пластинки, он воскрешал для себя такие понятия, как миланская «Ла Скала» или «Московская филармония». Звуки рождали в нем ощущение объемности мира, человеческих радостей и страстей. Джордж в такие минуты испытывал сладкое страдание и втайне презирал своих провинциальных «духовных» друзей.

— Пусть кто-нибудь напишет мне текст... я такую кантату о наших заводах сотворю... библейскую! — повторял он не раз.

Джорджи (так его называли жены друзей) все чаще стал прогуливать свой живот по парку на берегу Дуная, где всегда было полно смеющихся старшеклассниц и серьезных парочек. Тут, среди искусно подстриженных кипарисов, он улавливал настроения, ему до этого времени неизвестные, им самим неиспытанные ни в годы скудного студенческого существования в Софии, ни теперь — в пору своего провинциального благополучия. Редкие солнечные блики на ласковой глади Дуная, растекающееся по ней зарево тревожного заката рождали в нем болезненный восторг и звуки, напоминающие взрыв...

У Джорджа возникла навязчивая идея — уехать, продать старый дом, затеряться в Софии, где он уже вкусил однажды не только гнет одиночества, но и счастье познания музыки. Постепенно он поддался этой идее. Нетерпение его нарастало, он просыпался в поту, со взвинченными нервами после не приносившего ему успокоения сна, учитывал доводы «за» и «против» и старался убедить себя в том, что это неразумное решение порождено скукой его провинциальной жизни.

Он представлял себе тесную, грязную чердачную комнатушку на окраине Софии, из окна которой видны лишь задымленное небо с худосочной желтоватой луной и бесчисленные щербатые крыши,

словно бы сотворенные богиней уродства. Вспоминал длинные, проходившие в одиночестве вечера, долгие послеобеденные возлияния и блестящие концертные залы, где он в своем потертом костюме выглядел белой вороной среди элегантно одетых мужчин и женщин в шикарных туалетах... Отдавать предпочтение материальным благам — такого естественного для человека стремления к уверенности — было, правда, внешней стороной его сопротивления. Но как раз то, что он не находил в себе сил принять окончательное решение, и угнетало его — его, старого холостяка и доброго выпивоху, обладающего всеми условиями для того, чтобы существовать хоть и безлико, но благополучно, создавать на новопостроенном химическом комбинате хоровой ансамбль, без которого (так думали и его друзья из Клуба работников культуры) заводские корпуса неминуемо рухнут.

И наконец после одного такого интимного вечера, проведенного за «круглым столом»», Джордж принял решение... Облегчение, которое он испытал в эту минуту, наполнило его той тихой радостью, какую испытывает каждый, когда вдруг отпускает зубная боль. Ему казалось, что перед ним заалела заря будущего, снова возникла великая надежда на достойное существование... там... где-то... когда-то... Одним залпом допил он вино, надел собственноручно выстиранную фиолетовую пижаму и произнес вполголоса:

— Вот так...

И все наверняка бы исполнилось — Джордж быстро нашел покупателя для дома, расторопного хитрого цыгана, который держал в парке тир,— если бы не случилось *этого*... А *это* раздвоило его внимание, разбудило в нем могучий инстинкт обладания и подвергло решающей проверке его нравственную устойчивость. В сознание Джорджа были привнесены события и понятия, которые грозили вышибить его из привычной колеи.

Он размахивал дирижерской палочкой совершенно механически и настолько же беспорядочно, насколько фальшиво хор пел «Иди вперед». Его желание добиться того, чтобы второй куплет прозвучал в вихревом пианиссимо (оригинальная и довольно удачная трактовка), оставалось тщетным — как раз именно там хористы замедляли темп, басовая и теноровая партии странно переплетались в какое-то какофоническое завыванье.

Хоть и поздно, но Джордж опомнился; ярость (вернее, чрезмерная обида) охватила все его существо.

— Хватит!..— крикнул он так, что одна из девушек чуть не упала со стула.— Это издевательство, а не пение. Вы музыкальные вредители!.. Боже милостивый...

Он подошел к окну, вконец расстроенный ужасным состоянием дела, за которое взялся. Постояв немного, он обернулся и профессиональным, не терпящим возражения тоном сказал:

— Вы свободны... завтра жду вас в шесть часов. Присутствие всех обязательно!

А история эта началась через три недели после его мужественного решения уехать, когда он пригласил Графа Теренти и Ченчо — своих ближайших соседей и отменных собутыльников — прикончить двухлетнее, уже порядком прокисшее вино.

Ченчо и Граф работали на химкомбинате и стали недавно его хористами. Граф, как всегда, улыбался немного печально. Верный себе,

готовый в любую минуту помочь каждому, кто нуждается в его помощи, он таким образом избавлялся от своего холостяцкого одиночества. А Ченчо шумно чавкал и все сетовал на свою старость — отец трех дочерей и дед шестерых внуков, в прежние годы он счастливо плавал по тихому Дунаю на барже, а теперь работал на шумной прядильной машине в полиакриловом цеху и получал хорошую зарплату.

— Вот так...— рассуждал он вслух, после того как не сумел осушить одним махом весь кувшин.— Плохо не тогда, когда денег нет, плохо, если тебя страх берет, что нет денег...

Слова Ченчо, казалось, повисали неподвижно в воздухе, реальные как предметы. Джордж целых полчаса слушал его со сжимающимся от волнения сердцем. Слова эти звучали как тайное предостережение, они мучили его. Казалось, он услышал старинное заклинание, внушающее страх и угрозу. Разговор продолжался все в том же направлении и, возможно, принял бы мрачный характер, если б Ченчо, вдруг хлопнув себя по лбу, не поделился осенившей его идеей:

— Послушай, Граф, ведь наш Гошо, ну то есть Георгий, еще совсем молодой парень — почему бы тебе не познакомить его с дочкой твоего дядюшки? Ну с этой, с аптекаршей... Он останется доволен и ее денежками, и ее задом...

А потом, как всегда, Джордж поставил пластинку. Оба гостя слушали с явным удовольствием «Лебединое озеро». А на следующий день Граф Теренти, «совершенно случайно» встретившись с Джорджем у кафе «Балкантурист», познакомил его со своей родственницей Дианой.

Она, похоже, частенько участвовала в подобных «процедурах», потому что вместо ожидаемого вполне понятного смущения на ее миловидном лице появилась несколько увядшая девическая улыбка, которая приоткрыла ее ровные желтоватые зубы и завершила две наметившиеся было приятные ямочки на щеках.

— Мне очень много говорили о вас,— смело начала она, нажимая на согласные,— мне особенно приятно...

Джордж слушал ее тонкий дискант, который, казалось, исходил из тела вдвое меньшего по размеру, чем ее. Слегка подкрашенные губы Дианы казались свежими и сочными, а бюст сразу же вызывал представление о маленьком семейном будуаре.

Джордж предложил выпить по чашечке кофе в Клубе работников культуры, и Граф, подмигнув ему, растворился в толпе, заполнявшей площадь.

Они провели несколько великолепных часов, подслащенных тремя порциями «деликатеса» — коктейлем из растворимого кофе, взбитого с кока-колой. Джордж был остроумен и небрежен как истинный интеллектуал, а Диана жаловалась, что в селе Дунавци нет ни одного человека, с которым можно было бы побеседовать. Она тонко намекнула, что по этой причине она каждый вечер проводит в своей комнате в обществе магнитофона «Грундиг» и большого трюмо. Потом они медленно прогуливались по расцветшему парку, созерцали ночные отражения города в Дунае и, исчерпав все темы для разговора, выкурили несколько сигарет, расположившись на сырой скамье, охваченные приятным бездумьем.

Наконец Джордж проводил ее к автобусной станции и отправил последним рейсом в Дунавци. После долгого прощания, во время которого оба глядели друг другу в глаза, он допустил роковую ошибку — поклялся своей мужской честью, что в воскресенье они обязательно встретятся.

— Я жду вас, Джордж, будьте смелым! — громко сказала Диана и нежно помахала ему своей большой влажной рукой.

Как это ни странно, но... он поехал в Дунавци! Борьба была короткой, его презрение к Диане, к малокультурному селу Дунавци и сама банальность ситуации отступили под напором его неодолимого любопытства и еще кой-чего другого, в чем Джордж со своей ранимой гордостью интеллектуала не хотел себе признаться.

Он отправился в черном костюме; он был твердо убежден, что помимо своего мягкого характера обладает также и сильной волей, доказательство чему — долгие годы холостяцкой жизни. Он надеялся, что вся эта затея с Дианой быстро ему опостылеет.

Был прекрасный летний день. Деревня встретила его всеми приметами своей извечной жизни — запахом навоза и древесного дыма, разноголосым хором домашней живности. По неровной дороге, переваливаясь, шлепали по пыли задумчивые утки, а жужжанье одинокого трактора, казалось, наэлектризовывало воздух. Его приезд привел Диану в радостное изумление, она неожиданно почувствовала себя преуспевшей женщиной, была оживленной, шумливой. Их большой двухэтажный дом выглядел величественным и безобразным; в свежую штукатурку под навесом были вмурованы осколки зеркала. Мать Дианы, изможденная тяжелым трудом крестьянка, в два раза тоньше дочери, радостно и бесхитростно поздоровалась за руку с Джорджем, пробормотав извиняющимся голосом:

— Она, наша Данче, ведь такая...— и не знала ни что сказать дальше, ни куда девать свои руки.

Но отец Дианы недоверчиво наблюдал за ним из-под своих широких нависших бровей. Потом откуда-то «случайно» появилась тетка, бывшая учительница, которая открыто выказывала свое восхищение Джорджем и неустанно демонстрировала два золотых зуба, сверкающих на солнце, как зеркальца под навесом.

Женщины принялись жарить поросенка, а Джордж и бай Добри (отец Данче) отправились на задний двор, где находился замечательный свинарник, огороженный плетеной сеткой и созданный с благословения фирмы «Родопы».

Тридцать могучих свиноматок, наполовину потонувших в грязи, смотрели на них с сытой тупостью, лежа на брюхе и ласково похрюкивая, как будто кто-то чесал им за ухом. Бай Добри с подчеркнутой гордостью пояснил, что получает ежегодно от своего хозяйства десять тысяч левов дохода — сумму, более всего поражавшую своей округлостью. Воображению Джорджа вдруг открылся бескрайний простор. Он получил возможность конкретно представить себе вытекающие из этого, казалось бы обыкновенного, факта удовольствия и удобства.

Бай Добри не скрывал своего презрения к дочери, к Джорджу и к самому себе. Он, очевидно, был уже десятки раз обманут, и потому надежда выдать свою Данче замуж становилась все более несбыточной и вызывала у него чувство досады... Ковыряя пальцем в приплюснутом носу, он с трудом выдавливал слова, пытаясь «купить» себе зятя, и уже заранее, видимо, переживал разочарование.

Потом они, сунув в карманы руки, направились к навесу, словно старые друзья, которые уединились ото всех, чтобы сказать друг другу что-то важное. В Джордже боролись два желания — немедленно убраться отсюда или разругаться с бай Добри. Но он, улыбаясь, продолжал вести разговор.

Осмотрели и «москвич-408», купленный, правда, уже подержанным, но прошедший всего только шестьдесят тысяч километров. Его тускло поблескивающая металлическая поверхность была густо покрыта пылью и куриным пометом.

— У меня нет водительских прав... вот так и гниет здесь этот

зверь,— сказал сипловато бай Добри, прозрачно намекая на то, что этот «москвич» просто ждет не дождется достойного зятя.

Потом Джорджу пришлось вытерпеть обед; он был объектом особого, даже немного нервного внимания — ему то и дело подкладывали в тарелку куски поросятины с хрустящей корочкой и жареные потроха. Мать Дианы не сводила с него преданных глаз, взгляд которых крепче толстого просмоленного каната связывал его. Тетя, евшая неестественно много для своего возраста, принялась убеждать его, что больше всего на свете любит музыку, но настоящую, классическую.

Только Джордж и бай Добри молчали, потому что их обоих парализовал стыд. С увлажнившимися глазами они чокались и вздохами выражали друг другу соболезнование.

Часа в четыре Джордж, попросив извинить его — у него назначена репетиция,— встал из-за стола. Диана проводила его до остановки автобуса, где они снова с полчаса глядели друг другу в глаза; она нежно поглаживала ему руку, и Джордж подумал, что женщина эта не может испытывать ничего другого, кроме безумного желания выйти замуж.

— Я рада, я счастлива, Джордж...— взволнованно сказала она, приблизив к его лицу свои ровные желтоватые зубы.

— Было чудесно...

Старый расхлябанный автобус, наконец, разлучил их; сквозь пыльное стекло Джордж в последний раз улыбнулся поблекшей женственности Дианы.

Встречи с Дианой стали слишком частыми, и Джордж с несвойственным ему рвением погрузился в работу. Назначал через день спевки, часами терзал хористов и себя, тщетно добивался желаемого звучания. Пытался воздействовать на себя психологически и драматизировал свою жизнь, надеясь, что это поможет ему раз и навсегда решить вопрос о его отношениях с Дианой. В шесть утра он уже был на ногах, старательно брил перед зеркалом заросшую жесткой щетиной физиономию. Решив хорошо питаться, чтобы избавиться от того вполне реального страха перед отсутствием денег, о котором говорил Ченчо, он первым входил в кафе «Балкантурист», ел, ни в чем себе не отказывая. Угощал друзей и знакомых, непрестанно вступал в интеллектуальные споры, но там его обычно находила Диана.

Все чаще он ловил себя на том, что думает о «тех» десяти тысячах левов (сумме, равной его четырехлетнему заработку), пытался представить себе, какая это куча денег. Совершал в своем воображении долгие путешествия на пароходе в Венгрию, Югославию, Австрию; продавал старого «москвича» и покупал новенький, шикарный болгарский «рено». И его презрение к свиньям тайно смешивалось с уважением к их способности набирать в весе. Он глубоко затягивался сигаретой, тряс головой, чтобы прогнать «мещанские» видения, и с тупой болью смотрел на выстроенные в ряд на одной из полок его книжного шкафа патефонные пластинки.

Джордж испытывал не раздвоение, а скорее неуверенность, вызванную столкновением идеальных устремлений с реальными обстоятельствами. Но борьба была явно неравной, потому что он все еще думал о Диане и о своем усталом теле, которому она определенно была нужна.

Итак, он решил отложить на месяц продажу дома. Цыган сперва рассердился, потом долго уговаривал его, а под конец чуть не плача взмолился:

— Так хоть через месяц продай... Даешь слово?..

В начале июля, когда жара прогнала все живое на дунайские пляжи, как раз в самое неподходящее для мучений Джорджа время, уполномоченный Сиренков решил, наконец, выделить два часа и послушать хор.

От волнения Джордж не спал всю ночь, а в полдень долго облачался в специально сшитый дирижерский костюм, представляющий собой нечто среднее между смокингом, фраком и пиджаком.

Хористы ждали уже более часа, выстроившись неровным полукругом. Сидя в позе полной безнадежности на табурете аккомпаниаторши, Джордж рассматривал мутноватым взглядом длинные черные юбки женщин, мрачные темно-синие костюмы мужчин, и у него в душный послеобеденный час создавалось впечатление, что от их хора веет чем-то траурным, загробным. Волнение его было оправданным и в какой-то степени даже благородным, потому что Джордж внушил себе, будто бы от исхода этой спевки зависит его судьба и он получит окончательный ответ на великий вопрос: «Быть или не быть». Надежда постепенно возвращалась к нему, и он ощущал, как напрягается все его существо.

Наконец скрипучая дверь зала отворилась и вошли товарищ Сиренков, главный механик завода Килкин, инженер-химик Борко Тасев (все в белых рубашках с короткими рукавами). Джордж вскочил и нетерпеливо замахал желтой палочкой. От долгого ожидания, от накопившегося в них нетерпения или же просто из желания показать себя хористы пели так громко, что у Джорджа чуть не лопались барабанные перепонки. Но увлеченный ритмом пения, он впал в странное забытье, хотя продолжал твердо стоять на широко расставленных ногах.

Когда все кончилось, они вчетвером остались в зале, вслушиваясь в необычную тишину. Джордж снял пиджак, закурил сигарету и принялся нервно обмахиваться нотной тетрадью.

— Следует особо подчеркнуть,— заявил Сиренков таким тоном, словно он находился на оперативке,— что пение мне очень понравилось...

— Молодец наш Джордж, молодец!..— серьезно добавил Килкин, протирая очки.

Джордж, не скрывая своей гордости, благодарно кивал.

В оставшуюся часть дня он готовился к решающему разговору с Дианой. В голове его выстраивались изящные фразы — меланхолические и убедительные. Он мысленно успокаивал Диану, передавал сердечные приветы матери, подносил к ее глазам чистый носовой платок, чтобы она вытерла слезы...

Ранним вечером они встретились, как всегда, у кинотеатра «Цветок». Раскаленные каменные плиты площади дышали жаром, и плотная толпа горожан торопилась поскорее войти в парк, где близость Дуная и полумрак тенистых аллей смягчали зной. Джордж выглядел самоуверенно и торжественно. Диана в вызывающе ярком — желтом, с крупными цветами — платье шла рядом с ним, то и дело повторяя:

— Вы убеждены, что надо идти к вам?

Джордж кивком головы подтвердил. В эти минуты, поняв вдруг, что сейчас они расстанутся навсегда, он сразу размяк. Предстоящая разлука вызывала у него легкую ностальгическую боль, ощущение неповторимости того, что он испытал. Казалось, он готов был пережить все сызнова.

В гостиной он зажег голубой торшер, свет которого дразняще лип к голым рукам Дианы, и вышел на кухню, чтобы приготовить кофе. Вернувшись с двумя дымящимися чашечками, он застал Диану

лежащей в свободной позе на диване. Она походила на сонно нежащуюся, мурлыкающую кошку и излучала такой уют!

Изумленный и растроганный, Джордж прилег рядом с нею на диван и забарабанил пальцами по блестящей поверхности столика. Слова, которые он собирался сказать ей, утратили свою силу. Минуты текли одна за другой в напряженном молчании. Наконец, сокрушенная, видимо, этой тишиной, Диана, положив на его округлый живот руку, произнесла хрипловатым измученным голосом:

— Я понимаю... понимаю твое нетерпение...

Ее зубы казались ему янтарями, с таким же веселым, как у нового мундштука, блеском, а ее тело было ему необходимо, как костер в холодный зимний день. Он долго целовал ее пересохшими губами.

Радость близости продолжалась недолго, отрезвление пришло, как тяжкое похмелье. Он обвел взглядом комнату и увидел на полке с пластинками ее стоптанные туфли, нахально заброшенные туда; его собственные брюки, распростертые на полу, наводили на мысль о мертвом теле, наполовину засунутом под диван. Меланхолично-красивые фразы, которыми он хотел навсегда распроститься с Дианой и вызвать у нее слезы, он сам воспринимал теперь как насмешку. Он ненавидел женщину, лежавшую рядом с ним, никогда в жизни он не встречал ничего более не нужного ему, чем она, потому что и она, и ее свиноферма губили его заветные честолюбивые устремления, и это вызвало у него глухую ненависть к ней. Он не мог себе представить, как эта женщина годами будет существовать рядом с ним, говорить, двигаться... он чувствовал себя поглупевшим и беспомощным.

Диана одевалась медленно, как бы утверждая тем самым интимность их отношений, заговорила с ним хрипловато-нежным голосом о возможности совершить туристскую поездку в Югославию, Венгрию, Вену. Такая экскурсия, мол, должна состояться в ближайшее время, и попасть в число ее участников им будет просто — ведь бай Добри регулярно продает поросят начальнику паспортного отдела. Она то расчесывала его густые курчавые волосы, то с материнской нежностью трепала по голому плечу рукой, а Джордж ласково улыбался, понимая, что и в моменты самой лютой ненависти к ней способен на самые неожиданные безрассудные поступки...

Он торопился ее выпроводить, его нервозность, казалось, ее успокаивала, и она шла рядом с ним с кроткой медлительностью. Оба минут пятнадцать смотрели друг другу в глаза, неловко прислонившись к перилам автобусной станции. Наконец последний автобус, следовавший в Дунавци, тронулся, и Джордж вздохнул с облегчением.

Он остался один на опустевшей площади. Прохладный ветерок доносил со стороны «Балкантуриста» хриплые звуки саксофона и электрогитар. Джордж брел, отупевший от бессилия; дойдя до Клуба работников культуры, он не зашел туда, как делал это обычно, а продолжал идти вниз по улице к пристани, где за десятками бочек с фруктовым пюре виднелась матово поблескивающая река — второе небо, только без его глубины и прозрачности. И Джордж вдруг почувствовал страх, совершенно непонятный, но сильный...

Бессознательно он свернул к железнодорожному парому, вышел на центральную улицу и направился к Дому культуры «Пробуждение». В его фигуре, когда он, сгорбясь, повертывал дрожащей рукой ключ, чтобы войти в зал, было что-то пугающее.

Джордж включил только одну лампу и подошел к роялю, увидел на его блестящей поверхности свое отражение — лицо, обрамленное длинными вьющимися волосами, показалось ему очень артистичным.

Инстинкт самосохранения заставлял его торопиться, непонятный страх сжимал ему горло. С нетерпением юноши, ожидающего свое первое свидание, он сел за рояль; аккуратно положил возле себя шариковую ручку и чистый лист нотной бумаги, пошевелил пальцами и нервно, без единой мысли в опустошенном мозгу, нажал ими на белые клавиши. Звуки раздробили тишину, наполнили пустое помещение стонами. Но как только он менял тональность, рояль звучал с несерьезной игривостью — ла-ла — ла-ла! — не имевшей ничего общего с той огромной живой болью, которая сжимала ему грудь.

За час Джордж выкурил полпачки сигарет, но лист нотной бумаги оставался чистым, если не считать нескольких, мало что выражающих ключей. Ему стали мешать долетавшие с улицы звуки. Вертящийся табурет был неудобен. И чем больше он старался сосредоточиться, тем быстрее его мысли рассредоточивались, терялись в бесчисленных мгновениях его противоречивой жизни. Постепенно страх начал отступать перед усталостью, и ему уже не хотелось больше сновать по клавиатуре потолстевшими, неуклюжими пальцами.

«Я так и знал, я знал...— сказал он себе.— Ничего не получится!.. Ничего...»

Это была последняя попытка Джорджа вернуть себе надежду. Он перестал вставать в шесть часов утра и ходил по нескольку дней небритым. Был по-прежнему любезен и мил со всеми, но начал много есть, набрасывался на еду с непроизвольной радостью вечно голодного человека. А когда цыган пришел к нему со своим адвокатом заключать договор, Джордж снял перед ними пижаму и, оставшись в одних черных трусах, заявил им спокойно:

— А ну-ка убирайтесь отсюда...

— Так вы что же — не дирижер, значит, а мошенник?! — с достоинством отпарировал цыган.

Приближался священный миг первого концерта... Неожиданно пришла осень — с обильными дождями и серыми липкими туманами над Дунаем. Утратившее свою прозрачность небо слилось с землей, соединенное с нею мириадами водяных струй; начали лысеть деревья. Эта пора всегда тяготила Джорджа, отнимала у него жизненные силы, обрекала на тревожный сон. Он становился вялым, сентиментальным, испытывал тупую тоску по какому-то далекому, недостижимому изобилию звуков и цветов. Может быть, это и стало причиной того, что в такой вот дождливый, мглистый вечер он снова ощутил потребность в близости Дианы. В его мозгу, помутневшем от выпитого сверх меры молодого, неперебродившего вина, возникла даже такая мысль: «Ведь оба наши имени начинаются на «Д»...» И наступил момент — хотя, казалось, его ненависть достигла предела,— когда он предложил ей выйти за него замуж...

Килкин

Стройка вынуждала меня существовать в каком-то необычайно протяженном времени, незнакомом людям, работающим в городе. Организация ее была настолько совершенной, что все происходившее выглядело непреднамеренным, а красота молочно-красного заката воспринималась лишь как предвестие безоблачного дня. В навевающие сон летние послеобеденные часы, когда напитанный раскаленной пылью воздух звенел от жужжанья мошкары, и в зимние минуты

отдыха у низко стелющихся, шипящих костров мы говорили об одном и том же, поругивались или же думали о ком-то: «Это бесполезный человек, он ни черта не может делать и поэтому меня не интересует». Так завод, даже не став еще реальностью, превратился в своеобразную личность, которая была для нас мерилом всего и в которой проявлялась индивидуальность каждого из нас...

Я не мог бы обособить себя от остальных какими-то своими исключительными качествами. Убежден, что все считали меня добродушным близоруким толстяком в массивных очках, широких штанах и неизменно грязных резиновых сапогах, умевшим мастерски ругаться. Эта скудная характеристика казалась мне достаточно точной и исчерпывающей. Отличался я от остальных, правда, только тем «героическим» фактом, что был главным механиком будущего завода. Начальство и рабочие старались, конечно, получше узнать не Килкина, а главного механика. Их постоянному стремлению совершенствоваться, их простым человеческим интересам нужна была не столько моя личность, сколько мои качества руководителя и специалиста,— Килкин же был между молотом и наковальней, он двигался легко, плавно, неся перед собой круглый живот; его нетрудно было узнать по коротко остриженным волосам и несколько надменному фальцету.

Но, после того как заболел Момчил, все изменилось. Теперь мое несчастье выделяло меня среди остальных работников стройки, и это давало им право на свое отношение ко мне. Я не знал, что было мучительнее — подчеркнутое сочувствие (оно ведь ущемляло мою гордость, лишая меня уверенности в себе) или немой, настойчивый упрек любопытных взглядов, которые облепляли стекло моего джипа. Ведь я имел смелость взять *чужого* ребенка, а он так тяжко заболел. Мои страдания превратились, казалось, в какую-то общую проблему, словно бы в неподвижности Момчила была повинна вся стройка. Это навязчивое внимание преследовало меня, и я вынужден был его терпеть. При моем появлении рабочие начинали говорить тише, в столовой мне уступали место. Но иногда за моей спиной кто-нибудь прозрачно намекал, что я подлец, раз довел до такого состояния ребенка. Уполномоченный Сиренков ежедневно выделял из своего драгоценного времени пятнадцать минут и писал нашим друзьям в Советский Союз прочувственные письма.

— Ленинградская клиника подошла бы лучше всего,— нервно твердил он и успокаивающе похлопывал меня по плечу.

В один из этих душных томительных дней Мария обнаружила на лестничной клетке старую деревенскую корзину, полную брусники, и в ней записку: «Момчилу от его дяди Петра». Я так и не понял, кто он, этот дядя Петр, но Момчилу понравился вкус и винно-красный цвет ягод. Он размазывал их сладкий сок по губам и разрисовывал синеватыми поцелуями белизну моих ватманов с чертежами.

Я был мучительно одинок, хотя меня повсюду все замечали, сочувствовали, что-то советовали, вторгались в ход моих мыслей, не давали мне взять на себя ответственность. Но ведь Момчил не мог быть сыном всей стройки...

Мы с Марией вдруг научились молчать, как дети неожиданно начинают говорить. Отдельные затертые, малозначащие фразы, которыми мы изредка обменивались, казались бессмысленными, зря отнимающими у нас время. Мария заметно похудела, а я полнел. Мы пристрастились к вещам и покупали их, как новобрачные,— чувствовали, что должны что-то изменить в нашем доме.

Мы сменили занавески и в гостиной — новая ткань с лимонно-желтыми плодами айвы странно отяжелила ее; старые часы с деревянным ангелочком над циферблатом мы поставили напротив телевизора, два новых торшера своими разноцветными пластмассовыми абажурами подчеркивали безвкусное убранство комнаты.

По вечерам каждый из нас старался остаться с ребенком наедине. Мария говорила Момчилу о человеческой любви, а я — больше о человеческом достоинстве. Это был, правда, довольно непродуманный ход с нашей стороны. Но мальчика это нисколько не волновало, хотя ставило порой в трудное положение. Мы делали так потому, что у нас было идиотское желание примирить его со своей болезнью. Он пытался как-то связать эти два исконных начала, объединить слова отца и матери со своими собственными ощущениями.

Я сажал Момчила к себе на колени и, изображая верховую езду, подбрасывал его — так мне удавалось овладевать на какое-то время ненадежным детским вниманием. Я описывал ему достоинство, как описывают карусель или пеструю юлу, терпеливо объяснял смысл этого абстрактного понятия, а Момчилу просто хотелось играть с детьми. Постепенно я понял, что мои усилия напрасны, и это лишь усугубляло мои муки, вызванные страданиями ребенка. Необходимо было что-то предпринимать.

Настали дни докучливых осенних дождей, плесневеющих виноградных гроздей, частых хождений по гостям и затяжных ракийных возлияний. Небо с каждым днем становилось все более хмурым, а сумерки более ранними, воды Дуная посерели, недолговечное золото листвы утрачивало свой цвет и осыпалось, оголяя деревья. Строительство было уже почти завершено, и начались банкеты. Пили мы сдержанно, говорили красивые слова, но в спокойные восьмичасовые рабочие дни нам стало не хватать того жадного стремления к совершенству, которое вынуждало нас забывать о себе. Время стало и очень долгим и необыкновенно коротким, как будто бы дни превратились в слишком туго надутые шары, которые лопались с наступлением заката...

В один из таких дождливых дней, когда я возвращался после работы домой, возле кино «Цветок» меня остановил Терентиев, которого почему-то все зовут Граф Теренти. Вернувшись после многолетних странствий, он жил по-соседству с нами в своем ветхом домишке, знал Момчила и теперь работал у нас на шинном заводе. Угостившись моими сигаретами, он минуты две смущенно поглаживал свою велюровую шляпу и наконец сказал:

— Слушай, Килкин, почему ты не купишь себе машину?

Мама приехала совершенно неожиданно. Был прохладный октябрьский вечер, и крупный дождь барабанил своими мягкими пальцами по стеклу окон. Мы с Момчилом сидели в гостиной — я учил его играть в шахматы, Мария готовила на кухне винегрет, как вдруг раздался нетерпеливый звонок.

Мама постарела, но выглядела решительной. Ее потертый чемодан намок и казался огромным рядом с ее сгорбленной, облаченной в черное фигурой; с ее платочка скатывались серебристые капли. Момчил испугался и спрятался за моей спиной; мама позволила мне поцеловать ее в мокрый лоб. У нее был вид человека, который очень спешил, но все же опоздал. В ее потускневших от старости глазах было смущение, и слегка дрожала рука, когда она вынула из-под плаща сахарного петушка.

— Ну, иди ко мне, внучек! — улыбнувшись, обратилась она к

Момчилу.— Сколько ж я тебя купала, сколько пеленала, когда ты был совсем маленький, помнишь?

Момчил отрицательно покачал головой, но петушка взял и откусил его красный гребешок.

— Да, в самом деле, как же тебе это помнить — ведь ты был еще махонький, совсем малявочка...

— Это твоя бабушка,— сказал я строго, поднимая мамин чемодан.— Ты это знаешь?

— Знаю,— с недоверием в голосе ответил Момчил.— А у тебя в деревне есть собака?

Мама критически оглядела гостиную, спокойно выключила разноцветные торшеры — когда абажуры нагревались, от них несло мокрой шерстью и резиной — и включила люстру. У двери, ведущей в коридор, стояла, опустив руки, Мария; в своем красном халатике она походила на молодую служанку, но какое это имело значение?! Момчил прижимался к моим ногам, из соседней квартиры доносился рокот телевизора.

— Я знаю — ты меня не прогонишь... Ты не из тех людей, которые отказываются от того, что им позарез нужно. Не усмехайся,— продолжала дипломатично мама,— мне надо подумать об очень важном, но не сейчас...

Освещенная желтоватым светом люстры гостиная казалась забитой вещами. Момчил принялся показывать маме игрушки, а я вышел на кухню, чтобы повесить на стену пожелтевший портрет отца.

Мама полюбила Момчила раз и навсегда. Она была в том возрасте, когда человек либо терпеть не может детей, либо же воспринимает всех детей как своих. Она научила его есть деревенскую тюрю, тормошила и шлепала его безо всяких угрызений совести. Сидя возле керосиновой печки, она пела ему протяжные песни, рассказывала сказки; ее тихий ласковый голос постепенно становился все громче, резче, грубее, и это позволяло Момчилу понять, что добро можно почувствовать только тогда, когда рядом есть зло.

— Давай-ка теперь походим,— жестоко требовала она.

— У меня заболят ноги,— испуганно говорил Момчил и искал нас взглядом.

— И у меня болят все кости, но ведь я хожу...

Злость свою она чаще всего вымещала на мне. Глядя на меня отсутствующим взглядом, она продолжала спокойно:

— Ты не слушай отца, то, что он тебе болтает... Вот когда вырастешь, тогда и будешь отдыхать. Теперь ты должен не жалеть, не щадить свои ноги, а ненавидеть их и заставлять ходить... А вот когда пойдет снег, мы с тобой сделаем снежную бабу...

Они с Марией понимали друг друга отлично, и это меня пугало. Они умели оставлять меня в полном одиночестве — могли часами говорить о ценах на помидоры, варить компоты или просто вместе молчать. Мама и Мария, казалось, осязаемо излучали и встревоженность, и чувство уверенности, и взаимное уважение. Я ощущал это в самом воздухе нашего дома, в их настроении и в том пренебрежительном невнимании, с каким они обе относились ко мне. Тщетно приглядывался я к себе, стараясь найти причину этого.

Надежда купить машину рухнула. А я так мечтал о дальних летних прогулках по искореженным дунайским берегам, о пологих холмах, на которые мы будем взлетать со скоростью ветра, о мудрой, все понимающей улыбке ребенка, сидящего рядом со мной, когда мы мчимся по раскаленному асфальту.

— Ну, что тебе далась эта машина? — говорила мне мать, хмуря поредевшие брови.— Ты не должен возить Момчила. Учи его ходить...

(Окончание следует)

МЕДЖА МВАНГИ

Неприкаянные

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

9

На землю быстро спустился мрак, и, точно по сигналу, завели свои трескучие песни цикады. То здесь, то там раздавалось урчание ночного хищника и в тот же миг — пронзительный вопль, от которого все умолкало. Небо было безоблачным, и ничто не мешало обозревать вселенную. Дул легкий ветер, неся с собой свежесть, какую ощущаешь только в сельской местности. Слышался ворчливый гомон птиц, свивших себе гнезда в придорожных кустах.

Ноги Меджи, ступавшие по мягкой холодной пыли, озябли, заныло колено. Он плотно кутался в свое рубище, но ветер проникал сквозь тонкую ткань. Застучали зубы, и первое время он не пытался их остановить; потом крепко, до боли сжал челюсти и двинулся, прихрамывая, по пустынной дороге.

Горькие мысли обуяли его. Дом, семья... Все это в прошлом. Как рубец на теле. Житейские проблемы, разговоры о бусах, о плате за школу теперь мало что для него значили. Он уже не жалел о том, что ушел, не повидав родителей, хотя до дома было рукой подать. Для родственных чувств в его сознании уже не было места. Осталось только желание порвать с прошлым и вернуться в город. О том, что ему делать в городе, он пока не думал. Главное — подальше от деревни, не встречаться больше с двенадцатилетними девочками, видом своим похожими на двухлетних. Подальше от красной земли, от кукурузных полей и от всего прочего. Возможно, в городе он попытается разыскать своего друга Майну; тогда они вернутся на старые места и заживут по-прежнему.

До главного шоссе, пересекавшего проселочную дорогу, было около двенадцати миль пути. Если ехать по этому шоссе прямо на юг, то попадешь в город. Туда Меджа и направил свои стопы. Он надеялся сесть в попутную машину. Но до шоссе надо еще шагать и шагать.

Было уже около трех часов ночи, когда он, прозябший, голодный и усталый, добрел до шоссе и присел отдохнуть у обочины на мокрую от росы траву. До утра, пока не начнется движение транспорта, ехать будет не на чем, так что надо поудобнее устроиться, чтобы

Окончание. Начало см. в № 2, 3.

скоротать время. На востоке, над высокими холмами взошла яркая луна. Но от ее холодного света ночная дорога выглядела еще более неприютной и жуткой. Меджа так дрожал, что не мог спокойно сидеть. Заныли натруженные ноги, и он стал опасаться, как бы их не свело судорогой.

Он встал, потянулся и посмотрел вокруг себя. К шоссе с обеих сторон прилегали кусты, пугавшие своим настороженным видом; казалось, в них скрыты миллионы глаз. Дорожное полотно, точно черная холодная змея, тянулось на несколько миль вправо и влево от него, пока не исчезало за поворотами. Нигде, насколько хватало глаз, не было видно ни одной машины. Он сел было опять на траву, но усилившийся ветер заставил его искать укрытие. Вдоль обочины пролегала поросшая травой канава. На дне ее, как всегда в засушливое время года, было сухо. Меджа спустился в эту канаву. Здесь было теплее. Пряча голову от ветра, он лег на спину и устремил взгляд в холодный черный таинственный небосвод. Вот отделился от далеких звезд метеор. Оставляя за собой быстро погасавшие искры, он полетел на юго-запад, к другому созвездию.

Продолжали свои песни цикады, а в непересыхающем близлежащем болоте наперебой бормотали лягушки, их нестройный хор будоражил сознание усталого путника. И в довершение всего с болота налетели москиты, привлеченные запахом теплого человеческого тела. Атаковали они целыми эскадронами, не оставляя на незащищенных участках тела ни одного живого места. Когда Меджа закрыл лицо ладонями, они принялись жалить руки, вызывая страшный зуд. Он повернулся на бок и свернулся калачиком, но в это время пришло новое пополнение москитов с еще более жгучими жалами. Окончательно измученный, он лег на живот, погрузил лицо и руки в высокую траву и заснул беспокойным сном.

Проснулся он, когда чуть брезжило. По шоссе в обоих направлениях уже мчались машины. Разбудило его громыхание больших грузовиков, что везли на городские рынки продукты. Меджа чувствовал, как дрожит под их тяжестью земля. Время от времени проносились легковые машины, спешившие доставить своих пассажиров к началу рабочего дня.

Меджа вылез из канавы. Поврежденную ногу свело судорогой. Он попытался вытянуть ее. Жгучая боль резко отдалась в бедре. Свело также пальцы больной руки. Он стиснул зубы, чтобы не закричать. Потом судороги постепенно прошли, рукам и ногам стало теплее, по телу пробежала мелкая дрожь. Теперь он уже мог стоять.

На востоке, где ночью всходила луна, начало розоветь небо. Только-только просыпались в придорожных кустах птицы. До восхода солнца оставалось еще не меньше часа.

Вдали на повороте показался большой грузовик. Слышно было, как водитель с шумом переключил скорость и прибавил газ. Меджа сделал глубокий вдох, шагнул прямо на яркий свет фар и замахал руками. Но грузовик мчался, не замедляя хода и, несомненно, наехал бы на Меджу, если бы тот не отскочил в сторону. От сознания только что пережитой опасности Меджу бросило в жар. Он покачал головой и вытер потное лицо. Подсесть к кому-нибудь в машину оказалось не так просто, как он думал. Он попробовал идти пешком, но, преодолев с трудом мили две, в изнеможении остановился и сел на траву. Дунуло свежим ветерком, и он, почувствовав себя бодрее, опять вышел на дорогу. Авось на этот раз повезет. Первая машина проехала мимо, вторая — тоже; третья — это был самосвал — остановилась. Меджа обогнул кабину и стал напротив шофера.

— В город едете? — спросил он.

Шофер долго смотрел на его лохмотья, на худое тело, на измученное лицо; потом выражение любопытства в его глазах погасло и он, продолжая сжимать краешком рта сигарету, сказал:

— Полезай скорее. Нечего задавать глупые вопросы.

В кабине кроме водителя уже сидели двое людей, и Меджа заковылял к борту. Он долго карабкался, но так и не смог подтянуть свое слабое тело, пока рабочий, сидевший в кузове, не перетянул его за больную руку через борт. Едва он успел убрать с огромного колеса ногу, как оно начало вращаться. Машина резко тронулась с места, и оба они упали на пол.

— Давай сюда,— предложил рабочий и нырнул под брезент у задней стенки шоферской кабины, под самым смотровым окошком. Здесь не дуло и было почти тепло.

Они лежали, задыхаясь и чихая от пыли, а самосвал между тем мчался все быстрее и быстрее. Разговаривать они не могли, даже если бы хотели. Грузовик оглушительно ревел и раскачивался на крутых поворотах, кидая их из стороны в сторону.

Прошло, как им показалось, совсем немного времени, а грузовик уже остановился. Меджа и его спутник думали, что это лишь временная остановка, поэтому оставались под брезентом, но тут они услышали, как двери кабины открылись и снова закрылись и как под ногами вышедших людей заскрипела щебенка. Рабочий высунулся из-под пыльного, теплого укрытия, осмотрелся вокруг и стал вылезать.

— Приехали,— объявил он.

Меджа удивился, не услышав ни характерного городского шума, ни движения транспорта. Да и ехали-то они недолго. Может быть, свернули с шоссе и оказались не в городе, а в каком-нибудь другом месте?

Он выбрался наконец из-под брезента, поднялся на ноги и затаил дыхание. Самосвал окружали груды щебня разных видов и размеров. Прямо перед ним возвышался почти двухсотфутовый каменный массив, тянувшийся на многие ярды в ту и другую сторону. Сбоку машины, у самого массива, стояла камнедробилка.

Меджа постоял немного, разглядывая это сооружение из дерева, железных листов и каменных плит, и обернулся к рабочему, с любопытством наблюдавшему за ним. Потом спрыгнул на землю.

— Отсюда до города еще три мили,— сообщил рабочий.— Пойдем, я покажу тебе короткий путь.

Было около шести часов утра. Солнце только начало подниматься над горизонтом, и воздух еще не просох и не прогрелся. Рабочий, миновав кучи щебня, вывел Меджу на тропу, которая пересекала менее возвышенную часть массива, а затем шла вдоль обрыва вверх, на небольшую плоскость. Пока они добрались до этого места, Меджа тяжело запыхался. Отсюда город был хорошо виден. Его окутывала сизая дымка, сквозь которую с трудом пробивались разноцветные уличные огни. Слабые, бледные, они гасли, словно от раннего утреннего ветерка.

— Шофер рано утром в город не ездит, а то он подвез бы тебя,— объяснил рабочий.— Он должен дождаться, когда самосвал щебнем нагрузят. Однако до города, как видишь, не так уж и далеко. Еще по холодку успеешь добраться. Вот по этой тропе и шагай, пока не упрешься в шоссе. Пройдешь по нему несколько ярдов и увидишь слева от себя продолжение тропы. Потом пересечешь речку, а за ней и город начинается. Заблудиться там невозможно.

Меджа долго стоял в нерешительности. Рабочий спокойно наблюдал.

— Ты все понял?

Меджа кивнул.

— Может, тебе помощь какая нужна?

Меджа взглянул на него, потом на город, потом снова на него. Хотел было сказать что-то, но запнулся. Теперь, когда город был совсем рядом, он не знал, что там будет делать. Такую же растерянность он испытывал, когда приехал в город впервые. И многоэтажные громады зданий, и центральные улицы, и люди, ходившие по ним,— все пугало его.

— Спасибо, что подвезли,— сказал Меджа.

Усилием воли он заставил себя идти, но уже через несколько шагов остановился.

— Ну, будь здоров,— напутствовал рабочий.

— Прощайте. — Меджа поплелся дальше.

Но идти ему не хотелось. Судя по тону этого человека, у него добрая душа, и он, возможно, в состоянии помочь. Глупо уходить от того, кто может оказаться твоим другом. Уходить, когда ты так нуждаешься в поддержке. Меджа снова остановился и повернул обратно.

Но рабочего уже не было. Он ушел на карьер. На мгновение Меджу охватила паника. Мысль о том, что он упускает случай воспользоваться чьей-то помощью, страшила его. Но человек ушел, и он, Меджа, остался совершенно один. Нет, надо догнать его!

Он побежал по опасной тропе обратно, царапая об острые камни руки и ноги. Наконец догнал рабочего, который, услышав за спиной шум падающих с обрыва камней, обернулся. Песенка, которую он насвистывал, замерла у него на губах. Узнав в оборванце Меджу, он удивился и с улыбкой сказал:

— Ты испугал меня.

Меджа в растерянности остановился и ухватился руками за выступ скалы. Ноги у него дрожали. Он готов был убежать, но не смог сдвинуться с места. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга.

— Что-нибудь надо, друг? — уже без улыбки спросил рабочий.

Меджа судорожно сглотнул слюну.

— Может, тебя интересует, как добраться до какого-нибудь места в городе?

Меджа покачал головой и промямлил:

— У меня затруднение.

Рабочий оглядел его с головы до ног, не понимая, какое преступление мог совершить этот несчастный парень.

— Неприятности с полицией?

— Нет.

— Что же тогда?

— Работа.

— Не понимаю.

— Мне... мне... Не поможете ли вы мне с работой? Здесь.

Рабочий задумался, внимательно посмотрел на Меджу и покачал головой. Заметив на его лице выражение отчаяния, поспешно сказал:

— Не знаю пока. Но я выясню. Вообще-то нам нужно несколько человек на место погибших. Тут у нас авария была. Надо с приказчиком поговорить.— Он внимательно оглядел Меджу.— Но работа у нас нелегкая. Поискал бы ты еще где-нибудь, а?

Только сейчас Меджа в полной мере осознал, как он ослаб и отощал.

— Я уже искал,— сказал он, опустив голову.

— Что ж, пойдем к приказчику.

Они вернулись к кучам щебня. Самосвал, на котором они сюда приехали, стоял на прежнем месте. У конторы, рядом с дробилкой, вытянулась очередь горнорабочих. Перед началом работы они должны были отметиться в табеле. Меджа не представлял себе, что на каменоломне трудится так много людей. Ему бросилось в глаза, что внешне эти горняки очень похожи друг на друга. Сходство заключалось не только в рваной, пропитанной пылью одежде, но и в богатырском телосложении. По сравнению с ними Меджа чувствовал себя маленьким и тщедушным. Некоторые из этих великанов шли вдоль отвесной скалы на свои рабочие места, неся на плечах тяжелые молоты и кайлы.

Меджа и его новый товарищ тоже стали в очередь и молча слушали, как парни впереди них громко разговаривали и смеялись. Каждый из них, подойдя к окошку, совал в него свою личную карточку, с тем чтобы вечером, после окончания рабочего дня, взять ее обратно со штемпелем. Меджу, казавшегося среди них карликом, почти никто не удостаивал даже взгляда. Кругом шумели и суетились люди. Кто-то включил дробильную машину, и воздух наполнился оглушительным шумом и белой пылью. У конторы теперь стояли только Меджа и его спутник.

— Привет, Нгиги! — пробасил сидевший за окошком человек.

— Здравствуй, начальник,— ответил рабочий, протягивая ему свою синюю карточку. Тот сделал на ней запись и поставил штемпель, но рабочий все не уходил.

— Как жена?

— В порядке.

— А ребятишки?

— Тоже в порядке.— Нгиги помолчал немного, потом продолжал: — Послушай, начальник. Тут я приятеля одного привел. Можешь ты устроить его на работу?

— Ну, конечно,— ответил приказчик.— Нам как раз нужен человек. А он что, такой же силач, как ты? Погоди, я сейчас выйду.

Только теперь Меджу пришло в голову, что Нгиги — очень крепкого сложения. Хотя ростом и несколько ниже его, Меджи, но плотнее и мощнее. Под пыльной одеждой скрывалось тело, во много раз более сильное, чем тело Меджи.

Дверь в противоположной стене конторы открылась, и из нее вышел огромный детина в коричневой спортивной рубашке, из которой выпирали мощные мускулы. Ростом он был почти на голову выше Меджи, его руки и шея отличались непомерной толщиной, ноги и ляжки в коротких штанах напоминали стволы огромных деревьев. Под кожей при каждом движении играли упругие мышцы. Еще ни разу в своей жизни Меджа не встречал человека с такой развитой мускулатурой.

Приказчик остановился на полдороге и окинул Меджу критическим взглядом, потом с иронией посмотрел на Нгиги. Но тот отвел глаза в сторону.

— Ты что, разыграть меня вздумал? — спросил он.

— Нет, что ты. Он работать хочет. Спроси его самого.

Приказчик посмотрел на тонкие руки Меджи, потом на костлявые, обтянутые кожей ноги и покачал головой.

— Я хочу работать,— сказал Меджа.

Приказчик перевел взгляд с Меджи на Нгиги и понял, что они не шутят.

— Но мы не можем тебя взять. Сколько ты весишь? Впрочем, это совсем ни к чему. Я и так знаю, что больше ста фунтов не потя-

нешь. Что ты можешь у нас делать с твоими-то силенками? Нет, не пойдет.

— Но я могу работать. Буду стараться,— просительным тоном сказал Меджа.

— Зря со мной споришь. Для таких, как ты, нет у нас подходящей работы. Ты взгляни на этого здоровяка Нгиги. Нам нужна одна лишь грубая сила и ничего больше. То, что ты хочешь работать, я знаю. Работать-то все хотят, только не каждый может орудовать молотом. Тут ведь одного желания мало. Одна кайла сколько сил требует. Нет, брат, не годишься. Так что извини, Нгиги.

Нгиги молчал. Он и сам видел, что шансов получить работу у Меджи очень мало. Ему тачку с камнями возить и то не под силу. Слабоват парень.

Но Меджа решил не сдаваться.

— А вы испытайте. Вот увидите, я...

— Нет, брат, ничего не получится.— Приказчик старался говорить вежливо.— Вот, взгляни на эту каменную громадину.

Все трое повернулись лицом к высокой зубчатой твердыне. Массивная, внушительная, она с вызовом встретила их взгляды. Меджа чуть ли не физически ощутил ее мощь и несокрушимость. Почти под стать могучим плечистым фигурам приказчика и его горняков.

— Понятно теперь? Попробуй долбить эту глыбу. Глядеть на нее и то страшно. Силища! А ты хочешь идти на нее с кайлой. Да вряд ли ты и молот-то поднимешь. Нет, не возьму я тебя на эту работу. Не могу.

Меджа не знал, что еще сказать. Он готов был заплакать. Ему оставалось только уйти, но в это время заговорил Нгиги:

— Ты можешь взять его на испытательный срок, начальник.

— Что? — вскинулся на него приказчик и, переведя взгляд снова на Меджу, сказал: — Бесполезно это, понятно? Хорошо, что ты такой смелый, но нет смысла даже пробовать. Не выдержишь ты испытания, а раз не выдержишь, то и платы никакой не получишь. Уходи.

— Ну, дай ему попробовать, начальник, — не отставал Нгиги.

— Пожалуйста, — взмолился Меджа.

— Я же сказал. Впрочем, черт с вами...— Приказчик махнул рукой. — Что я теряю? Ладно. Бери вон ту кайлу и молот. Нгиги, набери ему мешок клиньев.

Нгиги, довольный, пошел за клиньями. Пусть поработает, бедняга. Раз он этого хочет, то может и справиться.

Меджа стоял рядом с приказчиком и смотрел, не сводя глаз, на скалу. Казалось, она поглядывает на него со злой и глупой усмешкой.

— Видишь стену? — начал объяснять приказчик.— Когда принесут клинья, ты будешь рубить ее. За день должен вырубить по крайней мере девять кубических футов камня. Это твоя норма. Для пробы... Слушай, парень, не лучше ли тебе сначала где-нибудь поднакопить силенок, а уж потом идти к нам работать?

Меджа не отвечал. Легко сказать «поднакопить силенок». А как их поднакопишь, если желудок пустой? Но он не сказал этого приказчику. Не поймет. Да и никто на свете не поймет его положения. Кроме одного человека — Майны. Один лишь Майна познал вместе с ним его горькую долю. Все остальные живут, день за днем спокойно наблюдая, как всходит и заходит луна. А для Меджи каждый нарождающийся день означает новые страдания, новые бесплодные блуждания по бесприютному белому свету.

Вернулся Нгиги и опустил на землю мешок с тяжелыми стальными клиньями.

— Пойди отмерь ему участок,— распорядился приказчик.—Потом я приду посмотреть.

Покачав головой, он ушел. На ходу его выпуклые мышцы то натягивались, то расслаблялись, точно стальные тросы.

Проводив приказчика взглядом, Нгиги спросил:

— Он объяснил тебе, что делать?

Меджа кивнул и судорожно сглотнул слюну. Нгиги, с мешком на спине, пошел первым, Меджа, преодолевая боль в руке, все еще возился с молотом и кайлой. Дробилка, словно смеясь над его бесплодными попытками взвалить их на плечи, грохотала и изрыгала густую белую пыль от камней, которые с такой жадностью грызла. А каменный монолит, нависавший над ним, будто корчил ему презрительные рожи. Наконец, Меджа, потный и запыхавшийся, перевалив молот через плечо, а кайлу таща за собой волоком, двинулся вслед за Нгиги.

Тем временем другие рабочие, сильные, волевые, энергичные люди, какими и должны быть настоящие мужчины, несли свои молоты и кайла безо всякого труда, словно они были из легкого дерева. И ни один из этих мужчин не обратил внимания на задыхавшегося от пыли человека, с таким трудом тащившего свой инструмент на испытательный забой.

Дойдя до куч щебня, Нгиги остановился, поджидая Меджу. Когда тот приблизился, он сочувственно покачал головой, взял у него кайлу и с необычайной легкостью вскинул ее себе на плечо. Многие горняки уже приступили к работе, и в воздухе раздавались лязг металла о металл, песни и соленые шутки. Каждый из них, вырубив для себя каверну, спешил расширить ее, пока еще не жарко и не ослабли силы. Кое-кто, завидев Меджу, прекращал на минуту работу и провожал его удивленным взглядом.

Примерно в четверти мили от дробилки карьер сузился, и они прошли в самый конец ущелья. Здесь никто не работал и было глухо, почти как в подземелье. Грохот машины и голоса рабочих сюда едва доносились. Высокие каменные стены сходились так близко, что Меджа ощутил себя запертым в тесной камере, где потолок заменяло небо.

Нгиги сбросил с плеча кайлу, и она со звоном ударилась о камни. То же сделал с молотом Меджа. Он тяжело дышал.

— Ну, вот мы и пришли,— сказал Нгиги.— Здесь спокойнее. Там, где все, тебе было бы труднее работать. Зубоскалы, с ними насмеешься до упаду. А тут никто не помешает. Приступай немедля, пока солнце не начало припекать.

Меджа растерянно моргал глазами. Весь запас сил у него истощился уже за то время, пока он добирался до этого места.

— А как мне...— Он даже не знал, о чем спросить. Так много здесь нового и непонятного!

Нгиги показал рукой на каменную стену.

— Начинай в любом месте. Готовых инструкций тут нет. Главное — вырубить в этой чертовой стене девять кубических футов камня, а как ты это сделаешь — не имеет значения. Делай — и все.

Меджа взглянул на монолит, которому не было ни конца ни края.

— Но ведь он велел вам отмерить участок.

Нгиги покачал головой:

— Неоткуда отмеривать, пока ты не начал работать. У тебя есть все: кайла, клинья, молот. И есть желание. Бери молот и бей по камню. Отломится кусок, и сразу увидишь, как пойдет дело.

Нгиги повернулся и пошел. Но за изгибом стены остановился и стал незаметно наблюдать.

Меджа бросил последний робкий взгляд на скалу и, собрав все силы, поднял молот. Но поскольку весь заряд энергии у него уже иссяк, то удара не получилось. Молот со звоном отскочил от стены и грохнулся наземь, всего в нескольких дюймах от больной ноги. Меджа попробовал ударить еще раз, но результат был тот же.

Нгиги выбежал из своего укрытия и с тревогой спросил:

— Ушибло?

Меджа стоял в полной растерянности.

— Так камни не рубят,— сказал Нгиги.— Дай покажу. Тут надо аккуратно, а то покалечишься.

Он поплевал на ладони и правой рукой взялся за ту часть рукоятки, что находится ближе к стальному бруску, а левой — за ее конец.

— Вот так надо держать. А теперь...

Он размахнулся и ударил: во все стороны полетели осколки. Ударил еще два раза, и у его ног образовалась небольшая куча камней.

— Крепкая. Плохо поддается,— сказал он, опуская молот.— На силу, брат, надо отвечать силой. Бить так уж бить. Жалеть нечего. Не отступай.

Меджа снова взялся за молот.

— Опять неправильно,— сказал Нгиги.— Одна рука сюда...— Тут он заметил, что рука у Меджи изуродована. На его лице появилось такое же испуганное выражение, какое Меджа видел на лице своей сестренки Вамбуи.

— Что у тебя с рукой? — спросил Нгиги.

— Несчастный случай.

Как ни старался Меджа скрыть свое увечье, а все равно узнали. И приказчик, наверно, узнает и уже не разрешит больше работать. Нгиги смотрел на обезображенную руку, боясь прикоснуться к ней.

— Какой несчастный случай?

— Да так, пустяки.

Как и в тот раз, при встрече с сестрой, ему вдруг почудился гудок злосчастного автомобиля. Он инстинктивно обернулся назад: никакой машины не было. Неумолимая скала по-прежнему смотрела на него сверху вниз и ухмылялась своей каменной ухмылкой. Меджа стоял с потным лицом, руки у него дрожали. Он снова повернулся к Нгиги, в его горящем взгляде были и страх, и гнев, и смущение.

— Уж не захворал ли ты? — спросил Нгиги, с подозрением уставившись на Меджу.

Меджа кое-как оправился от смущения и взял у него молот.

— Нет. Я здоров.

— Ну, теперь ты знаешь, как надо рубить,— сказал Нгиги и отступил назад.— А мне тоже надо на работу. Как я уже сказал, готовых инструкций нет. Бей — и все.

На этот раз он даже не оглянулся. Уходя, с удивлением качал головой. Странно. Что могло довести этого беднягу до такого отчаяния? Странно, очень странно.

Меджа дождался, когда пройдет дрожь в теле. Он смотрел на скалу так, как смотрят на более сильного врага: знаешь, что он сильнее, а признаться в этом не хочешь даже самому себе. Постепенно чувство отчаяния переросло у него в злость, а потом—и в ненависть. Лютая ненависть к каменной стене, не желавшей поддаваться, со свистом вырывалась у него из ноздрей.

— Я здоров,— прошептал он.— Я здоров.— И уже во весь голос крикнул: — Я здоров!

Этот крик самоутверждения, глухо прозвучавший в ущелье, подхватила и усилила в тысячу раз каменная скала: казалось, она передразнивала его, только ее голос был громче; все горняки признавали

ее силу, поэтому она и вела себя так самоуверенно. И это злило Меджу еще больше. Чувство ненависти целиком охватило его, и он принялся осатанело обрушивать удары огромного молота на врага, не желающего отдавать своих камней; но камни — это деньги, а значит, и избавление от голода и отчаяния. Он размахивал молотом как одержимый, пока не растер в кровь ладони и пока не заныло все его тело. Пот, катившийся с него градом, насквозь промочил одежду. Во рту пересохло, боль в пояснице сделалась тупой и тягучей. Он так глубоко погрузился в свое занятие, что не слышал даже отдаленного грохота дробилки.

Солнце было уже высоко и грело все сильнее. Его лучи пронизывали тело Меджи и прогревали камни. Но он работал, несмотря ни на что.

Когда он почувствовал, что вот-вот упадет от слабости, то отошел немного назад, чтобы оценить свои труды. Но оценивать, в сущности, было нечего: если не считать выбоины, сделанной Нгиги, скала осталась почти невредимой. Обескураженный, он сел, прислонился спиной к скале и закрыл глаза.

Через несколько часов его разбудил Нгиги. Начался обеденный перерыв, и он решил поделить с Меджей свою еду. Оставив инструменты в забое, они побрели к дробилке, где собирались, по обыкновению громко смеясь и шутя, все горняки. Дробилка умолкла, пыль осела, узелки с едой лежали развернутыми на камнях. Рабочие, занятые трапезой, притихли. Меджа ел с жадностью. Нгиги, увидев голодный блеск в его глазах, стал есть медленней — пусть парню побольше достанется.

Закончив обед, рабочие улеглись отдыхать в тени дробильной машины. Закурили. Меджа искоса поглядывал на мощные голые торсы мужчин и не переставал удивляться: откуда берутся такие исполины?

— Куришь? — спросил Нгиги, протягивая Медже сигарету.

Меджа покачал головой:

— Как вы думаете, справлюсь я с этой работой?

Нгиги лег на спину и вытянул ноги. Закурил, затянулся и медленно выпустил дым через ноздри и полуоткрытый рот.

— Пока трудно сказать. Вечер еще не скоро. Мы в шесть кончаем.

Наступила тишина. Меджа смотрел на горняков, развалившихся в небрежных позах. Некоторые уже спали. Эта тихая, дремотная атмосфера напоминала Медже ферму, на которой они работали с Майной. Там тоже был приказчик, которому очень трудно угодить.

— Может, вы зря не замерили мой участок? — спросил Меджа, чувствуя, как саднит ладони.

— Нет смысла. Когда нарубишь девять кубических футов камня, то и без замера узнаешь, сколько сделано. От усталости глаза слипаться будут.

Меджа вздохнул и встал.

— Я, пожалуй, пойду работать.

Нгиги повернул голову и приоткрыл одно веко.

— Слушай, друг. Не знаю, как тебя звать.

— Меджа Мванги.

— Ты, Меджа, не горячись. С камнем имеешь дело, а не с людьми. Тут нужны и сила и сноровка. Злостью его не возьмешь, он уважает только силу. А ты смекай. Ищи слабину и там бей. За камушком целая глыба рухнет. Иначе сам себя угробишь.

Меджа смотрел на своего нового друга и мысленно представлял себе маленькую, худенькую сестренку, мечтающую о бусах. Поймет ли когда-нибудь Нгиги, что это значит? Поймет ли кто-нибудь вообще?

Он повернулся и заковылял прочь. Голова у него напряженно работала. Во что бы то ни стало вгрызться в скалу на три фута. Только как это сделать? Этого никто не знает. Никто не верит в его силы. Бороться придется в одиночку, и единственное его оружие — воля. Он взглянул на кучку камней, добытых утром. Тело его заныло при мысли о том, сколько еще ему предстоит сегодня сделать. Точно во сне он занес огромный молот над головой. Наметил на ненавистной шершавой стене одну точку и постарался не сводить с нее глаз. Но боль в руках отвлекала от цели.

Молот отскочил от стены и упал на мешок с клиньями. Он развязал мешок, достал стальной клин и взвесил на руке. Вспомнил слова Нгиги: «Ищи слабину и там бей». Значение этих слов только сейчас дошло до его сознания. Став на одно колено, он принялся изучать стену в том месте, на который пришелся удар. Поскребет камень концом клина, сдует пыль и снова поскребет. Глаза то и дело застилало потом, он вытирал их тыльной стороной ладони и все искал, искал, искал... Наконец, когда он начал уже терять надежду и снова впадать в уныние, счастье улыбнулось ему. Он нашел то, что искал. Это были две едва заметные линии, пересекавшиеся под прямым углом друг к другу,— настолько тонкие, что Меджа пришлось пометить их царапинами, чтобы не потерять из вида, когда он отведет от них взгляд. И все же это были трещины, те самые слабины. Меджа порылся в мешке, выбрал два клина потяжелее. Приставил один из них острием к трещине и, пользуясь тупым концом второго как молотком, вбил в стену. То же проделал со второй трещиной. Отступив на шаг, оглядел то, что сделано. Получилось очень неплохо. Он поднял молот. Снова тщательно прицелился и ударил один раз, потом еще и еще. Молот уже не отскакивал. Клин вошел на несколько дюймов. Второй клин поддался с первого же удара. Щели раздались вширь и вглубь. Он возбужденно потер руки. «Ищи слабину и там бей...»

Вдали снова заработала дробильная машина, ее грохот, точно морской прибой, обрушивался на дальний угол карьера и откатывался назад. Это был сигнал, означавший, что обед кончился и надо приступать к работе. Но Меджа в этом сигнале не нуждался — работа у него уже началась. Теперь он знал, что даже у гигантской глыбы можно найти слабину.

Нашлось применение и кайле. Меджа поднял ее и, нацелясь острым концом на раздавшуюся щель, вонзил на три дюйма в стену. Затем отвел рукоять в сторону, и обе трещины — вертикальная и горизонтальная — стали на несколько футов длиннее. Раны на его запыленных ладонях начали кровоточить, и боль стала почти нестерпимой. Он стиснул зубы, уперся босыми ногами в острые камни и навалился на рукоять. Кайлу резко повело влево, и Меджу отбросило назад, к противоположной стене. В тот же миг раздался оглушительный грохот и со стены низверглась целая тонна камней и пыли. Увидев падающую лавину, Меджа выбежал прочь из забоя. Молот, кайла и клинья оказались погребенными под огромной грудой камней.

Сначала Меджа испугался. Он не понимал, как это получилось, и не знал, хорошо ли сделал, отвалив сразу такую глыбищу. Он долго стоял, прислонившись к скале, и ждал, когда пройдет боль. Покачиваясь от усталости, закрыл глаза и попробовал задремать.

Чей-то окрик, послышавшийся сзади, вывел его из забытья. Он обернулся на голос и увидел стоявших полукругом рабочих во главе с приказчиком. Они услышали грохот и пришли узнать, что произошло. Среди них был и Нгиги.

— Ну и ну! — пробасил великан-приказчик.— Как это у тебя получилось?

Меджа от волнения не мог говорить:

— Я не...

— Даже не верится, что это твоя работа.— Приказчик похлопал его по плечу.— Я готов был поклясться... Ну, что ж, испытание ты прошел. Мне ничего не остается, как зачислить тебя на работу.

Меджа стоял и слушал оживленный разговор. Одни выражали недоверие, другие — восхищение. Потом, бросив последний взгляд на тщедушного парня, каким-то чудом свернувшего гору, каждый шел на свое рабочее место. Те, кто работал на перевозке камня, побежали за тачками.

— На сегодня хватит. Потрудился ты достаточно,— сказал приказчик.— Выпишу тебе завтра рабочую карточку.

Он снова с сомнением оглядел Меджу и легкой походкой зашагал прочь. Нгиги остался.

«Вот когда я наконец угодил приказчику»,— подумал Меджа. Он снова вспомнил ферму. Работа там была легче, и он очень хорошо бы справился с ней, если бы постарался. Да и приказчик там не такой уж страшный, конфликты с ним возникали только во время раздачи продуктов.

— Как самочувствие? — спросил Нгиги.

Меджа устало улыбнулся.

— В порядке. Пока в порядке.

Нгиги взглянул на груду камней и покачал головой.

— Невероятно, но факт. Скажи, друг, как ты это сделал?

Меджа посмотрел на свои истертые, в водяных волдырях ладони. Их все еще саднило, но боль эта вызывала приятные ощущения. Лицо его расплылось в широкой, довольной улыбке.

— Ну, я... нашел слабину.

Нгиги засмеялся.

— Я знал, что вы не поверите,— продолжал Меджа,— но это истинная правда.

Выходя следом за Нгиги из забоя, он испытывал радостное чувство. Наконец-то у него есть работа. Жизнь, в общем-то, не такая уж скверная штука. Единственно, чего ему не хватало теперь,— это родного очага. Но он отвергал даже мысль о возвращении к родным. Не поехал бы он к ним, даже если бы зарабатывал больше всех в мире и имел возможность купить миллион синих бус и ублажить остальных членов семьи. Никогда.

Вдали, в центре карьера гудела и охала дробильная машина, без устали крушившая камни. Эти звуки уже не резали Медже слух и не казались насмешкой. Наоборот, они напоминали ему мягкое мурлыканье кошки. Он с гордостью думал о том, что скоро, очень скоро это чудовище начнет жадно грызть, жевать и переваривать огромную порцию вкуснейших камней — его камней, добытых столь тяжелым трудом.

10

Зеленый фургон свернул с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела к тюрьме. День близился к концу, и водитель, изнемогавший от жары и усталости, ехал гораздо быстрее, чем разрешалось правилами. За машиной стлалась волнистым облаком пыль; она висела, словно в нерешительности, в воздухе, пока ее не настигал холодный горный ветерок и не отгонял вниз по склону холма в сторону леса.

Проехав еще с полмили, фургон остановился перед массивными воротами и, когда ворота открылись, въехал в тюремный двор. У кон-

торы смотрителя водитель затормозил, вылез из кабины, потянулся и сладко зевнул.

Увидев в окно подъехавший фургон и фигуру водителя, тюремный смотритель немного помедлил выходить, гадая, кого привезли ему на этот раз. Он был уверен, что среди прибывших есть старые «знакомые», но кто именно? С этой мыслью он и вышел из конторы и неторопливо зашагал к шоферу.

— Новая партия правонарушителей? — спросил он.

Шофер покачал головой и вытер со лба пот.

— Сегодня только один. Извините.

— Почему «извините»? Ты, наверно, думаешь, что я обожаю возиться с этими типами. Ошибаешься, брат. Не обожаю. Палки ему, надеюсь, не назначены?

Шофер пожал плечами.

— А что? Все-таки вам гимнастика,— пошутил он.— Однако сегодня вам повезло. Судья избавил вас от этой работы.

Он подошел к задней стенке фургона, достал из кармана большую связку ключей, выбрал из них один, отпер замок и открыл дверь.

— Эй, выходи! — скомандовал он, заглядывая в машину.— Приехали.

Заключенный выбрался из глубины фургона и, щурясь от солнца, остановился. Тюремный смотритель отступил назад и тщательно, с головы до ног, осмотрел его, стараясь ничего не пропустить. Высокий, без малого шести футов ростом, человек. На покатых плечах — целая гора мускулов. Шея толстая, голова крупная, с жесткой шевелюрой, лицо грубое, обветренное, обросшее жесткой бородой. Но внимание смотрителя привлекла не внешность арестанта, а его одежда: тело его было кое-как обернуто старым одеялом.

Другие заключенные, шедшие ужинать, остановились и смотрели на странного пришельца. Некоторые подшучивали над его нарядом и громко смеялись. Видно было, что новичок не привык одеваться таким манером: одеяло спадало с плеч и он все время неуклюже придерживал его руками.

— Так, так...— пробормотал, отдуваясь, смотритель.— Ну, и кого же ты привез?

Шофер молча достал из кармана сигарету и закурил.

— Имя его — на сопроводительном листе,— сказал он наконец.— Да он вам и сам скажет, если спросите.

— Мало ли что он может сказать. Эта публика меняет фамилии быстрее, чем самый проворный хамелеон — окраску.

— Вы бы выдали ему одежду, если она есть,— предложил шофер.— Одеяло-то ему в полиции дали, и я его должен завтра вернуть.

Смотритель бросил на него быстрый взгляд:

— А что он наденет, когда отбудет свой срок?

Шофер пожал плечами и выпустил изо рта облако дыма:

— Мешок какой-нибудь дадите — и ладно. Или старое одеяло, если раздобритесь. Должен же он быть как-то одет, когда поедет к своим родным.

Смотритель привел заметно прихрамывавшего заключенного в обшарпанную контору и выдал ему белую арестантскую форму. Тот в растерянности смотрел на плохо скроенные штаны, не зная, где у них перед, а где зад. Заметив его смущение, смотритель спросил:

— Первый раз штаны видишь, что ли? Разве там, откуда ты родом, одежды не носят?

Арестант, не поднимая головы, буркнул:

— Там, откуда я родом, носят одежду, а не такие мешки.

Смотритель взглянул на него испытующе.

— Впервые в тюрьме, а, сынок?

— Я вам не сынок, — отрезал арестант.

— Когда такие, как ты, впервые попадают за решетку, то всегда ведут себя так задиристо,— сказал пожилой смотритель.—Ты, видно, не понимаешь, где находишься. Нельзя разговаривать так с людьми, которые о тебе заботятся.

Арестант хотел что-то возразить, но смотритель остановил его:

— Погоди. Для твоей же пользы говорю. Если ты не дурак, слушай и делай так, как тебе говорят.

Шофер вошел с пачкой бумаг в руке. Увидев переодетого заключенного, хихикнул:

— Слушайте, начальник! Вы словно заранее знали, кого вам привезут. Форма-то ему в самую пору!

Смотритель не ответил. Он взял сопроводительный лист и сделал запись в книге:

Имя, фамилия: *Меджа Мванги, известный под кличкой Барракуда.*

Возраст: *26 лет.*

Характер преступления: *кража со взломом.*

Приговор: *полтора года лишения свободы.*

Шофер сложил старое одеяло, взял его под мышку и пошел к машине. Через минуту зеленый фургон выехал из тюремного двора и покатил в сторону шоссе.

Смотритель, по обыкновению, произнес свою всегдашнюю назидательную речь, но заключенный пропустил ее мимо ушей. Он переминался с тем скучающим видом, который часто выводит людей из себя. Смотритель умолк. Ему оставалось только предоставить новичку учиться на собственном горьком опыте. Он провел его за колючую проволоку и запер ворота. Заключенный стал у самых ворот и оглядел территорию, которая в течение полутора лет должна служить ему домом.

В это время арестанты возвращались с ужина. Несмотря на ранний час — четверть шестого, — их уже вели на весь вечер и ночь в бараки. Некоторые, проходя мимо, останавливались и разглядывали его так же пристально, как он разглядывал их.

Смотритель все еще стоял рядом, с другой стороны ворот.

— Не будь нелюдимом, — чуть слышно наставлял он. — Общайся с ними, веди себя дружелюбно. Нельзя полтора года стоять вот так и озираться по сторонам. Раз уж попал сюда, то постарайся сойтись с ними.

Меджа не показал вида, что внимает советам начальника. Но хотя он и отказывался это признать, слова старика показались ему весьма убедительными. Да, с этой компанией надо мириться, иначе пропадешь. Но он все еще не двигался, продолжая присматриваться к толпе правонарушителей. Ему хотелось выбрать человека, который хотя бы внешне располагал к дружбе. Кто-то должен же помочь ему найти свою камеру, освоиться на территории тюрьмы, где все бараки — огромные, белые— выглядят одинаково. Старик сказал, что у него девятая камера. Но где ее искать, эту чертову девятую камеру? К тому же Меджа проголодался, а никто не удосужился сказать, где можно поесть.

— Меджа! — крикнул кто-то из арестантов и побежал к нему.

От неожиданности Меджа отпрянул назад и прижался спиной к колючей проволоке; но, разглядев бежавшего, снова шагнул вперед и оказался в объятиях Майны. На память ему тотчас пришли городские задворки, мусорные баки, запах испорченных пищевых отбросов. Майну встреча потрясла не меньше, чем Меджу. Они жали друг дру-

гу руки, обнимались и снова жали руки. Арестанты и надзиратели с любопытством наблюдали.

— Где ты пропадал все это время? — спросил Майна.

— Так, мотался где придется. Только не говори, что ты ждал меня здесь, а то я обижусь.

Майна засмеялся:

— Я так рад видеть тебя, Меджа.

— Здесь?—с притворным удивлением спросил Меджа.— Ты, верно, шутишь, брат. Как мне ни приятно видеть тебя, но даже ради этого я предпочел бы сюда не попадать.

Майна уловил его шутливый тон.

— А что? У тебя был выбор?

— Какой там выбор!

Приятели разом засмеялись. Потом, вдруг посерьезнев, внимательно оглядели друг друга.

— Неужели это и вправду ты, Меджа? — спросил Майна. — Ну, и здорово ты, брат, возмужал. Наверно, в супермаркете теперь витамины кладут в продукты?

Меджа покачал головой:

— Кто их знает. Давно уж я не бывал в тех краях.

— Где же ты был?

— Ты уже задавал мне этот вопрос.

— Нет, серьезно, Меджа. Как ты сюда попал?

— Как? — Меджа пожал плечами. — В тюремном фургоне приехал. Догадываюсь, что таким же способом и тебя сюда доставили.

— Я серьезно спрашиваю, — сказал Майна.

— В таком случае покажи мне, где девятая камера. А потом поговорим. Времени у нас предостаточно. Меня ведь на полтора года сюда упекли.

Майна прочел на груди у Меджи цифры 9999 и покачал головой.

— Невероятно.

— Что невероятно? Думаешь, мне пришлось давать взятку, чтобы попасть в эту клетку?

— Ладно, пошли,— сказал Майна. — У меня тоже девятая камера.

Майна повел друга между бесчисленными побеленными зданиями. Их барак оказался в самом дальнем углу. Окон в нем не было — свет проникал только через маленькие вентиляционные отверстия под самой крышей. Внутри барака тянулся длинный коридор, по обеим сторонам которого расположились камеры. На двери в конце коридора красным мелом было написано: «Камера 9999».

В камере не было ни коек, ни другой мебели. Одеяла и матрацы лежали аккуратной горкой в углу. Вверху, на уровне вентиляционного отверстия, тускло светила лампочка. Зеленая стальная дверь изнутри не запиралась. Стены камеры, как и все остальное в этой тюрьме, были побелены

— Вот это и есть камера номер девять,— сказал Майна и сделал жест рукой.— Логово самых отъявленных негодяев. Предназначено для рецидивистов. Как видишь, дверь здесь запирают снаружи. Рассчитано это помещение на девять человек. Ты будешь девятым. Не знаю, чего ты наговорил старому тюремщику, только вижу, что он тебя невзлюбил. Поэтому и поместил к нам. Не повезло тебе. Твои матрац и одеяло вот здесь. Того человека, который пользовался ими до тебя, неожиданно обвинили в убийстве и повесили. Будь как дома.

Меджа оглядел белые стены. Ему все же не верилось, что это — тюрьма, где ему предстоит просидеть такой долгий срок. Тюрьма ему

представлялась совсем другой. А еще более странным было то, что он оказался в одной камере со старинным другом Майной. Это никак не укладывалось в голове. Но одно Меджа знал наверное: здесь он не чувствовал себя как дома. Он прошел в угол в сел на кучу одеял.

— Ты хромаешь? — спросил Майна.— Они били тебя, когда арестовали?

Меджа вздрогнул и в страхе обернулся назад. Ему снова почудился тот губительный гудок автомобиля. Но позади ничего, кроме белой стены, не было. Майна заметил его испуг.

— Что с тобой?

— Ничего. — Мысли Меджи витали где-то далеко отсюда.

— Ничего?

— Да отстань ты! Расскажу потом.

Майна кивнул:

— Чуть не забыл. Полтора года — долгий срок, черт побери. Успеешь еще рассказать.

Меджа промолчал.

В этот момент, словно по уговору, в камеру ввалились сразу семеро заключенных. Увидев Майну и Меджу, они остановились у самой двери.

— Ага, пришли,— сказал Майна.— А у нас новый сожитель. Мой старый приятель. Меджей зовут.

Люди встали в шеренгу и молча уставились на новичка. Арестантские формы придавали им сходство с бойскаутами, вышедшими на парад. Дверь камеры закрыли и заперли снаружи на засов. Никто не оглянулся, когда надзиратель открыл глазок и вслух пересчитал всех, кто был в камере. Потом послышалось его бормотание и шум удаляющихся шагов.

Семерка, выстроившаяся у двери камеры, не двигалась. Люди стояли точно солдаты; расставив ноги, заложив руки за спины, они смотрели на Меджу.

— Так вот, Меджа, знакомься.

Меджа кивнул. Майна начал представлять ему арестантов по порядку, слева направо. Всякий раз, назвав чье-то имя, он либо низко кланялся, либо отдавал честь. Это прикладывание руки к голове пробудило в Медже далекие воспоминания. Оно напомнило ему ферму с ее лошадьми, коровами, свиньями и огородами; напомнило толстого хозяина, злого приказчика, тощего, как щепка, повара по имени Бой и стройного озорного парня Майну. Точно так же Майна прикладывал руку к голове и в те времена, когда хотел сгладить свою вину за очередную шалость. Сколько лет уж прошло с тех пор, а он остался все таким же.

— Первый слева — это Чеге,— объявил Майна.

— Два года за так называемое изнасилование,— сообщил Чеге.— Но я объяснял этому болвану судье, что она сама согласилась и...

— Второй — это Нгуги,— продолжал Майна, не дав Чеге договорить.

— Три года за грабеж с насилием,— сказал Нгуги.— Я рад, что у Майны на воле был друг.

Так, одного за другим, Майна представил всех семерых. Каждый, сообщая, за что и на какой срок его посадили, держался весело и непринужденно. Среди них не нашлось ни одного, кого осудили бы меньше чем на год, но это никого, казалось, не огорчало.

— Девятый раз попадаюсь, и все за грабеж с насилием,— объявил один из них.— Теперь упекли на два года. Да еще палки. Если

этот свинья тюремщик не пощадит, то боюсь, долго не протяну, и в десятый раз они меня уже не увидят.

Арестанты засмеялись, но Меджа не нашел ничего смешного в том, что человека то и дело бросают в тюрьму.

Стали разбирать постели, располагая их рядами на полу. Матрац Меджи оказался между Майной и Чеге. Он лег на спину, прямо над ним горела тусклая лампочка. Мысли вихрем кружились в его голове. Он в тюрьме, это факт. Майна — в числе восьми арестантов, это тоже факт. Похоже, что все довольны, жизнь за решеткой их устраивает. Интересно, полюбится ли она ему. В общем-то, если в тюрьме тебя кормят, поят и ничего не требуют, а только держат взаперти и пересчитывают, как скотину, это не так уж плохо. Во всяком случае, лучше, чем на карьере, где ты обречен всю жизнь рубить камни.

Он оглядел потолок и стены, потом перевел взгляд снова на лампочку. Люди вокруг него тихо лежали, выжидая. Он почти физически ощущал это напряженное ожидание. И знал, чего они хотят. Они хотят знать его историю. Историю, которую очень нелегко рассказать. Он не мог решить, с чего начать, поэтому ждал, когда кто-нибудь не выдержит и задаст ему прямой вопрос. Но рецидивисты девятой камеры оказались упорнее, чем он предполагал. Они молчали. Лежали на спинах, лицом к потолку и ждали, затаив дыхание.

— А что, разве здесь не раздеваются, когда ложатся спать? — спросил Меджа.

— Раздеваются? — усмехнулся Майна.— Мы же здесь не спим. Для этого у нас нет времени. Мы просто лежим и ждем того дня, когда нас отсюда выпустят. Вот закроют все тюрьмы и отправят нас по домам, тогда мы, возможно, попробуем поспать.

Все нервно засмеялись. Меджа улыбнулся:

— Ну, хоть свет кто-нибудь погасил бы, что ли.

— Но тогда мы все пропали бы во мгле,— сказал кто-то.

Меджа шумно вздохнул.

— Это тюрьма, мой друг, а не туристский кемпинг, — напомнил Майна.

Меджа понял, что втянуть людей в посторонний разговор ему не очень-то удается.

— А работать здесь заставляют? — спросил он.

— Никакой работы,— ответил за всех Нгуги.— Только едим да спим. Когда нас загоняют в камеры, всех пересчитывают. Легкая жизнь. Лучше, чем в отеле. Платить ни за что не надо.

Наступило молчание.

— А ты что, как и я, боишься работы? — спросил Майна.— Я думал...

— Нет, я не боюсь работы,— возразил Меджа.— Никакая работа меня не страшит. Ни один из вас даже представить себе не может, как тяжело я работал.

— Что же такое ты делал? Таким, как ты, здесь не место.

— Я попал сюда за грабеж, друзья мои. Но я не сразу начал грабить. Сперва я работал. Не как вы.

— Расскажи, что с тобой было,— попросил Майна.— С того момента, как мы расстались возле супермаркета.

Меджа стал припоминать все, что с ним приключилось за эти годы. Ему не меньше хотелось рассказать свою историю, чем другим — услышать ее.

— Так вот как было дело,— начал он.— Когда ты кинул мне что-то в руки...

— Яблоки,— прервал его Майна.

— Что бы там ни было, я этого не знал. Ну, а служащий супермаркета...

— Ты работал в супермаркете? — спросил Чеге.

— Да, мы чистили там мусорные баки,— сказал Майна.

— Может, мне замолчать? — с досадой спросил Меджа.— Кто-нибудь другой хочет рассказать мою историю?

Уж если поведать о себе, так с чувством собственного достоинства. Это ведь не одна из тех маленьких грязных историй, что они часто рассказывают. То, что он скажет, надо слушать не прерывая, с уважением к человеку, познавшему жизнь на собственном горьком опыте.

— Ладно, продолжай,— успокоил его Майна.— Не будем больше перебивать.

Меджа вздохнул:

— Да, уж лучше не надо. А то сами и рассказывайте...— Он помолчал немного, потом продолжал: — Уж больно служащий супермаркета интересовался этими яблоками. Он погнался за мной, когда увидел, что ты бросил мне пакет. Я бежал что есть мочи. И не подозревал, что умею так быстро бегать. Потом к служащему присоединились еще люди, в том числе полицейский. Так мы обежали, наверно, полгорода. Я испугался. Избавиться от них было трудно, и я не знал, как быть. Поэтому все петлял и петлял по закоулкам, пока не выскочил на центральную улицу, а там...

Майна вскрикнул и тут же, поймав на себе взгляд Меджи, извинился. Остальные, опершись локтями и положив головы на ладони, смотрели на Меджу не сводя глаз. Безумное выражение его лица действовало на них возбуждающе.

— Все случилось так неожиданно, что мне самому не верилось,— продолжал Меджа.— Со всех сторон меня обступали люди, и бежать было некуда. Не помня себя от страха, я кинулся прямо под колеса автомашины.— Он вздохнул и поднял для всеобщего обозрения свою обезображенную шрамами руку. — Вот, смотрите.

Арестанты удивленно свистнули. Никто не проронил ни слова.

— Мне все же повезло. Машина ехала не очень быстро. Поломало всего несколько ребер, да колено повредило и вот — еще руку. Ну, и много царапин. Шесть месяцев валялся в больнице, прежде чем заросли переломы. Врач сказал, что хромота останется на всю жизнь.

Меджа умолк. Арестанты переглянулись.

— А полиция? — спросил Майна.

— Приходили из полиции. Спрашивали, что у меня было в пакете. Я сказал, что не знаю,— не было времени поглядеть. Они не поверили мне, долго допрашивали, но так ничего и не добились. Потом я поправился. Рассказал сиделке свою печальную историю, и она сжалилась, дала мне денег на дорогу.

— И ты... — невольно вырвалось у Майны. Он вспомнил ферму, старика Боя и весь передернулся.

Меджа тоже не забыл, как они зарекались тогда на ферме возвращаться к своим родителям, и чувствовал неловкость. Отвечая Майне, избегал смотреть ему в глаза.

— Да, и я поехал домой. Куда же еще мне было податься? Тебя я возле супермаркета не нашел. Вот и поехал. Только домой все равно не попал. Почти у самых ворот сестренку встретил, ну и... В общем, понял, что возврата к прежнему нет. Тошно мне стало, и я повернул обратно. Так никого, кроме сестренки, из родных и не повидал. Побоялся встречаться.— Он помолчал немного. Остальные

смотрели на него, стараясь по выражению его лица угадать, о чем он думает.— Сел в попутную машину и поехал в город, хотя и не понимал зачем. Главным для меня было уехать подальше от дома. Подружился с одним человеком, и тот помог мне устроиться на каменоломню.— Меджа вспомнил грохот дробильной машины, глаза его машинально сощурились, защищаясь от воображаемой пыли.— Там мы долбили каменную стену. Сначала эта работа была мне не под силу, но потом, когда друзья подкормили меня и научили, я стал орудовать молотом и кайлой не хуже других. Работа была тяжелая, зато мы неплохо питались. Со страшной силой рубили мы камни, а машина превращала их в щебень. Так мы и добывали себе пропитание. Жил я в крохотной жестяной хижине вместе с другом Нгиги. У него жена, маленькие дети, но он потеснился и дал мне место. Мы вместе ели и вместе работали. Да и вообще, веселая собралась там компания. В субботние вечера мы устраивали выпивку и танцы. Было там несколько девушек, и мы танцевали с ними. Иногда из-за них случались драки. Они причиняли нам больше хлопот, чем камни. Вы бы посмотрели, как эти великаны дерутся своими ломами. Они и меня научили. Пришлось научиться, чтобы выжить. Полицейские туда редко заглядывали, а если и заглядывали, то лишь для того, чтобы прогнать посторонних. Так мы и жили: работали, ели и пили. Но слишком уж усердно мы трудились. Скоро там и камней-то не осталось — одна земля. Целую гору мы срыли. Начисто. И это очень огорчило нас, потому что кончилась работа. Большинство из нас лишилось заработка. Не стало ни танцев по субботам, ни выпивки. Неделю спустя нас рассчитали. Хозяин поехал искать новые места для добычи камня и пожелал взять с собой лишь тех из нас, кто согласится работать за половину зарплаты. Семейные согласились охотно, надо же им как-то кормить своих жен и детей. Остальные послали этого типа к черту. Он собрал оборудование и инструменты и уехал искать другую каменную скалу. Мы же, оказавшись вдруг никому не нужными, отправились в город. К счастью, у одного из моих спутников нашлись друзья и родственники, так что на первых порах мы не очень тужили. Ночи проводили под крышей, а днем околачивались на окраинах или в парках. Пытались найти работу, но почти без успеха. День тут, день там, а постоянного ничего. Потом мы начали догадываться, что изрядно надоели приютившим нас людям. Говорить они ничего не говорили, но видом своим показывали, что пора и честь знать. Надо было быстрее сматываться, пока не выгнали. Так мы и сделали и оказались на улице.

К тому времени у моего приятеля появились разные идеи, и теперь, когда мы остались без приюта, нам ничего не оставалось, как претворять их в жизнь. Опыта у нас не было, да и побаивались мы вначале. А потом привыкли, пристрастились к воровским делам. Чем только мы не занимались. Лазили по карманам, выхватывали сумочки, обманывали, грабили. С шайкой связались и совсем погрязли в темных делах. Только людей не убивали, а так все делали. Приятель мой был дерзкий, отчаянный. В шайке его очень ценили. Шли за ним куда угодно. Ну, а я...— Меджа принужденно засмеялся.— Я ему помогал. Мы так обнаглели, что стали вламываться в дома средь бела дня.

Арестанты слушали, затаив дыхание. Любопытство их достигло высшей точки. Теперь они услышат главное. Узнают, на чем Меджа попался.

— Вот почему я и угодил сюда,— ответил Меджа на их немой вопрос.— Мы вломились в дом белого человека, уехавшего в отпуск. Можно сказать, всю квартиру обчистили. Целую ночь трудились.

Успели даже вскрыть сейф и шкафчики в нем. Денег, правда, было мало. Мы не знали, как распорядиться награбленным добром за один прием, поэтому спрятали его в лесу, а потом по частям сплавляли перекупщикам. К несчастью, хозяин вернулся домой до того, как мы избавились от его вещей. Он поднял на ноги полицию, и та, уж не знаю каким образом, напала на наш след. Одного из нашей шайки арестовали, и он раскололся. Не просто заговорил, а выложил все, как было. Конечно, ни от одного из членов шайки нельзя ожидать, чтобы он, оказавшись в руках полиции, молчал совершенно. В чем-то он вынужден бывает признаться. Но этот человек рассказал слишком много. За нами началась круглосуточная слежка. Полиция прямо по пятам за нами шастала. И вот настал тот памятный день, когда мы должны были реализовать последнюю часть добычи. Как было условлено, мы взяли такси и приехали на безлюдную лесную дорогу. Перекупщиков предупредили заранее, а что касается водителя такси, то ему было безразлично, куда нас вести. Лишь бы счетчик работал. На мне был костюм преуспевающего делового человека, а двое наших ребят оделись как грузчики. Оставив машину на обочине дороги, мы углубились в лес, где находился тайник. Никто из нас, конечно, не подозревал, что там нас ждут двое полицейских. Обнаружив засаду, мы кинулись обратно к такси, однако машины на месте не было. Едва шофер увидел полицию, как завел мотор и удрал. Мы бросились врассыпную, но полицейские оказались не дураки: увидели, что я хромаю, и кинулись за мной. Я понял, что убежать от них не смогу, и остановился. Решил принять бой. Я был сильнее их обоих, поэтому разделался с ними довольно быстро. Но только я хотел скрыться в чаще, как подъехала машина с полицейскими и двумя огромными псами. Псы выскочили, да за мной. А я — на дерево. Кричу полицейским, что слезу, мол, если они уберут собак. Те согласились. Но тут я пожалел, что не поставил еще одного условия: чтобы меня не били. Потому что, когда я спустился, они, перед тем как втолкнуть меня в машину, дали мне жестокую взбучку. Собак послали в лес, в погоню за моими товарищами, но те успели скрыться. Через несколько часов они вернулись на старое место и забрали оставшиеся вещи. А я оказался в полицейском участке.— Меджа сделал паузу и оглядел сосредоточенные лица своих слушателей.— Несколько дней до суда они продержали меня в полиции. Все допытывались о моих друзьях. Мои показания их не удовлетворяли, за что мне снова изрядно попало. Не думал я, что они такие звери. Потом пришел тот белый, чтобы опознать свое барахло и ответить на вопросы следователя. Мне пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. Нелегкое это было испытание, я вам скажу. Первое, что он сделал,— это заявил, что костюм, который был на мне, принадлежит ему. Он описал этот костюм подробно, вплоть до последней пуговицы. Следователь проверил: все оказалось правильно. Меня заставили снять пиджак и брюки. Потом белый присмотрелся к рубашке и заявил, что она тоже его. И снова он оказался прав, а мне пришлось снять рубашку как вещественное доказательство. Можете представить, как я чувствовал себя в этот момент. Ботинки, носки, нижнее белье — все было собственностью того белого человека, и все мне пришлось снять с себя. Кто-то из полицейских сжалился надо мной и прикрыл меня одеялом. В этом наряде я и предстал перед судом.— Меджа выждал, когда стихнет смех, и продолжал: — Судья решил это дело без проволочек. Я сразу признал себя виновным, ибо другого выхода у меня не было. Это понравилось и судье и всем остальным. Он отчитал меня именем закона и вынес мягкий, как он сказал, приговор: полтора года тюрьмы за мою долю участия в ограблении. Теперь полиция разыскивает остальных, но я

думаю, у нее ничего не выйдет. Вот так, в одеяле, точно чучело, меня и привезли сюда, в камеру номер девять.

Арестанты, довольные рассказом, отвалились на спины.

— Есть вопросы? — спросил Меджа.

Никто не ответил.

— Удовлетворены?

— Удовлетворены,— ответил за всех Майна.— Теперь понятно, почему ты попал в девятую камеру. Да еще в одеяле, как твои предки.

— Наверно, ты первый такой арестант,— сказал Чеге.— Вряд ли еще кого привозили сюда в одеяле, накинутом на голое тело. Тебя могут даже занести в книгу знатных гостей.

Меджа усмехнулся.

— Вопрос теперь в том, что я надену потом, когда меня выпустят,— сказал он.

— А одеяло? — спросил Майна.

— Одеяло отправили обратно.

— Я тебе свое отдам,— предложил, подумав, Нгуги.— Тебя выпустят раньше, поэтому ты успеешь вернуть его мне, когда добудешь для себя одежду.

— Или сам привезешь, если не сможешь прислать,— подсказал другой заключенный.— Тебя тут всегда примут, в тюремном-то одеяле.

В камере засмеялись.

— А ты, Майна, за что сюда попал? — спросил Меджа.

— Не поверишь,— ответил Майна.

— Изнасилование? — Меджа нарочно назвал самое невероятное преступление...

— Нет.

Нгуги хихикнул.

— Убийство?

— И не убийство.

— Тогда что же?

— Хищение.

— Хищение чего?

— Молока.

Все, кроме Меджи и Майны, покатились со смеху.

— Молока? — недоверчиво переспросил Меджа.— Зачем? Сколько молока?

— По пятьдесят, по восемьдесят бутылок в день. В течение недели.

— Зачем?

— Жена родила мне ребенка,— Майна говорил с видом озабоченного отца,— но у него не оказалось рта, чтобы сосать грудь. Ему нужно было молоко, вот я и воровал.

— И ребенок, не имея рта, выпивал по пятьдесят бутылок в день? — с улыбкой спросил Меджа.— Весь в отца пошел. Я не удивлюсь, если ты скажешь, что он уже и разговаривать умеет.

— В этом все и дело,— сказал Майна.— Ребенок заявил, что не любит молока, поэтому мне пришлось пустить его в продажу. Ну и, конечно, тут вмешалась полиция.

Наступило молчание. Арестанты, зевая, настраивались спать.

— Ты не сказал, на сколько тебя осудили,— напомнил Меджа.

— На один год. Через четыре месяца выпустят. Так что без меня тут останешься. Но ты не беспокойся. Я тебя еще застану здесь, когда снова сюда вернусь.

Кто-то захрапел. В тишине барака этот храп звучал как рев буль-

дозера, работающего на полную мощность. Меджа повернулся на бок. Майна последовал его примеру.

— Выключай мотор! — крикнул Меджа храпуну.

Никакого эффекта.

— Эй, стукните его, чтоб заткнулся.

— С удовольствием,— ответил чей-то голос.

Раздался глухой удар. Храпун заворчал, повернулся на бок и снова заснул, бормоча что-то невнятное. Храп прекратился.

Меджа вздохнул и натянул на голову одеяло, от которого сильно пахло ДДТ.

Лампочка бросала тусклый свет на укутанные в одеяла тела. За стенами камеры спала вся тюрьма, кроме надзирателей и охранников на сторожевых вышках. Со стороны шоссе донесся гудок автомобиля, мчавшегося сквозь ночь по направлению к спящему городу.

11

Дождь лил не переставая в течение трех месяцев. Ручей, отделявший деревню от полей, превратился в бурлящий поток, люди не могли проникнуть на поле, чтобы взглянуть на посевы.

Сначала поля жадно впитывали влагу, и к черному холодному небу потянулись стебельки кукурузы. Но дождь все шел и шел, и вот уже из промокшей земли вылезли украдкой и распустили первые листки пучки злостной сорной травы. Они ждали, что из деревни придут люди и выдернут их, но никто не приходил; тогда молодые всходы выпустили следующую очередь темно-зеленых листьев и снова замерли в ожидании. Стебли кукурузы тоже подросли и окрепли, начали развиваться стержни початков. Дождь лил не переставая, крестьяне не появлялись, и сорняки осмелели и принялись расти наперегонки с кукурузой, ослабляя, а то и заглушая менее рослые стебли. Скоро они созрели, посеяли вокруг себя семена. Появились и тоже устремились к страшному черному небу новые всходы молодых здоровых сорняков. И опять не пришли крестьяне, потому что ручей все еще невозможно было перейти.

И вдруг, однажды утром, тучи исчезли, солнце залило синее небо ярким теплым светом. Паводок через несколько дней сошел, и крестьяне взялись за уничтожение сорных трав, уже достигших к этому времени гигантских размеров и сильно угнетавших кукурузные стебли. Работа эта требовала быстроты, ибо все говорили, что дождь наверняка скоро возобновится. Закончив прополку, люди стали ждать дождя. Но дождя не было ни в тот месяц, ни в последующий. Его не было целый год.

Кукуруза начала рыжеть, речка постепенно мелела и в конце концов высохла до самого дна. Подул холодный ветер, закрутил пыльные вихри. Кукурузные стебли не могли ни расти, ни снова уйти в землю, им оставалось только беспомощно стоять, отдавшись на волю ветра. С каждым днем они все больше и больше выгорали от зноя.

В деревне, по другую сторону речки, слышались печальные голоса крестьян, смотревших с мольбой в глазах на безбрежное синее небо и не находивших на нем ни единого облачка. Истощились запасы продовольствия, и женщины плакали, высыпая в кастрюли остатки зерна.

Послали за сельским колдуном. Тот достал свои принадлежности, долгое время висевшие за ненужностью на стропиле крыши, и разложил их на черном от копоти коврике. Сначала богам, а потом богиням были принесены в жертву петухи. Но это не помогло.

По-прежнему горячий огненный шар поднимался каждое утро в точно определенное время над горизонтом, нисколько не смущаясь горем и страданиями, которые причинял земле. Колдун, поняв свое бессилие, сложил талисманы, коврик и повесил обратно на стропило, потом пожал сутулыми плечами и лег на тюфяк в углу хижины. Он сделал все что мог, пусть теперь боги решают. А солнце между тем поливало порыжелые кукурузные поля своим палящим, губительным светом.

Деревня бедствовала. Люди, животные исхудали от голода. В сотый раз собралась на свое заседание сельская комиссия. Где выход? Кто-то вспомнил про городское кооперативное объединение, скупавшее в этой деревне в урожайные годы молоко и продукты земледелия. Конечно, сказал он, эта организация поможет голодающим. В город отправилась делегация, составленная из самых уважаемых стариков. Ходоки пробыли там целых две недели. Их с нетерпением ждали обратно, полагая, что все это время они были заняты заготовкой продовольствия и отгрузкой его в деревню. Но вот делегация вернулась. Никакой помощи она не добилась, зато привезла делегацию кооперативного общества, которая должна была убедиться в том, что старики не слишком сгущали краски, рассказывая о затруднениях, с которыми столкнулись крестьяне. Делегация пробыла в деревне недолго. Уезжая, она торжественно обещала вернуться с продовольствием, но не вернулась. Крестьяне выждали, сколько требовали приличия, и послали в город вторую делегацию. Вторая делегация вернулась быстрее первой. Она сообщила, что кооперативное объединение переехало в другое здание и не оставило адреса. Таким образом, рухнула последняя надежда. Люди умирали от голода. Гибли коровы и другой скот. Самые отчаявшиеся распродавали свое имущество и уходили прочь, если могли идти. Те, в ком еще теплилась какая-то надежда, держались и посылали сигналы бедствия колдуну.

И опять чародей достал свои талисманы. Принесли на заклание богам последнего тощего и больного петуха. Произнеся новые, более сильные заклинания, колдун выполз из хижины и с надеждой взглянул на небо. Много дней еще пройдет, прежде чем из крошечного облачка вырастет дождевая туча. Старик покачал головой и поплелся обратно в хижину. Порывистый ветер, дувший с противоположного берега речки, обдавал деревню горячей пылью. Торжествующе сияло солнце, расточая улыбки выжженной земле. Оно гордилось своей работой. Очень гордилось.

Дождь пришел, когда его уже не ждали. Такой же проливной, как до великой засухи. С колдуном расплатились. Земля покрылась зеленой растительностью, уцелевший скот отъелся и нагулял жиру. У коров набухло вымя, телята радостно мычали и резвились. Дети допоздна играли на лугу, над деревней снова зазвучали песни и смех. Люди стали приветливее, благодушнее и на богов больше не гневались. Прошел слух, что кто-то видел, как рыскал по зазеленевшему кукурузному полю представитель кооперативного объединения. Что ж, пускай рыскает. Теперь, когда плохие времена миновали, никто уже не помнил зла.

Именно в эти дни красоты и изобилия в родную деревню вернулся после более чем десятилетнего отсутствия Майна.

Солнце уже угасало, и спускались сумерки. Небо на западе залилось золотистым огнем заката, подул, шевеля кусты и травы, холод-

ный ветер. Над деревней собрались дождевые тучи, и чувствовалось приближение грозы.

Медленно и мучительно взбирался Майна по крутой извилистой тропе к кукурузным полям на той стороне речки. Несмотря на то, что вечер выдался холодный, лицо его покрылось испариной: слишком трудно было его слабым ногам нести исхудавшее тело. Сильно билось сердце и мучила одышка. Он то и дело останавливался отдохнуть и в эти короткие мгновения думал о доме и о родных. Давно он уже уехал в город искать работу. Помнят ли его родители? За эти годы он вырос, возмужал, повзрослел. Но порядочного человека из него не получилось. Он стал полнейшим ничтожеством — вором, грабителем, рецидивистом. Распознают ли они в нем, болезненном, измученном человеке, родного сына? После стольких лет разлуки. Ему так осточертела городская жизнь, что отчий дом казался единственной отрадой. А ведь совсем недавно он и мысли не допускал о возвращении домой. Поэтому и связался с воровской шайкой. Однако и надежды на Бритву не оправдались. Сара вдруг вспомнила, что она женщина, а не разбойница, и сбежала от своего возлюбленного. Бритва рвал и метал, но ничего не мог поделать. Он так часто угрожал пустить в ход свой нож, что его уже перестали бояться. Дисциплина в шайке развалилась. Люди не верили в его способность руководить. Бегство Сары вывело его из колеи, он пил беспробудно. Через несколько месяцев его нашли мертвым в придорожной канаве. Он умер от алкогольного отравления.

Шайка осталась без главаря. Некоторые пытались занять место Бритвы, но безуспешно. Подметальщик, приучая товарищей к дисциплине, слишком злоупотреблял силой, и однажды убил одного из них. За это его повесили. Пробовал свои силы и Профессор. Этот старался подчинить себе людей убеждением, но потерпел полное поражение. В конце концов он сошел с ума. Ему так и не удалось заставить одноглазого Каменобойца смотреть на вещи так, как смотрел он сам. Когда Профессора вели в сумасшедший дом, он плакал словно младенец. Потом нашлись другие смельчаки, в том числе Майна. Но Майна пошел на попятную, как только обнаружил, что ему не сладить с одним из взбунтовавшихся воров. Он понял, что рано или поздно был бы вынужден пойти на убийство. Так и рассыпалась эта компания, точно куча песка во время бури. Одинокий, лишенный опоры Майна пустился искать свою бывшую подружку Делилу, но неудачно. Ее не оказалось ни в старом Шенти-ленд, ни в новом. Он решился заглянуть в бар «Дружба», однако там работала уже другая девушка. Она сообщила, что Делила уволилась еще два года назад и собиралась выйти замуж. Еще один удар судьбы. Нашла-таки Делила себе настоящего жениха. Все, что оставалось от добрых старых времен, была хижина Бритвы в Шенти-ленд. Майна незаметно прокрался туда, отыскал веревку, сделал петлю и привязал одним концом к перекладине крыши. Возвратясь домой, его бывшие товарищи увидели его висящим на веревке. Они вынули его из петли и, обнаружив, что он еще дышит, принялись приводить его в чувство. Когда он пришел в себя, они сказали ему, что не одобряют его малодушия.

— Не в малодушии дело,— с трудом проговорил Майна.— Вы не понимаете. Я просто...

— Да понимаем мы,— сказал один из них.— Очень хорошо понимаем. Тебя тюрьма страшит. А чего ее бояться? Все мы там будем. Так что не бойся.

Майна покачал головой:

— А я и не боюсь. Мне уж ничто не страшно. Каких только преступлений я не совершал. И почти за все отбывал наказания. За по-

следние пять лет больше времени провел за решеткой, чем на свободе. Пока сидел, все думал: что еще сделать, когда меня выпустят? Выйдя на волю, приводил свои планы в исполнение — и снова в тюрьму. А теперь надоело. Опротивело. Зачем такая жизнь? Никому я не нужен.

Друзья задумались. Один из них возразил:

— Нужен. Родным нужен. Матери, отцу.

Майна взглянул на говорившего и опять покачал головой:

— Им — нет. Для них я уже умер. Куда угодно поеду, только не к ним.

— Разве тебя никто не любит? Мы, например, любим. А родные? Ну, хотя бы родители?

Майна вздохнул и опустил голову.

— Любить-то они любят.

— И ты их, наверно, любишь.

— И я люблю,— вяло проговорил он, вперив глаза в пустоту.— Да, я люблю их. Даже слишком. Поэтому и не решусь к ним ехать. Не могу. Не имею права.

Наступило молчание. Все сочувственно смотрели на понурую фигуру Майны. Все, кроме одного. Этот спокойно сидел в стороне и, слушая чужие речи, разглядывал свою изуродованную руку. Казалось, ему было безразлично то, что происходит вокруг него. Время от времени он бросал взгляды на человека, только что вынутого из петли. Он вспомнил первую встречу с Майной в городе. Тогда Майна был другим — веселым, беззаботным. Кто мог подумать, что он когда-нибудь станет покушаться на собственную жизнь? Предприимчивый, никогда не пасующий перед трудностями, он помогал Медже справиться с меланхолией. Медже не верилось, что человек, когда-то учивший его жить, сам теперь задался целью во что бы то ни стало умереть.

— Можешь остаться с нами, Майна,— сказал кто-то.

Меджа метнул на него сердитый взгляд.

— Незачем ему оставаться.

Парни с изумлением уставились на Меджу.

— Да, незачем. Разве он сказал, что среди нас есть друзья, с которыми он хотел бы остаться? Да и что ему дружба? Ему этого мало, понимаете? — Он бросил Майне веревку.—На. Иди вешайся. Это успокоит тебя. Вешайся — и дело с концом. Только не в нашей хижине. Иди. Убирайся.

Кто-то из присутствующих хотел вмешаться, но Меджа взмахом руки заставил его замолчать. Здесь, в полутемной хижине, его рука, как самая сильная, пользовалась властью.

— Лезь в петлю и умри,— с горечью продолжал Меджа.— Надеюсь, это разрешит твои душевные проблемы. А не разрешит — не надо. Все равно ведь тебя не будет в живых. В этом мире нет места для трусов. Убирайся.

Хижина затаила дыхание. В воздухе витали страх, негодование и растерянность. Взгляд Майны скользнул по веревке, лежавшей у его ног, потом по лицам товарищей и остановился на лице Меджи. По его глазам было видно, как он взволнован. Чувство отчаяния, угнетавшее его, сменилось теперь чувством неодолимого стыда. Он открыл было рот, словно хотел сказать что-то, но тут же закрыл его. Он понял, что ему брошен вызов. Он кивнул, поднял с пола веревку, на которой совсем недавно висел, кивнул еще раз и двинулся к выходу.

Все, кто был в хижине, смотрели ему вслед. На глазах у некоторых появились слезы.

— Да, вот еще что, — сказал Меджа.

Майна остановился и ждал, теребя веревку.

— Сделай так, чтобы петля затянулась потуже. Будет жаль, если тебя снова кто-нибудь спасет по ошибке.

Майна кивнул и вышел.

Один из членов шайки бросился было догонять Майну, но Меджа преградил ему путь.

— Прочь с дороги, ты...

— Не надо ему мешать, — медленно проговорил Меджа. — У него свои счеты с жизнью. Он ни у кого не просит помощи. Пускай справляется сам, никто не должен вмешиваться. Оставь его в покое.

— Но ведь он...

— Сволочь ты, — не выдержал другой член шайки. — Наплевать тебе на людей, ты только...

Меджа обернулся на говорившего:

— Что он, брат тебе? Не психуй. Тосковать по нему не станешь. Очень скоро забудешь. И все забудут. («Все, кроме меня», — подумал он.) Не очень-то вы горевали, когда умер Бритва. А Майна чем лучше?

— Если он повесится, я...

Меджа усмехнулся и спросил:

— Что тогда? Ты тоже повесишься?

Ответом ему было молчание. Кое-кто уже начал понимать, к чему он клонит.

— Да не повесится он. Вы плохо его знаете. И домой не поедет.

— Но как он будет жить без товарищей? Куда пойдет?

— Не знаю, — задумчиво ответил Меджа. — Но только не домой. В этом я уверен.

Но тут Меджа ошибался. Майна был настолько потрясен враждебным выпадом друга, что возненавидел его сильнее, чем саму жизнь. Нет, не пойдет он в могилу. Не на такого напали. Пусть знают, что он не совсем еще конченый человек. Ему бросили вызов, и он его принял. Пойдет прямо домой и не остановится, как Меджа, на полдороге. Если родители не захотят принять его, то пусть убьют на месте. Своими руками. Так думал Майна, идя пешком в родную деревню, расположенную в тридцати милях от города.

Но сейчас, шагая вверх по крутому склону в деревню, он почувствовал, что мужество начинает изменять ему, что подсознание его стремится не вперед, а назад, не хочет идти вместе с ним домой. Слабое тело и пустой желудок нетерпеливо толкали его в сторону дома, где, как он думал, его ждала сытая и спокойная жизнь, сознание же непрестанно напоминало о пропасти, образовавшейся между ним и его родителями. Что он им скажет? Что скажут они ему? Как с ним поступят? И что он будет делать потом?

Майна остановился, перевел дух. В голове вихрем пронеслись воспоминания о жизни, прожитой за годы отсутствия в родном доме. И вот теперь он вернулся.

Он взглянул на свинцовые тучи: скоро пойдет дождь. Оглядел свои худые руки, рваную одежду и сокрушенно покачал головой.

— Надеюсь, они узнают меня, — сказал он, ежась от холода. — И надеюсь, они затопили очаг.

Он двинулся дальше. Когда достиг вершины холма, деревня уже погрузилась во мрак. Он пошел наугад по кукурузному полю. А вот и знакомая тропа. В детстве он находил ее даже с закрытыми глазами. Он перешел вброд речку и в пугающей темноте отыскал доро-

гу. Над полями слышались крики ночных птиц. Наконец он достиг деревни. Где же родительский дом? Он переходил от одной двери к другой, вспоминая приметы. Но память подвела его, да и нельзя было ничего разглядеть в темноте. После долгих бесплодных поисков он решил постучаться в любую хижину. Дверь открыла незнакомая женщина. Стоя спиной к горящему очагу, она смотрела на оборванца. По лихорадочному блеску его глаз она поняла, что он не здешний житель. Только у пришлых людей такой изголодавшийся вид.

— Да?— спросила она.

Майна, смущенный, заговорил не сразу.

— Где дом Камау?

— Камау? — женщина недоуменно повела плечами.— А какое у него еще имя?

Майна попробовал вспомнить. Но у отца, насколько он знал, не было другого имени. Для посторонних он всегда был Камау, а для него — всегда отец.

— Его зовут Камау. Мой отец! — с надрывом выкрикнул он.

— Не знаю такого,— сказала женщина.

Майна, задыхаясь от бешенства, стал громко объяснять и размахивать руками; женщина испугалась, попятилась назад и захлопнула за собой дверь. Майна постоял немного, сжав кулаки и скрежеща зубами. Что делать? Первым его побуждением было сломать дверь, но он понимал, что на это ему не хватит сил. Очень уж он ослаб. Нет, тут ничего не добьешься.

Он поплелся к соседней хижине. На улице стало совсем темно, завывал холодный ветер. Издалека доносились первые раскаты грома. Майна постучал в дверь. На пороге появился мужчина.

— Где живет Камау? — нерешительно спросил Майна.

— Который Камау?— спросил мужчина, прикрывая рукой волосатую грудь.

— Я... Камау. Так его звали. Это мой отец. Камау. Камау. Другого имени у него нет.

Мужчина оглядел жалкую фигуру Майны и покачал головой.

— Вы же знаете его!— возбужденно сказал Майна.— Знаете. Он мой отец. Камау.

— Здесь много разных Камау,— сказал мужчина.— Есть Камау — отец Майны.

— Он, он! Я — Майна. Где он? Где мой отец?

В этот миг молния, прорезав черное небо, осветила недоверчивое лицо мужчины.

— Ты —Майна?

— Да, Майна! Сын моего отца.

— Тот самый... Тот самый Майна, который в школе учился?

— Да.

При слабом свете, проникавшем из хижины, мужчина снова присмотрелся к Майне и недоверчиво покачал головой. Майна понял, что вопрос о школе был задан ему неспроста. У него защемило сердце, задрожали колени, заболела голова. Он почувствовал жар на щеках. Ярость переполняла его. Он с ненавистью смотрел на мужчину, который — он чувствовал это — смеялся над ним. Почему этот человек злорадствует, понять было нетрудно: конечно, Майна хоть и «ученый», а одет в жалкие лохмотья. Майна клокотал от злости.

— Где живет мой отец? Отвечай же, свинья!

Мужчина хотел что-то сказать, но передумал.

— Где, я спрашиваю?

— Где? Вон там,— показал человек жестом руки и хлопнул дверью.

Майна пошел дальше. Дом, который ему указали, был огорожен высоким забором. Он с трудом отыскал калитку. Она оказалась запертой изнутри на засов. Майна в нерешительности остановился. Душа его ликовала. Дома наконец! И в то же время его опять стали мучить сомнения. Надо ли было возвращаться? А если родные тоже встретят его насмешками?

Во дворе тявкнула собака. Волнение болью отдалось в желудке. Майна постучал. Собака залилась лаем. Он застучал как одержимый и крикнул:

— Отец! Отец! Мама!

Калитка немного приоткрылась, и кто-то высунул голову. Снова сверкнула молния, осветив лицо отворившего калитку. Нет, это не отец. Лицо незнакомо. К тому же человек явно встревожен. В столь поздний час да еще в такую погоду соседи обычно не ходят друг к другу.

— Кто ты такой? —спросил человек.

— Майна.

— Чего ты хочешь?

— Я хочу видеть отца, Камау. Я его сын.

Человек колебался. Майна это заметил.

— Так что? Разве это не дом Камау?

Человек вздохнул:

— Не живет он здесь больше.

Тело Майны напряглось. Страшная догадка мелькнула в его сознании. Горло сдавило так, что он с трудом дышал.

— Как это «не живет»?

Человек пожал плечами:

— Я здесь недавно. Но люди сказывали.

— Что сказывали?

— Сказывали, что семья эта обеднела.— Человеку явно не хотелось передавать эту печальную историю.— Потратила все деньги на образование сына. Говорят, парень умел хорошо читать. И вел себя хорошо. А вот закончил школу, уехал в город, устроился там на службу и сбился с пути. Так и не вернулся.

Майна впился ногтями в косяк калитки. Волнение теснило грудь, с присвистом выходил изо рта воздух. Перед глазами плыли круги, и он едва устоял на ногах.

— Засуха длилась очень долго,— продолжал человек,— и старик отправил на поиски пропавшего сына остальных своих сыновей. Но эти тоже не вернулись. А когда посевы совсем уж засыхать стали, жена у него заболела. Ну, старик-то не дурак, распродал имущество да и снялся вместе с ней с этих мест. Вдвоем ушли. А дом этот я купил и... Ты, значит, сын его будешь?

Майна кивнул.

— А они сказали, куда пошли?

— Нет. Никому ничего не сказали.

Голова у Майны закружилась сильнее. Хозяин заметил, что он покачнулся, и предложил:

— Может, в дом зайдешь? А то холодно.

Майна покачал головой. Никогда больше он не переступит порога этого дома. Здесь он родился, здесь вырос... Здесь оставил отца. Нет, ни за что.

Он пошел прочь. Калитка закрылась, снова залаяла собака. Он плелся, волоча ноги, во тьме, забыв о бушующем холодном ветре.

По щекам его текли жгучие слезы. Он шел, не разбирая дороги. Ему было все равно.

Разразилась гроза. Гремел гром, сверкали молнии, по телу дробью били капли дождя. Майна покачнулся и упал на мокрую траву — озябший, голодный и разбитый.

Очнулся он много минут спустя. Дождь не переставал. Он весь промок, боль в голове звоном отдавалась в ушах. Снова сверкнула молния. При ее блеске Майна увидел хижину. Всего в нескольких шагах от того места, где он лежал. Он подполз к двери и, опираясь на косяк, поднялся на ноги. Голова кружилась. Он постучал и стал ждать. Ему хотелось поесть, согреться и лечь спать. Он постучал сильнее. Через минуту за дверью послышался шорох.

— Кто там? — Из-за шума дождя голос был едва слышен.

— Это я. Откройте! — Майна прижался от дождя к двери и нетерпеливо забарабанил пальцами.

В хижине тихо переговаривались. Потом дверь немного приоткрылась, и из нее высунулась голова.

— Чего тебе? — спросил голос.

Майна замялся.

— Я... я хочу... Озяб я и голодный. Помогите.

В хижине долго молчали.

— Время-то больно уж позднее,— сказал, наконец, человек.— Мы спать собрались. Кто ты такой? Откуда пришел?

Майна мучительно искал, что сказать. А дверь между тем медленно закрывалась. Заметив это, Майна потерял контроль над собой. Голод, холод, головная боль и воля к жизни взяли свое. Он навалился на дверь, сбив хозяина дома с ног. Тот вскрикнул, вскочил и бросился с кулаками на незваного «гостя».

Майна дрался ожесточенно, собрав последние силы. В эти минуты он испытывал только отчаяние, желание выжить, страх и... да, и немного злости. Рыча, точно зверь, попавший в западню, он беспорядочно наносил удары. Глаза его были закрыты, на губах появилась пена.

Дерущиеся катались по полу, круша стулья, посуду, разрушая не остывший еще очаг. А в темном небе по-прежнему ярко вспыхивали молнии, гремел гром и лились потоки дождя. Собака, когда-то принадлежавшая отцу Майны, а теперь жившая в этом доме, издала жуткий протяжный вой, который проникал даже в хижины соседей.

12

Зеленый фургон свернул с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела к тюрьме. День близился к концу, и водитель, изнемогавший от жары и усталости, ехал гораздо быстрее, чем разрешалось правилами. За машиной стлалась волнистым облаком пыль; она висела, словно в нерешительности, в воздухе, пока ее не настигал холодный горный ветерок и не отгонял вниз по склону холма в сторону леса.

Проехав еще с полмили, фургон остановился перед массивными воротами и, когда ворота открылись, въехал в тюремный двор. У конторы смотрителя водитель затормозил, вылез из кабины, потянулся и сладко зевнул.

Пожилой тюремный смотритель, увидев в окно подъехавший фургон и водителя, немного помедлил выходить, гадая, кого привез-

ли ему на этот раз. Он был уверен, что среди прибывших есть старые «знакомые», но кто именно? С этой мыслью он вышел из конторы и неторопливо зашагал к шоферу.

Как раз в это время других арестантов вели на ужин. Поравнявшись с фургоном, они останавливались, чтобы посмотреть, кого привезли. Шофер закурил толстую сигарету и, прислонившись к капоту, наблюдал за ними. Когда тюремный смотритель вышел из своей конторы, он обернулся к нему.

— Новая партия? — спросил смотритель.

Шофер покачал головой:

— Ничего нового. Один из ваших всегдашних. Зачем вы только выпускаете их? Держали бы тут постоянно. По-моему, многие из них были бы вам благодарны. Мне уж надоело возить их.

— А надоело, так и не возил бы,— сказал смотритель.— Не думай, что встреча с ними доставляет мне удовольствие.

Шофер развел руками.

— Насколько я понимаю, доставляет. Я вижу, они вам нравятся.

Смотритель задумался. Что ж, пожалуй, он прав. Среди этих арестантов есть и симпатичные ребята.

— Кого же ты все-таки привез?

Водитель выпустил изо рта клуб дыма, сплюнул окурок на землю и сказал:

— Не догадаетесь.

Он подошел к задней стенке фургона, достал из кармана связку ключей, выбрал один, отпер замок и открыл дверь. Арестант тотчас спрыгнул на землю, потянулся и зевнул. На губах смотрителя появилась довольная улыбка. Его предположение оказалось верным.

В толпе арестантов, стоявших за колючей проволокой, кто-то удивленно свистнул.

— Ай-ай-ай! Глядите, какой гость к нам заявился! — Смотритель окинул вновь прибывшего взглядом.

— Привет, начальник,— сказал тот.

— Меджа! — позвал один из арестантов.

Меджа обернулся на крик и помахал рукой.

— Сейчас приду.— Поймав на себе взгляд смотрителя, Меджа улыбнулся.

— Неужто опять ты? — спросил смотритель.

— Своим глазам не верите? Да, я. Можете по документам проверить.

— Удивительное дело. Не успеешь оглянуться, а ты уж опять здесь.

— Говорят, фальшивая монета всегда возвращается к своему владельцу,— вмешался в разговор шофер.— Один из ваших рецидивистов, начальник.

Меджа резко повернулся к нему:

— А тебя никто не спрашивает. Тоже мне умник нашелся. Твое дело вот на этом катафалке ездить. И помалкивать в тряпочку.

Шофер отвернулся и недовольно пробурчал что-то себе под нос. Смотритель взглянул сначала на одного, потом на другого и дал Медже знак следовать за ним. Они вошли в опрятную контору. Меджа получил свою форму и стал переодеваться. Смотритель в это время заполнял разные бланки.

— Все так же, как было? — спросил Меджа.

— Все так же.

— Опять камера девять?

Тот кивнул головой.

— Все старички вернулись?

— Кроме одного. Ну-ка, отпечатай свою пятерню.— Он протянул Меджа заполненный бланк.— Помнишь, куда прикладывать?

Меджа взял бланк. Процедура снятия отпечатков пальцев была хорошо ему знакома. Тюремный смотритель стоял и с любопытством наблюдал за Меджей. Он не переставал удивляться тому, как жизнь меняет этих молодых людей. Сначала тюрьма пугает их, они раскаиваются в своих преступлениях, а потом их уже не остановишь и они снова и снова возвращаются сюда. Многие из них, наверно, и умрут здесь, когда достигнут старости, и будут похоронены на тюремном кладбище.

— Слыхал, что случилось с твоим другом?

Меджа кивнул и разогнул спину.

— А то как же. В газетах писали. Не повезло ему.

Начальник посмотрел ему в глаза и огорченно покачал головой. До чего же черствеют эти парни.

— Я вижу, ты доволен, что вернулся сюда.

— В гостях хорошо, а дома лучше,— усмехнулся Меджа.— Да и вы должны быть довольны. Не было бы нас, не было бы у вас и работы.

Смотритель взглянул на часы.

— Ну, иди, а то к ужину не поспеешь.

Меджа снова улыбнулся. Симпатичен ему этот старик, хотя он, Меджа, и старается скрывать свое расположение к нему. К заключенным относится отечески, с пониманием, а человеку в положении Меджи ничего, кроме понимания, и не требуется. Всякий раз, когда Меджу привозят в тюрьму, смотритель добродушно встречает его и, если настал час ужина, не докучает излишними разговорами. Одна из многих причин, почему Меджа никогда не грубит этому человеку.

Меджа отдал честь с щеголеватостью, свойственной обитателям девятой камеры, и направился к выходу.

— Меджа! — окликнул его смотритель.

Тот остановился.

— Один вопрос. Знаю, что это глупо, но все хочу тебя спросить: тебе никогда не приходило в голову броситься под машину?

Меджа испытующе посмотрел на старика. У того был серьезный вид.

— Нет, а что?

— Сам не знаю, откуда у меня такая мысль. Но мысль, по-моему, стоящая. Почему бы тебе не попробовать, когда ты снова будешь в городе?

— Вы думаете, я свихнулся? Нет, я умру своей смертью.

— В девятой камере?

— А почему бы и нет? Разве человек не свободен выбирать, где и когда ему жить?

— В девятой камере?

Меджа вздохнул.

— Да, в девятой камере.— Он шагнул к двери, потом остановился и оглянулся на смотрителя.— Не собирался говорить вам, начальник, но раз уж вы спросили, то скажу. Один раз я уже побывал под колесами машины.— Лицо Меджи скривилось в болезненной гримасе. — Но это не помешало мне попасть за решетку.

Где-то в его подсознании прозвучали знакомые пугающие звуки автомобильного гудка и визг тормозов, но он переборол страх и поднял изуродованную руку. Пусть полюбуется смотритель.

— Видите?

— Да.— Старик почесал подбородок.— Вижу.

Меджа вышел из конторы и, прихрамывая, направился с независимым видом через ворота в тюремный двор. Охранник, пропуская его, удивился, что он вышел из конторы без сопровождения начальника.

Его появление в тюремной столовой радостно встретили все товарищи по девятой камере. Они наперебой угощали его своими пайками и засыпали вопросами. Чтобы ответить на них, ему приходилось изрядно фантазировать.

— Бабу мою не встречал? — спросил один из них.

— А как же,— ответил Меджа, набрав полный рот пищи.— Что же еще мне оставалось делать в свободное время? Много раз встречал, хотя тебе и неприятно это слышать.

— А что она говорила тебе?

Меджа хитро улыбнулся:

— Видеть тебя больше не желает.— Заметив, что арестант, задавший вопрос про «бабу», нахмурился, он продолжал: — Спросила, как ты тут поживаешь. Я ответил, что ешь ты много. Так пристрастился к еде, что тебя назначили судомойкой. Поближе к кухне. Вот тут-то она и сказала, что не желает тебя больше видеть. Все, говорит, готова простить тебе, кроме того, что ты на кухне работаешь.

Арестанты засмеялись.

— А мы тебя только через месяц ждали,— сказал Нгуги.

— Знаю. Но я сделал все, чтобы пораньше вернуться.

— Зачем?

— Уж больно по вас соскучился.

Парни весело рассмеялись.

После ужина вся ватага отправилась в камеру. Постельные принадлежности Меджи в полной сохранности лежали в углу. Об этом позаботились товарищи. Он осмотрелся вокруг, глубоко вздохнул и улыбнулся. На душе у него стало тепло и покойно. Беззаботные улыбки парней, белые арестантские одежды — все это действовало, как тонизирующее лекарство. Белые стены камеры символизировали для него безопасность. Только в этих четырех стенах девятой камеры он и чувствовал себя защищенным. Кормят здесь хорошо, на воле он так никогда не ел. И лица улыбчивые, совсем не похожие на унылые, равнодушные лица людей, которых он встречал на улицах города.

— Не жалеешь, что опять к нам попал? — спросил Чеге.

Меджа опустил голову, пряча улыбку.

— Не верь тому, кто скажет тебе, что я в восторге,— сказал он притворно печальным тоном.

Арестанты начали стелить себе постели. Матрац Меджи оказался рядом с Чеге. Место с другого бока оставалось незанятым — оно принадлежало их отсутствующему другу. Неписаный закон, который никогда не нарушался. Не было в девятой камере преступления страшнее, чем занять на полу место отсутствующего товарища. Все равно что совершить убийство или взорвать мост, оставив товарища одного на противоположном берегу реки. Единственное, чем располагали обитатели тюремной камеры, был крохотный пятачок, на котором каждый стелил себе постель. Захватить эту территорию значило присвоить наследство еще не умершего человека. Этот кусочек территории был единственным звеном, соединявшим заключенных с их свободными братьями, и тюремный смотритель, видимо, понимал это. Он никогда не помещал в девятой камере новичка, пока не получал подтверждение, что тот или иной «старожил» умер или исчез бесследно.

Пришел дежурный надзиратель и запер снаружи дверь. Как всегда, он не перешагнул через порог камеры. По молчаливому согласию обеих сторон, заключенным — камера, надзирателю — коридор. Даже осмотр помещения производился только с порога.

Надзиратель открыл окошко и стал считать. Насчитав восемь человек вместо семи, заглянул в список: восьмой был дописан красными чернилами.

— Который тут новенький? — спросил он.

Чеге перевернулся на спину и показал рукой на свой зад:

— Вот этот.

Надзиратель выругался, захлопнул окошко и двинулся дальше.

Меджа бросил на Чеге укоризненный взгляд.

— А вы, ребята, так и не повзрослели, а?

— Нет, не повзрослели,— сказал Чеге.— А ты?

Меджа нахмурился:

— Кабы не повзрослел, не вернулся бы сюда.

Все улеглись. Наступила ночь. Застрекотали в тюремном дворе цикады. Изредка со стороны шоссе доносился гул автомобилей. А в камере, под недремлющим оком тусклой лампочки лежали на своих матрацах арестанты и ждали, когда Меджа начнет рассказывать. Но тот, как всегда, медлил, не зная, с чего начать. Достал из кармана пачку сигарет, закурил, затянулся два раза и передал сигарету Чеге. Тот сделал то же самое и передал сигарету дальше. Правила курения знали все. Никому не разрешалось делать больше двух затяжек за раз. Нарушить этот порядок значило проявить эгоизм и расточительность. Сигареты в тюрьме — большая редкость. В щелях стен они не растут.

— Меджа! — позвал один из парней.

Меджа обернулся на голос.

— Что же ты не рассказываешь?

— Что рассказывать-то?

— За что тебя на этот раз посадили?

— Да все за то же,— бросил он деланно небрежным тоном.

— На чем ты попался? — спросил Чеге.

Все затаили дыхание, приготовившись слушать.

— Мало ли на чем,— уклончиво ответил Меджа.— Угадай.

— Откуда я знаю? — пожал плечами Чеге.— Я помню, как ты говорил о банках и сейфах, где зря пропадают деньги. Так, может, ты...

Меджа покачал головой:

— Попробовал бы ты сам ограбить банк. И до кассы не успеешь дойти, как тебя схватят. Что я, дурак идти на такое дело?

Наступило молчание.

— А какая разница? — спросил Чеге.— Разве не все равно, что грабить, если хочешь попасть в тюрьму?

Меджа принужденно засмеялся.

— Ты прав. Зря в тюрьму не посадят.

После короткой паузы чей-то голос в дальнем углу сказал:

— Трусы банков не грабят.

Меджа медленно приподнялся на матраце и взглянул на говорившего. На губах его играла презрительная усмешка.

— Твой ли голос я слышу, Гитур?

— Мой, мой. Говорю так, потому что на себе испытал. Мне-то приходилось грабить банк. В одиночку, с помощью игрушечного пистолета.

— Слыхали мы эту историю,— сказал Меджа.— Много раз.

— Когда выберусь отсюда, то буду самым богатым человеком на свете.

Меджа засмеялся:

— Нет уж, друг. Как был ты жалким воришкой, так им и останешься. Не будет у тебя никакого богатства. Не надо было закапывать деньги в общественном парке.

Гитур вдруг встал. Глаза его сверкали гневом.

— Что? Уж не ты ли...

Меджа покачал головой.

— Нет, не я. Рабочие парка нашли. Хочешь узнать, каким образом? Канаву копали и наткнулись. В газетах писали: «Землекопы нашли клад».

Гитур сел и обхватил голову руками.

— Десять лет. Десять лет...— простонал он.— И все зря.

— Нашли и в банк вернули,— сказал Меджа.— Кретины.

Гитур плакал.

— Раз деньги нашли, то его должны теперь отпустить,— сказал один из арестантов.— Зря пострадал человек.

Никто ему не ответил. Лицо Меджи сделалось серьезным. Чеге снова спросил:

— Так на чем же попался, Меджа?

— Да на пустяке,— вяло ответил тот. После тяжелого дня в суде и нудных допросов ему уже не хотелось говорить.— В тот раз, когда меня отсюда выпустили, я решил бросить пока воровать. Пошел искать работу.

— Нашел? — спросил Нгуги.

— Нет. У меня был такой вид, что никто и разговаривать со мной не хотел.

— Ну, а дальше что?

— А то, что надо было мне сначала привести себя в божескии вид. Стащил я из автомашины костюм, рубашку, принарядился и отправился в предместья спрашивать, нет ли какой работы. Подошел к одному дому, постучал в дверь и терпеливо жду. Стою так, поглядываю по сторонам и вдруг вижу: на подъездной аллее стоит та самая машина, из которой я костюм стибрил. А в этот самый момент хозяин открыл дверь и сразу же узнал на мне свой костюм.

Арестанты разом засмеялись.

— После этого я уже не пробовал искать работу,— продолжал Меджа.— Продал костюм и занялся мелким воровством.

— Крупных дел, значит, не было? — спросил Ругуару.

Меджа помедлил с ответом, потом сказал:

— Были. Один раз фургон угнал — от супермаркета.

Арестанты замерли.

— Как-то вечером стоял я на стрёме. Фонари на столбах были разбиты, и в темноте я с трудом разглядел у задних ворот супермаркета громадный фургон. Я рассудил так: раз фургон стоит у магазина, значит — с ценным грузом. И, судя по всему, тяжело груженный: кузов-то так к земле и прижало. Ну, думаю, будет чем поживиться. Открывай двери и бери что хочешь. И кругом — ни души. Вот это удача! Но тут я остановился и подумал: не торопись, парень, взялся за дело, так доводи его до конца. Возьму-ка я весь этот груз, да сразу и разбогатею. Когда-то я умел управлять трактором, и это мне помогло, потому что трактор от большого грузовика мало чем отличается. Представился, стало быть, мне случай использовать свои знания. Отпереть дверцу кабины особого труда не составило — замки-то на грузовиках и на особняках почти одинаковы. Сел я за руль и тронулся, не обращая внимания на знаки «стоп». Так и выехал из города безо всяких помех, а милях в тридцати свернул в кусты и остановился ждать до

утра.— Меджа умолк и широко улыбнулся. Остальные терпеливо ждали продолжения рассказа.— До рассвета я даже не вздремнул ни разу. Слишком волновался. Не терпелось поскорее узнать, насколько я разбогател. Сбыть краденый товар — не проблема, я знал несколько надежных адресов. Как только зачирикали птицы, я вылез из кабины, сладко зевнул, потянулся, точно большой жирный кот, и направился к задней стенке грузовика... И тут я увидел, что надо мне улепетывать обратно в город. Потому что угнал-то я не товарный фургон, а машину для сбора мусора. «Фургон» мой был полон отбросов.

В камере раздался взрыв хохота. Смеялись все, в том числе и сам рассказчик. Потом Чеге спросил:

— А деньги приходилось брать?

— Приходилось,— ответил Меджа.— На деньги-то я зарился не хуже всех вас.

— И сколько ты взял?

— Пятьдесят центов.

— И все деньги?

— Все, что я обнаружил в сумочке, которую стащил. И то за мной гнались целый день. Весь город обежал.

— Из-за этого ты сюда и попал? — насмешливо спросил Ругуару.

— Нет. Не поймали они меня тогда.

— А что было дальше?

— Долго рассказывать.

— А нам спешить некуда,— сказал Нгуги.— Мне, например, еще три месяца сидеть.

— Ну, раз охота слушать — расскажу. Брожу я как-то по одной из центральных улиц и вижу: мужик, обогнавший меня, уронил десятишиллинговую бумажку. Я быстренько нагнулся и подобрал ее, думая, что никто не заметит. Дудки! Обернулся я назад, а на меня уж с десяток людей уставились, наблюдают, что я с этой бумажкой сделаю. А что я мог с ней сделать? Окликаю я этого мужика громко, чтобы все слышали, и с невинным видом протягиваю ему деньги. А он ласково так поблагодарил меня, сунул их себе в карман, да еще и рукой сверху погладил. А потом скроил умную улыбочку и скрылся в толпе. Обидно мне стало, что в дураках я остался. Ну, ринулся я ему вдогонку да и вытащил деньги обратно.

— И тут он застиг тебя? — спросил Ругуару.

— Да заткнись ты.— оборвал его Меджа.— Не застиг. Ни он, ни кто другой. Разжился я десятью-то шиллингами, решил покутить по этому случаю. Купил бутылку самогона, напился как свинья и пошел по улице, точно мэр города. Так разгулялся, что разбил несколько витрин. Никто не пробовал остановить меня, потому что страшен я был, мог покалечить кого угодно. Но нашелся-таки один, который не испугался. Он собаку прогуливал. Встал и смотрит на меня. Ну, я представился ему, как полагается, и помочился на собачью морду. Тогда и этот человек мне представился. Он оказался полицейским и собака его... тоже полицейской. Я сразу протрезвел и бросился было наутек, да недалеко мне удалось уйти.

Новый взрыв хохота.

— На суде я, конечно, не признал себя виновным. Откуда мне было знать, что он из полиции? Но судья не стал меня слушать и приговорил на три недели тюрьмы. А три недели не в девятой камере — срок большой. Мне это было не по душе, и я бежал. Два дня скрывался в Шенти-ленд, а на третий встретил одного друга и он пригласил меня отметить первую годовщину своего освобождения из тюрьмы. Я согласился. Надо же было как-то успокоить расшатанные нервы. Он до-

стал бутылку хорошего джина, и мы распили ее. Потом горланили песни и даже подрались, но кончили мирно и снова вышли на улицу. И снова я вел себя как мэр города и орал во все горло.

— И что же? Опять поссорился с полицейской собакой? — спросил Нгуги.

— На этот раз — нет. Встреть я тогда собаку, обязательно протрезвел бы. Но я ее не встретил. Шатался по городу и орал до тех пор, пока не охрип. Наконец, чуть не валясь с ног от усталости, остановил какую-то машину и попросил подвезти. Куда? А черт его знает, отвезите куда-нибудь. К моему удивлению, хозяин машины не стал мне перечить. Подвез.

— Куда? — спросил Чеге.

— Куда бы ты думал? — Меджа улыбнулся тусклой лампочке.— Машина-то была полицейская.

Вся камера загрохотала. Никто не спал. Некоторые курильщики гашиша закашлялись.

— Чем же кончилось дело? — спросил сквозь смех Ругуару.

— Кончилось тем, что меня отправили в девятую камеру.

— На какой срок?

— О, на целый год. Побег из тюрьмы — грех не пустячный.

Наступило молчание. Некоторые арестанты, вспомнив о своих сроках заключения, явно загрустили. Одни ворочались с боку на бок, стараясь заснуть, другие недвижно лежали, уставившись в потолок.

— А меня через месяц выпустят,— сказал голос, приглушенный одеялом.

— Не забудешь принести бутылку самогона, когда вернешься сюда?

— Откуда ты взял, что я намерен вернуться?

Ругуару засмеялся:

— А где же еще найдется пристанище такому дьяволу, как ты? Хотя бы временное? Разве что в аду.

— Не я один такой,— возразил тот же голос.— Уж если мне это место годится, то тебе — тем более. Такие пьяницы, воры и насильники, как ты, заслужили полное право на это чертово логово. Скажу тебе вот что: когда отсюда выберусь, заживу по-честному. И пальцем не дотронусь до чужой собственности.

— На что будем спорить? — со смехом спросил Чеге.

— Хочет зажить по-честному,— насмешливо сказал кто-то.— Как бы не так. Тебе же легче за решетку попасть, чем остаться честным человеком.

— Что касается меня,— сказал Меджа,— то я, если вырвусь отсюда, даже и не вспомню про вас, кретинов. Пока вы здесь, я и не подумаю возвращаться. От ваших речей мозги набекрень.

— У полоумных они всегда набекрень,— сказал Чеге.

Кое-кто в камере хихикнул, а Чеге, которого никто не мог превзойти в озорстве, издал дикий вопль и резанул воздух таким звуком, что арестанты засмеялись еще громче.

За дверью послышались решительные шаги надзирателя. В камере номер девять наступила тишина. В смотровом окошке появился большой, в красных прожилках глаз. Все спокойно, никаких признаков дебоша.

— Эй, заткнитесь там! — крикнул надзиратель.— Что здесь — камера или палата умалишенных?

— И то и другое вместе,— донесся из-под одеяла приглушенный голос.

Никто не засмеялся.

Надзиратель выругался, его красный глаз снова обшарил помещение. Все тихо. Время — без четверти двенадцать. Глаз удалился, окошечко закрылось.

Нгуги встал, сходил в угол к параше. Сонно зевнул и лег обратно на свою постель. Взглянул на пустующее место на полу, где прежде спал Майна.

— Интересно, что с Майной,— сказал он.— Давно уж пора ему быть здесь.

У Меджи вздрогнуло сердце. Он тяжело вздохнул. Стало быть, они ничего не знают. Смотритель им не сказал. Сказать сейчас? Или не говорить, пусть сами как-нибудь узнают? Он лежал на спине и думал.

— Разве вы не слыхали? — невольно вырвалось у него.

— Про что? — Это был голос Чеге.

— Про Майну.

— Ну? Женился он, наконец, на этой жирной корове?

Меджа покачал головой.

— Работу нашел? — спросил Чеге.

В камере засмеялись.

— Не угадал,— сказал Нгуги.— Я знаю. Его избрали на важный пост. Теперь он — его величество мэр города Шенти-ленд.

Арестанты захохотали. Шенти-ленд переименован в город! Город в городе. С собственным гербом. И Майна, главный прохвост в городе прохвостов, избран его мэром.

Скоро они заметили, что Меджа не смеется вместе с ними, а лежит на спине и с грустью смотрит на лампочку в потолке. Его большие глаза блестели от слез. Арестанты перестали смеяться и, сев на своих матрацах, стали молча наблюдать за ним. Еще ни разу им не приходилось видеть Меджу плачущим. Такие, как Меджа, из-за пустяков не плачут.

— Его... нет в живых? — спросил Ругуару сдавленным голосом.— Он все-таки удавился?

— Нет, Майна не удавился.— Меджа старался говорить спокойно.— Не такой он человек. Он домой отправился, хотя и клялся, что ни за что не вернется. Из-за меня пошел. И убил там двух человек.

— Кто были эти люди?

— Муж и жена. Об этом в газетах писали. Его арестовали на другой день утром в пятнадцати милях от деревни. Весь грязный и в крови. И... все бежал. Отчаянный.

Наступила мертвая тишина. И люди, и стены камеры, и даже тусклая лампочка, казалось, застыли от потрясения.

— Зачем он это сделал? Он же не убийца.

Меджа вздохнул:

— Верно, что не убийца. Ни в чем еще не сознался. Не может. Потерял и память и голос. Полиция ни слова не может из него вытянуть. В газетах писали, что он сумасшедший.

— Сумасшедший?

— Так объявили в газетах.

Арестанты тоже легли на спины и, погруженные каждый в свои мысли, уставились в потолок.

— Его повесят? — спросил Нгуги.

— Не знаю.

— Сумасшедших не вешают,— помолчав, сказал Нгуги.

— Майна не сумасшедший,— тихо возразил Меджа.

Арестанты вопросительно посмотрели на него.

— Тогда почему же он убил их? — спросил Ругуару.

Меджа задумался. В самом деле, что толкнуло его на убийство?

— Не знаю. Уверен только, что Майна не виноват. Ручаюсь. Я много лет его знаю. Чуть ли не со школьной скамьи, с того времени, как мы вместе ели из мусорных баков и...—Меджа вспомнил свои скитания по задворкам, вспомнил тот злополучный сверток, из-за которого на него наехала автомашина.— Майна ничего так не желал, как жить честно. Предпочитал отбросами питаться, а не воровать. Уж я-то его знаю. Не может он взять да и убить человека. Такой и муху не обидит. Как он в преступники попал, ума не приложу. Ей-богу не понимаю. Когда мы дружили, то у нас и в мыслях этого не было. И вот...— Меджа покрутил головой, по лицу его текли слезы.— Почему с ним это случилось? Говорят, судьба. Какая судьба? Почему?

Камера молчала. Арестанты, подавленные рассказом Меджи, не нашлись, что сказать ему в утешение. Им хотелось поскорее уснуть и забыть его историю. Но как забудешь? Майны с его солеными шутками им всегда будет недоставать. Навсегда останется в их памяти его веселое улыбчивое лицо. Скучно, очень скучно будет в девятой камере без Майны.

Меджа лежал и думал о своем друге, вспоминая, как они делили с ним радости и невзгоды, как весело им было вместе и на узких, грязных улочках города, и в белой тюремной камере с тусклой лампочкой на потолке. И хотя он и старался не замечать этого, но не мог не чувствовать, как угрызения совести вкрадываются в его изболевшуюся душу. Уж не потому ли отчасти Майна пошел на убийство, что он выгнал его тогда из Шенти-ленд? При этой мысли Меджа задрожал. Он надеялся, что Майна избежит виселицы, хотя надежды на это, при его подмоченной репутации, очень мало. Не видать Майне больше свободы, которую он ценил превыше всего. Кончится его жизнелюбие в доме казней.

В камере послышалось сопение спящих.

— Спокойной ночи, Меджа,— сказал Нгуги.

Меджа пробормотал ответ и вспомнил, как они жили с Майной на ферме и как тот, ложась спать, по обыкновению, желал ему веселых кошмаров. Хорошие были времена. Ничего бы Меджа не пожалел, лишь бы услышать сейчас те же слова, тот же веселый голос друга. Ради того, чтобы Майна снова был здесь, в девятой камере, а не в одиночной камере смертника, он готов был на любую жертву.

— Меджа! — позвал Чеге.— А ты правду сказал нам про Майну?

Меджа судорожно вздохнул.

— В газетах читал. И фото его было.

— А может, ты спутал его с кем-нибудь?

— Нет. Я же хорошо знаю его лицо.

Наступила короткая пауза.

— А он... Он похож на сумасшедшего?

— Нет. Мне он не показался сумасшедшим. Он был похож... на Майну.

— Его повесят?

— Я же сказал, что не знаю.

Чеге тяжело вздохнул:

— Майна — мой лучший друг. Мы с ним вместе попали в эту камеру. Любил я его. Очень.— Чеге повернулся на бок и надвинул на голову одеяло. Медже показалось, что он плачет.

Горестные мысли не выходили у Меджи из головы. Он вспомнил фото, помещенное на первых страницах газет. Двое полицейских ведут усталого, взъерошенного человека. Казалось, его только что из-

влекли из болота. Но на сумасшедшего он непохож. И этого человека хотят повесить. Повесить Майну, который жил в трущобах и питался отбросами. Безобидного, улыбчивого и веселого Майну. «Убийца!» — вопили газетные заголовки.

Меджа посмотрел рядом с собой, на то место, где когда-то спал Майна. Скоро тюремный смотритель поместит сюда нового заключенного. Но это будет формальная замена. В действительности вакансия навсегда останется незаполненной. Это место принадлежит только Майне — и никому больше. При взгляде на него старожилы девятой камеры всегда будут вспоминать об ушедшем товарище.

Меджа беспокойно заворочался на матраце и снова лег на спину. Сквозь облака слез тускло светилась лампочка. Но глаза его видели не оранжевый круг, а веселое лицо Майны. «Жить-то надо!» — говорило это лицо.

На шоссе, в полумиле от девятой камеры, погруженной в грустную тишину, раздался гудок автомобиля. Это тюремный фургон спешил в город с его многоэтажными зданиями, сверкающими неоновыми огнями, с его вечными трущобами и потаенными закоулками.

ХОРХЕ КАРРЕРА АНДРАДЕ

С испанского

Пятьдесят пять лет назад вышла в свет первая книга тогда еще совсем юного эквадорского поэта Хорхе Карреры Андраде. Сын юриста, известного своими либеральными взглядами, Хорхе родился в 1903 г. и провел детство в загородном имении отца неподалеку от города Кито. Постоянное общение с природой, близкое знакомство с трудным крестьянским бытом напитали его память яркими впечатлениями, которые во многом предопределили склад его поэтического видения мира.

Светлая и немножко грустная влюбленность в знакомые с детства пейзажи, лишенная всякой экзальтации преданность родному краю, чувство собственной растворенности в простой и человечной природе: в шорохе трав, в поющем по-птичьему летнем дожде, в мягком струении света... Все это не только составило целый период в творчестве Карреры Андраде — тот самый период, когда он сложился как поэт национальный, но и навсегда осталось в его поэзии, претерпевшей за полвека сложную, но внутренне непротиворечивую эволюцию.

В творчестве Карреры Андраде конца 20-х годов отражаются идеи литературного течения «индеанизма», приверженцы которого старались привлечь внимание общества к трагической судьбе индейцев и метисов, в Эквадоре составляющих более 70 процентов населения и основную массу эксплуатируемого крестьянства. Первые стихи из цикла «Индейская тетрадь» еще не свободны от упрощающей реальность идеализации патриархального быта индейской общины: поэт прежде всего стремился показать духовное превосходство крестьянина, умудренного опытом «естественной» жизни, над человеком, ставшим невольной жертвой дегуманизированной капиталистической цивилизации. Однако постепенно индейская тема приобретает у Карреры Андраде иное звучание: этико-культурный конфликт вырастает до размеров социальной драмы. В стихотворении «Индейцы», публикуемом в подборке, идиллия «неиспорченной» сельской жизни отступает перед радостно-тревожным предчувствием грядущей зари, разгорающейся на зубьях крестьянских серпов.

Еще в университете Хорхе включился в студенческое движение, разворачивавшееся под девизом «Хлеба, земли и образования народу». За этим последовали годы напряженной общественно-политической деятельности и многолетняя государственная служба, во время которой поэт прошел путь от сотрудника консульства до высоких дипломатических постов и объехал чуть не весь свет — от Нью-Йорка до Лондона, от Копенгагена и Гавра до Гаваны и Манагуа. «Охотником, вооруженным глазами» назвал его испанский литератор Педро Салинас. И он был прав: мало кто из современных поэтов может поспорить с Каррерой Андраде в умении так зримо передать материальную сущность явлений. Неожиданность ассоциаций и в то же время почти математическая точность изображения едва ли не главные свойства его поэтического мышления. Некоторые стихи Карреры Андраде словно слеплены из следующих одна за другой метафор:

...А летом алый плащ заката
взлетит, скрестив над полем крылья
и в борозду июль-тореро
вонзит колосья-бандерильи.

Октябрь. Обобрана до нитки,
скорбит и нищенствует нива,
и христарадничает пашня
с поводырем — плакучей ивой[1].

«Преподавая людям пространство», Каррера Андраде терпеливо ведет читателя по миру, словно опытный наставник — своего юного питомца. Именно поэтому порою кажется, что он работает в необычном жанре — в жанре детской поэзии для взрослых:

Говорить, как листья, языком зеленым,
подражая птице, а не книжке квелой,
обучает ветер — старикан веселый,
прозванный в деревне доном Ветрогоном.

Он и впрямь, пожалуй, сумасбродит слишком:
бродит в мокрых травах на рассвете, словно
в луговине ищет колдовское слово,
в ельнике бормочет заклинанья, шишкам...

В последних книгах поэтический почерк Карреры Андраде меняется — поэт словно стремится сплавить воедино самые масштабные темы современности: ответственность гражданина Земли за будущее своей планеты, мотивы общечеловеческого братства, беспощадную критику равнодушной обывательщины, которая во все времена была пособницей реакционных режимов. Преображается и форма его стиха: звучные классические размеры уступают место величественным массивам верлибра.

Первым переводчиком Карреры Андраде на русский язык был известный советский испанист О. Г. Савич (1896—1967)[2], из литературного архива которого взяты два публикуемых ниже сонета. В подборку включены также стихи из ранних поэтических циклов Карреры Андраде и из послевоенных книг (см. переводы Бориса Слуцкого).

Разумеется, в рамки журнальной публикации нельзя вместить сколько-нибудь полную панораму творчества писателя, который более полувека напряженно и вдохновенно работает в литературе; можно лишь продемонстрировать основные вехи его творческой биографии, многокрасочность его поэтической палитры.

СЕРГЕЙ ГОНЧАРЕНКО

Дверь, распахнутая в деревья

Летний сад разморило. Млеет воздух медовый.
Ливень листьев нахлынул на плетень по соседству.
И зажившую память оцарапала снова
перепелка, взлетая из-под дерева в детство.

Это все уже было. И тропа у ограды,
и зыбучая заводь этой зелени мглистой.
Кто же шепчет сегодня в чаще старого сада
слово, чувственной дрожью охватившее листья?

Это все уже было. Дверь открыта в деревья.
И твой голос над книгой замирает и льется...
И такая разверзлась тишина над деревней,
что пронзительно слышен каждый всплеск из колодца.

Ночное пенье

В час, когда запирают все калитки в селенье
и лишь племя кошачье рыщет в клетях по-лисьи,
затевается в доме поминальное пенье,
и осеннее сердце сыплет мертвые листья.

Голосами ушедших тихо шепчутся вещи;
под шагами усопших голосят половицы...
Бормотание книги, причитающей веще,
замирающим ливнем заливает ресницы.

[1] Здесь и далее переводы автора статьи.
[2] См. журнал «Иностранная литература» № 2, 1965, № 12, 1967.

Все лепечет лампада сокровенное слово,
и сверчок, упоенный партитурой плакучей,
не затихнет, покуда не протиснется снова
сквозь замочную скважину солнечный лучик.

Книга нежности

На стеклянной странице, в переплете оконном,
причастился росою влажный лист краснотала,
и причудилась вечность вечереющим копнам,
и причудлив кустарник, словно ветка коралла.

Загустела округа, как смола на распиле,
над колодцем заплакал по-младенчески ворот...
Может, за поворотом той тропинки Вергилий
повстречался сегодня с улыбкой Тагора.

Как обряд очищенья я закат принимаю
и щемящую нежность пью из чаши оконной,
где на исповедь вышла луговина немая
и задумалась ива над загадкой зеленой.

Из поэмы «Сезон ласточек»

На ветру загудели,
как зеленое пламя,
птичьи крылья и листья
вперемежку с лучами.

И лазурь солнцепека
опрокинула лаву,
затопивши прозрачно-
золотую державу.

Нивы — как параллели
золоченого хлеба.
В голубой позолоте
вертикальное небо.

Голубое мычанье
в голубиной отчизне;
здесь не уединенье —
единение с жизнью...

■ ■ ■

Ласточка в небе. Прикосновенье
к темени поля крохотной тени.
Что она ищет в синем колодце?
Выстрелит в небо... Снова вернется.
Может, депешу где обронила —
ту, что послала озеру нива?

Чиркнет по глади черного плеса
и пронесется мимо откоса.
Кинется в чащу и возвратится,
чтобы промчаться над черепицей.
Вплоть до крушенья листьев и лета
длится круженье ласточки этой.
Вот она взмыла, листик летучий,
путь перерезав ливневой туче.
Реют раскрестьем узкие крылья;
ливни, как нечисть, в ночь отступили.
В синем просторе, милая, странствуй,
преподавая людям пространство.
Посередине синего вала
вычерти счастья инициалы!

Перевод СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Постоялый двор

На том столе, где хлебы и бутылки,
есть живописный центр — гора плодов;
как две звезды, облили две коптилки
жаркое из ягненка светом снов.

А в вазе — виноград, видны прожилки,
и апельсины — лета дальний зов,
и фиги, те же цветом, что бутылки,
где пленное вино поет без слов.

И четверо мужчин, румяны щеки,
жаркое режут, ищут в кубках дно,
а мясо красное в крови и соке.

И лиловатый отблеск льет вино
на хлеб, на скатерть, на фарфор высокий,
на холст в углу, где все затемнено.

Экспедиция в страну корицы

Тысячерукий лес закрыт для света;
людей в своем объятье крепко сжал он
и вечного не выдает секрета,
не уступая шпагам и кинжалам.

Здесь орхидея, попугай — примета
какой-то дикой жизни под началом
царицы тропиков и злого лета —
змеи, что скипетр заменила жалом.

Ужели распростерся здесь Гонсало
Писарро [1] — конь подушкой под плечами,
и желтое лицо, как смерть, устало.

[1] Гонсало Писарро (1502—1548) — испанский конкистадор, участвовавший вместе со своим братом Франсиско Писарро в завоевании Перу, а позднее ставший губернатором Кито и предпринявший несколько походов в глубину Эквадора.

А лихорадка влажными руками
уж сто солдат в могилу побросала.
Так побеждает лес и сталь, и знамя.

Перевод О. САВИЧА

Индейцы

Заморосил
предрассветный дождь.
Унял светляк голубую дрожь.

Несут индейцы,
покинув кров,
зарю на зубьях своих серпов.

А пончо сами
красней зари.
Жнецы шагают и косари.

Навстречу жирной
земле снопов
встает под ливнем заря серпов.

А ветер в мокрых
возах везет
колосья песен на обмолот.

Колонна в поле вбивает шаг.
Заря над нею — как алый флаг.

Учительница, дающая уроки мирозданья

Союзница окон и горных озер,
колокол, мерно отсчитывающий золотые монеты ударов,
зеленая крона, плывущая в струях ветра,
море, раскинувшее синие сети,
в которых запутались белые голуби пены,—
ты водишь указкой по карте облаков,
объясняя весь мир и прозрачность его сердцевины.

Тело твое — это подарок земли.
Ты пришла из республики птиц,
из отчизны плодов и деревьев,
из обнаженной зари, засыпающей в снежных горах.
Ты — ключ к зашифрованной речи ручьев,
к целомудренной тайне яблок,
к трепету ветки, качающей плод, как ребенка,
к тайному братству колес,
дарящих надежду на каждом изгибе дороги.

Ты объясняешь секреты магических чисел,
сочленивших все вещи в гармонии космоса.

Ты правишь ладьей сновидений
во фьордах звучания и аромата.

Ты жница и сеятель всех неприметных свершений,
учительница любви, лоцман
неизведанного архипелага
на океанской карте небес.

Перевод СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Путешествие за главным

О, ненайденное королевство, Флорида или Эльдорадо!
Не обнаружено ни следа на камне,
ни источника Вечной Юности,
ни золота
в складках голого тела монарха.
Я искал без устали
небесные знаменья на коре деревьев,
письмена на облаках
и не нашел дорог к вожделенному
королевству.

Солнце лицо мое избороздило,
покуда день напролет, долгие годы
я трудился, мучась от жажды,
вызванной миражами
несуществующих водоемов.
Они не помогут пересечь пустыню.

Неведомая дорога,
я напрасно искал тебя долгие годы
в непроходимых лесах,
в краю песка и камня,
в огромных городах, сверкающих, как горящая сельва.

Золотая пыль развеяна по ветру.
Губы песка выпили колодцы.
Закат открывает мне свои тайны:
Эльдорадо расположено в нас самих —
империя цветов и наслаждений,
управляемая голым королем.

Я — открыватель самой дальней окраины,
конкистадор безымянного эфемерного королевства,
расположенного на последней границе
ветра и ночи.

Обыватели земли

Заявляю, что в нашем неимоверном столетье —
закат человека,
осужденного мириадами обывателей земли,
неспособных узреть облака и растенья,

обожравшихся золотом,
глухих к мировому оркестру
личинок — подручных грядущего Робота.

Обыватели закапывают в землю статуи,
замуровывают книги,
забрасывают в море ключи планеты,
чуждаются лилии,
распродают все, даже лунное сияние,
провозглашают, что лебедей надо резать во всемирном масштабе
и пустить на сырье для промышленности.

Обыватели с их одеяниями, и повадками,
и внутренней пустотой,
исчадия тени, отвергающие солнце,
воплощение скуки и зевоты —
тотальное восстание против человека
и его мира любви и чуда
с целью учредить Царство Пустословия.

Царство, где в небе — летательные аппараты,
где музыка — электронная,
а стандартные дома —
бесчисленные гробницы с окнами и балконами,
царство ос, бьющихся в оконцах,
царство глухонемых,
покорных светящимся надписям.

В городе обывателей
ручьев не бывает.
В стеклянных коробках
навеки поселилась алчность.
Алчность мечется в автомобильных вихрях,
мчится к неоновым созвездьям,
возвращаясь роями светляков.

О, неимоверное столетье!
Планета созерцает агонию
последних людей,
добиваемых динамичными
идентичными обывателями,
продвигающимися вперед, затаптывая книги и картины —
последнее убежище мечты человеческой.

Прощальное обращение к слову

Да будешь
ты, слово,
ядром
без скорлупы,

флаконом
духов,

мешком
дублонов.

Улей пчелиный!
Жизнь
формируй.

Пчела!
Создавай
радость
навек.

Не прахом
и не могильной плитой —
стань жаворонком,
что летит над зарей,

туманом,
влекомым
фантомом,
не стань.

Стань зеркалом,
землю
и небеса
отражай.

Охотничьим
рогом будь
и зови
оленей души

и все,
что на свете
теней
лишено.

Летайте,
как ласточки,
стрелы
слова!

Не пеною
с таньте
а краской
веков

и формой,
венчающей дело концом
и огибающей,
как обручальным кольцом.

Будь точной
мерой
мира,
слово.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

ГЕРМАН ГЕССЕ

Степной Волк

Перевод с немецкого С. АПТА

Предисловие издателя

Эта книга содержит оставшиеся нам записки того, кого мы, пользуясь выражением, которое не раз употреблял он сам, назвали «Степным Волком». Нуждается ли его рукопись во вступительном слове, трудно сказать; у меня, во всяком случае, есть потребность прибавить к страницам Степного Волка некоторое количество собственных, где я пытаюсь записать свои воспоминания, с ним связанные. Знаю я о нем мало, а его происхождение, да и все его прошлое мне так и неизвестны. Но у меня осталось сильное и, что бы там ни было, приятное впечатление от его личности.

Степной Волк был человек лет пятидесяти, который несколько лет назад зашел в дом моей тетки в поисках меблированной комнаты. Сняв мансарду и смежную с ней спаленку, он через несколько дней явился с двумя чемоданами и большим, набитым книгами ящиком и прожил у нас месяцев девять-десять. Жил он очень тихо и замкнуто, и, если бы не соседство наших спален, повлекшее за собой случайные встречи на лестнице и в коридоре, мы, наверно, так и не познакомились бы, поскольку общительностью он не отличался, он был в высшей, неведомой мне дотоле степени необщителен, он был и правда, как он иногда называл себя, Степным Волком, чужим, диким и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из нижеследующих, оставшихся от него записей; но уже и раньше, благодаря коротким встречам и разговорам, я в какой-то мере его распознал и нахожу, что образ, вырисовывающийся передо мной из его записей, в общем соответствует той, более бледной и менее полной, конечно, картине, которую я составил себе на основании нашего личного знакомства.

Случайно я присутствовал при том, как Степной Волк впервые переступил порог нашего дома и снял жилье у моей тетки. Он пришел в обеденное время, тарелки еще стояли на столе, а у меня оставалось еще полчаса до ухода в контору. Я не забыл странного и очень двойственного впечатления, которое он произвел на меня с первого взгляда. Вошел он через застекленную дверь, предварительно позвонив у нее, и в полутемной передней тетка спросила его, что ему нужно. А он, Степной Волк, запрокинул, принюхиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал:

— О, здесь хорошо пахнет.

Он улыбнулся, и моя добрая тетка тоже улыбнулась, а я нашел эти приветственные слова довольно смешными и почувствовал к нему какую-то неприязнь.

— Ну, да,— сказал он,— я пришел по поводу комнаты, которую вы сдаете.

Когда мы втроем поднимались по лестнице в мансарду, я сумел рассмотреть его лучше. Он был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека, носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одет был прилично, но небрежно, выбрит гладко, и волосы его, совсем короткие, мерцали проседью. Сначала его походка мне не понравилась, в ней была какая-то напряженность и нерешительность, не соответствовавшая ни его острому, резкому профилю, ни тону и темпераменту его речи. Лишь позже я заметил и узнал, что он болен и ходить ему трудно. Со странной улыбкой, которая тоже была мне тогда неприятна, он осмотрел лестницу, стены, и окна, и старые высокие шкафы на лестничной клетке, все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к нам из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо, сразу же и безоговорочно одобрил дом, комнату, плату за жилье, и завтрак, и прочее, и все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как мне показалось тогда, недобрым или враждебным. Он снял комнату, снял заодно и спаленку, осведомился об отоплении, воде, услугах и правилах распорядка, выслушал все внимательно и любезно, со всем согласился, сразу же предложил задаток, и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно и ново снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо по сути, внутренне он занят совсем другим. Таково примерно было мое впечатление, и оно осталось бы неблагоприятным, если бы с ним не пошли вразрез и его не исправили всякие мелкие черточки. Прежде всего — лицо нового жильца, которое мне с самого начала понравилось: несмотря на что-то диковинное во взгляде, оно понравилось мне, это было лицо, может быть, несколько необычное и печальное, но живое, очень осмысленное, четко вылепленное и одухотворенное. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было ни тени высокомерия — напротив, в них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу; объяснение этому я нашел лишь позднее, но это сразу же немного расположило меня к нему.

Еще до того, как осмотр обеих комнат и остальные переговоры закончились, истек мой обеденный перерыв и мне пришлось отправиться на службу. Я откланялся и оставил его в обществе тетки. Вечером, когда я вернулся, она сказала мне, что он снял жилье и на днях переберется, но попросил не прописывать его в полиции, пото-

му что он человек болезненный и терпеть не может всяких формальностей, хождения по канцеляриям и так далее. Хорошо помню, как это меня тогда озадачило и как я посоветовал тетке не соглашаться с таким условием. Именно в сочетании со всем непривычным и чужим в облике нашего посетителя его страх перед полицией показался мне подозрительным. Я заявил тетке, что, имея дело с совершенно незнакомым человеком, никак нельзя уступать этому и вообще-то странному требованию, исполнение которого может при случае повлечь за собой весьма неприятные для нее последствия. Но тут оказалось, что тетка уже обещала ему исполнить его желание и что она вообще уже очарована и покорена незнакомцем, ведь она никогда не пускала жильцов, если не чувствовала возможности какого-то человеческого, дружеского, заботливо-родственного, точнее даже — материнского, отношения к ним, чем многие прежние жильцы вовсю пользовались. Так и получилось, что в первые недели я находил у нового жильца всякие недостатки, а тетка каждый раз горячо защищала его.

Поскольку эта история с пропиской мне не понравилась, я пожелал хотя бы выяснить, что знает тетка о незнакомце, об его происхождении и его намерениях. Оказалось, что она кое-что знает, хотя после моего ухода в полдень он задержался у нее совсем ненадолго. Он сказал, что собирается пробыть в нашем городе несколько месяцев, воспользоваться местными библиотеками и осмотреть здешние древности. Тетку, собственно, не устраивал жилец на столь короткий срок, но незнакомец явно уже расположил ее к себе, несмотря на свое несколько странное появление. Короче говоря, комнаты были сданы, и мои возражения запоздали.

— С какой стати он сказал, что здесь хорошо пахнет? — спросил я.

Тут моя тетушка, у которой иногда бывали довольно верные догадки, сказала:

— Мне это совершенно ясно. У нас здесь пахнет опрятностью и порядком, пахнет уютной и благопристойной жизнью, и это ему понравилось. Похоже, что он к этому не привык и в этом нуждается.

Ну что ж, подумал я, вполне возможно.

— Однако,— сказал я,— если он не привык к упорядоченной и благопристойной жизни, то что же получится? Что ты станешь делать, если он нечистоплотен и будет везде оставлять грязь или являться по ночам пьяный?

— Посмотрим,— сказала она и засмеялась, и я оставил эту тему.

Мои опасения оказались и правда напрасными. Хотя наш квартирант отнюдь не вел упорядоченной и размеренной жизни, он не обременял нас и не причинял нам никакого ущерба, мы и поныне любим о нем вспоминать. Но внутренне, психологически, этот человек обоим нам, тетушке и мне, еще как мешал и был еще каким бременем, и, честно говоря, я от него еще далеко не освободился. Иногда я вижу его ночами во сне и чувствую, что он, что самый факт существования такого человека по сути мешает мне и тревожит меня, хотя я его прямо-таки полюбил.

Два дня спустя извозчик доставил вещи незнакомца, которого звали Гарри Галлер. Очень красивый кожаный чемодан произвел на меня хорошее впечатление, а большой плоский кофр свидетельствовал о прежних дальних поездках, во всяком случае он был облеплен пожелтевшими ярлыками отелей и транспортных агентств разных стран, даже заморских.

Потом появился он сам, и началась та пора, когда я постепенно узнавал этого необычного человека. Сначала я со своей стороны ничего для этого не предпринимал. Хотя Галлер заинтересовал меня, едва я увидел его, в первые несколько недель я не сделал ни единой попытки встретиться с ним или вступить в разговор. Однако, признаюсь, я с самого начала немного за ним наблюдал, даже захаживал в его отсутствие к нему в комнату и вообще немножко шпионил из любопытства.

О внешности Степного Волка я уже кое-что сообщил. Он безусловно и с первого же взгляда производил впечатление человека значительного, редкого и незаурядно одаренного, лицо его светилось умом, а чрезвычайно тонкая и живая игра его черт отражала интересную, необыкновенно тонкую и чуткую работу духа. Когда он, что случалось не всегда, выходил в беседе за пределы условностей и, как бы вырвавшись из своей диковинности, говорил что-нибудь от себя лично, нашему брату ничего не оставалось, как подчиниться ему, он думал больше, чем другие, и в вопросах духовных обладал той почти холодной объективностью, тем продуманным знанием, что свойственны лишь людям действительно духовной жизни, лишенным какого бы то ни было честолюбия, не стремящимся блистать, или убедить другого, или оказаться правыми.

Мне вспоминается одно такое высказывание последней поры его пребывания здесь, собственно, даже и не высказывание, ибо состояло оно только в брошенном им взгляде. В актовом зале университета должен был выступить с докладом один знаменитый философ и историк культуры, человек с европейским именем, и мне удалось уговорить Степного Волка, который сперва всячески отнекивался, послушать этот доклад. Мы пошли вместе и в зале сидели рядом. Взойдя на кафедру и приступив к лекции, оратор разочаровал многих слушателей, ожидавших увидеть чуть ли не пророка, своим щеголеватым и суетным видом. Когда он для начала сказал несколько лестных слов слушателям, поблагодарив аудиторию за ее многолюдность, Степной Волк бросил мне короткий взгляд, выразивший критическое отношение к этим словам и вообще к оратору,— о, взгляд незабываемый и ужасный, о смысле которого можно написать целую книгу! Его взгляд критиковал не только оратора, уничтожая знаменитого человека своей убийственной, хотя и мягкой иронией, это еще пустяк. Взгляд его был скорее печальным, чем ироничным, он был безмерно и безнадежно печален; тихое, почти уже вошедшее в привычку отчаяние составляло содержание этого взгляда. Своей отчаянной ясностью он просвечивал не только личность суетного оратора, высмеивал не только сиюминутную ситуацию, ожидания и настроение публики, несколько претенциозное заглавие объявленной лекции — нет, взгляд Степного Волка пронзал все наше время, все мельтешение, весь карьеризм, всю суетность, всю мелкую возню мнимой, поверхностной духовности — да что там, взгляд этот проникал, увы, еще глубже, был направлен гораздо дальше, чем только на безнадежные изъяны нашего времени, нашей духовности, нашей культуры. Он был направлен в сердце всего человечества, в одну-единственную секунду он красноречиво выразил все сомнение мыслителя и, может быть, мудреца в достоинстве, в смысле человеческой жизни вообще. Этот взгляд говорил: «Вот какие мы шуты гороховые! Вот каков человек!» — и любая знаменитость, любой ум, любые достижения духа, любые человеческие потуги на величие, величавость и долговечность шли прахом и оказывались шутовством!

Я сильно забежал вперед и, собственно, вопреки своему намерению и желанью в общем-то уже сказал самое существенное о Гал-

лере, хотя сперва собирался нарисовать его портрет лишь исподволь, путем последовательного рассказа о моем с ним знакомстве.

Раз уж я так забежал вперед, то не стоит больше распространяться насчет загадочной «диковинности» Галлера и подробно излагать, как я постепенно почувствовал и узнал причины и смысл этого чрезвычайного и ужасного одиночества. Так будет лучше, ибо свою собственную персону мне хотелось бы по возможности оставить в тени. Я не хочу ни писать исповедь, ни рассказывать истории, ни пускаться в психологию, а хочу лишь как очевидец прибавить кое-какие штрихи к портрету странного человека, от которого остались эти записки Степного Волка.

Уже с первого взгляда, когда он вошел через тетушкину застекленную дверь, запрокинул по-птичьи голову и похвалил хороший запах нашего дома, я заметил в незнакомце что-то особенное, и первой моей наивной реакцией было отвращение. Я почувствовал (и моя тетка, человек, в отличие от меня, совсем не умственный, почувствовала примерно то же самое)—я почувствовал, что он болен, то ли душевно, то ли какой-то болезнью характера, и свойственный здоровым инстинкт заставил меня обороняться. Со временем это оборонительное отношение сменилось симпатией, основанной на большом сочувствии к тому, кто так глубоко и долго страдал и чье внутреннее умирание происходило у меня на глазах. В этот период я все больше и больше осознавал, что болезнь этого страдальца коренится не в каких-то пороках его природы, а, наоборот, в великом богатстве его сил и задатков, не достигшем гармонии. Я понял, что Галлер — гений страдания, что он, в духе некоторых тезисов Ницше, выработал в себе гениальную, неограниченную, ужасающую способность к страданию. Одновременно я понял, что почва его пессимизма — не презрение к миру, а презрение к себе самому, ибо при всей уничтожающей беспощадности его суждений о заведенных порядках или о людях он никогда не считал себя исключением, свои стрелы он направлял в первую очередь в себя самого, он ненавидел и отрицал себя самого в первую очередь...

Тут я должен вставить одно психологическое замечание. Хотя я мало что знаю о жизни Степного Волка, у меня есть все причины полагать, что любящие, но строгие и очень благочестивые родители и учителя воспитывали его в том духе, который кладет в основу воспитания «подавление воли». Так вот, уничтожить личность, подавить волю в данном случае не удалось, ученик был для этого слишком силен и тверд, слишком горд и умен. Вместо того чтобы уничтожить его личность, удалось лишь научить его ненавидеть себя самого. И против себя самого, против этого невинного и благородного объекта он пожизненно направлял всю гениальность своей фантазии, всю силу своего разума. Ибо в том-то он и был, несмотря ни на что, истинным христианином и истинным мучеником, что всякую резкость, всякую критику, всякое ехидство, всякую ненависть, на какую был способен, обрушивал прежде всего, первым делом на себя самого. Что касалось остальных, окружающих, то он упорно предпринимал самые героические и самые серьезные попытки любить их, относиться к ним справедливо, не причинять им боли, ибо заповедь «люби ближнего твоего» въелась в него так же глубоко, как ненависть к самому себе, и, таким образом, вся его жизнь была примером того, что без любви к себе невозможна и любовь к ближнему, а ненависть к себе — в точности то же самое и приводит к точно такой же изоляции и к такому же точно отчаянию, как и отъявленный эгоизм.

Но пора мне отставить собственные домыслы и перейти к фактам. Итак, первое, что я узнал о Гарри Галлере — отчасти благодаря своему шпионству, отчасти из замечаний тетушки,— касалось его образа жиз-

ни. Что он человек умственно книжный и не имеет никакого практического занятия, выяснилось вскоре. Он всегда залеживался в постели, часто вставал чуть ли не в полдень и проделывал в халате несколько шагов, отделявших маленькую спальню от его гостиной. Эта гостиная, большая и приятная мансарда с двумя окнами, уже через несколько дней приобрела другой вид, чем при прежних жильцах. Она наполнилась — и со временем наполнялась все больше. Вешались картины, прикалывались к стенам рисунки, иногда вырезанные из журналов иллюстрации, которые часто менялись. Южный пейзаж, фотографии немецкого провинциального городка, видимо родины Галлера, висели здесь вперемежку с яркими, светящимися акварелями, о которых мы лишь впоследствии узнали, что они написаны им самим. Затем фотография красивой молодой женщины или девушки. Одно время на стене висел сиамский Будда, смененный сперва репродукцией «Ночи» Микеланджело, а потом портретом Махатмы Ганди. Книги заполняли не только большой книжный шкаф, но и лежали повсюду на столах, на красивом старом секретере, на диване, на стульях, на полу, книги с бумажными закладками, постоянно менявшимися. Книги непрестанно прибавлялись, ибо он не только приносил целые кипы из библиотек, но и получал весьма часто бандероли по почте. Человек, который жил в этой комнате, мог быть ученым. Такому впечатлению соответствовал и сигарный дым, все здесь окутывавший, и разбросанные повсюду окурки сигар, и пепельницы. Однако изрядная часть книг была не ученого содержания, подавляющее большинство составляли сочинения писателей всех времен и народов. Одно время на диване, где он часто проводил лежа целые дни, валялись все шесть томов сочинения под названием «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» — конца восемнадцатого века. Зачитанный вид был у полных собраний сочинений Гёте и Жан Поля, а также Новалиса, Лессинга, Якоби и Лихтенберга. В нескольких томах Достоевского сплошь торчали исписанные листки. На большом столе среди книг и рукописей часто стоял букет цветов, там же пребывал и этюдник с акварельными красками, всегда, впрочем, покрытый пылью, рядом с ним — пепельницы и, не стану об этом умалчивать, всевозможные бутылки с напитками. В оплетенной соломой бутылке было обычно красное вино, которое он брал в лавочке поблизости, иногда появлялась бутылка бургундского или малаги, а толстая бутылка с вишневой наливкой была, как я видел, за короткий срок почти опорожнена, но потом исчезла в каком-то углу и пылилась без дальнейшего убывания остатка. Не стану оправдывать своего шпионства и честно признаюсь, что первое время все эти приметы хоть и наполненной духовными интересами, но все же довольно-таки беспутной и разболтанной жизни вызывали у меня отвращение и недоверие. Я не только человек бюргерской размеренности в быту, я к тому же не пью и не курю, и эти бутылки в комнате Галлера не понравились мне еще больше, чем прочий живописный беспорядок.

Так же, как в отношении сна и работы, незнакомец не соблюдал решительно никакого режима в еде и питье. В иные дни он вообще не выходил из дому и не подкреплялся ничем, кроме утренного кофе; единственным порой остатком его трапезы, который находила тетка, оказывалась брошенная кожура от банана, зато в другие дни он ел в ресторанах, иногда в хороших, изысканных, иногда в какой-нибудь харчевне на окраине города. Крепким здоровьем он, видимо, не обладал; кроме скованности в ногах, которыми он часто с явным трудом преодолевал лестницы, его мучили, видимо, и другие недуги, и както он вскользь заметил, что уже много лет не знает ни нормального пищеварения, ни нормального сна. Я приписал это прежде всего тому,

что он пил. Позднее, когда я захаживал с ним в одну из его ресторации, мне доводилось наблюдать, как он быстро и своенравно пропускал рюмку-другую, но по-настоящему пьяным ни я, ни еще кто-либо его ни разу не видел.

Никогда не забуду нашей первой более личной встречи. Мы были знакомы лишь шапочно, как бывают знакомы между собой соседи, живущие в одном доме. Однажды вечером, возвращаясь из конторы, я, к своему удивлению, застал господина Галлера сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажом. Он сидел на верхней ступеньке и подвинулся в сторону, чтобы меня пропустить. Я спросил его, не чувствует ли он себя плохо, и предложил проводить его до самого верха.

Галлер посмотрел на меня, и я понял, что вывел его из какого-то сонного состояния. Он медленно улыбнулся своей красивой и грустной улыбкой, которой так часто надрывал мне сердце, а потом пригласил меня сесть рядом с ним. Я поблагодарил и сказал, что не привык сидеть на лестнице перед чужими квартирами.

— Ах, да,— сказал он и улыбнулся еще раз.— Вы правы. Но погодите минутку, я покажу вам, почему я здесь присел.

Тут он указал на площадку перед квартирой второго этажа, где жила одна вдова. На крошечном пятачке паркета между лестницей, окном и застекленной дверью стоял у стены высокий шкаф красного дерева со старинными оловянными украшениями, а на полу перед шкафом, в больших горшках на двух низких подставочках, стояли два растения — азалия и араукария. Растения выглядели красиво и содержались всегда в безупречной опрятности, что я уже с удовольствием отмечал.

— Видите,— продолжал Галлер,— эта площадочка с араукарией, здесь такой дивный запах, что я часто прямо-таки не в силах пройти мимо, не помешкав минутку. У вашей тетушки тоже все благоухает и царят порядок и чистота, но эта вот площадочка с араукарией — она так сверкающе чиста, так вытерта, натерта и вымыта, так неприкосновенно опрятна, что просто сияет. Мне всегда хочется здесь надышаться — чувствуете, как здесь пахнет? Как этот запах воска, которым натерт пол, и слабый привкус скипидара вместе с красным деревом, промытыми листьями растений и всем прочим создают благоухание, создают высшее выражение мещанской чистоты, тщательности и точности, исполнения долга и верности в малом. Не знаю, кто здесь живет, но за этой стеклянной дверью должен быть рай чистоты, мещанства без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям.

Поскольку я промолчал, он продолжил:

— Пожалуйста, не думайте, что я иронизирую! Дорогой мой, я меньше всего хотел бы подтрунивать над этим мещанским порядком. Верно, я сам живу в другом мире, не в этом, и, пожалуй, не выдержал бы и дня в квартире с такими араукариями. Но хоть я и старый, немного уже облезлый степной волк, я тоже как-никак сын своей матери, а моя мать тоже была мещанка, она разводила цветы, следила за комнатой и за лестницей, за мебелью и за гардинами и старалась придать своей квартире и своей жизни как можно больше опрятности, чистоты и добропорядочности. Об этом напоминает мне запах скипидара, напоминает араукария, и вот я порой сижу здесь, гляжу на этот тихий садик порядка и радуюсь, что такое еще существует на свете.

Он хотел встать, но это оказалось ему трудно, и он не отстранил меня, когда я ему немного помог. Я продолжал молчать, но поддался, как то уже произошло с моей тетушкой, какому-то очарованию, исхо-

дившему подчас от этого странного человека. Мы медленно поднялись вместе по лестницам, и перед своей дверью, уже держа в руке ключ, он снова прямо и очень приветливо посмотрел мне в лицо и сказал:

— Вы пришли сейчас из своей конторы? Ну да, в этом я ничего не смыслю, я живу, знаете ли, несколько в стороне, несколько на отшибе. Но, наверно, вы тоже интересуетесь книгами и тому подобным, ваша тетушка сказала мне как-то, что вы кончили гимназию и были сильны в греческом. Сегодня утром я нашел одну фразу у Новалиса, можно показать вам ее? Вам это тоже доставит удовольствие.

Он завел меня в свою комнату, где сильно пахло табаком, вытащил из кучи какую-то книгу, полистал, поискал...

— И это тоже хорошо,— сказал он,— послушайте-ка: «Надо бы гордиться болью, всякая боль есть память о нашем высоком назначении». Прекрасно! За восемьдесят лет до Ницше! Но это не то изречение, которое я имел в виду,— погодите, нашел. Вот оно: «Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать». Разве это не остроумно? Конечно, они не хотят плавать! Ведь они созданы для суши, а не для воды. И конечно, они не хотят думать: ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать! Ну, а кто думает, кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в этом преуспеть, но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет.

Так он залучил меня к себе и заинтересовал, и я задержался у него на несколько минут, и с тех пор мы часто, встречаясь на лестнице или на улице, немного беседовали. При этом сначала, так же как в тот раз возле араукарии, я не мог отделаться от чувства, что он иронизирует надо мной. Но это было не так. Он испытывал ко мне, как и к араукарии, поистине уважение, он так глубоко проникся сознанием своего одиночества, своей обреченности плавать, своего отщепенства, что порой и в самом деле без всякой насмешки мог прийти в восторг от какого-нибудь слуги или, скажем, трамвайного кондуктора. Сперва мне казалось это довольно смешным преувеличением, барской причудой, кокетливой сентиментальностью. Но мало-помалу я убеждался, что, глядя на наш мещанский мирок из своего безвоздушного пространства, из волчьей своей отчужденности, он действительно восхищался этим мирком, воистину любил его как нечто прочное и надежное, как нечто недостижимо далекое, как родину и покой, путь к которым ему, Степному Волку, заказан. Перед нашей привратницей, славной женщиной, он всегда снимал шляпу с неподдельным почтением, и когда моя тетушка с ним болтала или напоминала ему, что его белье требует починки или что у него отрывается пуговица на пальто, он слушал ее на редкость внимательно и серьезно, словно изо всех сил, но безнадежно старался проникнуть через какую-нибудь щелку в этот спокойный мирок и сродниться с ним хотя бы на час.

Уже в ходе того первого разговора возле араукарии он назвал себя Степным Волком, и это тоже немного удивило и покоробило меня. Что за манера выражаться?! Но я не только примирился с этим выражением благодаря привычке, а и сам стал вскоре мысленно называть нашего жильца не иначе как Степным Волком, да и сейчас не нашел бы более меткого определения для него. Степной Волк, оплошно забредший к нам в город в стадную жизнь,— никакой другой образ точнее не нарисует этого человека, его робкого одиночества, его дикости, его тревоги, его тоски по родине и его безродности.

Однажды мне довелось наблюдать его в течение целого вечера, на симфоническом концерте, где он, к моему изумлению, сидел поблизости, но меня не заметил. Сперва давали Генделя, благородную и красивую музыку, но Степной Волк сидел безучастно, погру-

женный в свои мысли, и не обращал внимания ни на музыку, ни на окружающих. Отрешенный, одинокий, чужой, он сидел с холодным, но озабоченным видом, опустив глаза. Потом началась другая пьеса, маленькая симфония Фридемана Баха, и я поразился, увидев, как после первых же тактов мой отшельник стал улыбаться, заражаясь игрой,— он совершенно ушел в себя и минут, наверное, десять пребывал в таком счастливом забытьи, казался погруженным в такие сладостные мечты, что я следил не столько за музыкой, сколько за ним. Когда пьеса кончилась, он пробудился, сел прямее, собрался было встать и уйти, но все же остался в кресле, чтобы выслушать и последнюю пьесу — это были вариации Регера, музыка, которую многие находили несколько затянутой и утомительной. И Степной Волк, тоже слушавший поначалу внимательно и доброжелательно, снова отвлекся, он засунул руки в карманы и снова ушел в себя, но на сей раз не счастливо-мечтательно, а печально и наконец зло, его лицо снова отдалилось, посерело, потухло, он казался старым, больным, недовольным.

После концерта я опять увидел его на улице и пошел следом за ним; кутаясь в пальто, он невесело и устало шагал по направлению к нашему кварталу, но, остановившись у одного старомодного ресторанчика, нерешительно взглянул на часы и вошел внутрь. Мне вдруг взбрело в голову последовать за ним. Он сидел за столиком мещанского заведения, хозяйка и официантки приветствовали его как завсегдатая, я тоже поздоровался и подсел к нему. Мы просидели там час, и за это время я выпил два стакана минеральной воды, а ему принесли пол-литра, а потом еще четверть литра красного вина. Я сказал, что был на концерте, но он не поддержал этой темы. Прочитав этикетку на моей бутылке с водой, он спросил, не выпью ли я вина: он меня угостит. Когда он услыхал, что вина я вообще не пью, на лице его снова появилось выражение беспомощности и он сказал:

— Да, вы правы. Я тоже годами жил в воздержании и подолгу постился, но сейчас я опять пребываю под знаком Водолея, это темный и влажный знак.

И когда я в шутку подхватил это замечание и нашел странным, что именно он верит в астрологию, он снова взял тот слишком вежливый тон, который меня часто обижал, и сказал:

— Совершенно верно, и в эту науку поверить я, к сожалению, не могу.

Я попрощался и ушел, а он вернулся домой лишь поздно ночью, но походка его не отличалась от обычной, и, как всегда, лег он в постель не сразу (все это я, благодаря соседству наших комнат, прекрасно слышал), а провел еще около часа в своей освещенной гостиной.

Помнится мне и другой вечер. Я был один дома, тетка куда-то ушла, позвонили у парадного, я отворил, увидел перед собой молодую, очень красивую даму и, когда она спросила господина Галлера, узнал ее: это была та, чья фотография висела у него в комнате. Я показал ей его дверь и удалился, она некоторое время пробыла наверху, но вскоре я услыхал, как они вместе спускаются по лестнице и выходят, оживленно и очень весело шутя и болтая. Меня очень удивило, что у нашего отшельника есть возлюбленная, и притом такая молодая, красивая и элегантная, и все мои догадки насчет его и его жизни стали опять под вопрос. Но не прошло и часа, как он вернулся домой, один, тяжелой, печальной поступью, с трудом поднялся по лестнице и потом часами тихо шагал по своей гостиной взад и вперед, совсем как волк в клетке, и всю ночь, почти до утра, в его комнате горел свет.

Я решительно ничего не знаю об этих отношениях и добавлю толь-

ко, что с той женщиной видел его еще один раз, где-то на улице. Они шли под руку, и у него был счастливый вид, и я опять подивился тому, каким милым, даже детским могло быть порой его озабоченное, отрешенное лицо, и понял эту женщину, и понял участие, которое проявляла к нему моя тетка. Но и в тот день он вечером вернулся домой печальный и несчастный; я встретил его у парадного, он нес под пальто, как уже бывало, итальянскую бутылку, за которой и просидел потом полночи в своем логове. Мне было жаль его: какой он жил безотрадной, загубленной, беззащитной жизнью!

Хватит, однако, разглагольствовать. Не нужно никаких больше рассказов и описаний, чтобы показать, что Степной Волк вел жизнь самоубийцы. И все же я не думаю, что он покончил с собой, когда вдруг, не попрощавшись, но погасив все задолженности, покинул наш город и исчез. Мы ничего о нем с тех пор не слыхали и все еще храним несколько писем, пришедших потом на его имя. Осталась от него только рукопись, написанная им, когда он здесь жил,— из нескольких строк, к ней приложенных, явствует, что он дарит ее мне и что я волен делать с ней что угодно.

Я не имел возможности проверить, насколько соответствуют действительности истории, о которых повествует рукопись Галлера. Не сомневаюсь, что они по большей части сочинены, но это не произвольный вымысел, а попытка выразить что-то, облекая глубоко пережитое душой в форму зримых событий. Фантастические отчасти истории в сочинении Галлера относятся, вероятно, к последней поре его пребывания здесь, и я не сомневаюсь, что основаны они и на некоторых подлинных, внешних впечатлениях. В ту пору поведение и вид нашего гостя действительно изменились, он часто, иногда ночами, не бывал дома, и книги его лежали нетронутые. Во время наших редких тогда встреч он казался поразительно оживленным и помолодевшим, иногда даже веселым. Потом, однако, сразу последовала новая тяжелая депрессия, он по целым дням оставался в постели, не принимая никакой пищи, и как раз на ту полосу пришлась бурная, можно сказать грубая, ссора с его вновь появившейся возлюбленной, ссора, которая возмутила весь дом и за которую Галлер на следующий день просил прощения у моей тетки.

Нет, я убежден, что он не покончил с собой. Он еще жив, он где-нибудь ходит усталыми своими ногами по лестницам чужих домов, разглядывает где-нибудь сверкающие паркеты и ухоженные араукарии, просиживает дни в библиотеках, а ночи — в кабаках или валяется на диване, который взял напрокат, слышит, как живут за окнами люди и мир, знает, что он отрезан от них, но не накладывает на себя руки, ибо остаток веры твердит ему, что он должен испить душою до дна эту боль, эту страшную боль и что умереть он должен от этой боли. Я часто о нем думаю, он не облегчил мне жизнь, не был способен поддержать и утвердить во мне силу и радость, о нет, напротив! Но я не он, и я живу не его жизнью, а своей, маленькой, мещанской, но безопасной и наполненной обязанностями. И мы вспоминаем о нем с мирным и дружеским чувством, я и моя тетушка, которая могла бы поведать о нем больше, чем я, но это останется скрыто в ее доброй душе.

Что касается записок Галлера, этих странных, отчасти болезненных, отчасти прекрасных и глубокомысленных фантазий, то должен сказать, что попадись мне эти листки случайно и не знай я их автора, я бы их, конечно, с негодованием выбросил. Но благодаря знакомству с Галлером я смог их отчасти понять, даже одобрить. Я бы по-

остерегся открывать их другим, если бы видел в них лишь патологические фантазии какого-то одиночки, несчастного душевнобольного. Но я вижу в них нечто большее, документ эпохи, ибо душевная болезнь Галлера — это мне теперь ясно — не выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, и похоже, что неврозом этим охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а как раз сильные, наиболее умные и одаренные.

Нижеследующие записки — неважно, в какой мере основаны они на реальных событиях,— попытка преодолеть большую болезнь эпохи не обходным маневром, не приукрашиванием, а попыткой сделать самую эту болезнь объектом изображения. Они представляют собой в полном смысле слова сошествие в ад, то боязливое, то мужественное сошествие в хаос помраченной души, предпринятое с твердым намерением пройти через ад, померяться силами с хаосом, выстрадать все до конца.

Ключ к пониманию этого дало мне одно замечание Галлера. Как-то раз после разговора о так называемых жестокостях средневековья он мне сказал:

— На самом деле это никакие не жестокости. У человека средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение, он показался бы ему не то что жестоким, а ужасным и варварским! У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя, подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в средневековье, он бы, бедняга, в нем задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность! Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду наперед, больше чем на одно поколение раньше других,— то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи.

Читая записки Галлера, я часто вспоминал эти слова. Галлер принадлежит к тем, кто оказался между двумя эпохами, кто ничем не защищен и навсегда потерял непорочность, к тем, чья судьба — ощущать всю темноту человеческой жизни с особенной силой, как личную муку, как ад.

В этом, по-моему, состоит смысл, который имеют для нас его записи, и поэтому-то я и решился их опубликовать. Вообще же я не хочу ни брать их под защиту, ни судить о них, пусть каждый читатель сделает это, как велит ему совесть!

Записки Гарри Галлера

Только для сумасшедших

День прошел, как и вообще-то проходят дни: я убил, я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом жить; несколько часов я работал, копался в старых книгах, в течение двух часов у меня

были боли, как и вообще у пожилых людей, я принял порошок и порадовался, что удалось перехитрить боль, полежал в горячей ванне, вбирая в себя приятное тепло, трижды получил почту и просмотрел все ненужные мне письма и бандероли, проделал свои дыхательные упражнения, а умственные упражнения из лени сегодня отставил, часок погулял и увидел на небе прекрасные, нежные, редкостные узоры перистых облаков. Это было очень славно, так же, как читать старые книги, как лежать в горячей ванне, но в общем день был совсем не чудесный, отнюдь не сиял счастьем и радостью, а был просто одним из этих давно уже обычных и привычных для меня дней — умеренно приятных, вполне терпимых, сносных, безликих дней пожилого недовольного господина, одним из дней без особых болей, без особых забот, без настоящего горя, без отчаяния, дней, когда даже вопрос, не пора ли последовать примеру Адальберта Штифтера и смертельно порезаться при бритье, разбирается деловито и спокойно, без волнения и страха.

Кто знает другие дни, скверные, с приступами подагры или с ужасной головной болью, гнездящейся за глазными яблоками и своим дьявольским колдовством превращающей из радости в муку всякую деятельность, для которой нужны зренье и слух, или те дни духовного умирания, те черные дни пустоты и отчаяния, когда среди разоренной и высосанной акционерными обществами земли человеческий мир и так называемая культура с их лживым, дешевым, мишурным блеском то и дело вызывают у нас тошноту, а самым несносным их средоточием становится наша собственная больная душа,— кто знает эти адские дни, тот очень доволен такими обычными, половинчатыми днями, как сегодняшний, он благодарно сидит у теплой печки, благодарно отмечает, читая утреннюю газету, что и сегодня не вспыхнула война, не установилась новая диктатура, не вскрылось никакой особенной гадости в политике и экономике, он благодарно настраивает струны своей заржавленной лиры для сдержанного, умеренно радостного, почти веселого благодарственного псалма, которым нагоняет скуку на своего чуть приглушенного бромом половинчатого бога довольства, и в спертом воздухе этой довольной скуки, этой благодарности, безболезненности они оба, половинчатый бог, клюющий носом, и половинчатый человек, с легким ужасом поющий негромкий псалом, похожи друг на друга, как близнецы.

Прекрасная вещь — довольство, безболезненность, эти сносные, смирные дни, когда ни боль, ни радость не осмеливаются вскрикнуть, когда они говорят шепотом и ходят на цыпочках. Но со мной, к сожалению, дело обстоит так, что именно этого довольства я не выношу, оно быстро осточертевает мне, и я в отчаянии устремляюсь в другие температурные пояса, по возможности путем радостей, а на худой конец и с помощью болей. Стоит мне немного пожить без радости и без болей, подышать вялой и пресной сносностью так называемых хороших дней, как ребяческая душа моя наполняется безнадежной тоской, и я швыряю заржавленную лиру благодарения в довольное лицо сонного бога довольства, и жар самой лютой боли милей мне, чем эта здоровая комнатная температура. Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски — магазин, например, собор или себя самого,— совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить каких-нибудь взбунтовавшихся школьников вожделенными билетами до Гамбурга, растлить девочку или свернуть шею нескольким представителям мещанского образа жизни.

Ведь именно это я ненавидел и проклинал непримиримей, чем прочее,— это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благоухоженный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего.

Вот в каком настроении закончил я, когда стемнело, этот заурядный сносный день. Закончил я его не так, как полагалось бы и было полезно человеку недомогающему: не лег в приготовленную постель, где меня, как приманка, ждала грелка, а, выполнив свой небольшой, не принесший удовлетворения и опротивевший урок работы, уныло надел башмаки, пальто и в туманной темноте отправился в город, чтобы в гостинице «Стальной шлем» выпить то, что пьющие мужчины по старому обычаю называют «стаканчиком вина».

Итак, я стал спускаться из своей мансарды по лестницам, по этим трудным для подъема лестницам чужбины, лестницам благопристойного трехквартирного доходного дома, в мансарде которого находилась моя келья. Не знаю, почему так получается, но я, безродный Степной Волк, одинокий враг мещанского мира, живу всегда в самых что ни на есть мещанских домах, это моя старая слабость. Не во дворцах и не в пролетарских домах, а неукоснительно в этих благопристойных, скучнейших, содержащихся в безупречном порядке мещанских гнездах, где попахивает скипидаром и мылом, где пугаешься, если услышишь, что дверь парадного громко хлопнула, или если войдешь в грязных ботинках. Я люблю эту атмосферу несомненно со времен детства, и моя тайная тоска по какому-то подобию родины снова и снова безнадежно ведет меня этими старыми глупыми путями. Да и нравится мне контраст между моей жизнью, моей одинокой, не знающей любви, затравленной, донельзя беспорядочной жизнью и этой семейно-мещанской сферой. Я люблю вдыхать на лестнице этот запах тишины, порядка, чистоты, благопристойности и обузданности, запах, в котором всегда, несмотря на свою ненависть к мещанству, нахожу что-то трогательное, люблю переступать затем порог собственной комнаты, где все это кончается, где среди нагроможденных книг валяются окурки сигар и стоят бутылки из-под вина, где все неуютно, все в беспорядке и запустенье и где все — книги, рукописи, мысли — отмечено и пропитано бедой одиноких, трудностью человеческого бытия, тоской по новой осмысленности человеческой жизни, утратившей смысл.

И вот я миновал араукарию. На втором этаже этого дома лестница проходит мимо маленькой площадки перед квартирой, которая несомненно еще безупречнее, чище, прибраннее, чем другие, ибо эта площадочка сияет сверхчеловеческой ухоженностью, она — маленький светящийся храм порядка. На паркетном полу, ступить на который боишься, стоят здесь две изящных скамеечки, и на каждой — по большому горшку, в одном растет азалия, в другом — довольно-таки красивая араукария, здоровое, стройное деревце, совершенное в своем роде, каждая иголочка, каждая веточка промыта до блеска. Иной раз, когда знаю, что меня никто не видит, я пользуюсь этим местом как храмом, сажусь над араукарией на ступеньку, немного отдыхаю, складываю молитвенно руки и благоговейно гляжу вниз, на этот садик порядка, берущий меня за душу своим трогательным видом и смешным одиночеством. За этой площадкой, как бы под священной сенью араукарии, мне видится квартира, полная сверкающего красного дерева, видится жизнь, полная порядочности и здоровья, жизнь, в которой рано встают, исполняют положенные обязанности, умеренно-весело справляют семейные праздники, ходят по воскресеньям в церковь и рано ложатся спать.

С наигранной бодростью шагал я по сырому асфальту улиц, слезясь и расплываясь глядели огни фонарей сквозь холодную морось и высасывали тусклые отражения из мокрой земли. Мне вспомнились забытые годы юности — как любил я тогда такие темные и хмурые вечера поздней осени и зимы, как жадно в ту пору и опьяненно впитывал я в себя атмосферу одиночества и грусти, когда чуть ли не по целым ночам, в дождь и бурю, бродил, закутавшись в пальто, среди враждебной, оголенной природы, одинокий уже и в ту пору, но полный глубокого счастья и переполненный стихами, которые затем записывал при свете свечи, сидя на краю кровати у себя в комнатке! Что ж, это прошло, эта чаша была выпита и больше не наполнялась. Жалел ли я об этом? Нет, не жалел. Ничего не было жаль, что прошло. Жаль было моего сегодня, всех этих бесчисленных часов, которые я потерял, которые только вытерпел, которые не принесли мне ни подарков, ни потрясений. Но слава богу, исключенья тоже бывали, бывали иногда, редко правда, и другие часы, они приносили потрясения, приносили подарки, ломали стены и возвращали меня, заблудшего, к живой душе мирозданья. С грустью и все-таки с большим интересом попытался я вспомнить последнее впечатление такого рода. Это было на концерте, играли прекрасную старинную музыку, и между двумя тактами пиано деревянных духовых мне вдруг снова открылась дверь в потусторонний мир, я взлетел в небеса и увидел бога за работой, я испытал блаженную боль и больше уже ни от чего на свете не защищался, больше уже ничего не боялся на свете, всему сказал «да», отдал свое сердце всему. Продолжалось это недолго, каких-нибудь четверть часа, но в ту же ночь вернулось во сне и с тех пор нет-нет да поблескивало украдкой и в самые унылые дни, иногда я по нескольку минут отчетливо это видел — как золотой божественный след, проходящий через мою жизнь: он почти всегда завален грязью и засыпан пылью, но вдруг опять вспыхнет золотыми искрами, и тогда кажется, что его уже нельзя потерять, а он вскоре опять пропадает. Однажды ночью, лежа без сна, я вдруг заговорил стихами, стихами слишком странными и прекрасными, чтобы мне пришло в голову их записать, а утром я их уже не помнил, и все же они затаились во мне, как тяжелый орех в старой, надтреснутой скорлупе. Иной раз это находило, когда я читал какого-нибудь поэта, когда задумывался над какой-нибудь мыслью Декарта, Паскаля, иной раз это вспыхивало и вело меня золотой нитью в небеса, когда я бывал с любимой. Увы, трудно найти этот божественный след внутри этой жизни, которую мы ведем, внутри этой, такой довольной, такой мещанской, такой бездуховной эпохи, при виде этой архитектуры, этих дел, этой политики, этих людей! Как же не быть мне Степным Волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует! Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги, я не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантно-роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляньях, на лекциях для любознательных, на стадионах — всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю. А то, что в редкие мои часы радости бывает со мной, то, что для меня — блаженство, событие, экстаз, воспарение,— это мир признает, ищет и любит разве что в поэзии, в жизни это кажется ему сумасшедшим; и в самом деле, если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, доволь-

ные столь малым люди, значит, неправ я, значит, я — сумасшедший, значит, я и есть тот самый Степной Волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрел в чужой, непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха.

С этими привычными мыслями шел я дальше по мокрому асфальту, через один из наиболее тихих и старых кварталов города. Напротив, на другой стороне улицы, стояла в темноте старая серая каменная стена, на которую я всегда любил смотреть, такая старая, она всегда так беспечно стояла между маленькой церковью и старой больницей, днем взгляд мой часто отдыхал на ее неровной плоскости, ведь мало было таких тихих, славных, молчащих плоскостей в центре города, где на каждом квадратном метре выкрикивают свои имена то магазин, то адвокат, то изобретатель, то врач, то цирюльник или мозольных дел мастер. Старая эта стена и сейчас пребывала, я видел, в тишине и покое, но что-то в ней все-таки изменилось, я растерялся, когда вдруг увидел в середине ее красивые воротца со стрельчатым сводом, потому что не мог сказать, были ли они здесь всегда или появились теперь. Вид у них был, несомненно, старый-престарый; наверно, уже много веков тому назад эти запертые воротца с темной деревянной дверкой вели в какой-нибудь сонный монастырский двор, да и сегодня, наверно, вели туда же, хотя от монастыря ничего не осталось, и, вероятно, я их сотни раз видел, но просто не замечал, может быть, их покрасили заново, и потому они бросились мне в глаза. Во всяком случае, я остановился, внимательно их разглядывая, но не перешел на ту сторону: очень уж раскисла мокрая мостовая; я стоял на тротуаре и только глядел туда, было уже очень темно, и мне показалось, что ворота украшены венком или чем-то пестрым. И присмотревшись получше, я увидел над воротами светлую вывеску, на которой, так мне показалось, было что-то написано. Я напряг зрение и в конце концов, несмотря на грязь и лужи, перешел на ту сторону. Тут я увидел над воротами, на серо-зеленой от старости стене, тускло освещенное пятно, по нему быстро бежали пестрые буквы, они сразу же исчезали, возвращались и вновь рассеивались. Ну, вот, подумал я, теперь и эту старую славную стену испоганили световой рекламой! Между тем я разобрал несколько промелькнувших слов, прочесть их было трудно, приходилось больше догадываться, буквы появлялись неравномерно, очень бледные и чахлые и очень скоро гасли. Человек, собиравшийся сделать на этом дельце, умением не отличался, он был Степной Волк, бедняга; почему он заставил свои буквы играть здесь, на этой стене, в самом темном закоулке старого города, в это время суток, да еще в дождь, когда сюда никто не заходит, и почему они такие летучие, такие воздушные, такие причудливые и неразборчивые? Но вот наконец-то мне удалось поймать несколько слов подряд, а именно:

Магический театр.
Вход не для всех
— не для всех

Я попытался отворить ворота, тяжелая старая ручка не поддавалась, как я ни нажимал на нее. Игра букв кончилась, она прекратилась внезапно, с грустью поняв свою тщетность. Я сделал несколько шагов назад, влез в самую грязь, буквы больше не появлялись, игра их угасла, я долго стоял в грязи и ждал, но напрасно.

И вдруг, когда я перестал ждать и уже вернулся на тротуар, передо мной, отражаясь в асфальте, мигнуло несколько букв.

Я прочел:

Только--для--сума--сшедших!

Я промочил ноги и замерз, но еще долго простоял в ожидании. Ничего больше. И когда я все стоял и думал о том, как красиво мелькают блуждающие огоньки пестрых букв на влажной стене и в черном блеске асфальта, ко мне вдруг вернулся отрывок из моих прежних мыслей — сравнение с золотым светящимся следом, который вдруг теряется вдалеке.

Я замерз и пошел дальше, мечтая об этом следе, тоскуя по воротам в волшебный театр, открытый только для сумасшедших. Тем временем я вышел в район рынка, где не было недостатка в вечерних развлечениях, на каждом шагу здесь висели афиши и зазывали надписи: женская хоровая капелла — варьете — кино — танцы; но все это было не для меня, это было для «всех», для нормальных людей, которые и в самом деле везде, как я видел, толпами валили в подъезды. И все же моя грусть рассеялась, до меня все-таки дошел привет из другого мира, пляска нескольких цветных букв играла в моей душе и задела сокровенные струны, золотой след опять замерцал.

Я отыскал допотопный кабачок, где со времен первого моего приезда в этот город, лет двадцать пять тому назад, ничего не изменилось, и хозяйка еще прежняя, и многие из нынешних гостей сидели здесь и тогда на тех же местах, за теми же стаканами. Я зашел в это скромное заведение, здесь было убежище. Всего-навсего, правда, такое же, как на лестнице перед араукарией, здесь тоже я не находил ни родины, ни общества, а находил лишь как зритель тихое место перед сценой, где чужие люди играли чужие пьесы, но даже и это тихое место чего-то стоило: ни многолюдья, ни гама, ни музыки, лишь несколько спокойных обывателей за непокрытыми деревянными столиками (ни мрамора, ни эмалированного железа, ни плюша, ни меди), и перед каждым — вечерний напиток, хорошее, добротное вино. Может быть, эти несколько завсегдатаев со сплошь знакомыми мне лицами были самые настоящие филистеры, и до́ма у них, в их филистерских квартирах стояли скучные домашние алтари перед тупыми идолами довольства, а может быть, они были, как я, одинокими, сбившимися с пути забулдыгами, тихо и задумчиво топящими в вине свои обанкротившиеся идеалы, такими же степными волками и беднягами, как я; этого я не знал. Каждого из них тянули сюда какая-то ностальгия, какая-то разочарованность, какая-то потребность в замене, женатый искал здесь атмосферы своей холостяцкой поры, старый чиновник — отзвука своих студенческих лет, все они были довольно молчаливы, и все пили, предпочитая, как я, сидеть за бутылкой эльзасского, чем перед женской хоровой капеллой. Здесь я бросил якорь, здесь можно было продержаться час, а то и два. Пригубив эльзасского, я сразу почувствовал, что с самого утра еще ничего не ел.

Поразительно, чего только не может проглотить человек! Минут десять я читал какую-то газету, вводя в себя через глаза умишко какого-то безответственного субъекта, который пережевывает, а затем изрыгает чужие слова, смочив их слюной, но не переварив. Этого я съел целый столбец. А потом я сожрал изрядный кусок печенки, вырезанный из тела убитого теленка! Поразительно! Лучше всего было эльзасское. Я не люблю, во всяком случае в обычные дни, диких, буйных вин, ударяющих в голову и знаменитых своим особым вкусом. Милее всего мне совершенно чистые, легкие, скромные местные вина без каких-либо особых названий, их можно пить помногу, и они так приятно отдают сельским простором, землей, небом и лесом. Стакан эльзасского и ломоть хорошего хлеба — вот лучшая трапеза. Но я уже съел порцию печенки — с необычным удовольствием, вообще-то я редко ем мясо,— и передо мной стоял второй стакан.

Поразительно было и то, что где-то в зеленых долах здоровые, славные люди возделывают виноград и выдавливают из него сок, чтобы в разных местах земли, далеко-далеко от них, какие-то разочарованные, тихо спивающиеся обыватели и растерянные степные волки взбадривались и оживлялись, осушая стаканы.

Ну что ж, пускай это и было поразительно! Это было хорошо, это помогало, оживление пришло. Словесная каша газетной статьи вызвала у меня запоздалый, но полный облегченья смех, и вдруг я опять вспомнил забытую мелодию того пиано, она, сверкая, поднялась во мне, как маленький мыльный пузырь, блеснула, уменьшенно и ярко отразив целый мир, и снова мягко распалась. Если эта небесная маленькая мелодия тайно пустила корни в моей душе и вдруг снова расцвела во мне всеми драгоценными красками прекрасного своего цветка, разве я погиб окончательно? Пусть я заблудший зверь, не понимающий мира, который его окружает, но какой-то смысл в моей дурацкой жизни все-таки был, что-то во мне отвечало на зов из далеких высот, что-то улавливало его, и в мозгу моем громоздились тысячи картин.

Сонмы ангелов Джотто с маленького церковного свода в Падуе, а рядом шествовали Гамлет и Офелия в венке — прекрасные символы всех печалей и всех недоразумений мира; стоя в горящем шаре, трубил в рог воздухоплаватель Джаноццо, Аттила Шмельцле нес в руке свою новую шляпу, Боробудур вздымал в небо гору своих изваяний. Не беда, что все эти прекрасные образы живут в тысячах других сердец, есть еще десятки тысяч других неизвестных картин и звуков, чьей родиной, чьим видящим оком и чутким ухом была единственно моя душа. Старая, обветшавшая больничная стена, в серо-зеленых пятнах, в трещинах и ссадинах которой угадывались тысячи фресок,— кто дал ей ответ, кто впустил ее в свое сердце, кто любил ее, кто ощущал волшебство ее чахнущих красок? Старые книги монахов с мягко светящимися миниатюрами, книги немецких поэтов двухсотлетней и столетней давности, забытые их народом, все эти истрепанные, тронутые сыростью тома, печатные и рукописные страницы старинных музыкантов, плотные, желтоватые листы нотной бумаги с застывшими звуковыми виденьями — кто слышал их умные, их лукавые и тоскующие голоса, кто пронес в себе их дух и их волшебство через другую, охладевшую к ним эпоху? Кто вспоминал о том маленьком, упрямом кипарисе на горе над Губбио, который был сломан и расколот лавиной, но все-таки сохранил жизнь и отрастил себе новую, пускай не столь густую вершину? Кто воздал должное рачительной хозяйке со второго этажа и ее вымытой до блеска араукарии? Кто читал ночью над Рейном облачные письмена ползущего тумана? Степной Волк. А кто искал за развалинами своей жизни расплывшийся смысл, страдал от того, что на вид бессмысленно, жил тем, что на вид безумно, тайно уповал на откровение и близость бога даже среди последнего сумбура и хаоса?

Я задержал в руке стакан, который хозяйка снова хотела наполнить, и поднялся. Довольно было вина. Золотой след блеснул, напомнив мне о вечном, о Моцарте, о звездах. Я снова мог какое-то время дышать, мог жить, смел существовать, мне не нужно было мучиться, бояться, стыдиться.

Моросящий дождь, разбрызгиваясь на холодном ветру, звякал о фонари и светился стеклянным блеском, когда я вышел на затихшую улицу. Куда теперь? Если бы в этот миг совершилось чудо и могло исполниться любое мое желание, передо мной сейчас оказался бы небольшой красивый зал в стиле Людовика Шестнадцатого, где несколько хороших музыкантов сыграли бы мне две-три пьесы

Генделя и Моцарта. Сейчас это подошло бы к моему настроению, я смаковал бы эту холодную, благородную музыку, как боги нектар. О, если бы сейчас у меня был друг, друг в какой-нибудь чердачной клетушке, и он сидел бы, задумавшись, при свече, а рядом лежала бы его скрипка! Я прокрался бы в ночную его тишину, бесшумно пробрался бы по коленчатым лестницам, я застал бы его врасплох, и мы отпраздновали бы несколько неземных часов беседой и музыкой! Когда-то, в былые годы, я часто наслаждался этим счастьем, но и оно со временем отделилось и ушло от меня, между теми днями и нынешними пролегли увядшие годы.

Я неторопливо направился к дому, подняв воротник пальто и упирая трость в мокрую мостовую. Как бы медленно я ни шагал, все равно слишком скоро я оказался бы в своей мансарде, в этих мнимо родных стенах, которых не любил, но без которых не мог обойтись, ибо прошли времена, когда мне ничего не стоило прошататься зимой всю ночь под дождем. Что ж, так и быть, ничто, решил я, не испортит мне хорошего вечернего настроения, ни дождь, ни подагра, ни араукария, и пусть не было камерного оркестра и не предвиделось никакого одинокого друга со скрипкой, та дивная мелодия все-таки звучала во мне, и я мог, напевая вполголоса с ритмичными передышками, приблизительно ее воспроизвести. Я задумчиво шагал дальше. Нет, свет не сошелся клином ни на камерной музыке, ни на друге, и смешно было изводить себя бессильной тоской по теплу. Одиночество — это независимость, его я хотел и его добился за долгие годы. Оно было холодным, о да, но зато и тихим, удивительно тихим и огромным, как то холодное тихое пространство, где вращаются звезды.

Когда я проходил мимо какого-то ресторана с танцевальной площадкой, меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пар от сырого мяса. Я на минуту остановился: как ни отмахивался я от музыки этого рода, она всегда привлекала меня каким-то тайным очарованием. Джаз был мне противен, но он был в десять раз милей мне, чем вся нынешняя академическая музыка; своей веселой, грубой дикостью он глубоко задевал и мои инстинкты, он дышал честной, наивной чувственностью.

Минуту я постоял, принюхиваясь к кровавой, пронзительной музыке, злобно и жадно вбирая в себя атмосферу наполненных ею залов. Одна половина этой музыки, лирическая, была слащава, приторна, насквозь сентиментальна, другая половина была неистова, своенравна, энергична, однако обе половины наивно и мирно соединялись и давали в итоге нечто цельное. Это была музыка гибели, подобная музыка существовала, наверно, в Риме времен последних императоров. Конечно, в сравнении с Бахом, Моцартом и настоящей музыкой она была свинством, но свинством были все наше искусство, все наше мышление, вся наша мнимая культура, если сравнивать их с настоящей культурой. А музыка эта имела преимущество большой откровенности, простодушно-милого негритянства, ребяческой веселости. В ней было что-то от негра и что-то от американца, который у нас, европейцев, при всей своей силе оставляет впечатление мальчишеской свежести, ребячливости. Станет ли Европа тоже такой? Идет ли она уже к этому? Не были ли мы, старые знатоки и почитатели прежней Европы, прежней настоящей музыки, прежней настоящей поэзии, не были ли мы просто глупым меньшинством заумных невротиков, которых завтра забудут и высмеют? Не было ли то, что мы называем «культурой», духом, душой, не было ли то, что мы называем прекрасным и священным, лишь призраком, не умерло ли давно то, что только нам, горстке дураков, кажется настоящим и жи-

вым? Может быть, оно вообще никогда не было настоящим и живым? Может быть, то, о чем хлопочем мы, дураки, было и всегда чем-то несбыточным?

Старый квартал города принял меня в свои стены, умершая, нереальная, стояла среди серой мглы маленькая церковь. Вдруг я вспомнил вечернее происшествие, загадочные сводчатые воротца, загадочную вывеску с глумливо плясавшими буквами. Какие там были надписи? «Вход не для всех». И еще: «Только для сумасшедших». Я испытующе взглянул на старую стену, тайно желая, чтобы волшебство началось снова, чтобы надпись пригласила меня, сумасшедшего, а воротца пропустили меня. Там, может быть, находилось то, чего я желал, там, может быть, играли мою музыку?

Темная каменная стена глядела на меня спокойно сквозь густой сумрак, замкнутая, глубоко погруженная в сон. И никаких ворот, никаких сводов, только темная, тихая стена без проема. Я с улыбкой пошел дальше, приветливо кивнув каменной кладке. «Спи спокойно, стена, я не стану тебя будить. Придет время, и они снесут тебя или облепят алчными призывами фирм, но ты еще здесь. Ты еще прекрасна, тиха и мила мне».

Меня испугал, вынырнув из черной пропасти переулка вплотную передо мной, какой-то прохожий, какой-то одинокий полуночник с усталой походкой, в кепке и синей блузе. На плече он нес шест с плакатом, а у живота, на ремне, лоток, какие бывают у ярмарочных разносчиков. Устало шагая передо мной, он не оборачивался, а то бы я поздоровался с ним и угостил его сигарой. При свете ближайшего фонаря я попытался прочесть его штандарт, его красный плакат на шесте, но плакат качался, мне ничего не удалось разобрать. Тогда я окликнул его и попросил показать мне плакат. Он остановился и подержал свой шест немного прямее, и я смог прочесть пляшущие, шатающиеся буквы:

Анархистский вечерний аттракцион!
Магический театр!
Вход не для вс...

— Вас-то я и искал,— воскликнул я радостно.— Что это у вас за аттракцион? Где он будет? Когда?

Он уже снова шагал.

— Не для всех,— сказал он равнодушно, сонным голосом, продолжая шагать С него было довольно, ему хотелось домой.

— Постойте,— крикнул я и побежал за ним.— Что там у вас в ящике? Я готов что-нибудь купить.

Не останавливаясь, он машинально полез в свой ящик, извлек оттуда какую-то книжечку и протянул мне. Я быстро схватил ее и спрятал. Пока я расстегивал пальто, чтобы достать деньги, он свернул в какую-то подворотню, закрыл за собой ворота и исчез. Из двора донеслись его тяжелые шаги, сперва по булыжнику, потом по деревянной лестнице, а потом ничего не было слышно. И вдруг я тоже очень устал и почувствовал, что уже очень поздно и что хорошо бы сейчас вернуться домой. Я зашагал быстрее и вскоре, пройдя через спящую окраину, вышел в свой район, где среди парка, разбитого на месте старого городского вала, в опрятных доходных домиках за газончиками и плющом, живут чиновники и мелкие рантье. Мимо плюща, мимо газона, мимо маленькой елочки я прошел к входной двери, нашел замочную скважину, нашел кнопку освещения, прокрался мимо стеклянных дверей, мимо полированных шкафов и горшков с растеньями и отпер свою комнату, свою маленькую мнимую родину, где меня ждали кресло и печка, чернильница и этюдник,

Новалис и Достоевский, ждали так, как ждут других, правильных людей, когда те приходят домой, мать или жена, дети, служанки, собаки, кошки.

Когда я снимал мокрое пальто, та книжечка опять попалась мне на глаза. Я вынул ее, это была тонкая, скверно напечатанная на скверной бумаге ярмарочная брошюрка, типа книжонок «Родившимся в январе» или «Как за восемь дней помолодеть на двадцать лет?».

Но устроившись в кресле и надев очки, я изумленно, с мелькнувшим вдруг чувством, что это сама судьба, прочел на обложке своей книжонки ее заглавие: «Трактат о Степном Волке. Не для всех».

И вот каково было содержание брошюрки, которую я, со все возрастающим интересом, прочитал одним духом:

ТРАКТАТ
О
СТЕПНОМ ВОЛКЕ

Только для сумасшедших

Жил некогда некто по имени Гарри, по прозвищу Степной Волк. Он ходил на двух ногах, носил одежду и был человеком, но по сути он был степным волком. Он научился многому из того, чему способны научиться люди с соображением, и был довольно умен. Но не научился он одному: быть довольным собой и своей жизнью. Это ему не удалось, он был человеком недовольным. Получилось так, вероятно, потому, что в глубине души он всегда знал (или думал, что знает), что по сути он вовсе не человек, а волк из степей. Умным людям вольно спорить о том, был ли он действительно волком, был ли он когда-нибудь, возможно еще до своего рождения, превращен какими-то чарами в человека из волка или родился человеком, но был наделен и одержим душою степного волка или же эта убежденность в том, что по сути он волк, была лишь плодом его воображения или болезни. Ведь можно допустить, например, что в детстве этот человек был дик, необуздан и беспорядочен, что его воспитатели пытались убить в нем зверя и тем самым заставили его вообразить и поверить, что на самом деле он зверь, только скрытый тонким налетом воспитания и человечности. Об этом можно долго и занимательно рассуждать, можно даже писать книги на эту тему; но Степному Волку такие рассуждения ничего не дали бы, ему было решительно все равно, что́ именно пробудило в нем волка — колдовство ли, побои или его собственная фантазия. Что бы ни думали об этом другие и что бы он сам об этом ни думал, все это не имело для него никакого значения, потому что вытравить волка из него не могло.

Итак, у Степного Волка было две природы — человеческая и волчья; такова была его судьба, судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая. Встречалось уже, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи, но они будто бы не испытывали из-за этого никаких неудобств. У этих людей человек и лиса, человек и рыба жили бок о бок, не ущемляя друг друга, они даже помогали друг другу, и люди, которые далеко пошли и которым завидовали, часто бывали обязаны своим счастьем скорее лисе или обезьяне, чем человеку. Это ведь общеизвестно. А с Гарри дело обстояло иначе, человек и волк в нем не уживались и уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в смертельной вражде, и один только изводил другого, а когда в одной душе и в одной крови схо-

дятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится. Что ж, у каждого своя доля, и легкой ни у кого нет.

Хотя наш Степной Волк чувствовал себя то волком, то человеком, как все, в ком смешаны два начала, особенность его заключалась в том, что, когда он был волком, человек в нем всегда занимал выжидательную позицию наблюдателя и судьи — а во времена, когда он был человеком, точно так же поступал волк. Например, если Гарри человека осеняла прекрасная мысль, если он испытывал тонкие, благородные чувства или совершал так называемое доброе дело, то волк в нем сразу же скалил зубы, смеялся и с кровавой издевкой показывал, до чего же смешон, до чего не к лицу весь этот благородный спектакль степному зверю, волку, который ведь отлично знает, что́ ему по душе, а именно — рыскать в одиночестве по степям, иногда лакать кровь или гнаться за волчицей,— и любой человеческий поступок, увиденный глазами волка, делался тогда ужасно смешным и нелепым, глупым и суетным. Но в точности то же самое случалось и тогда, когда Гарри чувствовал себя волком и вел себя, как волк, когда он показывал другим зубы, когда испытывал ненависть и смертельную неприязнь ко всем людям, к их лживым манерам, к их испорченным нравам. Тогда в нем настораживался человек, и человек следил за волком, называл его животным и зверем, и омрачал, и отравлял ему всякую радость от его простой, здоровой и дикой волчьей повадки.

Вот как обстояло дело со Степным Волком, и можно представить себе, что жизнь у Гарри была не очень-то приятная и счастливая. Но это не значит, что он был несчастлив в какой-то особенной мере (хотя ему самому так казалось, ведь каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими). Так нельзя сказать ни о ком. И тот, в ком нет волка, не обязательно счастлив поэтому. Да и у самой несчастливой жизни есть свои светлые часы и свои цветики счастья среди песка и камней Так было и со Степным Волком. Большей частью он бывал очень несчастлив, этого нельзя отрицать, и делал несчастными других — когда он любил их, а они его. Ведь все, кому случалось его полюбить, видели лишь одну его сторону. Многие любили его как тонкого, умного и самобытного человека и потом, когда вдруг обнаруживали в нем волка, ужасались и разочаровывались. А не обнаружить они не могли, ибо Гарри, как всякий, хотел, чтобы его любили всего целиком, и потому не мог скрыть, спрятать волка за ложью именно от тех, чьей любовью он дорожил. Но были и такие, которые любили в нем именно волка, именно свободу, дикость, опасную неукротимость, и их он опять-таки страшно разочаровывал и огорчал, когда вдруг оказывалось, что этот дикий, злой волк — еще и человек, еще и тоскует по доброте и нежности, еще и хочет слушать Моцарта, читать стихи и иметь человеческие идеалы. Именно эти вторые испытывали обычно особенное разочарование и особенную злость, и потому Степной Волк вносил собственную двойственность и раздвоенность также и во все чужие судьбы, которые он задевал.

Но кто полагает, что знает Степного Волка и способен представить себе его жалкую, растерзанную противоречиями жизнь, тот ошибается, он знает еще далеко не все. Он не знает, что (ведь нет правил без исключений, и один грешник при случае милей богу, чем девяносто девять праведников) — что у Гарри тоже были счастливые исключения, что в нем иногда волк, а иногда человек дышал, думал и чувствовал в полную свою силу, что порой даже, в очень редкие часы, они заключали мир и жили в добром согласье, причем не просто один спал, когда другой бодрствовал, а оба поддерживали друг

друга, и каждый делал другого вдвое сильней. Иногда и в жизни Гарри, как везде в мире, все привычное, будничное, знакомое и размеренное имело, казалось, единственной целью передохнуть на секунду, прерваться и уступить место чему-то необычайному, чуду, благодати. А облегчали, а смягчали ли эти короткие, редкие часы счастья лихую долю Степного Волка, уравновешивались ли на круг страданье и счастье, или короткое, но сильное счастье тех немногих часов, чего доброго, даже перекрывало всю совокупность страданий — это уже другой вопрос, над которым вольно размышлять людям праздным. Размышлял над ним часто и Степной Волк, и это были его праздные и бесполезные дни.

Тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много, к этому типу принадлежат, в частности, многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа, божественное начало и дьявольское, материнская и отцовская кровь, способность к счастью и способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в Гарри. И эти люди, чья жизнь весьма беспокойна, ощущают порой, в свои редкие мгновения счастья, такую силу, такую невыразимую красоту, пена мгновенного счастья вздымается порой настолько высоко и ослепительно над морем страданья, что лучи от этой короткой вспышки счастья доходят и до других и их околдовывают. Так, драгоценной летучей пеной над морем страданья возникают все те произведения искусства, где один страдающий человек на час поднялся над собственной судьбой до того высоко, что его счастье сияет, как звезда, и всем, кто видит это сиянье, оно кажется чем-то вечным, кажется их собственной мечтой о счастье. У всех этих людей, как бы ни назывались их деяния и творения, жизни в сущности вообще нет, то есть их жизнь не представляет собой бытия, не имеет определенной формы, они не являются героями, художниками, мыслителями в том понимании, в каком другие являются судьями, врачами, сапожниками или учителями, нет, жизнь их — это вечное, мучительное движенье и волненье, она несчастна, она истерзана и растерзана, она ужасна и бессмысленна, если не считать смыслом как раз те редкие события, деяния, мысли, творения, которые вспыхивают над хаосом такой жизни. В среде людей этого типа возникла опасная и страшная мысль, что, может быть, вся жизнь человеческая — просто злая ошибка, выкидыш праматери, дикий, ужасающе неудачный эксперимент природы. Но в их среде возникла и другая мысль — что человек, может быть, не просто животное, наделенное известным разумом, а дитя богов, которому суждено бессмертие

У каждого типа людей есть свои признаки, свои отличительные черты, у каждого — свои добродетели и пороки, у каждого — свой смертный грех. Один из признаков Степного Волка состоял в том, что он был человек вечерний. Утро было для него скверным временем суток, которого он боялся и которое никогда не приносило ему ничего хорошего. Ни разу в жизни он не был утром по-настоящему весел, ни разу не сделал в предполуденные часы доброго дела, по утрам ему никогда не приходило в голову хороших мыслей, ни разу не доставил он утром радость себе и другим. Лишь во второй половине дня он понемногу теплел и оживлялся и лишь к вечеру, в хорошие свои дни, бывал плодовит, деятелен, а иногда горяч и радостен. С этим и была связана его потребность в одиночестве и независимости. Никто никогда не испытывал более страстной потребности в одиночестве, чем он. В юности, когда он был еще беден и с трудом зарабатывал себе на хлеб, он предпочитал голодать и ходить

в лохмотьях, но зато иметь хоть чуточку независимости. Он никогда не продавал себя ни за деньги, ни за благополучие, ни женщинам, ни сильным мира сего и, чтобы сохранить свою свободу, сотни раз отвергал и отметал то, в чем все видели его счастье и выгоду. Ничто на свете не было ему ненавистнее и страшнее, чем мысль, что он должен занимать какую-то должность, как-то распределять день и год, подчиняться другим. Контора, канцелярия, служебное помещение были ему страшны, как смерть, и самым ужасным, что могло ему присниться, был плен казармы. От всего этого он умел уклоняться, часто ценой больших жертв. Тут сказывались его сила и достоинство, тут он был несгибаем и неподкупен, тут его нрав был тверд и прямолинеен. Однако с этим достоинством были опять-таки теснейшим образом связаны его страданья и его судьба. С ним происходило то, что происходит со всеми: то, чего он искал и к чему стремился самыми глубокими порывами своего естества,— это выпадало ему на долю, но в слишком большом количестве, которое уже не идет людям на благо. Сначала это было его мечтой и счастьем, потом стало его горькой судьбой. Властолюбец погибает от власти, сребролюбец от денег, раб от рабства, искатель наслаждений от наслаждений Так и Степной Волк погибал от своей независимости. Он достиг своей цели, он становился все независимее, никто ему ничего не мог приказать, ни к кому он не должен был приспосабливаться: как ему вести себя, определял только он сам. Ведь любой сильный человек непременно достигает того, чего велит ему искать настоящий порыв его естества. Но среди достигнутой свободы Гарри вдруг ощутил, что его свобода — это смерть, что он в одиночестве, что мир каким-то зловещим образом оставил его в покое, что ему, Гарри, больше дела нет до людей и даже до самого себя, что он медленно задыхается во все более разреженном воздухе одиночества и изоляции. Оказалось, что быть одному и быть независимым — это уже не его желание, не его цель, а его жребий, его участь, что волшебное желание задумано и отмене не подлежит, что он ничего уже не поправит, как бы ни простирал руки в тоске, как бы ни выражал свою добрую волю и готовность к общенью и единенью: теперь его оставили одного. При этом он вовсе не вызывал ненависти и не был противен людям. Напротив, у него было очень много друзей. Многим он нравился. Но находил он только симпатию и приветливость, его приглашали, ему делали подарки, писали милые письма, но сближаться с ним никто не сближался, единенья не возникало нигде, никто не желал и не был способен делить с ним жизнь. Его окружал теперь воздух одиноких — та тихая атмосфера, то ускользание среды, та неспособность к контактам, против которых бессильна и самая страстная воля. Такова была одна из важных отличительных черт его жизни.

Другой отличительной чертой была его принадлежность к самоубийцам. Тут надо заметить, что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой. Среди этих последних много даже таких, которые становятся самоубийцами лишь, так сказать, случайно, ибо самоубийство не обязательно вытекает из их внутренних задатков. Среди людей, не являющихся ярко выраженными личностями, людей неяркой судьбы, среди дюжинных и стадных людей многие хоть и кончают с собой, но по всему своему характеру и складу отнюдь не принадлежат к типу самоубийц, и опять-таки очень многие — пожалуй, большинство из тех, кто по сути своей относится к самоубийцам,— на самом деле никогда не накладывают на себя руки. «Самоубийца» — а Гарри был им — не обязательно должен жить в особенно тесном общении со смертью, так можно

жить и самоубийцей не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое «я» — неважно, по праву или не по праву,— как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них— наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере в их представлении. Причиной этого настроения, заметного уже в ранней юности и сопровождающего этих людей всю жизнь, не является какая-то особенная нехватка жизненной силы, напротив, среди «самоубийц» встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. И подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем «самоубийцами» и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении вовсю предаваться мыслям о самоубийстве. Если бы у нас была наука, обладающая достаточным мужеством и достаточным чувством ответственности, чтобы заниматься человеком, а не просто механизмами жизненных процессов, если бы у нас было что-то похожее на антропологию, на психологию, то об этих фактах знали бы все.

Сказанное нами о самоубийцах касается, конечно, лишь внешнего аспекта, это психология, а значит, область физики. С метафизической точки зрения дело выглядит иначе и гораздо яснее, ибо при таком подходе к нему «самоубийцы» предстают нам одержимыми чувством вины за свою обособленность, предстают душами, видящими свою цель не в самоусовершенствовании и собственном совершенстве, а в саморазрушении, в возврате к матери, к богу, к вселенной. Очень многие из этих натур совершенно не способны совершить когда-либо реальное самоубийство, потому что глубоко проникшись сознанием его греховности. Но для нас они все же самоубийцы, ибо избавление они видят в смерти, а не в жизни и готовы пожертвовать, поступиться собой, уничтожить себя и вернуться к началу.

Если всякая сила может (а иногда и должна) обернуться слабостью, то типичный самоубийца может, наоборот, превратить свою кажущуюся слабость в опору и силу, да и делает это куда как часто. Пример тому и Гарри — Степной Волк. Как и для тысяч ему подобных, мысль, что он волен умереть в любую минуту, была для него не просто юношески грустной игрой фантазии, нет, в этой мысли он находил опору и утешение. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали в нем желание избавиться от них с помощью смерти. Но постепенно он выработал из этой своей склонности философию, прямо-таки полезую для жизни. Интимное знакомство с мыслью, что этот запасной выход всегда открыт, давало ему силы, наделяло его любопытством к болям и невзгодам, и когда ему приходилось весьма туго, он порой думал с жестокой радостью, с каким-то злорадством: «Любопытно поглядеть, что способен человек вынести! Ведь когда терпенье дойдет до предела, мне стоит только отворить дверь, и меня поминай как звали». Есть очень много самоубийц, которым эта мысль придает необычайную силу.

С другой стороны, всем самоубийцам знакома борьба с соблазном покончить самоубийством. Каким-то уголком души каждый знает, что самоубийство хоть и выход, но все-таки немного жалкий и незаконный запасной выход, что в сущности красивей и благородней быть сраженным самой жизнью, чем своей же рукой. Это знание, эта неспокойная совесть, имеющая тот же источник, что и нечи-

стая совесть онанистов, толкает большинство «самоубийц» на постоянную борьбу с их соблазном. Они борются, как борется клептоман со своим пороком. Степному Волку тоже была знакома эта борьба, он вел ее, многократно меняя оружие. В конце концов, дожив лет до сорока семи, он напал на одну счастливую и не лишенную юмора мысль, которая часто доставляла ему радость. Он решил, что его пятидесятый день рожденья будет тем днем, когда он позволит себе покончить с собой. В этот день, так он положил себе, ему будет вольно воспользоваться или не воспользоваться запасным выходом, в зависимости от настроения. И пусть с ним случится теперь что угодно, пусть он заболеет, обеднеет, пусть на него обрушатся страданья и горе — все ограничено сроком, все может длиться максимум эти несколько лет, месяцев, дней, а их число с каждым днем становится меньше! И правда, теперь он куда легче переносил всякие неприятности, которые раньше мучали бы его сильнее и дольше, а то бы и подкосили под корень. Когда ему почему-либо приходилось особенно скверно, когда к пустоте, одиночеству и дикости его жизни прибавлялись еще какие-нибудь особые боли или потери, он мог сказать этим болям: «Погодите, еще два года — и я с вами совладаю!» И потом любовно представлял себе, как утром, в день его пятидесятилетия, придут письма и поздравленья, а он, уверенный в своей бритве, простится со всеми болями и закроет за собой дверь. Хороши тогда будут ломота в костях, грусть, головная боль и рези в желудке.

Остается еще объяснить феномен Степного Волка и, в частности, его своеобразное отношение к мещанству, сведя оба явления к их основным законам. Возьмем за исходную точку, поскольку это напрашивается само собой, как раз его отношение к «мещанской» сфере.

По собственному его представленью, Степной Волк пребывал совершенно вне мещанского мира, поскольку не вел семейной жизни и не знал социального честолюбия. Он чувствовал себя иной раз только одиночкой, иной раз странным нелюдимом, больным отшельником, иной раз из ряда вон выходящей личностью с задатками гения, стоящей выше маленьких норм заурядной жизни. Он сознательно презирал мещанина и гордился тем, что таковым не является. И все же в некоторых отношениях он жил вполне по-мещански: имел текущий счет в банке и помогал бедным родственникам, одевался хоть и небрежно, но прилично и неброско, старался ладить с полицией, налоговым управлением и прочими властями. А кроме того, какая-то сильная, тайная страсть постоянно влекла его к мещанскому мирку, к тихим, приличным семейным домам с их опрятными садиками, сверкающими чистотой лестницами, со всей их скромной атмосферой порядка и благопристойности. Ему нравилось иметь свои маленькие пороки и причуды, чувствовать себя посторонним в мещанской среде, каким-то отшельником или гением, но он никогда не жил и не селился в тех, так сказать, провинциях жизни, где мещанства уже не существует. Он не чувствовал себя свободно ни в среде людей исключительных, пускающих в ход силу, ни среди преступников или бесправных и не покидал провинции мещан, с нормами и духом которой всегда был связан, даже если эта связь и выражалась в противопоставленье и бунте. Кроме того, он вырос в атмосфере мелкобуржуазного воспитания и вынес оттуда множество представлений и шаблонов. Теоретически он ничего не имел против проституции, но сам был не способен принять проститутку всерьез и действительно отнестись к ней как к равной. Политического преступника, революционера или духовного совратителя, которого бойкотировали государство и общество, он мог полюбить как

брата, но для какого-нибудь вора, взломщика, убийцы, садиста у него не нашлось бы ничего, кроме довольно-таки мещанской жалости.

Таким образом, одной половиной своего естества он всегда признавал и утверждал то, что другой половиной оспаривал и отрицал. Выросши в ухоженном мещанском доме, в строгом соблюдении форм и обычаев, он частью своей души навсегда остался привязан к порядкам этого мира, хотя давно уже обособился в такой мере, какая внутри мещанства немыслима, и давно уже освободился от сути мещанского идеала и мещанской веры.

«Мещанство» же, всегда наличное людское состояние, есть не что иное, как попытка найти равновесие, как стремление к уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полюсами человеческого поведения. Если взять для примера какие-нибудь из этих полюсов, скажем, противоположность между святым и развратником, то наше уподобленье сразу станет понятно. У человека есть возможность целиком отдаться духовной жизни, приблизиться к божественному началу, к идеалу святого. Есть у него, наоборот, и возможность целиком отдаться своим инстинктам, своим чувственным желаньям и направить все свои усилия на получение мгновенной радости. Один путь ведет к святому, к мученику духа, к самоотречению во имя бога Другой путь ведет к развратнику, к мученику инстинктов, к самоотречению во имя тлена. Так вот, мещанин пытается жить в промежутке между обоими путями, в умеренной середине. Он никогда не отречется от себя, не отдастся ни опьянению, ни аскетизму, никогда не станет мучеником, никогда не согласится со своей гибелью — напротив, его идеал не самоотречение, а самосохранение, он не стремится ни к святости, ни к ее противоположности, безоговорочность, абсолютность ему нестерпимы, он хочет служить богу, но хочет служить и опьянению, он хочет быть добродетельным, но хочет и пожить на земле в свое удовольствие. Короче говоря, он пытается осесть посредине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь и гроз, и это ему удается, хотя и ценой той полноты жизни и чувств, которую дает стремление к безоговорочности, абсолютности, крайности. Жить полной жизнью можно лишь ценой своего «я». А мещанин ничего не ставит выше своего «я» (очень, правда, недоразвитого). Ценой полноты, стало быть, он добивается сохранности и безопасности, получает вместо одержимости богом спокойную совесть, вместо наслаждения удовольствие, вместо свободы удобство, вместо смертельного зноя приятную температуру. Поэтому мещанин по сути своей — существо со слабым импульсом к жизни, трусливое, боящееся хоть сколько-нибудь поступиться своим «я», легко управляемое. Потому-то он и поставил на место власти большинство, на место силы закон, на место ответственности процедуру голосования.

Ясно, что это слабое и трусливое существо, как бы многочисленны ни были его особи, не может уцелеть, что из-за своих качеств оно не должно бы играть в мире иной роли, чем роль стада ягнят среди рыщущих волков. И все же мы видим, что, хотя во времена, когда правят натуры сильные, мещанина сразу же припирают к стене, он тем не менее никогда не погибает, а порой даже вроде бы и владычествует над миром. Как же так? Ни многочисленность его стада, ни добродетель, ни здравый смысл, ни организация не в состоянии, казалось бы, спасти его от гибели. Тому, чьи жизненные силы с самого начала подорваны, не продлит жизнь никакое лекарство на свете. И все-таки мещанство живет, оно могуче, оно процветает. Почему?

Ответ: благодаря степным волкам. На самом деле жизненная сила мещанства держится вовсе не на свойствах нормальных его представителей, а на свойствах необычайно большого числа аутсайдеров, которых оно, мещанство, вследствие расплывчатости и растяжимости своих идеалов, включает в себя. Внутри мещанства всегда живет множество сильных и диких натур. Наш Степной Волк Гарри — характерный пример тому. Хотя развитие в нем индивидуальности, личности ушло далеко за доступный мещанству предел, хотя блаженство самосозерцания знакомо ему не меньше, чем мрачная радость ненависти и самоненавистничества, хотя он презирает закон, добродетель и здравый смысл, он все-таки пленник мещанства и вырваться из плена не может. Таким образом, настоящее мещанство окружено, как ядро, широкими слоями человечества, тысячами жизней и умов, хоть и переросших мещанство, хоть и склонных не признавать оговорок, воспарить к абсолюту, но привязанных к мещанской сфере инфантильными чувствами, но ощутимо зараженных угасанием ее жизненной силы, а потому как-то закосневших в мещанстве, как-то подчиненных, чем-то обязанных и в чем-то покорных ему. Ибо мещанство придерживается принципа, противоположного принципу великих: кто не против меня, тот за меня.

Если рассмотреть с этой точки зрения душу Степного Волка, то он предстает человеком, которому уже как индивидуальности, как яркой личности написано на роду быть не мещанином — ведь всякая яркая индивидуальность оборачивается против собственного «я» и склоняется к его разрушению. Мы видим, что он наделен одинаково сильными импульсами и к тому, чтобы стать святым, и к тому, чтобы стать развратником, но что из-за какой-то слабости или косности не смог махнуть в дикие просторы вселенной, не преодолел притяжения тяжелой материнской звезды мещанства. Таково его положение в мироздании, такова его скованность. Большинство интеллигентов, подавляющая часть художников принадлежит к этому же типу. Лишь самые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской земли, а все другие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат к нему, укрепляют и прославляют его, потому что в конечном счете вынуждены его утверждать, чтобы как-то жить. Трагизм этим бесчисленным людям не по плечу, по плечу им, однако, довольно-таки злосчастная доля, в аду которой доваривaются до готовности и начинают приносить плоды их таланты. Те немногие, что вырываются, достигают абсолюта и достославно гибнут, они трагичны, число их мало. Другим же, не вырвавшимся, чьи таланты мещанство часто высоко чтит, открыто третье царство, призрачный, но суверенный мир — юмор. Беспокойные степные волки, эти вечные горькие страдальцы, которым не дано необходимой для трагизма, для прорыва в звездный простор мощи, которые чувствуют себя призванными к абсолютному, а жить в абсолютном не могут,— у них, если их дух закалился и стал гибок в страданьях, есть примирительный выход в юмор. Юмор всегда остается в чем-то мещанским, хотя настоящий мещанин не способен его понять. В его призрачной сфере осуществляется запутанно-противоречивый идеал всех степных волков: здесь можно не только одобрить и святого и развратника одновременно, сблизить полюса, но еще и распространить это одобрение на мещанина. Ведь человек, одержимый богом, вполне может одобрить преступника — и наоборот, но оба они, да и все люди абсолютных, безоговорочных крайностей, не могут одобрить нейтральную, вялую середину, мещанство, один только юмор, великолепное изобретение тех, чей максимализм скован, кто почти трагичен, кто

несчастен и при этом очень одарен, один только юмор (самое, может быть, самобытное и гениальное достижение человечества) совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества. Жить в мире, словно это не мир, уважать закон и все же стоять выше его, обладать, «как бы не обладая», отказываться, словно это никакой не отказ,— выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования высшей житейской мудрости способен один лишь юмор.

И если бы только Степному Волку, у которого есть к тому и способность и склонность, удалось выпарить, удалось выгнать из себя этот волшебный напиток, он, Степной Волк, был бы спасен. До такой удачи ему еще далеко. Но возможность, но надежда есть. Кто его любит, кто участлив к нему, пусть пожелает ему этого спасения. Тогда он, правда, застыл бы в мещанской сфере, но его страдания были бы терпимы, стали бы плодотворны. Его отношение к мещанскому миру, и в любви и в ненависти, потеряло бы сентиментальность, и его связанность с этим миром перестала бы постоянно мучить его как что-то позорное.

Чтобы достичь этого или наконец, может быть, отважиться все-таки на прыжок в космос, такому Степному Волку следовало бы однажды устроить очную ставку с самим собой, глубоко заглянуть в хаос собственной души и полностью осознать самого себя. Тогда его сомнительное существование открылось бы ему во всей своей неизменности и впредь он уже не смог бы то и дело убегать из ада своих инстинктов в сентиментально-утешительную философию, а от них снова в слепую и пьяную одурь своего волчьего естества. Человек и волк вынуждены были бы познать друг друга без фальсифицирующих масок эмоций, вынуждены были бы прямо посмотреть друг другу в глаза. Тут они либо взорвались бы и навсегда разошлись, либо у них появился бы юмор и они вступили бы в брак по расчету.

Не исключено, что когда-нибудь Гарри представится эта последняя возможность. Не исключено, что когда-нибудь он сумеет познать себя — получив ли одно из наших маленьких зеркал, встретившись ли с бессмертными, или, может быть, найдя в одном из наших магических театров то, что необходимо ему для освобождения его одичавшей души. Тысячи таких возможностей его ждут, его судьба непреодолимо влечет их, все эти аутсайдеры мещанства живут в атмосфере этих магических возможностей. Достаточно пустяка, чтобы ударила молния.

И все это хорошо известно Степному Волку, даже если ему никогда не попадется на глаза этот очерк его внутренней биографии. Он чувствует свое положение в мироздании, он чувствует и знает бессмертных, он чувствует возможность встречи с собой и боится ее, он знает о существовании зеркала, взглянуть в которое ему, увы, так надо бы, взглянуть в которое он так смертельно боится.

В заключение нашего этюда остается развеять одну последнюю фикцию, один принципиальный обман. Всякие «объяснения», всякая психология, всякие попытки понимания нуждаются ведь во вспомогательных средствах, теориях, мифологиях, лжи; и порядочный автор не преминет развеять по возможности эту ложь в конце изложения Если я говорю «вверху» или «внизу», то это ведь уже утверждение, которое надо пояснить, ибо верх и низ существуют только в мышлении, только в абстракции. Мир сам по себе не знает ни верха, ни низа.

Короче говоря, «степной волк» — тоже фикция. Если Гарри чувствует себя человековолком и полагает, что состоит из двух враждебных и противоположных натур, то это всего лишь упрощающая мифология. Гарри никакой не человековолк, и если мы как бы приняли на веру его ложь, которую он сам выдумал и в которую верит, если мы и в самом деле пытались рассматривать и толковать его как двойную натуру, как степного волка, то мы, в надежде на то, что нас легче будет понять, воспользовались обманом, который теперь надо постараться поправить.

Разделение на волка и человека, на инстинкт и дух, предпринимаемое Гарри для того, чтобы сделать понятнее свою судьбу,— это очень грубое упрощение, это насилие над действительностью ради доходчивого, но неверного объяснения противоречий, обнаруженных в себе этим человеком и кажущихся ему источником его немалых страданий. Гарри обнаруживает в себе «человека», то есть мир мыслей, чувств, культуры, укрощенной и утонченной природы, но рядом он обнаруживает еще и «волка», то есть темный мир инстинктов, дикости, жестокости, неутонченной, грубой природы. Несмотря на это с виду такое ясное разделение своего естества на две взаимно враждебных сферы, он нет-нет да замечал, что волк и человек какое-то время, в какие-то счастливые мгновенья, уживались друг с другом. Если бы Гарри попытался определить степень участия человека и степень участия волка в каждом отдельном моменте его, Гарри, жизни, в каждом его поступке, в каждом его ощущении, то он сразу стал бы в тупик и вся его красивая волчья теория полетела бы прахом. Ибо ни один человек, даже первобытный негр, даже идиот, не бывает так приятно прост, чтобы его натуру можно было объяснить как сумму двух или трех основных элементов; а уж объяснять столь разностороннего человека, как Гарри, наивным делением на волка и человека — это и вовсе безнадежно ребяческая попытка. Гарри состоит не из двух натур, а из сотен, из тысяч. Его жизнь (как жизнь каждого человека) вершится не между двумя только полюсами, такими, как инстинкт и дух или святой и развратник, она вершится между несметными тысячами полярных противоположностей.

Нас не должно удивлять, что такой сведущий и умный человек, как Гарри, считает себя Степным Волком, сводя богатый и сложный строй своей жизни к столь простой, столь грубой, столь примитивной формуле. Способностью думать человек обладает лишь в небольшой мере, и даже самый духовный и самый образованный человек видит мир и себя самого всегда сквозь очки очень наивных, упрощающих, лживых формул — и особенно себя самого! Ведь это, видимо, врожденная потребность каждого человека, срабатывающая совершенно непроизвольно,— представлять себя самого неким единством. Какие бы частые и какие бы тяжкие удары не терпела эта иллюзия, она оживает снова и снова. Судья, который, сидя напротив убийцы и глядя ему в глаза, в какой-то миг слышит, как тот говорит его собственным (судьи) голосом, в какой-то миг находит в себе все порывы, задатки, возможности убийцы,— он в следующий же миг обретает цельность, становится снова судьей, уходит в панцирь своего мнимого «я», выполняет свой долг и приговаривает убийцу к смерти. И если в особенно одаренных и тонко организованных человеческих душах забрезжит чувство их многосложности, если они, как всякий гений, прорвутся сквозь иллюзию личности, если они ощутят свою неоднозначность, ощутят себя клубком из множества «я», то стоит лишь им заикнуться об этом, как большинство их запрет, призовет на помощь науку, констатирует шизофрению и защитит человечество от необходимости внимать голосу правды из уст этих несчаст-

ных. Однако зачем здесь тратить слова, зачем говорить вещи, которые всем, кто думает, известны и так, но говорить которые не принято? Значит, если кто-то осмеливается расширить мнимое единство своего «я» хотя бы до двойственности, то он уже почти гений, во всяком случае редкое и интересное исключение. В действительности же любое «я», даже самое наивное,— это не единство, а многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей. А что каждый в отдельности стремится смотреть на этот хаос как на единство и говорит о своем «я» как о чем-то простом, имеющем твердую форму, четко очерченном, то этот обман, привычный всякому человеку (даже самого высокого полета), есть, по-видимому, такая же необходимость, такое же требование жизни, как дыханье и пища.

Обман этот основан на простой метафоре. Тело каждого человека цельно, душа — нет. Поэзия тоже, даже самая изощренная, по традиции всегда оперирует мнимо цельными, мнимо едиными персонажами. В поэзии существовавшей до сих пор, специалисты и знатоки ценят выше всего драму, и по праву, ибо она дает (или могла бы дать) наибольшую возможность изобразить «я» как некое множество — если бы не грубая подтасовка, выдающая каждый отдельный персонаж драмы за нечто единое, поскольку он пребывает в непреложно уникальной, цельной и замкнутой телесной оболочке. Выше всего даже ценит наивная эстетика так называемую драму характеров, где каждое лицо выступает как некая четко обозначенная и обособленная цельность. Лишь смутно и постепенно возникает кое у кого догадка, что все это, может быть, дешевая. поверхностная эстетика, что мы заблуждаемся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о прекрасном, понятия античности, которая, отправляясь всегда от зримого тела, собственно, и изобрела фикцию «я», фикцию лица. В поэзии Древней Индии этого понятия совершенно не существует, герои индийского эпоса — не лица, а скопища лиц, ряды олицетворений. И в нашем современном мире тоже есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многообразие души. Кто хочет обнаружить это, должен решиться взглянуть на действующих лиц такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя). Кто посмотрит так, скажем, на «Фауста», для того Фауст, Мефистофель, Вагнер и все другие составят некое единство, некое сверхлицо, и лишь в этом высшем единстве, не в отдельных персонажах, есть какой-то намек на истинную сущность души Когда Фауст произносит слова, знаменитые у школьных учителей и вызывающие трепет у восхищенного обывателя: «Ах, две души в моей живут груди!» — он, Фауст, забывает Мефистофеля и множество других душ, которые тоже пребывают в его душе. Да ведь и наш Степной Волк полагает, что носит в своей груди две души (волка и человека), и находит, что уже этим грудь его пагубно стеснена То-то и оно что грудь, тело всегда единственны, а душ в них заключено не две не пять, а несметное число; человек — луковица, состоящая из сотни кожиц, ткань, состоящая из множества нитей Поняли и хорошо знали это древние азиаты, и буддистская йога открыла целую технику, чтобы разоблачить самообман личности. Забавна и разнообразна игра человечества: самообман, над разоблачением которого Индия билась тысячу лет,— это тот же самообман, на укрепление и усиление которого положил столько сил Запад.

Если мы посмотрим на Степного Волка с этой точки зрения, нам станет ясно, почему он так страдает от своей смешной двойственности. Он, как и Фауст, считает, что две души — это для одной-единственной груди уж слишком много и что они должны разорвать грудь. А это, наоборот, слишком мало, и Гарри совершает над своей бедной душой страшное насилие, пытаясь понять ее в таком примитивном изображении. Гарри, хотя он и высокообразованный человек, поступает примерно так же, как дикарь, умеющий считать только до двух. Он называет одну часть себя человеком, а другую волком и думает, что на том дело кончено и что он исчерпал себя. В «человека» он впихивает все духовное, утонченное или хотя бы культурное, что находит в себе, а в волка — все импульсивное, дикое и хаотичное. Но в жизни все не так просто, как в наших мыслях, все не так грубо, как в нашем бедном, идиотском языке, и Гарри вдвойне обманывает себя, прибегая к этому дикарскому методу «волка». Гарри, боимся мы, относит уже к «человеку» целые области своей души, которым до человека еще далеко, а к волку такие части своей натуры, которые давно вытеснили волка.

Как все люди, Гарри мнит, будто довольно хорошо знает, что такое человек, а на самом деле вовсе не знает этого, хотя нередко, в снах и других трудно контролируемых состояньях сознания, об этом догадывается. Не забывать бы ему этих догадок, запомнить бы их как можно лучше! Ведь человек не есть нечто застывшее и неизменное (таков был, вопреки противоположным догадкам ее мудрецов, идеал античности), а есть скорее некая попытка, некий переход, есть не что иное, как узкий, опасный мостик между природой и духом. К духу, к богу влечет его сокровеннейшее призвание, назад к матери-природе — глубиннейшая тоска; между этими двумя силами колеблется его жизнь в страхе и трепете. То, что люди в каждый момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная, обывательская договоренность. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какого-то участия сознания, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала, она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую толику духа. «Человек» этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс, робкая, наивно-хитрая попытка надуть, с одной стороны, злую праматерь-природу, а с другой, докучливого праотца — дух и пожить между ними, в индифферентной середке. Поэтому мещанин допускает и терпит то, что он называет «личностью», но одновременно отдает личность на произвол молоха «государства» и всегда сталкивает лбами личность и государство. Поэтому мещанин сжигает сегодня как еретика, вешает как преступника того, кому послезавтра он будет ставить памятники.

Чувство, что «человек» не есть нечто уже сложившееся, а есть требование духа, отдаленная, столь же вожделенная, сколь и страшная возможность и что продвигаются на пути к ней всегда лишь малопомалу, ценой ужасных мук и экстазов, как раз те редкие одиночки, которых сегодня ждет эшафот, а завтра памятник,— это чувство живет и в Степном Волке. Но то, что он, в противоположность своему «волку», называет в себе «человеком»,— это в общем и есть тот самый посредственный «человек» мещанской условности. Да, Гарри чувствует, что существует путь к истинному человеку, да, порой он даже еле-еле и мало-помалу чуть-чуть продвигается вперед на этом пути, расплачиваясь за свое продвижение тяжкими страданиями и мучительным одиночеством. Но одобрить и признать своей целью то высшее требование, то подлинное очеловечение, которого ищет дух, пойти единственным узким путем к бессмертию — этого он

в глубине души все же страшится. Он ясно чувствует: это поведет к еще большим страданьям, к изгнанью, к предельным лишеньям, может быть, к эшафоту,— и как ни заманчиво бессмертие в конце этого пути, он не хочет страдать всеми этими страданьями, не хочет умирать всеми этими смертями. Хотя очеловечение как цель понятнее ему, чем мещанам, он закрывает глаза и словно бы не знает, что отчаянно держаться за свое «я», отчаянно цепляться за жизнь — это значит идти вернейшим путем к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим «я» ради перемен ведет к бессмертию. Боготворя своих любимцев из числа бессмертных, например Моцарта, он в общем-то смотрит на него все еще мещанскими глазами и, совсем как школьный наставник, склонен объяснять совершенство Моцарта лишь его высокой одаренностью специалиста, а не величием его самоотдачи, его готовности к страданиям, его равнодушия к идеалам мещан, не его способностью к тому предельному одиночеству, которое разрежает, которое превращает в ледяной эфир космоса всякую мещанскую атмосферу вокруг того, кто страдает и становится человеком, к одиночеству Гефсиманского сада.

И все же наш Степной Волк открыл в себе по крайней мере фаустовскую раздвоенность, обнаружил, что за единством его жизни вовсе не стоит единство души, а что он в лучшем случае находится лишь на пути, лишь в долгом паломничестве к идеалу этой гармонии. Он хочет либо преодолеть в себе волка и стать целиком человеком, либо отказаться от человека и хотя бы как волк жить цельной, нераздвоенной жизнью. Вероятно, он никогда как следует не наблюдал за настоящим волком, а то бы он, может быть, увидел, что и у животных нет цельной души, что и у них за прекрасной, подтянутой формой тела кроется многообразие стремлений и состояний, что у волка есть свои внутренние бездны, что и волк страдает. Нет, говоря: «Назад к природе!» — человек всегда идет неверным, мучительным и безнадежным путем.

Гарри никогда не стать снова целиком волком. да и стань он им, он бы увидел, что и волк тоже не есть что-то простое и изначальное, а есть уже нечто весьма многосложное. И у волка в его волчьей груди живут две, и больше чем две, души, и кто жаждет быть волком, тот столь же забывчив, как мужчина, который поет: «Блаженство лишь детям дано!» Симпатичный, но сентиментальный мужчина, распевающий песню о блаженном дитяти, тоже хочет вернуться к природе, к невинности, к первоистокам, совсем забыв, что и дети отнюдь не блаженны, что они способны ко многим конфликтам, ко многим разладам, ко всяким страданьям

Назад вообще нет пути — ни к волку, ни к ребенку. В начале вещей ни невинности, ни простоты нет; все сотворенное, даже самое простое на вид, уже виновно, уже многообразно, оно брошено в грязный поток становления и никогда, никогда уже не сможет поплыть вспять. Путь к невинности, к несотворенному, к богу ведет не назад, а вперед, не к волку, не к ребенку, а ко все большей вине, ко все более глубокому очеловечению. И самоубийство тебе, бедный Степной Волк, тоже всерьез не поможет, тебе не миновать долгого, трудного и тяжкого пути очеловечения, ты еще вынужден будешь всячески умножать свою раздвоенность, всячески усложнять свою сложность. Вместо того чтобы сужать свой мир, упрощать свою душу, тебе придется мучительно расширять, все больше открывать ее миру, а там, глядишь, и принять в нее весь мир, чтобы когда-нибудь, может быть, достигнуть конца и покоя. Этим путем шел Будда, им шел каждый великий человек, кто сознательно, кто безотчетно — кому на что

удавалось осмелиться. Всякое рождение означает отделение от вселенной, означает ограничение, обособление от бога, мучительное становление заново. Возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности, стать богом — это значит так расширить свою душу, чтобы она снова могла объять вселенную.

Здесь речь идет не о человеке, которого имеет в виду школа, экономика, статистика, не о человеке, который миллионами ходит по улицам и о котором можно сказать то же, что о песчинках на морском берегу или о брызгах прибоя: миллионом больше или миллионом меньше — неважно, они — материал, и только. Нет, мы говорим здесь о человеке в высоком смысле, о цели долгого пути очеловечения, о царственном человеке, о бессмертных. Гениальность — явление не столь редкое, как это нам порой кажется, хотя и не такое частое, как считают историки литератур, историки стран, а тем более газеты. Степной Волк Гарри, на наш взгляд, достаточно гениален, чтобы осмелиться на попытку очеловечения, вместо того чтобы при любой трудности жалобно ссылаться на своего глупого степного волка.

Если люди таких возможностей перебиваются ссылками на степного волка и на «ах, две души», то это столь же удивительно и огорчительно, как и то, что они так часто питают трусливую любовь к мещанству. Человеку, способному понять Будду, имеющему представление о небесах и безднах человечества, не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность. Он живет в нем только из трусости, и когда его угнетают размеры этого мира, когда тесная мещанская комната делается ему слишком тесна, он сваливает все на волка и не видит, что волк — лучшая порой его часть. Он называет все дикое в себе волком и находит это злым, опасным, с мещанской точки зрения — страшным, и хотя он считает себя художником, хотя убежден в тонкости своих чувств, ему невдомек, что кроме волка, за волком в нем живет и многое другое, и не все то волк, что волком названо, и живут там еще и лиса, и дракон, и тигр, и обезьяна, и райская птичка. Ему невдомек, что весь этот мир, весь этот райский сад прелестных и страшных, больших и малых, сильных и слабых созданий, точно так же подавлен и взят в плен сказкой о волке, как подавлен в нем, в Гарри, и взят в плен мещанином, ложным человеком, подлинный человек.

Представьте себе сад с сотнями видов деревьев, с тысячами видов цветов, с сотнями видов плодов, с сотнями видов трав. Если садовник этого сада не знает никаких ботанических различий, кроме «съедобно» и «сорняк», то от девяти десятых его сада ему никакого толку не будет, он вырвет самые волшебные цветы, срубит благороднейшие деревья или, по крайней мере, возненавидит их и станет косо на них смотреть. Так поступает и Степной Волк с тысячами цветов своей души. Что не подходит под рубрики «человек» или «волк», того он просто не видит. А чего он только не причисляет к «человеку»! Все трусливое, все напускное, все глупое и мелочное, поскольку оно не волчье, он причисляет к «человеку», а все сильное и благородное, лишь потому, что еще не стал сам себе господином, приписывает волчьему своему началу.

Мы прощаемся с Гарри, мы предоставляем ему идти дальше его путем одному. Если бы он уже был с бессмертными, если бы он уже был там, куда, кажется, направлен его тяжкий путь, как удивленно взглянул бы он на эти изгибы, на этот смятенный, на этот нерешительный зигзаг своего пути, как ободрительно, как порицающе, как сочувственно, как весело улыбнулся бы он этому Степному Волку!

Дочитав до конца, я вспомнил, что несколько недель назад, как-то ночью, я написал странное стихотворение, где речь тоже шла о Степном Волке. Я перерыл кучу бумаг в своём битком набитом письменном столе, нашел этот листок и прочел:

Мир лежит в глубоком снегу.
Ворон на ветке бьет крылами.
Я, Степной Волк, все бегу и бегу,
Но не вижу нигде ни зайца, ни лани!
Нигде ни одной — куда ни глянь.
А я бы сил не жалел в погоне,
Я взял бы в зубы ее, в ладони,
Это ведь любовь моя — лань.
Я бы в нежный кострец вонзил клыки,
Я бы кровь прелестницы вылакал жадно,
А потом опять бы всю ночь от тоски,
От одиночества выл надсадно.
Даже зайчишка — и то бы не худо.
Ночью приятно парного поесть мясца.
Ужели теперь никакой ниоткуда
Мне не дождаться поживы и так и тянуть до конца?
Шерсть у меня поседела на старости лет,
Глаза притупились, добычи не вижу в тумане.
Милой супруги моей на свете давно уже нет,
А я все бегу и мечтаю о лани.
А я все бегу и о зайце мечтаю,
Снегом холодным горящую пасть охлаждаю,
Слышу, как свищет ветер, бегу, ищу,
К дьяволу бедную душу свою тащу.

И вот у меня в руках было два моих портрета — автопортрет из рифмованных дольников, такой же печальный и тревожный, как я сам, и портрет, написанный холодно и на вид очень объективно посторонним лицом, которое смотрит на меня со стороны, сверху вниз и знает больше, но все же и меньше, чем я сам. И оба эти портрета вместе, мои тоскливо запинающиеся стихи и умный этюд неизвестного автора, причиняли мне боль, оба были верны, оба рисовали без прикрас мое безотрадное бытие, оба ясно показывали невыносимость и неустойчивость моего состояния. Этот Степной Волк должен был умереть, должен был собственноручно покончить со своей ненавистной жизнью — или же должен был переплавиться в смертельном огне обновленной самооценки, сорвать с себя маску и двинуться в путь к новому «я» Ах, этот процесс не был мне нов и незнаком, я знал его, я уже неоднократно проходил через него, каждый раз во времена предельного отчаянья. Каждый раз в ходе этой тяжелой ломки вдребезги разбивалось мое прежнее «я», каждый раз глубинные силы растормашивали и разрушали его, каждый раз при этом какая-то заповедная и особенно любимая часть моей жизни изменяла мне и терялась. Один раз я потерял свою мещанскую репутацию вкупе со своим состоянием и должен был постепенно отказаться от уважения со стороны тех, кто дотоле снимал передо мной шляпу. Другой раз внезапно развалилась моя семейная жизнь: моя заболевшая душевной болезнью жена прогнала меня из дому, лишила налаженного быта, любовь и доверие превратились вдруг в ненависть и смертельную вражду, соседи смотрели мне вслед с жалостью и презреньем. Тогда-то и началась моя изоляция. А через несколько лет, через несколько тяжких, горьких лет, когда я в полном одиночестве и благодаря строгой самодисциплине построил себе новую жизнь, основанную на аскетизме и духовности, когда я, предавшись абстрактному упражнению ума и строго упорядоченной медитации, снова достиг известной тишины, известной высоты, этот уклад жизни вне-

запно рухнул, тоже вдруг потерял свой благородный, высокий смысл; я снова метался по миру в диких, напряженных поездках, накапливались новые страданья и новая вина. И каждый раз этому срыванию маски, этому крушенью идеала предшествовали такая же ужасная пустота и тишина, такая же смертельная скованность, изолированность и отчужденность, такая же адская пустыня равнодушия и отчаяния, как те, через которые я вновь проходил теперь.

При каждом таком потрясении моей жизни я в итоге что-то приобретал, этого нельзя отрицать, становился свободнее, духовнее, глубже, но и делался более одинок, более непонятен, более холоден. В мещанском плане моя жизнь была постоянным, от потрясения к потрясению, упадком, все большим удалением от нормального, дозволенного, здорового. С годами я стал человеком без определенных занятий, без семьи, без родины, оказался вне всяких социальных групп, один, никто меня не любил, у многих я вызывал подозрение, находясь в постоянном, жестоком конфликте с общественным мнением и с моралью общества, и хоть я и жил еще в мещанской среде, по всем своим мыслям и чувствам я был внутри этого мира чужим. Религия, отечество, семья, государство не представляли собой никакой ценности для меня, и мне не было до них дела: от тщеславия науки, искусств, корпораций меня тошнило; мои взгляды, мой вкус, весь мой ум, которыми я когда-то блистал как человек одаренный и популярный, пришли теперь в запустенье и одичанье и стали подозрительны людям. Если в ходе всех моих мучительных перемен я и приобретал что-то незримое и невесомое, то платил я за это дорого, и с каждым разом жизнь моя становилась все более тяжелой, трудной, одинокой, опасной. Право же, у меня не было причин желать продолжения этого пути, который вел меня во все более безвоздушные сферы, похожие на дым в осенней песне Ницше.

О да, я знал эти ощущения, эти перемены, уготованные судьбой своим трудным детям, доставляющим ей особенно много хлопот, слишком хорошо я их знал. Я знал их, как честолюбивый, но неудачливый охотник знает все этапы охотничьей вылазки, как старый биржевик знает все этапы спекуляции, выигрыша, неуверенности, колебаний, банкротства. Неужели мне и правда проходить через все это еще раз? Через эту муку, через все эти метания через все эти свидетельства низменности и никчемности собственного «я», через всю эту ужасную боязнь поражения, через весь этот страх смерти? Не умней ли, не проще ли было предотвратить повторение стольких страданий, дать тягу? Конечно, это было проще и умней. Что бы там ни утверждалось насчет «самоубийц» в брошюрке о Степном Волке, никто не мог лишить меня удовольствия избавиться с помощью светильного газа, бритвы или пистолетика от повторения процесса, мучительную болезненность которого я, право же, изведывал уже достаточно часто и глубоко. Нет, черт возьми, никакая сила на свете не заставит меня еще раз дрожать перед ней от ужаса, еще раз перерождаться и перевоплощаться, причем не для того, чтобы обрести наконец мир и покой, а для нового самоуничтоженья, для нового перерожденья! Пусть самоубийство — это глупость, трусость и подлость, пусть это бесславный, позорный выход — любой, даже самый постыдный выход из этой мельницы страданий куда как хорош, тут уж нечего играть в благородство и героизм, тут я стою перед простым выбором между маленькой, короткой болью и немыслимо жестоким, бесконечным страданьем. В своей такой трудной, такой сумасшедшей жизни я достаточно часто бывал благородным донкихотом и предпочитал честь удобству, а героизм — разуму. Хватит, кончено!

Утро зевало уже сквозь окна, свинцовое, окаянное утро дождливого зимнего дня, когда я наконец улегся. В постель я взял с собой свое решенье. Но на периферии сознания, на последней его границе, когда я уже засыпал, передо мной сверкнуло то странное место брошюрки, где речь шла о «бессмертных», и я мельком вспомнил, что не раз и даже совсем недавно чувствовал себя достаточно близким к бессмертным, чтобы в одном такте старинной музыки уловить всю холодную, светлую, сурово-улыбчивую мудрость бессмертных. Это возникло, блеснуло, погасло, и тяжелый, как гора, сон лег на мой лоб.

Проснувшись около полудня, я сразу ощутил ясность ситуации, брошюрка и мои стихи лежали на тумбочке, и мое решение, дозревшее и окрепшее за ночь во сне, глядело на меня приветливо-холодным взглядом из хаоса последней полосы моей жизни. Спешить не нужно было, мое решение умереть не было минутным капризом, это был зрелый, крепкий плод, медленно поспевший и отяжелевший, готовый упасть при первом же порыве ветра судьбы, который сейчас его тихо покачивал.

В моей дорожной аптечке имелось одно превосходное болеутоляющее средство, сильный препарат опиума — прибегать к нему я позволял себе очень редко, и моей воздержанности часто хватало на несколько месяцев; оглушающее это снадобье я принимал только при нестерпимо мучительных физических болях. Для самоубийства оно, к сожалению, не годилось: много лет назад я убедился в этом на собственном опыте. Однажды, в пору очередного отчаянья, я проглотил изрядную дозу этого препарата, достаточную, чтобы убить шестерых, но меня она не убила. Я, правда, уснул и пролежал несколько часов в полном забытьи, но потом, к ужасному своему разочарованию, проснулся от страшных спазмов в желудке, извергнул с рвотой, не вполне придя в себя, весь принятый яд и снова уснул, чтобы окончательно проснуться лишь в середине следующего дня — отвратительно трезвым, с выжженным, пустым мозгом и почти начисто отшибленной памятью. Никаких других последствий, кроме периода бессонницы и изнурительных болей в желудке, отравление не имело.

Это средство, стало быть, отпадало. Но мое решение приняло теперь вот какую форму: если дела мои снова пойдут так, что я должен буду прибегнуть к своему опийному снадобью, мне разрешается заменить это короткое избавленье избавленьем большим — смертью, причем смертью верной, надежной, от пули или от лезвия бритвы. Теперь положение прояснилось; ждать своего пятидесятилетия, как остроумно советовала брошюра, надо было, на мой взгляд, слишком уж долго, до него оставалось еще два года. Неважно, через год ли, через месяц ли или уже завтра — дверь была открыта.

Не скажу, чтобы «решение» сильно изменило мою жизнь. Оно сделало меня немного равнодушнее к недомоганиям, немного беззаботнее в употреблении опиума и вина, мне стало немного любопытнее, до какого предела можно терпеть, только и всего. Сильнее действовали другие впечатления того вечера. Трактат о Степном Волке я иногда перечитывал, то с увлечением и благодарностью, словно признавая, что какой-то невидимый маг мудро направляет мою судьбу, то с насмешливым презрением к трезвости трактата, который, казалось мне, совершенно не учитывал специфической напряженности моей жизни. Все сказанное там о степных волках и о самоубийцах, возможно, и было умно и прекрасно, но это относилось к целой категории, к типу как таковому, было талантливой абстрак-

цией; а меня как личность, суть моей души, мою особую, уникальную частную судьбу такой грубой сетью, казалось мне, уловить нельзя.

Глубже всего прочего занимала меня та галлюцинация, то видение у церковной стены, тот многообещающий анонс пляшущих световых букв, который соответствовал намекам в трактате. Очень уж многое тут обещалось мне, очень уж сильно разожгли голоса того неведомого мира мое любопытство. Я целыми часами самозабвенно о них размышлял, и все яснее тогда слышалось мне предостереженье тех надписей: «Не для всех!» и «Только для сумасшедших!» Значит, я сумасшедший, значит, очень далек от «всех», если те голоса меня достигли, если те миры со мной заговаривают. Господи, да разве я давно не отдалился от жизни всех, от бытия и мышления нормальных людей, разве я давно не отъединился от них, не сошел с ума? И все же в глубине души я прекрасно понимал это требование сумасшествия, этот призыв отбросить разум, скованность, мещанские условности и отдаться бурному, не знающему законов миру души, миру фантазии.

Однажды, снова безуспешно поискав на улицах и площадях человека с плакатом и выжидательно пройдя несколько раз мимо стены с невидимыми воротами, я встретил в предместье св. Мартина похоронную процессию. Разглядывая лица скорбящих, которые шагали за катафалком, я подумал: где в этом городе, где в этом мире живет человек, чья смерть означала бы для меня потерю? И где тот человек, для которого моя смерть имела бы хоть какое-то значение? Была, правда, Эрика, моя возлюбленная, ну, конечно; но мы давно жили очень разъединенно, редко виделись без ссор, и сейчас я даже не знал ее местопребывания. Иногда она приезжала ко мне или я ездил к ней, и поскольку мы оба люди одинокие и нелегкие, чем-то родственные друг другу в душе и в болезни души, между нами все-таки сохранялась какая-то связь. Но не вздохнула бы она с большим облегчением, узнав о моей смерти? Этого я не знал, как не знал ничего и о надежности своих собственных чувств. Надо жить в мире нормального и возможного, чтобы знать что-либо о таких вещах.

Между тем, по какой-то прихоти, я присоединился к процессии и приплелся за скорбящими к кладбищу, архисовременному цементному кладбищу с крематорием и всякой техникой. Но нашего покойника не собирались сжигать, его гроб опустили на землю у простой ямы, и я стал наблюдать за действиями священника и прочих стервятников, служащих похоронного бюро, которые пытались изобразить торжественность и скорбь, но от смущенья, от театральности и фальши чрезмерно усердствовали и добивались скорее комического эффекта, я смотрел, как трепыхалась на них черная униформа и как старались они привести собравшихся в нужное настроение и заставить их преклонить колени перед величием смерти. Это был напрасный труд, никто не плакал, покойный, кажется, никому не был нужен. Никто не проникался благочестивыми чувствами, и, когда священник называл присутствующих «дорогими сохристианами», будничные лица всех этих купцов, булочников и их жен молча склонялись с судорожной серьезностью, смущенно, фальшиво, с единственным желаньем, чтобы поскорей кончилась эта неприятная процедура. Что ж, она кончилась, двое передних сохристиан пожали оратору руку, вытерли о кромку ближайшего газона башмаки, выпачканные влажной глиной, в которую они положили своего мертвеца, лица сразу вновь обрели обычный человеческий вид, и одно из них показалось мне вдруг знакомым — это был, показалось мне, тот, что нес тогда плакат и сунул мне в руку брошюрку.

Едва я узнал его, как он отвернулся, наклонился, занялся своими черными брюками, аккуратно засучил их над башмаками и быстро зашагал прочь, зажав под мышкой зонтик. Я побежал за ним, догнал его, поклонился ему, но он, кажется, меня не узнал.

— Сегодня не будет вечернего аттракциона?— спросил я, пытаясь ему подмигнуть, как это делают заговорщики. Но от таких мимических упражнений я давно отвык, ведь при моем образе жизни я и говорить-то почти разучился; я сам почувствовал, что скорчил лишь глупую гримасу.

— Вечернего аттракциона?— пробормотал он и недоуменно посмотрел мне в лицо.— Ступайте, дорогой, в «Черный орел», если у вас есть такая потребность.

Я и правда не был уже уверен, что это он. Я разочарованно пошел дальше, не зная куда, никаких целей, никаких устремлений, никаких обязанностей для меня не существовало. У жизни был отвратительно горький вкус, я чувствовал, как давно нараставшая тошнота достигает высшей своей точки, как жизнь выталкивает и отбрасывает меня. В ярости шагал я по серому городу, отовсюду мне слышался запах влажной земли и похорон. Нет, у моей могилы не будет этих сычей в черной одежде с их сентиментальной трескотней! Ах, куда бы я ни взглянул, куда бы ни обратился мыслью, нигде не ждала меня радость, ничто меня не звало, не манило, все воняло гнилой изношенностью, гнилым полудовольством, все было старое, вялое, серое, дряблое, дохлое. Боже, как это получилось? Как дошел до этого я, окрыленный юнец, друг муз, любитель странствий по свету, пламенный идеалист? Как смогли они так тихонько подкрасться и овладеть мною, это бессилие, эта ненависть к себе и ко всем, эта глухота чувств, эта глубокая озлобленность, этот гадостный ад душевной пустоты и отчаянья?

Когда я проходил мимо библиотеки, мне попался на глаза один молодой профессор, с которым я прежде порой беседовал, к которому во времена последнего своего пребывания в этом городе даже несколько раз ходил на квартиру, чтобы поговорить с ним о восточных мифологиях — тогда эта область очень меня занимала. Ученый шел мне навстречу, чопорный, несколько близорукий, и узнал меня, когда я уже собирался пройти мимо. Он бросился ко мне с большой теплотой, и я, при таком своем никудышном состоянии, был почти благодарен ему за это. Он очень обрадовался и оживился, напомнил мне кое-какие подробности наших прежних бесед, сказал, что многим обязан моему влиянию и что часто обо мне думал; с тех пор ему редко доводилось так интересно и плодотворно дискутировать с коллегами. Он спросил, давно ли я в городе (я соврал: несколько дней) и почему я не навестил его. Я посмотрел на доброе, с печатью учености лицо этого учтивого человека, нашел сцену встречи с ним вообще-то смешной, но, как изголодавшийся пес, насладился крохой тепла, глотком любви, кусочком признания. Степной Волк Гарри растроганно осклабился, у него потекли слюнки в сухую глотку, сентиментальность выгнула ему спину вопреки его воле. Итак, я наврал, что заехал сюда ненадолго, по научным делам, да и чувствую себя неважно, а то бы, конечно, заглянул к нему. И когда он сердечно меня пригласил провести у него сегодняшний вечер, я с благодарностью принял это приглашение, а потом передал привет его жене, и оттого, что я так много говорил и улыбался, у меня заболели щеки, отвыкшие от таких усилий. И в то время как я, Гарри Галлер, захваченный врасплох и польщенный, вежливый и старательный, стоял на улице, улыбаясь этому любезному человеку и глядя в его доброе, близорукое лицо, другой Гарри стоял рядом и ухмылялся, стоял,

ухмыляясь, и думал: какой же я странный, какой же вздорный и лживый тип, если две минуты назад я скрежетал зубами от злости на весь опостылевший мир, а сейчас, едва меня поманил, едва невзначай приветил достопочтенный обыватель, спешу растроганно поддакнуть ему и нежусь, как поросенок, растаяв от крохотки доброжелательства, уваженья, любезности. Так оба Гарри, оба — фигуры весьма несимпатичные, стояли напротив учтивого профессора, презирая друг друга, наблюдая друг за другом, плюя друг другу под ноги и снова, как всегда в таких ситуациях, задаваясь вопросом: просто ли это человеческая глупость и слабость, то есть всеобщий удел, или же этот сентиментальный эгоизм, эта бесхарактерность, эта неряшливость и двойственность чувств — чисто личная особенность Степного Волка. Если эта подлость общечеловечна, ну, что ж, тогда мое презрение к миру могло обрушиться на нее с новой силой; если же это лишь моя слабость, то она давала повод к оргии самоуничиженья.

За спором между обоими Гарри профессор был почти забыт; вдруг он мне опять надоел, и я поспешил отделаться от него. Я долго глядел ему вслед, когда он удалялся по голой аллее добродушной и чуть смешной походкой идеалиста, походкой верующего. В душе бушевала битва, и машинально сгибая и разгибая замерзшие пальцы в борьбе с притаившейся подагрой, я вынужден был признаться себе, что остался в дураках, что вот и накликал приглашенье на ужин, к половине восьмого, обрек себя на обмен любезностями, ученую болтовню и созерцание чужого семейного счастья. Разозлившись, я пошел домой, смешал воду с коньяком, запил свои пилюли, лег на диван и попытался читать. Когда мне наконец удалось немного вчитаться в «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию», восхитительную бульварщину восемнадцатого века, я вдруг вспомнил о приглашенье, и что я небрит, и что мне нужно одеться. Одному богу известно, зачем я это себе навязал! Итак, Гарри, вставай, бросай свою книгу, намыливайся, скреби до крови подбородок, одевайся и прояикнись расположением к людям! И намыливаясь, я думал о грязной глинистой яме на кладбище, в которую сегодня спустили на веревках того незнакомца, и о перекошенных усмешкой лицах скучающих сохристиан и не смог даже посмеяться надо всем этим. Там, у грязной глинистой ямы, под глупую, смущенную речь проповедника, среди глупых, смущенных физиономий участников похорон, при безотрадном зрелище всех этих крестов и досок из жести и мрамора, среди всех этих искусственных цветов из проволоки и стекла, там, казалось мне, кончился не только тот незнакомец, не только, завтра или послезавтра, кончусь и я, зарытый, закопанный в грязь среди смущенья и лжи участников процедуры, — нет, там кончалось все, вся наша культура, вся наша вера, вся наша жизнерадостность, которая была очень больна и скоро там тоже будет зарыта. Кладбищем был мир нашей культуры, Иисус Христос и Сократ, Моцарт и Гайдн, Данте и Гёте были здесь лишь потускневшими именами на ржавеющих жестяных досках, а кругом стояли смущенные и изолгавшиеся поминальщики, которые много бы дали за то, чтобы снова поверить в эти когда-то священные для них жестяные скрижали или сказать хоть какое-то честное, серьезное слово отчаяния и скорби об этом ушедшем мире, а не просто стоять у могилы со смущенной ухмылкой. От злости я порезал себе подбородок в том же, что и всегда, месте и прижег ранку квасцами, но все равно должен был сменить только что надетый свежий воротничок, хотя совершенно не знал, зачем я все это делаю, ибо не испытывал ни малейшего желания идти туда, куда меня пригласили. Но какая-то часть Гарри снова устроила спектакль, назвала профессора славным малым, захотела человече-

ского запаха, болтовни, общенья, вспомнила красивую жену профессора, нашла мысль о вечере у гостеприимных хозяев в общем-то вдохновляющей, помогла мне налепить на подбородок английский пластырь, помогла мне одеться и повязать подобающий галстук и мягко убедила меня поступиться истинным моим желанием остаться дома. Одновременно я думал: так же, как я сейчас одеваюсь и выхожу, иду к профессору и обмениваюсь с ним более или менее лживыми учтивостями, по существу всего этого не желая,— точно так поступает, живет и действует большинство людей изо дня в день, час за часом, они вынужденно, по существу этого не желая, наносят визиты, ведут беседы, отсиживают служебные часы, всегда поневоле, машинально, нехотя, все это с таким же успехом могло бы делаться машинами или вообще не делаться; и вся эта нескончаемая механика мешает им критически — как я — отнестись к собственной жизни, увидеть и почувствовать ее глупость и мелкость, ее мерзко ухмыляющуюся сомнительность, ее безнадежную тоску и скуку. О, и они правы, люди, бесконечно правы, что так живут, что играют в свои игры и носятся со своими ценностями, вместо того чтобы сопротивляться этой унылой механике и с отчаяньем глядеть в пустоту, как я, свихнувшийся человек. Если я иногда на этих страницах презираю людей и высмеиваю, то да не подумают, что я хочу свалить на них вину, обвинить их, взвалить на других ответственность за свою личную беду! Но я-то, я, зайдя так далеко и стоя на краю жизни, там, где она проваливается в бездонную темень, я поступаю несправедливо и лгу, когда притворяюсь перед собой и перед другими, будто эта механика продолжается и для меня, будто я тоже принадлежу еще к этому милому ребяческому миру вечной игры!

Вечер и впрямь принял удивительный оборот. Перед домом своего знакомого я на минуту остановился и взглянул вверх, на окна. Вот здесь живет этот человек, подумал я, трудится год за годом, читает и комментирует тексты, ищет связей между переднеазиатскими и индийскими мифологиями и тем доволен, потому что верит в ценность своей работы, верит в науку, которой служит, верит в ценность чистого знания, накопления сведений, потому что верит в прогресс, в развитие. Войны он не почувствовал, не почувствовал, как потряс основы прежнего мышления Эйнштейн (это, полагает он, касается лишь математиков), он не видит, как вокруг него подготавливается новая война, он считает евреев и коммунистов достойными ненависти, он добрый, бездумный, довольный ребенок, много о себе мнящий, ему можно лишь позавидовать. Я собрался с духом и вошел, меня встретила горничная в белом переднике, благодаря какому-то предчувствию я хорошо запомнил место, куда она убрала мои пальто и шляпу, горничная провела меня в теплую, светлую комнату, попросила подождать, и вместо того чтобы произнести молитву или соснуть, я из какого-то озорства взял в руки первый попавшийся предмет. Им оказался портретик в рамке с твердой картонной подпоркой-клапаном, стоявший на круглом столе. Эта была гравюра, и изображала она писателя Гёте, своенравного, гениально причесанного старика с красиво вылепленным лицом, где, как положено, были и знаменитый огненный глаз, и налет одиночества и трагизма, слегка сглаженных вельможностью, на которые художник затратил особенно много усилий. Ему удалось придать этому демоническому старцу, без ущерба для его глубины, какое-то не то профессорское, не то актерское выражение сдержанности и добропорядочности и сделать из него в общем-то действительно красивого старого господина, способного украсить любой мещанский дом. Картинка эта, вероятно, была не глупей, чем все картинки такого рода, чем все эти милые

спасители, апостолы, герои, титаны духа и государственные мужи, изготовляемые прилежными ремесленниками, — взвинтила она меня, вероятно, лишь известной виртуозностью мастерства; так или иначе, это тщеславное и самодовольное изображение старого Гёте сразу же резануло меня отвратительным диссонансом — а я был уже достаточно раздражен и настропален — и показало мне, что я попал не туда. Здесь были на месте красиво стилизованные основоположники и национальные знаменитости, а не степные волки.

Войди сейчас хозяин дома, мне, наверно, удалось бы ретироваться под каким-нибудь подходящим предлогом. Но вошла его жена, и я покорился судьбе, хотя и чуял недоброе. Мы поздоровались, и за первым диссонансом последовали новые и новые. Она поздравила меня с тем, что я хорошо выгляжу, а я прекрасно знал, как постарел я за годы, прошедшие после нашей последней встречи: уже во время рукопожатья мне неприятно напомнила об этом подагрическая боль в пальцах. А потом она спросила меня, как поживает моя милая жена, и мне пришлось сказать, что жена ушла от меня и наш брак распался. Мы были рады, что появился профессор. Он тоже приветствовал меня очень тепло, и вся ложность, весь комизм этой ситуации вскоре нашли себе донельзя изящное выражение. В руках у профессора была газета, подписчиком которой он состоял, орган милитаристской, подстрекавшей к войне партии, и пожав мне руку, он кивнул на газету и сказал, что в ней есть статья об одном моем однофамильце, публицисте Галлере — это, видно, какой-то безродный негодяй, он потешался над кайзером и утверждал, что его родина виновата в развязывании войны ничуть не меньше, чем вражеские страны. Ну и тип, наверно! Но теперь он получил отповедь, редакция лихо отчитала этого прохвоста, заклеймила позором. Мы, однако, перешли к другой теме, когда профессор увидел, что эта материя не интересует меня, ведь у хозяев и в мыслях не было, что такое исчадие ада может сидеть перед ними, а дело обстояло именно так, этим исчадием ада был я. Зачем, право, поднимать шум и беспокоить людей! Я посмеялся про себя, но уже потерял надежду на то, что вечер может оказаться приятным. Я хорошо помню этот момент. Ведь как раз в тот момент, когда профессор заговорил об изменнике родины Галлере, скверное чувство подавленности и отчаяния, нараставшее и усиливавшееся во мне с похорон, сгустилось в страшную тяжесть, в физически ощутимую (внизу живота) боль, в давяще-тревожное чувство рока. Что-то, я чувствовал, подстерегало меня, какая-то опасность подкрадывалась ко мне сзади. К счастью, сообщили, что ужин подан. Мы перешли в столовую, и то и дело стараясь сказать или спросить что-нибудь безобидное, я съел больше, чем привык съедать, и чувствовал себя с каждой минутой все отвратительнее. Боже мой, думал я все время, зачем мы так напрягаемся? Я ясно чувствовал, что и моим хозяевам было не по себе и что их живость стоила им труда, то ли оттого, что я действовал на них сковывающе, то ли из-за какого-то неблагополучия в доме. Они спрашивали меня всё о таких вещах, что отвечать откровенно никак нельзя было, вскоре я совсем запутался во лжи и боролся с отвращением при каждом слове. Наконец, чтобы отвлечь их, я стал рассказывать о похоронах, свидетелем которых сегодня был. Но я не нашел верного тона, мои потуги на юмор действовали удручающе, мы расходились в разные стороны все больше и больше, во мне смеялся, оскаливаясь, степной волк, и за десертом все трое больше помалкивали.

Мы вернулись в ту первую комнату, чтобы выпить кофе и водки, возможно, это могло немного помочь нам. Но тут царь поэтов снова попался мне на глаза, хотя его уже убрали на комод. Он не давал

мне покоя, и, прекрасно слыша в себе предостерегающие голоса, я снова взял его в руки и начал с ним объясняться. Я был прямотаки одержим чувством, что эта ситуация невыносима, что я должен сейчас либо отогреть и увлечь хозяев, настроить их на свой лад, либо довести дело и вовсе до взрыва.

— Будем надеяться,— сказал я,— что у Гёте в действительности был не такой вид! Это тщеславие, эта благородная поза, это достоинство, кокетничающее с уважаемыми зрителями, этот мир прелестнейшей сентиментальности под покровом мужественности! Можно, разумеется, очень его недолюбливать, я тоже часто очень недолюбливаю этого зазнайку, но изображать его так — нет, это уж чересчур.

Разлив кофе с глубоким страданием на лице, хозяйка поспешила выйти из комнаты, и ее муж полусмущенно-полуукоризненно сказал мне, что этот портрет Гёте принадлежит его жене и что она его особенно любит.

— И даже будь вы объективно правы, чего я, кстати, не считаю, вам не следовало выражаться так резко.

— Тут вы правы,— признал я.— К сожалению, это моя привычка, мой порок — выбирать всегда как можно более резкие выражения, что, кстати, делал и Гёте в лучшие свои часы. Конечно, этот слащавый, обывательский, салонный Гёте никогда не употребил бы резкого, меткого, точного выражения. Прошу прощения у вас и у вашей жены — скажите ей, что я шизофреник. И позвольте откланяться.

Ошарашенный хозяин попытался было возразить, снова заговорил о том, как прекрасны и интересны были прежние наши беседы, и что мои догадки насчет Митры и Кришны произвели на него тогда глубокое впечатленье, и что он надеялся сегодня опять... и так далее. Я поблагодарил его и сказал, что это очень любезные слова, но, увы, у меня начисто пропали и интерес к Кришне, и охота вести ученые разговоры, и сегодня я врал ему многократно, например, в этом городе я нахожусь не несколько дней, а несколько месяцев, но живу уединенно и уже не могу бывать в приличных домах, потому что, во-первых, я всегда не в духе и страдаю от подагры, а во-вторых, обычно пьян. Далее, чтобы внести полную ясность и хотя бы уйти не лжецом, я должен заявить уважаемому хозяину, что он меня сегодня очень обидел. Он стал на глупую, тупоумную, достойную какого-нибудь праздного офицера, но не ученого позицию реакционной газетки в отношении взглядов Галлера. А этот Галлер, этот «тип», этот безродный прохвост не кто иной, как я сам, и дела нашей страны и всего мира обстояли бы лучше, если бы хоть те немногие, кто способен думать, взяли сторону разума и любви к миру, вместо того чтобы слепо и исступленно стремиться к новой войне. Так-то, и честь имею.

С этими словами я поднялся, простился с Гёте и с профессором, сорвал с вешалки свои вещи и убежал. Громко выл у меня в душе злорадный волк, великий скандал разыгрывался между обоими Гарри. Ведь этот неприятный вечерний час имел для меня, мне сразу стало ясно, куда большее значение, чем для возмущенного профессора: для него он был разочарованием, досадным эпизодом, а для меня последним провалом и бегством, прощанием с мещанским, нравственным, ученым миром, полной победой степного волка. И прощался я как беглец, как побежденный, признавая себя банкротом, прощался без всякого утешения, без чувства превосходства, без юмора. Со своим прежним миром и с прежней родиной, с буржуазностью, нравственностью, ученостью я прощался в точности так, как прощается заболевший язвой желудка с жареной свининой. В ярости бежал я под фонарями, в ярости и смертельной тоске. Какой это был безотрадный, позорный, злой день, от утра до вечера, от кладбища до

сцены в доме профессора! Зачем? Почему? Есть ли смысл обременять себя другими такими днями, снова расхлебывать ту же кашу? Нет! И сегодня же ночью я покончу с этой комедией. Ступай домой, Гарри, и перережь себе горло! Хватит откладывать.

Я метался по улицам, гонимый бедой. Конечно, это была глупость с моей стороны — оплевать славным людям украшение их салона, глупость и невежливость, но я не мог поступить иначе, не мог больше мириться с этой укрощенной, лживой, благоприличной жизнью. А поскольку с одиночеством тоже я мириться, казалось, больше не мог, поскольку мое собственное общество вконец мне осточертело, поскольку я бился и задыхался в безвоздушном пространстве своего ада, какой у меня еше был выход? Не было никакого. О мать и отец, о далекий священный огонь моей молодости, о тысячи радостей, трудов и целей моей жизни! Ничего у меня от всего этого не осталось, даже раскаянья, остались лишь отвращенье и боль. Никогда еще, казалось мне, сама необходимость жить не причиняла такой боли.

Я передохнул в каком-то унылом трактире за заставой, выпил там воды с коньяком и снова побежал дальше, гонимый дьяволом, вверх и вниз по крутым и кривым улочкам старого города, по аллеям, через вокзальную площадь. Уехать!— подумал я, вошел в вокзал, поглазел на висевшие на стенах расписания, выпил немного вина, попытался собраться с мыслями. Все ближе, все явственнее видел я теперь призрак, который меня страшил. Это было возвращение домой, в свою комнату, это была необходимость смириться с отчаяньем! От нее не уйти, сколько часов ни бегай, не уйти от возвращения к моей двери, к столу с книгами, к дивану с портретом моей любимой над ним, не уйти от мгновенья, когда надо будет открыть бритву и перерезать себе горло. Все явственнее вставала передо мной эта картина, и все явственнее, с бешено колотящимся сердцем, чувствовал я самый большой страх на свеге — страх смерти! Да, у меня был отчаянный страх перед смертью. Хоть я и не видел другого выхода, хотя отвращение, страдание и отчаяние сдавили меня со всех сторон, хотя ничто уже не могло меня приманить, принести мне надежду и радость, я испытывал несказанный ужас перед последним мгновеньем, перед обязанностью холодно полоснуть по собственной плоти!

Я не видел способа уйти от того, что меня страшило. Даже если сегодня в борьбе отчаяния с трусостью победит трусость, то все равно завтра и каждодневно передо мной снова будет стоять отчаянье, да еще усугубленное моим презреньем к себе. Так я и буду опять хвататься за бритву и опять отбрасывать ее, пока наконец не свершится. Уж лучше сегодня же! Я уговаривал себя, как ребенка, разумными доводами, но ребенок не слушал, он убегал, он хотел жить. Опять меня рывками носило по городу, я огибал свою квартиру размашистыми кругами, непрестанно помышляя о возвращенье и непрестанно откладывая его. Время от времени я задерживался в кабачках, то на одну рюмку, то на две рюмки, а потом меня снова носило по городу, размашисто кружило вокруг моей цели, вокруг бритвы, вокруг смерти. Порой, смертельно устав, я присаживался на скамью, на край фонтана, на тумбу, слышал, как стучит мое сердце, стирал со лба пот, бежал снова, в смертельном страхе, в теплящейся тоске по жизни.

Так, поздно ночью, меня принесло в отдаленное, мало знакомое мне предместье, к ресторану, за окнами которого неистовствовала танцевальная музыка. Проходя в подворотню, я прочел старую вывеску над ней: «Черный орел». В ресторане шла ночная жизнь — шум, толчея, дым, винные пары и крики, в заднем зале танцевали, там и бушевала музыка. Я остался в переднем зале, где находились сплошь простые, частью бедновато одетые люди, тогда как в заднем, бальном,

мелькали и гости весьма элегантные. Сутолока оттеснила меня в глубину зала, к стоявшему близ буфета столику, где на скамье у стены сидела красивая бледная девушка в тонком, с глубоким вырезом бальном платьице, в волосах у нее был увядший цветок. Увидев, что я приближаюсь, девушка внимательно и приветливо посмотрела на меня и, улыбнувшись, подвинулась, чтобы освободить мне место.

— Можно? — спросил я и сел возле нее.

— Конечно, тебе можно,— сказала она,— ты кто?

— Спасибо,— сказал я,— я никак не могу пойти домой, не могу, не могу, я хочу остаться здесь, возле вас, если вы позволите. Нет, я не могу пойти домой.

Она закивала головой, словно поняла меня, и, когда она кивала, я смотрел на локон, падавший у нее со лба к уху, и тут увидел, что увядший цветок — это камелия. Из другого зала гремела музыка, у буфета официантки торопливо выкрикивали свои заказы.

— Оставайся здесь,— сказала она голосом, который действовал на меня благотворно.— Почему же ты не можешь пойти домой?

— Не могу. Дома ждет меня... нет, не могу, это слишком страшно.

— Тогда не спеши и останься здесь. Только протри сначала очки, ты же ничего не видишь. Вот так, дай свой платок. Что будем пить? Бургундское?

Она вытерла мои очки; теперь лишь я увидел отчетливо ее бледное, резко очерченное лицо с накрашенным, алым ртом, со светлыми, серыми глазами, с гладким, холодным лбом, с коротким, тугим локоном возле уха. Она доброжелательно и чуть насмешливо стала меня опекать, заказала вина, чокнулась со мной и при этом посмотрела вниз, на мои башмаки.

— Боже, откуда ты явился? У тебя такой вид, словно ты пришел пешком из Парижа. В таком виде не приходят на бал.

Я ответил уклончиво, немного посмеялся, предоставил говорить ей. Она мне очень нравилась, и это удивило меня, ведь таких юных девушек я до сих пор избегал и смотрел на них с некоторым недоверием. А она держалась со мной именно так, как мне и нужно было в этот момент,— о, она и потом всегда понимала, как нужно со мной держаться. Она обращалась со мной в той мере бережно, в какой мне это нужно было, и в той мере насмешливо, в какой мне это нужно было. Она заказала бутерброд и велела мне его съесть. Она налила мне вина и приказала выпить, только не слишком быстро. Потом она похвалила меня за послушание.

— Ты молодец,— сказала она ободряюще,— с тобой легко. Пари, что тебе уже давно не приходилось никого слушаться?

— Да, вы выиграли пари. Но откуда вы это знаете?

— Догадаться немудрено. Слушаться — это как есть и пить: кто долго не пил и не ел, тому еда и питье дороже всего на свете. Тебе ведь нравится слушаться меня, правда?

— Очень нравится. Вы все знаете.

— С тобой легко. Пожалуй, дружок, я могла бы тебе и сказать, что тебя ждет дома и чего ты так боишься. Но это ты и сам знаешь, нам незачем об этом говорить, верно? Глупости! Либо ты вешаешься — ну, так вешайся, значит, у тебя на то есть причины,— либо живешь дальше, и тогда заботиться надо только о жизни. Проще простого.

— О,— воскликнул я,— если бы это было так просто! Клянусь, я достаточно заботился о жизни, а все без толку. Повеситься, может быть, трудно, я этого не знаю. Но жить куда, куда труднее! Видит бог, до чего это трудно!

— Ну, ты увидишь, что это очень легко. Начало мы уже сделали, ты вытер очки, поел, попил. Теперь мы пойдем и немного почистим

твои брюки и башмаки, они в этом нуждаются. А потом ты станцуешь со мной шимми.

— Вот видите,— воскликнул я возбужденно,— я все-таки был прав! Больше всего на свете мне жаль не исполнить какой-либо ваш приказ, а этот я не могу исполнить. Я не могу станцевать ни шимми, ни вальс, ни польку или как там еще называются все эти штуки, я никогда в жизни не учился танцевать. Теперь вы видите, что не все так просто, как вам кажется?

Красивая девушка улыбнулась своими алыми губами и покачала четко очерченной, причесанной под мальчика головкой. Взглянув на незнакомку, я нашел было, что она похожа на Розу Крейслер, первую девушку, в которую я когда-то, мальчишкой, влюбился, но та была смугла и темноволоса. Нет, я не знал, кого напоминала мне незнакомка, я знал только, что это воспоминание относилось к очень ранней юности, к отрочеству.

— Погоди,— воскликнула она,— погоди! Значит, ты не умеешь танцевать? Вообще не умеешь? Даже уан-степ? И при этом ты утверждаешь, что невесть как заботился о жизни? Да ты же соврал. Ай-ай-ай, в таком возрасте пора бы не врать! Как ты смеешь говорить, что заботился о жизни, если даже танцевать-то не хочешь?

— А если я не умею! Я этому никогда не учился.

Она засмеялась.

— Но ведь читать и писать ты учился, правда, и считать, и, наверно, учил еще латынь и французский и все такое прочее? Спорю, что ты десять или двенадцать лет просидел в школе, а потом еще, пожалуй, учился в университете и даже, может быть, именуешься доктором и знаешь китайский или испанский. Или нет? Ну, вот. Но самой малости времени и денег на несколько уроков танцев у тебя не нашлось! Эх, ты!

— Это из-за моих родителей,— оправдался я,— они заставляли меня учить латынь и греческий и тому подобное. А учиться танцевать они мне не велели, у нас это не было принято, сами родители никогда не танцевали.

Она посмотрела на меня очень холодно, с полным презреньем, и что-то в лице ее снова напомнило мне времена моей ранней юности.

— Вот как, виноваты, значит, твои родители! А ты их спросил, можно ли тебе сегодня вечером пойти в «Черный орел»? Спросил? Они уже давно умерли, говоришь? Ах, вот оно что! Если ты из чистого послушания не стал в юности учиться танцевать — ну что ж! Хотя не думаю, что ты был тогда таким уж пай-мальчиком. Но потом — что же ты делал потом, все эти годы?

— Ах, сам не знаю,— признался я.— Был студентом, музицировал, читал книги, писал книги, путешествовал...

— Странные же у тебя представления о жизни! Ты, значит, всегда занимался трудными и сложными делами, а простым так и не научился? Не было времени? Не было охоты? Ну, что ж, слава богу, я не твоя мать. Но потом делать вид, что ты изведал жизнь и ничего в ней не нашел,— нет, это никуда не годится!

— Не браните меня! — попросил я.— Я же знаю, что я сумасшедший.

— Да ну, не морочь мне голову! Ты вовсе не сумасшедший, господин профессор, по мне, ты даже слишком несумасшедший! Ты, мне кажется, как-то по-глупому рассудителен, совсем по-профессорски. Скушай-ка бутерброд! Потом расскажешь дальше.

Она опять добыла мне бутерброд, посолила его, помазала горчицей, отрезала кусочек себе и велела мне есть. Я стал есть. Я согласен был сделать все, что она ни велела бы, только не танцевать. Было неимоверно приятно слушаться кого-то, сидеть рядом с кем-то, кто рас-

спрашивал тебя, приказывал тебе, бранил тебя. Если бы несколько часов назад профессор или его жена делали именно это, я был бы от многого избавлен. Но нет, хорошо, что так вышло, а то бы я многое потерял!

— Как, собственно, зовут тебя? — спросила она вдруг.

— Гарри.

— Гарри? Мальчишеское имя! А ты и правда мальчишка, Гарри, несмотря на седину в волосах. Ты мальчишка, и кто-то должен за тобой присматривать. О танцах уж помолчу. Но как ты причесан! Неужели у тебя нет жены, нет возлюбленной?

— Жены у меня уже нет, мы разошлись. Возлюбленная есть, но живет она не здесь, я вижу ее редко, мы не очень-то ладим.

Она присвистнула сквозь зубы.

— Ты, видимо, довольно трудный господин, если все бросают тебя. Но скажи на милость, что особенного случилось сегодня вечером, почему ты метался сам не свой? Поссорился с кем-нибудь? Проиграл деньги?

Объяснить это было трудно.

— Видите ли,— начал я,— все вышло в общем-то из-за пустяка. Меня пригласили к одному профессору, сам я, кстати сказать, не профессор,— а мне в сущности не следовало туда ходить, я отвык сидеть в гостях и болтать, я разучился это делать. Да и в дом-то я уже вошел с чувством, что ничего путного не получится. Только я повесил шляпу, как сразу подумал, что, наверно, она мне скоро понадобится. Ну, вот, а у этого профессора, значит, стояла на столе такая картинка, глупая картинка, и она меня разозлила...

— Что за картинка? Почему разозлила? — прервала она меня.

— Ну, картинка, изображавшая Гёте — знаете, писателя Гёте. Но на ней он был не такой, как на самом деле,— впрочем, точно это вообще неизвестно, он умер сто лет назад. Просто какой-то современный художник подогнал Гёте к своему представленью о нем, и эта картинка разозлила меня, показалась мне мерзкой — не знаю, понятно ли вам это?

— Очень даже понятно, не беспокойся. Дальше!

— Я уже и до этого был несогласен с профессором; он, как почти все профессора, большой патриот и во время войны вовсю помогал врать народу — от чистого сердца, конечно. А я против войны. Ну да ладно. Значит, дальше. Мне и глядеть-то на эту картинку не надо было...

— И правда, не надо было.

— Но, во-первых, мне стало жаль Гёте, ведь я его очень, очень люблю, а кроме того, мне вдруг подумалось... ну, я подумал или почувствовал что-то вроде того, что вот, мол, я сижу у людей, которых считаю своими и о которых думал, что они любят Гёте, как я, и видят его примерно таким же, как вижу я, а у них стоит эта пошлая, лживая, притворная картинка, и они находят ее великолепной, не замечая даже, что ее дух — прямая противоположность духу Гёте. Они находят ее чудесной, и по мне — пускай, это их дело, но у меня уже нет никакого доверия к этим людям, никакой дружбы с ними, никакого чувства родства и общности. Впрочем, дружба и так-то была не бог весть какая. И тут я разозлился, загрустил, увидел, что я совсем один и никто меня не понимает. Вам это ясно?

— Что ж тут неясного, Гарри! А потом? Ты стукнул их картинкой по головам?

— Нет, наговорил гадостей и убежал, мне хотелось домой, но...

— Но там не оказалось бы мамы, чтобы утешить или выругать

глупого мальчишку. Ну, Гарри, мне тебя почти жаль, ты еще совсем ребенок.

Верно, с этим я был согласен, как мне казалось. Она дала мне выпить стакан вина. Она и правда вела себя со мной как мама. Но временами я видел, до чего она красива и молода.

— Значит,— начала она снова,— этот Гёте умер сто лет назад, а наш Гарри очень его любит и чудесно представляет себе, какой у него мог быть вид, и на это у Гарри есть право, не так ли? А у художника, который тоже в восторге от Гёте и имеет какое-то свое представление о нем, у него такого права нет, и у профессора тоже, и вообще ни у кого, потому что Гарри это не по душе, он этого не выносит, он может наговорить гадостей и убежать. Был бы он поумней, он просто посмеялся бы над художником и над профессором. Был бы он сумасшедшим, он швырнул бы им в лицо ихнего Гёте. А поскольку он всего-навсего маленький мальчик, он убегает домой и хочет повеситься... Я хорошо поняла твою историю, Гарри. Это смешная история. Она смешит меня. Погоди, не пей так быстро! Бургундское пьют медленно, а то от него бросает в жар. Но тебе нужно все говорить, маленький мальчик.

Она взглянула на меня строго и назидательно, словно какая-нибудь шестидесятилетняя гувернантка.

— О, да,— попросил я, обрадовавшись,— говорите мне все.

— Что мне тебе сказать?

— Все, что захотите.

— Хорошо, я скажу тебе кое-что. Уже целый час ты слышишь, что я говорю тебе «ты», а сам все еще говоришь мне «вы». Все латынь да греческий, все бы только посложнее! Если девушка говорит тебе «ты» и она тебе не противна, ты тоже должен говорить ей «ты». Ну, вот, кое-что ты и узнал. И второе: уже полчаса, как я знаю, что тебя зовут Гарри. Я это знаю, потому что спросила тебя. А ты не хочешь знать, как меня зовут.

— О нет, очень хочу.

— Поздно, малыш! Когда мы как-нибудь снова увидимся, можешь снова спросить. Сегодня я уже тебе не скажу. Ну вот, а теперь я хочу танцевать.

Она приготовилась встать, и у меня вдруг испортилось настроение, я испугался, что она уйдет и оставит меня одного, и тогда сразу все станет по-прежнему. Как возвращается вдруг, обжигая огнем, утихшая было зубная боль, так мгновенно вернулся ко мне мой ужас. Господи, неужели я забыл, что меня ждет? Разве что-нибудь изменилось?

— Погодите,— взмолился я,— не уходите... не уходи! Конечно, ты можешь танцевать сколько хочешь, но не уходи надолго, вернись, вернись!

Она, смеясь, встала. Я представлял себе ее выше ростом, она была стройна, но роста небольшого. Она снова напомнила мне кого-то — кого? Это оставалось загадкой.

— Ты вернешься?

— Вернусь, но, может быть, не так скоро, через полчаса или даже через час. Вот что я тебе скажу: закрой глаза и сосни, тебе это нужно.

Я пропустил ее, и она ушла; ее юбочка задела мои колени, на ходу она взглянула в круглое, крошечное карманное зеркальце, подняла брови, припудрила подбородок крошечной пуховкой и исчезла в танцзале. Я огляделся: незнакомые лица, курящие мужчины, пролитое пиво на мраморном столике, везде крик и визг, рядом танцевальная музыка. Мне надо соснуть, сказала она. Ах, детка, знала бы ты,

что мой сон пугливее белки! Спать в этом бедламе, сидя за столиком, под стук пивных кружек... Я отпил глоток вина, вынул из кармана сигару, поискал взглядом спички, но курить мне, собственно, не хотелось, я положил сигару перед собой на столик. «Закрой глаза»,— сказала она мне. Одному богу известно, откуда у этой девушки такой голос, такой низковатый, добрый голос, материнский голос. Хорошо было слушаться ее голоса, я в этом убедился. Я послушно закрыл глаза, приклонил голову к стене, услыхал, как окатывают меня сотни громких звуков, усмехнулся по поводу предложения уснуть здесь, решил пройти к двери зала и заглянуть в него — ведь надо же мне было посмотреть, как танцует моя красивая девушка,— шевельнул под стулом ногами, почувствовал лишь теперь, как бесконечно устал я, прослонявшись по улицам столько часов, и остался на месте. И вот я уже спал, покорный материнскому приказу, спал жадно и благодарно и видел сон, такой ясный и такой красивый сон, каких давно не видел. Мне снилось:

Я сидел и ждал в старомодной приемной. Сперва я знал только, что обо мне доложено «его превосходительству», потом меня осенило, что примет-то меня господин фон Гёте. К сожалению, я пришел сюда не совсем как частное лицо, а как корреспондент некоего журнала, это очень мешало мне, и я не мог понять, какого черта оказался в таком положении. Кроме того, меня беспокоил скорпион, который только что был виден и пытался вскарабкаться по моей ноге. Я, правда, оказал сопротивление этому черному паучку, стряхнув его, но не знал, где он притаился сейчас, и не осмеливался ощупать себя.

Да и не был я вполне уверен, что обо мне по ошибке не доложили вместо Гёте Маттиссону, которому я, однако, спутав его во сне с Бюргером, приписал стихи к Молли. Впрочем, встретиться с Молли мне очень хотелось бы, я представлял ее себе чудесной женщиной, мягкой, музыкальной, вечерней. Если бы только я не сидел здесь по заданию этой проклятой редакции! Мое недовольство все возрастало и постепенно перенеслось на Гёте, который вдруг вызвал у меня множество всяких упреков и несогласий. Прекрасная могла бы выйти аудиенция! А скорпион, хоть он и опасен, хоть он, возможно, и спрятался совсем поблизости, был, пожалуй, не так уж и плох; он мог, показалось мне, означать и что-то приятное, вполне возможно, так мне показалось, он имеет какое-то отношение к Молли, он как бы ее гонец или ее геральдический зверь, дивный, опасный геральдический зверь женственности и греха. Может быть, имя этому зверю было Вульпиус? Но тут слуга распахнул дверь, я поднялся и вошел в комнату.

Передо мной стоял старик Гёте, маленький и очень чопорный, и на его груди классика действительно была толстая орденская звезда. Казалось, он все еще вершит делами, все еще дает аудиенции, все еще правит миром из своего веймарского музея. Ибо, едва увидев меня, он отрывисто качнул головой, как старый ворон, и торжественно произнес:

— Ну-с, молодые люди, вы, кажется, не очень-то согласны с нами и нашими стараньями?

— Совершенно верно,— сказал я, и меня пронизало холодом от его министерского взгляда.— Мы, молодые люди, действительно не согласны с вами, человеком старым. Вы на наш вкус слишком торжественны, ваше превосходительство, слишком тщеславны и чванны, слишком неискренни. Это, пожалуй, самое важное: слишком неискренни.

Старичок выставил немного вперед свою строгую голову, его твердый, официально поджатый рот, разомкнувшись в усмешке, стал за-

мечательно живым, и у меня вдруг сильно забилось сердце, я вдруг вспомнил стихотворение «С неба сумерки спускались» и что слова этого стихотворения вышли из этого человека, из этих уст. По сути я уже в тот же миг был совершенно обезоружен и побежден и готов упасть перед ним на колени. Но я сохранил осанку и услыхал из его усмехавшихся уст:

— Так, стало быть, вы обвиняете меня в неискренности? Что за речи! Не объяснитесь ли вы обстоятельнее?

Мне хотелось объясниться, очень хотелось.

— Вы, господин фон Гёте, как все великие умы, ясно поняли и почувствовали темноту, безнадежность человеческой жизни — великолепие мгновения и его жалкое увяданье, невозможность оплатить прекрасную высоту чувства иначе, чем тюрьмой обыденности, жгучую тоску по царству духа, которая вечно и на смерть борется со столь же жгучей и столь же священной любовью к потерянной невинности природы, все это ужасное метание в пустоте и неопределенности, эту обреченность на бренность, на всегдашнюю ущербность, на то, чтобы вечно делать только какие-то дилетантские попытки,— короче говоря, всю безвыходность, странность, все жгучее отчаяние человеческого бытия. Все это вы знали, порой даже признавали, и тем не менее всей своей жизнью вы проповедовали прямо противоположное, выражали веру и оптимизм, притворялись перед собой и перед другими, будто в наших духовных усилиях есть что-то прочное, какой-то смысл. Вы отвергали и подавляли взыскующих глубины, голоса отчаянной правды — в себе самом так же, как в Бетховене и Клейсте. Вы десятилетиями делали вид, будто накопление знаний, коллекций, писание и собирание писем, будто весь ваш веймарский стариковский быт — это действительно способ увековечить мгновенье, а ведь вы его только мумифицировали — действительно способ одухотворить природу, а ведь вы ее только стилизовали, только гримировали. Это и есть неискренность, в которой мы вас упрекаем.

Старый тайный советник задумчиво посмотрел мне в глаза, на устах его все еще играла усмешка.

Затем он спросил, к моему удивленью:

— В таком случае Моцартова «Волшебная флейта» вам, наверно, очень противна?

И прежде чем я успел решительно возразить, он продолжал:

— «Волшебная флейта» представляет жизнь как сладостную песнь, она славит наши чувства — а ведь они преходящи — как нечто вечное и божественное, она не соглашается ни с господином фон Клейстом, ни с господином Бетховеном, а проповедует оптимизм и веру.

— Знаю, знаю! — воскликнул я со злостью.— Боже, как это пришла вам на ум именно «Волшебная флейта», которую я люблю больше всего на свете! Но Моцарт не дожил до восьмидесяти двух лет и в личном плане не притязал на долговечность, на порядок, на чопорное достоинство, как вы! Он так не важничал! Он пел свои божественные мелодии, и был беден, и умер рано, непризнанный, в бедности...

У меня не хватило дыхания. Тысячи вещей надо было сейчас сказать десятью словами, у меня выступил пот на лбу.

Но Гёте сказал очень дружелюбно:

— То, что я дожил до восьмидесяти двух лет, может быть, и непростительно. Но удовольствия это доставило мне меньше, чем вы думаете. Вы правы: долговечности я всегда сильно желал, смерти всегда боялся и с ней боролся. Я думаю, что борьба против смерти, безусловная и упрямая воля к жизни, есть та первопричина, которая побуждала действовать и жить всех выдающихся людей. Но что в конце концов приходится все-таки умирать, это, мой юный друг, я в свои восемь-

десят два года доказал так же убедительно, как если бы умер школьником. В свое оправдание, если это может служить им, скажу еще вот что: в моей природе было много ребяческого, много любопытства, много готовности играть и разбазаривать время. Потому мне и понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что играть-то уж хватит.

Говорил он это с очень озорной, даже нагловатой улыбкой. Он сделался выше ростом, чопорность в позе и напыщенность в лице исчезли. И воздух вокруг нас был теперь сплошь полон мелодий, полон гётевских песен, я явственно различал «Фиалку» Моцарта и «Вновь на долы и леса» Шуберта. И лицо Гёте было теперь розовое и молодое и смеялось, и он походил то на Моцарта, то на Шуберта, как брат, и звезда у него на груди состояла сплошь из луговых цветов, и в середине ее весело и пышно цвела желтая примула.

Меня не вполне устраивало, что старик так шутливо отделывался от моих вопросов и обвинений, и я посмотрел на него с упреком. Тогда он наклонился вперед, приблизил свой рот, сделавшийся уже совсем детским, к моему уху и тихо прошептал:

— Мальчик мой, ты принимаешь старого Гёте слишком всерьез. Старых людей, которые уже умерли, не надо принимать всерьез, это несправедливо по отношению к ним. Мы, бессмертные, не любим, когда к чему-то относятся серьезно, мы любим шутку. Серьезность, мальчик мой, это атрибут времени; она возникает, открою тебе, от переоценки времени. Я тоже когда-то слишком высоко ценил время, поэтому я хотел дожить до ста лет. А в вечности, видишь ли, времени нет; вечность — это всего-навсего мгновенье, которого как раз и хватает на шутку.

Говорить с ним серьезно и правда больше нельзя было, он весело и ловко приплясывал, и примула в его звезде то вылетала из нее, как ракета, то уменьшалась и исчезала. Когда он блистал своими па и фигурами, я невольно подумал, что этот человек по крайней мере не упустил случая научиться танцевать. У него это получалось замечательно. Тут я снова вспомнил о скорпионе, вернее, о Молли и крикнул Гёте:

— Скажите, Молли здесь нет?

Гёте расхохотался. Он подошел к своему столу, отпер один из ящиков, вынул оттуда какую-то дорогую не то кожаную, не то бархатную коробочку, открыл ее и поднес к моим глазам. Там, мерцая на темном бархате, лежала крошечная женская ножка, безупречная, восхитительная ножка, слегка согнутая в колене, с вытянутой книзу стопой, заостренной изящнейшей линией пальчиков.

Я протянул руку, чтобы взять эту ножку, в которую уже влюбился, но когда я хотел ухватить ее двумя пальцами, игрушка как бы чуть-чуть отпрянула, и у меня вдруг возникло подозрение, что это и есть тот скорпион. Гёте, казалось, понял это, казалось даже, он как раз и хотел, как раз и добивался этого глубокого смущения, этой судорожной борьбы между желанием и страхом. Он поднес очаровательного скорпиончика к самому моему лицу, увидел мое влечение, увидел, как я в ужасе отшатнулся, и это, казалось, доставило ему большое удовольствие. Дразня меня своей прелестной, своей опасной вещицей, он снова стал совсем старым, древним, тысячелетним, седым как лунь, и его увядшее, старческое лицо смеялось тихо, беззвучно, смеялось резко и загадочно, с каким-то глубокомысленным старческим юмором.

(Окончание следует)

Критика

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС

ДВИЖЕНИЕ ВШИРЬ И ВГЛУБЬ

О прозе ГДР семидесятых годов

Оглядываясь сегодня на путь, пройденный нашей литературой, можно, думается, утверждать, что третье десятилетие ее существования оказалось особенно плодотворным,— и это нисколько не умаляет значения всего предшествовавшего пути. Примерно к середине шестидесятых годов литература ГДР вступила в пору осмысления достигнутого, подведения итогов, обсуждения того, что предстояло сделать в будущем. Правда, крупные прозаические произведения — романы — в то время, пользуясь выражением Германа Канта, не «сыпались с неба», однако это вовсе не означает, что литература уходила от постановки сложных проблем современности. Предпочтение отдавалось «малой прозе» — именно здесь нащупывались новые художественные решения, пробовались новые способы письма, ставились новые общественно значимые проблемы.

Вторую половину шестидесятых годов следовало бы с полным основанием назвать «сезоном малой прозы»: появились новеллы Анны Зегерс, сборники рассказов Эрвина Штриттматтера «Вторник в сентябре» и «Маленькие истории»[1], сборники и отдельные рассказы Вернера Бройнига и Иоахима Новотного, Франца Фюмана и Эрика Нойча, Вольфганга Кольхазе, Эберхарда Паница, Гельмута Гауптмана, Манфреда Ендришика, Уве Канта и многих других.

Вопросы «Кто я? Откуда я? Зачем я?» становятся теперь одними из главных. Уже в первой половине шестидесятых годов намечались подходы к теме поисков себя и «обретения себя», к вопросу индивидуальных ценностей. Позже литература начинает относиться со все возрастающим интересом к личностной проблематике. Это не самолюбование «одинокого одиночки» — в решении подобных вопросов отражаются важные процессы жизни нашего общества.

Диалектика индивидуального и социального утверждает зависимость людей друг от друга, их ответственность друг за друга. Именно эта мысль пронизывает роман Йохена Лаабса «Травяной дом» (1971). Писатель так определяет важнейшие дни в жизни человека: «К примеру, это могли бы быть дни, когда начинаешь понимать, что жить можно по-разному, когда задумываешься, жил ли ты до сих пор настоящей жизнью или просто плыл по течению. Это серьезный вопрос. Проделанное тобой развитие, приход к чему-то новому еще ничего не объясняют в наше время, когда все проделывают определенное развитие и приходят к чему-то новому. Может быть, это именно и доказывает, что ты лишь плыл вместе со всеми, в общем потоке, как раз посередине, там, где затрачивается меньше всего усилий, намного меньше, чем если бы ты просто остался стоять. Я даже думаю, что стоять на месте потребовало бы от тебя больше сил». Итоговая мысль романа: «У дружбы есть только один критерий или что-то в этом роде — чувствовать себя ответственным за другого».

Мы живем в развитом социалистическом обществе, и социалистические принципы, определяющие наш образ жизни в целом, пронизывают все наши мысли, чувства и действия. Жанры малой прозы представляются особенно подходящими для художественного исследования подобных процессов. Осваивая эту новую сферу социалистической действительности, искусство делает

[1] Опубликовано в «ИЛ» № 6, 1971.

наглядной важную истину: от повседневных действий всех людей зависят и серьезные решения о мире и войне, упроченное и достойное человека существование. Именно далекие от патетики будни наполняют у нас понятия демократии, свободы, гуманизма реальным и общезначимым содержанием. Литература по-своему помогает осознать и ускорить исторический процесс. И появлявшиеся во второй половине шестидесятых годов рассказы далеко не беспроблемны: они несут в себе глубокие философские идеи. Эрвин Штриттматтер, например, размышляет в своих маленьких историях об изменении окружающей среды в результате научно-технической революции, о вторжении человека в природу. Задача этих произведений — не только привлечь внимание к проблемам, но и способствовать формированию «нормального» отношения к природе, добиться, чтобы в условиях социализма оно стало существенной стороной личности. Становление человека в новом обществе изображает в своих новеллах и Анна Зегерс.

■

Пожалуй, единственная из своего поколения, Анна Зегерс сделала шаг к изображению социалистической современности, прежде всего в романе «Доверие» (1968). Это ее большая заслуга. В книге находит концентрированное выражение огромный личный опыт писательницы, складывавшийся на протяжении почти пяти десятилетий классовой борьбы, подводятся итоги, делаются выводы, материалом же служит насыщенная, деятельная жизнь автора. В «Доверии» во всей полноте проявилась способность А. Зегерс эпически охватить действительность. Поднятая в романе тема доверия становится все более важной в формирующемся социалистическом обществе.

Доверие как требование дня — характерная черта социалистических отношений, признак их гармоничности. Зегерс отнюдь не идеализирует действительность, гармоничность для нее не имеет ничего общего с бесконфликтностью. Изображаемый писательницей непростой период нашей истории—речь идет о событиях 1953 года — требует серьезного разговора именно о доверии, даже о кризисе доверия. Разумеется, такого рода события не в состоянии опровергнуть позитивный опыт пятидесяти лет классовой борьбы, а если шире — то и ста пятидесяти лет организованного рабочего движения. Но они обязывают коммунистов к более основательным формулировкам и целенаправленному, убедительному осуществлению своих главных задач. Эта мысль звучит в романе «Доверие».

«Отчет перед собой» — такое понятие можно применить и к роману Анны Зегерс, и ко многим другим произведениям конца шестидесятых годов. Среди них — «Актовый зал» (1965) Германа Канта[1], «Расколотое небо» (1963)[2], «Размышления о Кристе Т.» (1969) Кристы Вольф, «Буриданов осел» (1968) Гюнтера де Бройна[1], «Картины свидетеля Шатмана» (1969) Петера Эделя, «Прощание с ангелами» (1968) Вернера Гайдучека. Авторы этих книг как бы отчитываются перед самими собой, перед обществом, что и определяет структуру произведений.

Впервые в молодой литературе ГДР подобный принцип построения был использован Кристой Вольф в «Расколотом небе». Широко распространившись, он оказался особенно плодотворен как способ художественного осмысления тех основных требований, которые ставит перед человеком социалистическая действительность: понимания истории, понимания себя, сознательного и продуманного действия.

Обратимся к «Актовому залу» Германа Канта. Ретроспективное построение романа вовсе не означает, что повествование сосредоточено исключительно на прошлом. Вызывая в памяти картины минувшего, главный герой — журналист Исваль — не просто оглядывается назад: прошлое необходимо ему, поскольку лишь на его основе складываются планы будущего. Может возникнуть впечатление, что «отчетная» структура романов шестидесятых годов — дань моде. Последующее литературное развитие такой взгляд опровергает. Вплоть до середины семидесятых годов подобное построение, обогащенное многочисленными вариантами, встречается в самых разных произведениях.

Гельмут Гауптман в повести «Иви» (1969) связывает мотив ответственности перед собой с проблемой социалистического патриотизма. Подводя духовный баланс, обдумывая заново свою работу и свои возможности в социалистическом немецком государстве, его герой, молодой физик, отказывается от плана побега на Запад и после проведенного на Кипре отпуска возвращается в ГДР. Герой романа Карла Гейнца Якобса «Пирамида для меня» (1971), известный ученый, спустя двадцать лет вновь оказывается в местах своей юности, где он когда-то вместе со всеми начинал строительство новой жизни. Это не только воспоминания, но и проверка себя, и попытка ответить на вопрос, достаточно ли делается сегодня, чтобы сберечь и умножить завоеванное.

Повесть Анны Зегерс «Через океан» (1971)[2]—тоже отчет перед собой, на этот раз в форме исповеди, но не с целью получить отпущение грехов. Сам процесс рассказа дает герою возможность многое понять и преодолеть. Точно так же и Давид Грот из романа Германа Канта «Выходные данные» (1972)[3] должен окинуть внутренним взором собственное прошлое и опыт окружающих его людей, чтобы найти ответ на адресованное ему предложение занять пост министра.

Особое место занимает в этом ряду книга Франца Фюмана «Двадцать два дня, или

[1] Опубликовано в «ИЛ» № 1—3, 1968.
[2] Там же, № 1, 1964.

[1] Опубликовано в «ИЛ» № 11, 12, 1969.
[2] Там же, № 1, 1972.
[3] Там же, № 3—5, 1974.

Половина жизни» (1973). Уже само название выделяет как главную тему отчет, исповедь. Для автора мотив ответственности перед собой — не только организующий принцип повествования, но и возможность обдумать собственное творчество, заново оценить достигнутое. «Мои тщетные попытки (да и попытками ли они были или желанием, потребностью, целью?) изобразить то, что называют внутренним превращением! В нем — опыт всей моей жизни, и вот уже двадцать лет — моя тема, но все еще как намерение; то, что я сделал,— в лучшем случае подготовительная работа! Я немного изобразил то, что ему предшествовало, немного то, что за ним следовало, но решающий процесс, именно сам процесс превращения, я литературно пока не воплотил». Даже если здесь невольно хочется защитить автора от самого себя — вряд ли стоит теперь пускаться в изыскания, в какой мере перелом все же был им изображен и в какой не был,— сам ход авторской мысли убеждает в том, что мы имеем дело с продуктивным вариантом «отчета». Он предполагает прежде всего реалистическую оценку изображаемого (у Фюмана это самооценка), углубленный анализ. Мы убеждаемся, что «отчет» как структурный принцип вполне приложим к художественному исследованию социального и этического поведения человека, его духовных достижений.

Фюман формулирует необходимость повышенных требований к собственному творчеству и одновременно выражает общественные эстетические ожидания. «Новое самосознание» нашей литературы, о котором говорил Герман Кант на VII съезде писателей ГДР, включает в себя бóльшую художественную требовательность к содержанию и к форме, связь социалистической идейной позиции с последовательно реалистическим освоением действительности, нетерпимое отношение к подмене реалистического способа письма натурализмом или клишеобразной красивостью, к добавлению картин желаемого, а не действительного. Криста Вольф справедливо заметила по этому поводу: «В который раз речь идет о реализме, а мы должны за него бороться снова и снова».

К сожалению, не свободен от только что названных недостатков и роман Эрика Нойча «В поисках Гатта» (1973) — последовательно и убедительно рассказанная история, достоинства которой несколько снижают конечные выводы, производящие впечатление искусственно присоединенных.

Для ряда произведений, в том числе романов Германа Канта «Актовый зал» и «Выходные данные», характерна так называемая «эпизодическая структура». Хронология повествования требует в соответствии с развитием действия говорить Б сразу после А. Тема же «отчета» делает необходимой эпизодическую структуру. Внутренняя связь, которая хронологически разумелась сама собой, становится теперь формообразующим моментом, предстает как связь в большей степени смысловая, отсюда и более высокие требования, например, к характеру и внутреннему содержанию образов, к художественной идее произведения.

Такая связующая мысль находит выражение во фразе Давида Грота «Да не хочу я быть министром!» Ожидаемое от Грота решение заставляет его еще раз проэкзаменовать себя, отчитаться перед собой. Эпизодическая структура постепенно сводит к минимуму рефлексию, характерную для первых глав романа. Большое значение придается здесь вопросу, как Давид Грот оценивает свой прежний опыт и опыт окружающих, как весь этот опыт, по любимому выражению Гегеля, «снимается» и становится для героя необходимым материалом в поисках ответа.

Каким бы убедительным рассказчиком ни показывал себя Кант в большинстве эпизодов, реализовать их художественно на уровне основной идеи ему не всегда удается полностью. Причина этого — не эпизодическая структура сама по себе, а то, что многие эпизоды порой приобретают самодовлеющую роль, переставая выполнять свою функцию по отношению к главному замыслу. И все же, при всех отдельных недоработках, роман Канта стал важным шагом в процессе взаимного обогащения общества и литературы. Следовало бы еще упомянуть посмертно опубликованный роман Бригитты Райман «Франциска Линкерханд» (1974) и «Триптих с семью мостами» (1974) Макса Вальтера Шульца — произведения, в которых «отчет» оказывается действенным и как тема, и как принцип построения. Предлагая новое интересное воплощение мотива ответственности, эти книги доказывают, что возможности, связанные с данной тематикой, еще не исчерпаны.

■

Для литературы ГДР последних лет особенно характерна проблематика, логически дополняющая тему ответственности,— круг вопросов, связанных с развитием личности, с осуществлением всех заложенных в ней скрытых потенций. Ответственность — отчет перед собой — реализация собственных возможностей — вот этапы социально-эстетической программы, которую Маркс связывал с понятием развитой личности. Расцвет личности означал для него явление, противоположное отчуждению. Поскольку отчуждение Маркс рассматривал прежде всего как социальный феномен, то, по логике вещей, и развитие личности не ограничивается лишь сферой индивидуального. Полное раскрытие личности, по Марксу, возможно лишь в масштабах исторической миссии рабочего класса, тесно связано с построением социализма и коммунизма.

Эта идея не случайно становится цент-

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС
ДВИЖЕНИЕ ВШИРЬ И ВГЛУБЬ

ральным мотивом в таких произведениях, как «Буриданов осел» Гюнтера де Бройна, повесть Анны Зегерс «Тот самый голубой цвет», роман Герберта Отто «Например, Йозеф» и «Береза там наверху» Иоахима Кнаппе. Первой в этом ряду следовало бы назвать повесть Кристы Вольф «Размышления о Кристе Т.», хотя она и не свободна от противоречий.

Эпиграфом к своему произведению Криста Вольф выбрала слова Иоганнеса Р. Бехера: «Что это такое — обретение человеком себя?» В романе Кристы Вольф по своему нашло отражение то, что Маркс в свое время, споря с идеалистическими взглядами апостолов отчуждения, назвал расцветом человеческой личности. Разумеется, литературное осмысление столь сложной проблемы может происходить на разных уровнях. Очень хорошо сказала об этом сама Криста Вольф. Ее слова можно рассматривать как своего рода комментарий к роману: «Поколение, к которому я принадлежу, пережило на пороге зрелости крушение собственных ложных идеалов. Первая продуктивная фаза нашей жизни, когда человек испытывает решающие влияния, совпала с бурным, богатым переживаниями, продуктивным периодом становления нового общества. Воздействие этого процесса определило наше восприятие жизни и отразилось, я верю в это, в наших произведениях. Подобная ситуация всегда казалась мне благоприятной. Наверное, позже все же скажется перелом в становлении этого поколения, не оставшийся без последствий для его внутренней зрелости. Обрести новое, спокойное самосознание было трудно, однако именно оно — наряду с другими факторами — является предпосылкой значительных достижений в литературе».

Описываемые в «Размышлениях о Кристе Т.» духовные искания также отражают этот перелом Автор, конечно, знает, что при социализме и коммунизме развитие отдельного человека становится условием для развития общества в целом и что, в свою очередь, развитие общества создает необходимые условия для развития отдельного человека. Настоящее развитие личности возможно только в том случае, когда оно связано со многими сторонами жизни общества. Уместно здесь обратиться еще раз к Марксу, он писал: «.. человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить»[1]

Расцвет личности — реальная задача, однако и об этом свидетельствует конкретный опыт социалистических стран, решение ее требует длительных сроков Отсюда — известная доля грусти в романе Кристы Вольф: ведь не все мечты первых лет осуществлялись. Они и не могли осуществиться, поскольку некоторые из них оказались иллюзиями. Писательница сожалеет и о том, что мелкобуржуазные взгляды, представления о благополучии замедляют реальное утверждение социализма на всем общественном пространстве.

Обретение себя, узнавание себя, познание себя — эти темы характерны для прозы шестидесятых годов, которая внесла свой вклад в общественное развитие. Разумеется, этот процесс, который к началу семидесятых годов ускорил VIII съезд СЕПГ, протекает не прямолинейно. Со временем он становится все более многогранным. Подтверждается мысль Маркса о том, что подлинное богатство — это развитые творческие способности всех индивидуумов. По-своему разрешает эту мысль, например, Бригитта Райман, создавая в романе «Франциска Линкерханд» идеал цельного человека. Еще более ярко отражена эта тематика в «Триптихе с семью мостами» Макса Вальтера Шульца.

Писатель выделяет как характерную примету нашего времени, говоря словами героини, «стремление к цельным людям» Мы вновь встречаемся в романе с Леей и Руди Хагедорн, знакомыми еще по первой книге Шульца «Мы не пыль на ветру». Эти двое не могут существовать порознь, возможно, потому, что они столь не похожи друг на друга. Во всяком случае, именно так считает Руди: «...Ты обретаешь себя как мужчина, лишь осознавая свою противоположность». Эти поиски и обретение себя — один из центральных мотивов романа. «Кто хочет найти себя, должен также уметь от себя отрешиться». Это возможно не в одиночку, а только в обществе. Поиски себя — проблема не одного лишь будущего, дорога эта нередко ведет через прошлое, его нужно тоже осмыслить, для чего, как шутливо говорит Леа, порой необходимо «пофлиртовать с прошлым». Лишь тогда можно «относиться ко вчерашнему дню с позиций всей нашей сознательной жизни».

День вчерашний и следующий за ним день составляют основное время действия романа Утром 21 августа 1968 года Леа и Руди просыпаются от шума танков, двигающихся в направлении Праги. События этого дня, их предыстория и таящиеся в них опасности требуют от героев четкой партийной позиции. Как свидетельствует роман Шульца, партийность — это не долгосрочный вклад и не легкое приобретение Слишком простое объяснение Руди: «Это необходимо» — ничего не доказывает и, в сущности, не проясняет. Проблема лишь переносится в безлично-мифологическую сферу. Конфликт между упрощенным взглядом на мир и стремлением постигать его основы развивается на протяжении двух дней, тем не менее у читателя создается представление о предшествующих десятилетиях. Помогают здесь диалоги и внутренние монологи действующих лиц, их воспоминания, самоанализ, споры и примирения. Все проверенное жизнью взвешивается еще раз. Отрезки жизни, отмеренные однажды, не могут рассматриваться как сданные в архив дела. Упрощенное и скорое суждение Руди родилось из забвения этой истины. «Преодолеть,— возражает ему Леа,— вовсе не значит всего лишь зачеркнуть плохой кусок своей жизни, потому что теперь ты стал другим».

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. т. 13, стр. 7.

В образе Руди Хагедорна, доктора философии, размышляющего о проблеме соотношения духа и власти, автор критикует — опираясь на мысли Маркса—некоторые черты, традиционно приписываемые немцам: близорукость, склонность иметь дело не с реальными вещами, но с миром идей. Усиливая эту линию повествования, автор расширяет критику своего героя — с его стремлением распять усложненную действительность на кресте понятий — до национальной самокритики.

Роман Макса Вальтера Шульца обретает динамику по мере того, как продуктивно развивается противоречие между двумя главными героями—Леей и Руди. Леа спрашивает Руди, кстати, очень любящего Иоганнеса Р. Бехера (одновременно автор ставит этот вопрос и перед самим собой): «Всегда ли ты таков, каков ты на самом деле? Каким мог бы ты быть на самом деле?» Это далеко не академический вопрос, он лежит в основе нашего социалистического способа жизни, нашей демократии. Когда между Леей и Руди устанавливается «великое согласие», проблематика эта частично «снимается», но не решается полностью.

Если сопоставить роман Макса Вальтера Шульца и другие появившиеся в последнее время произведения, можно сказать, что мы медленно нащупываем подходы к важнейшим проблемам общества, отличительным признаком и условием существования которого являются цельные, гармоничные люди. Они-то как раз и могут позволить себе быть истинно «радикальными», то есть смотреть в корень явления.

Роман назван «триптихом», ибо в нем представлены три поколения: старый Фюслер, Леа и Руди, их дети. Семь мостов тянутся в прошлое, в Прагу, в Москву и даже до самой Индии, во внутренний и внешний мир человека, в будущее. Книге хотелось бы пожелать широкого творческого обсуждения: дискуссия указала бы нам новые рубежи.

Анализ романа Макса Вальтера Шульца свидетельствует, что тематика, связанная с развитием личности при социализме, все более дифференцируется. Он также является доказательством того, что литература вносит самостоятельный вклад в исследование и осмысление новых тенденций в общественных процессах. Понятие «цельного человека» устремлено в будущее. Если до сих пор, в силу исторических и социальных обстоятельств, было невозможно — а если и возможно, то в исключительных случаях — нарисовать образ цельного, гармоничного человека, то теперь образ этот перестает быть утопией и становится в повестку дня.

■

Опыт эстетического развития в социалистических странах дает основание говорить и о другой важной тенденции — намечающемся в художественном творчестве более свободном обращении с действительностью как с материалом. При этом существенно, что действительность не просто репродуцирована, но реалистически интерпретируется в духе социалистических идей. И в этом смысле свободное обращение с действительностью вовсе не означает «освобождения от действительности», оно лишь помогает обрести новую перспективу, глубже постигнуть мир. В искусстве этот процесс осуществляется с помощью различных форм художественного обобщения (отбор, типизация, символ, притча, метафора, обрисовка характера, язык персонажей и автора, композиция, монтаж). В этом ряду можно рассматривать и «эффект очуждения».

Тенденция, о которой идет речь, острием своим направлена против все еще наблюдающегося у нас разбавления реализма натурализмом. Поэтому особенно радостно отметить и то, что в последние годы наша литература получила большое количество новых произведений и — что существеннее — новое качество этих произведений, поднимающих важные проблемы науки, философии и искусства своего времени (индивидуум — общество, среда, реальный гуманизм социалистического общества). Важно уже не только то, что изображается, но и то, как изображается,— в этом мы убедились, когда рассматривали мотив ответственности в литературе ГДР. Теперь же настало время перейти к анализу произведений, в которых предметом изображения оказывается собственно искусство,— здесь повествование как бы осмысляет себя. Уже само количество произведений заставляет присмотреться к этому явлению внимательнее. С подобной проблематикой — по-разному разрешенной и по-разному удавшейся — мы встречаемся в романах Бернгарда Зеегера «Отец Батти снова поет» (1972), Гюнтера де Бройна «Присуждение премии» (1972) [1], Эрвина Штриттматтера «Чудодей» (2-й том, 1973), в рассказе Анны Зегерс «Странные встречи» (1973).

Даже перечень имен авторов свидетельствует, что дело здесь вовсе не в моде и не только в стремлении к самовыражению. Налицо стремление гораздо более широкое — выяснить, как возникает и воспринимается искусство в развитом социалистическом обществе. В основе этого явления лежат два важных момента. Первый, более частной природы, отражает особенности именно нашей ситуации. Обсуждение проблем творчества все еще не получило у нас должного общественного резонанса. Поэтому, поднимая в своих произведениях эстетические проблемы, писатели сами заполняют пробелы, оставленные теорией и критикой.

Другой момент связан с нынешним стремлением искусства участвовать в процессе развития социалистической демократии. Ведь по самому существу своему искусство есть обнародование — в художественной

[1] Опубликован в «ИЛ» № 5, 1973.

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС
ДВИЖЕНИЕ ВШИРЬ И ВГЛУБЬ

форме — личного опыта, личной позиции, правил и норм поведения. Его задача — побуждение к соучастию (соразмышление, сопереживание, сопоставление с личным опытом, «встречное» размышление, «встречное» переживание). Названные произведения осмысляют это явление и вытекающие из него задачи, активно вмешиваясь в жизнь общества. Когда Эрвина Штриттматтера спросили о причинах этого, он ответил: «Писатель прежде всего задается вопросом, приносит ли пользу обществу та функция, которую он, как правило, сам себе выбрал, имеет ли его существование смысл». И продолжает: «Мы часто бывали введены в заблуждение. Иногда господствовало мнение, что мы чрезвычайно нужны, затем наступили времена, когда утверждалось, что наша продукция не столь уж важна, ну разве что в тех случаях, когда она непосредственно влияет на производство... Сейчас нас снова стали больше принимать всерьез, и я уверен, так это и будет впредь. Разве у писателя нет права ясно представлять свою функцию в обществе?»

Выберем для конкретного разговора вторую часть штриттматтеровского «Чудодея»[1]. «Если ты ничего не делаешь, сделают что-то с тобой»,— предостерегает Станислауса Бюднера мастер Фавн — его совесть, его внутренний голос. В противостоянии такой опасности и складывается жизнь героя: прежде чем он научится делать что-то сам, автор проведет его по трудным путям познания.

Сначала это будут дороги Западной Германии, по которым Станислаус бредет после возвращения из лагеря. Любовь к Розе, знакомство с ее отцом и друзьями открывают Станислаусу путь в мир коммунистов, которые, правда, поначалу кажутся ему из породы сектантов. Работая на текстильной фабрике, он обнаруживает свое социальное родство с рабочими. Так складываются внутренние предпосылки для возвращения в ГДР, возвращения, которое следует толковать не столько географически, сколько исторически и социально. Станислаус-писатель, Станислаус—член партии — в главах, повествующих об этом, по существу уже намечается проблематика третьей части романа, где герою вместе со всеми предстоит осмыслить новую жизнь.

Читатели часто высказывали мнение, что экспозиция второй части «Чудодея», охватывающая период от возвращения из плена до прибытия в ГДР, слишком затянута. Можно понять чувства, вызвавшие подобные суждения: читателю хочется больше читать о «своем», формирующемся обществе. Однако именно такая композиция книги делает очевидным содержащийся в ней важный урок: история идет своим ходом — большая история точно так же, как и личная история Станислауса Бюднера.

Роман Штриттматтера обнажает яркую, ставшую своего рода художественным кредо, полемику с теми, кто пытается выпрямить историю задним числом, выбросить из нее то, чего, по тем или иным схемам, в ней быть не должно. Как говорит об этом Энгельберт Хабрехт, один из персонажей романа: «...где действительность не согласуется с теорией, там ее согласовывают».

Четкая позиция по отношению к Истории с большой буквы определяет и содержание личной истории героя, она воспринимается как органичная составная часть всей поэтики романа.

Написав пьесу «Твоя улыбка, Розария», Станислаус, несмотря на нападки, решительно отказывается изменить ее содержание: «Подправить задним числом свою жизнь, разыгрываемую на сцене,— это казалось ему равносильным обману». Корректировка уже прожитой жизни — мотив весьма актуальный для сегодняшней западной литературы. Он определяет, например, творчество Макса Фриша («Назову себя Гантенбайн»[1], «Биография»). Во многом это следствие постоянно существующей угрозы личности со стороны буржуазного общества.

Для Бюднера немыслимо подправление прошлого постфактум: ведь у него есть будущее. Оставшиеся позади отрезки жизни подобны старой коже, которую он сбрасывает. Тем не менее прожитое постоянно присутствует в его личном опыте, большую часть которого он сумеет верно оценить лишь в конце второй части «Чудодея». Жизненный путь Бюднера — характерный пример взаимосвязи между личным и социальным опытом индивида. Именно так воспринимает эту связь марксистско-ленинская философия.

Мы лишены возможности уделить внимание всем стадиям духовного и эмоционального становления Станислауса Бюднера. Вместе со Станислаусом проходим мы разные этапы его пути, переживаем его иллюзии, его заигрывание с миром собственников, его увлечение театром — кто не вспомнит при этом о той роли, которую играет театр в «Вильгельме Мейстере» Гёте,— одним словом, мы вместе со Станислаусом проходим через его «университеты» и учимся, как и он — благодаря исподволь назревавшей встрече с партией рабочего класса, с марксизмом,—переплавлять добытый опыт в знания.

Большое место занимают в романе размышления о роли случайности в искусстве. Слегка иронизируя по поводу «обожествления» необходимости, писатель становится серьезным, доказывая необходимость рассматривать жизнь, действительность как явления более высокого порядка в сравнении со всеми субъективными, пусть даже исторически оправданными намерениями. Человек, раздумывает Станислаус, «не может беспрерывно набивать себя теориями, иначе он окажется лишь в мире бумаги и слов, а жизнь выскользнет у него из ладоней, не заботясь ни о каких концепциях».

Проблема случайности в романе Штриттматтера разрешается дифференцированно. А вот о ее диалектической противоположно-

[1] Анализ второй части романа Штриттматтера см. также в статье Е. Книпович «Чудодей» снова в пути», «ИЛ» № 5, 1976.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 4—6, 1975.

сти — необходимости, закономерности, принципе — этого сказать нельзя. Утверждение, будто «всякий принцип смертелен», не оправдывает даже ссылка на Брехта. Вряд ли стоит — и вовсе не в силу мягкосердечного отказа от критики — вступать по этому поводу в спор с автором «Чудодея». Мы уверены, что именно эта проблематика станет основной в третьем томе романа. Логика реального общественного развития, логика художественных поисков автора, логика развития его главного героя другого направления и не предполагают.

Эрвин Штриттматтер всегда отстаивает «продуктивную силу поэзии». Эта мысль приложима и к его собственному роману, по-своему и настойчиво вмешивающемуся в жизнь нашего общества.

Понимаемая таким образом литература становится действенной; она перестает быть товаром широкого потребления или чем-то вроде возбуждающего средства. Такую литературу не пассивно усваивают, но воспринимают творчески. Стремление воспитывать человеческие чувства, дарить подлинное эстетическое наслаждение превращает ее в орган общественного сознания и самосознания. Именно в этом смысле Криста Вольф называет искусство «общественным органом». Литература становится форумом для обсуждения политических, социальных и национальных проблем. Не отказываясь от своих эстетических целей, искусство становится также фактором демократии.

Эти наши размышления направлены против мнения, будто осмысление в художественном произведении вопросов развития искусства может быть истолковано как бегство от реальности. Такого рода книги, напротив, скорее способствуют новому пониманию искусства, позволяя найти духовный эквивалент, соответствующий потребностям развитого социалистического общества.

В последнее время в нашу литературу все чаще проникают элементы фантастического вымысла, имеется в виду, однако, не научная фантастика, а скорее романтические элементы. После того, например, как в рассказе Кристы Вольф «Новые житейские воззрения одного кота» (сборник рассказов «Унтер ден Линден», 1974) воскрес кот Мурр, никого не удивит новая встреча с созданиями фантазии Э. Т. А. Гофмана, Людвига Тика, Генриха Гейне.

Более свободное обращение с реальностью обусловлено и проникновением в искусство элементов игры. Категория игры до сих пор не пользуется вниманием нашей марксистско-ленинской эстетики и теории искусства. Связано это во многом с непреодоленным до сих пор ограниченным пониманием реализма: время от времени он вновь оказывается в одном ряду с натурализмом, копией, простым повторением действительности. Но если понимать реализм лишь как простое отражение действительности, куда отнести созданного Юрием Брезаном Крабата, для которого не существует законов пространства и времени, куда отнести призрачного и в то же время добросовестного мастера Фавна, куда отнести тех несчастных (или счастливых) созданий, с которыми мы встречаемся в антологии «Молния с грозного неба» (1975), как обойтись, к примеру, с устрашающим немецким городком Кведлинбургом, где, по произволу Карла Гейнца Якобса, вот уже двадцать лет царит полный матриархат, или с тем пражским кафе, в котором Анна Зегерс заставляет встретиться Гофмана, Гоголя и Кафку... Игровое допущение, лежащее в основе художественной идеи этих произведений, вовсе не уводит нас от реальности. Оно наполнено смыслом, это своего рода «эффект очуждения», благодаря которому открываются дополнительные пути познания. Элементы игры и фантастики расширяют, таким образом, сферу освоения и оценки действительности, а значит, и возможности реализма.

Новые рассказы Кристы Вольф заставляют глубже задуматься над этими вопросами. Здесь вряд ли уместен подробный теоретический анализ так называемой «современной прозы». Разумеется, современный способ письма вовсе не сводится к тому представлению, которое имеет о нем кот Макс, утверждающий: «Я свободно передвигаюсь в пространстве и времени. Хронология сковывает». Соотнося понятия хронологии и фабулы, мы неизбежно придем к выводу о том, что хронология — лишь один способ внутренней связи, тот, при котором обязательным условием является последовательность событий во времени. Отказ от подобной структуры вполне допустим для современного искусства. Нельзя, однако, отнимать у хронологии право на существование — это одна из многих возможностей.

В трех рассказах, объединенных в сборнике «Унтер ден Линден», Криста Вольф предпочитает иной способ внутренней связи. Ее устанавливают сами персонажи, своей деятельностью придающие смысл происходящему. Это героиня, вспоминающая свой сон (рассказ «Унтер ден Линден»), и кот Макс, наблюдающий за людьми с иронической дистанции, и женщина-ученый, обобщающая результаты своего эксперимента по изменению пола. Фабулу образуют здесь не происходящие в заданном порядке события, а скорее намерения, идеальные помыслы героев. Следовало бы, наверно, подчеркнуть, что, применяемый в больших дозах, этот способ письма несет с собой и некоторые опасности, например, сведение богатства искусства лишь к способу его изготовления. Однако рассказы Кристы Вольф не дают повода для беспокойства такого рода.

«Унтер ден Линден» — уже само название этого рассказа заставляет предположить, что речь здесь пойдет об известной берлинской улице. Героиня, от лица которой ведется рассказ, задерживается ненадолго возле университета, наблюдает торжественную смену караула у Памятника жертвам фашизма, потом смешивается с толпой туристов, показывает своей Золотой рыбке об-

---

ГЕИНЦ ПЛАВИУС
ДВИЖЕНИЕ ВШИРЬ И ВГЛУБЬ

разцы болгарского народного искусства, приятно пахнущие изделия из натуральной кожи, книги—словом, речь идет действительно об этой улице. Для чего, однако, волшебная Золотая рыбка? Почему вся история подается как сон героини? Какой смысл вкладывает автор в эту весьма реальную картину, изображая ее как переходное состояние «между вероятным и невероятным»?

«Я всегда подозревала, что эта улица уводит в глубину»,— фраза, произнесенная героиней во сне, помогает найти ответ на эти вопросы. Снова возникает мотив освоения прошлого, отчета перед собой, духовного очищения. Границы реальной городской улицы расширяются, она становится символом жизненного пути. Улица уводит вглубь, но не к смерти. Понятие глубины здесь иное — оно означает полноту многоликого, радостного и горького человеческого опыта, богатство человеческой жизни. Закономерно, что в конце своего сна героиня узнает себя в радостной и счастливой женщине, повстречавшейся ей на улице.

А сон? Это художественная идея, и то, что дало ей жизнь — образ ли улицы, проблема ли человеческого счастья,— требует, чтобы действительность не просто удваивалась, но возникала заново как новая действительность искусства. Криста Вольф охотно употребляет в этом плане понятие «сверхидеи». В одной из своих работ она заметила, что настоящая работа начинается лишь тогда, когда найдена «сверхидея», делающая обычный жизненный материал достойным повествования. Так складывается проза, требующая от читателя прежде всего внимания. В такой книге нельзя перевернуть сразу несколько страниц, не утеряв нить повествования.

Чем же вызвана описанная новая тенденция? Возможно, это покажется общим местом, но причина — в укрепившихся независимости и суверенитете нашего государства, в зрелости нашего общества.

Поясним свои слова. Вымысел, основанное на игре повествование вносят в литературное произведение оживление, дух легкой иронии. А юмор по отношению к себе, как известно, признак уверенности и независимости. Такая проза позволяет глубже проникнуть в суть вопросов или заново поставить многие из них. Это проза намека, догадки, хотя кот Макс и подшучивает над новейшими авторами, пытающимися с помощью разных «догадок», «наблюдений» и «взглядов» понять душу — слово, вышедшее из моды в век науки. Итак, «намекающая» проза. Однако такой способ повествования вовсе не враждебен фактам. Новая проза стремится запечатлеть неуловимое, неуверенное, едва намечающееся движение человеческой души. Позже, «схваченное» литературой, оно становится фактом, общественной нормой.

Тем самым мы не хотим сказать, что каждому всегда ясно, чего он ищет. Но вряд ли стоит уподобляться и тому, кто всю жизнь исследовал, но так ничего и не открыл, потому что не знал, чего искал. Явления и процессы, отражаемые нашей новой прозой, еще находятся в стадии становления — они изменчивы, непостоянны, и такое же впечатление создает повествование. Оно по-своему приблизительно.

Эта проза заставляет читателя размышлять, составлять собственное мнение, она обращает догадки в уверенность, и если не способствует приближению «тотального человеческого счастья», то во всяком случае заставляет задать себе важный вопрос: что же такое человеческое счастье? А вслед за ним приходит и убеждение: нельзя «откладывать любовь со дня на день».

■

В новых условиях распространения информации художественный опыт, принципы изображения и формы, пришедшие из других культурных сфер, помогают обогащать и язык собственно искусства. Более чем пятидесятилетний опыт художественного развития в Советском Союзе свидетельствует о том, что многонациональная ситуация в стране способствует взаимному обогащению литератур. Нельзя, однако, распространять на искусство интернационализм лишь как политическое требование—он является условием растущей «открытости», все большего разнообразия форм и содержания социалистического искусства.

Искусство должно осмыслять процессы постоянно усложняющейся действительности. И тут приходится отметить, что овладеть этим материалом непросто: многие вопросы, касающиеся литературно-эстетического качества, остаются еще у нас нерешенными. В некоторых произведениях описание порой подменяет повествование. Метафоры и символы нередко граничат с клише, удачно найденным поэтическим идеям недостает вариативности, интересное повествование оказывается недостаточно глубоким. Впрочем, не стоит и преувеличивать подобные недостатки. Все это обычные трудности роста молодой социалистической литературы.

VIII съезд СЕПГ вызвал к жизни подъем творческих сил нашего общества. Появились новые произведения, выделяющиеся и значительностью тематики, и художественными качествами; социалистическая направленность их несомненна, им присуща реалистическая манера письма. О некоторых из них мы постарались рассказать в статье.

Нет сомнения, что решения IX съезда СЕПГ, также отметившего успехи, достигнутые нашей литературой, станут новым стимулом для плодотворной работы писателей — и всего нашего общества.

Перевод с немецкого Н. ЛИТВИНЕЦ

Заметки писателя

ЮРИЙ НАГИБИН

ГОЛЛАНДИЯ БОБА ДЕН ОЙЛА

Недавно я обнаружил миновавший меня каким-то образом номер «Иностранной литературы» за 1975 год. Я получаю журнал по подписке и всегда внимательно просматриваю, а этот номер не был на глазах. Верно, куда-то запропастился, а в нужный срок сам пришел в руки. Так нередко бывает с пропавшими вещами. Схоронившись невесть где в обжитом, лишенном укромий доме, они сами выбирают момент для возвращения.

Листая журнал, я наткнулся на фотографию человека средних лет с вытянутым лицом, большим, тяжелым носом, слабым ртом, изломанными бровями и длинными баками. Рядом крупным шрифтом значилось его имя, звонкое, как цокот копыт по мостовой, и откуда-то знакомое: Боб ден Ойл. Писатель был представлен циклом рассказов, первый назывался «Крабы в консервной банке» [1]. Название мне понравилось.

Я не принадлежу к всеядным читателям, которые, словно осы на варенье, набрасываются на каждую журнальную публикацию, на каждое новое имя. У меня первое движение — отгородиться, защититься от неподготовленных, необязательных впечатлений, которые чаще всего лишь по-пустому отнимают время и душевные силы. А и того, и другого осталось не так много. За прожитую жизнь скопилось немало книг, которые хочется вновь и вновь перечитывать.

Мне кажется, что у определенной возрастной черты, если книги для тебя не просто заполнение досуга, не развлечение вроде телевизора, надо ставить дверь на запор и новых посетителей либо вовсе не впускать, либо — по самому строгому отбору. В одном Пушкине таятся такие глубины, что не хватит жизни добраться до дна. И все же трудно писателю решиться на это справедливое дело, ведь надо знать, что делается в литературе, и не из праздного любопытства и самолюбивого беспокойства, а ради профессиональной ориентировки: как и какими средствами отражается миг сегодняшнего бытия в искусстве, чьим материалом является слово.

Где взять на все время? И поневоле задумаешься: не лучше ли еще раз перечитать «Смерть Ивана Ильича», «Лику», «В сторону Свана», чем тешить беса любопытства новым романом модного автора или рассказами таинственного незнакомца.

Вот почему я колебался: открывать ли консервы Боба ден Ойла или перемочь пробудившийся интерес. И тут я впервые задумался над тем, что почти не знаю голландской литературы. Ну, в отрочестве мне попадались романы популярного в двадцатые годы Мультатули, после войны я читал «Рыжеволосую девушку» и «Рембрандта» Тойна де Фриса, а что еще? Потрясающий дневник Анны Франк — больше чем литература. Тиль Уленшпигель изъят из тьмы веков пером бельгийца Шарля де Костера, хотя исторически он принадлежит Голландии в такой же мере, как и Бельгии.

Были еще «Серебряные коньки», на которых воспитывалось мое поколение, но написана эта книжка канадской писательницей. И слабо светит в памяти хрестоматийный голландский мальчик, который заткнул пальцем прохудившуюся плотину и тем спас свой край от затопления. Не богато!

Мое представление о Голландии создано

[1] Опубликовано в «Иностранной литературе» № 11, 1975.

не книгами, а великой живописью Иеронима Босха, Брейгеля, Вермеера Дельфтского, Франса Хальса, чудесных жанристов во главе с Остаде и Терборхом, мастеров натюрморта во главе с печально-изысканным Хедой. Я сознательно не назвал здесь Рембрандта. Несравненный, он не идет в строку, не ложится в перечень. Уверен, творец довольно потирал ладони и поздравлял себя с удачной мыслью завести хозяйство: небо и землю, твердь и воды, растения и животных и увенчать творческий взлет созданием по образу и подобию своему Человека, когда, зажатая в твердой руке, кисть Рембрандта вдохновенно билась в тугое натяжение холста.

Чувство вины перед голландской литературой решило дело: я стал читать Боба ден Ойла, и это оказалось превосходным чтением.

Признаться, от человека, каким он выглядел на фотографии,— я ожидал благопристойного, реалистического, весьма заземленного письма. Попал же я в полупрозрачный мир не голландской даже, а общечеловеческой обыденности, которая вдруг взрывается вторжением некоего малого обстоятельства, настолько невероятного, необъяснимого и произвольного, что мысленно пасуешь перед ним и принимаешь безропотно. В данном случае такой вот малостью оказалось внезапно изменившееся выражение лица мелкого служащего очень большой и важной компании, производящей консервы из крабов. Яхека — имя-то какое неупругое, дряблое,— произносишь, и будто вата под языком.

Этот Яхек брился перед уходом на работу и уже стирал остатки пены со щек, как вдруг с ужасом обнаружил, что его безвольный, неправильной формы рот скривился, отчего лицо стало жестоким, безжалостным и решительным. И что бы ни делал бедный Яхек, он не мог вернуть своим чертам прежнее выражение бессильной доброты, столь соответствующее его внутренней сути.

И начинается фантасмагория. Кроткого Яхека вовсе не радует гримаса силы, исказившая его черты. Ему, чуждому всякого честолюбия, и в голову не приходит, какие преимущества можно извлечь из угрожающе и презрительно опустившегося уголка рта. Но окружающие не остаются слепы к перемене, происшедшей в облике конторского мышонка. Наглые и бесцеремочные, они склоняются перед знаком грубой, ни с чем не считающейся силы. В мире мнимых ценностей, в мире, где все измерено ложной мерой, взвешено на врущих весах, легко проходит любая подделка (в данном случае вовсе не преднамеренная). Люди вокруг Яхека так слабы, так неуверены в настоящем, а пуще того — в будущем, так непрочны, не защищены так не соответствуют — в большинстве своем — занимаемому положению, что готовы склониться перед каждым, в ком видят в л а с т ь. Язвительно-волевой рот Яхека обманывает и приводит к покорности не только сварливую хозяйку меблирашек мефру Крамер или склочного соседа, но и служебных боссов: от заведующего отделом рекламы Фоогта до менеера Таке, одного из зачинателей дела. Последний давно спился, выжил из ума, но с ним считаются, ибо Таке владеет значительным пакетом акций. В деловом отношении этот старец такая же мнимость, как Яхек в роли руководителя отстающего филиала компании, а именно на этот высокий пост прочат «волевого человека». И быть бы Яхеку полномочным представителем компании в той африканской дыре, где «обленившиеся негры» не хотят набивать крабами консервные жестянки, не вмешайся случай, абсурд — главная движущая сила мира героев ден Ойла.

Очарованный Яхеком, менеер Таке, явный маразматик и тайный алкоголик, напивается с ним в своем кабинете, на верхнем этаже небоскреба. Он приобщает нового друга к полюбившейся ему забаве: кидать из окна окурки на голову прохожим. Яхек, непривычный к вину, к тому же почуявший в себе властелина чужих судеб — отрава проникла в жидкую кровь маленького человека,— охотно включается в дурацкую игру. В какой-то момент, слишком увлекшись и забыв об осторожности, оба вываливаются из окна и «вместе начинают свой последний бросок в глубину, вслед за окурками».

Так плачевно заканчивается история неудачника, на миг приблизившегося к власти и успеху. Не по плечу это яхекам — пылинкам больших городов.

Меня всегда интересует элемент личного в произведениях писателя. Не примеривал ли к себе, пусть безотчетно, подсознательно, Боб ден Ойл судьбу Яхека, не мечтал ли он о малом чуде, способном сделать сильным в этом жестоком мире человека с добрым, слабым ртом и ранимой душой художника? Трудно судить всего лишь по трем рассказам и анкетно суховатым сведениям, которые приводятся в конце журнала, в справке об авторе. В скупых строках возникает образ завидного литературного благополучия: первый же сборник рассказов Боба ден Ойла отмечен премией Амстердама как лучшее прозаическое произведение года, следующий сборник — премией Анны Бламан, гордости голландской литературы. Ох, уж эти литературные премии — как часто флером ложного преуспевания обволакивают они образ и судьбу писателя!

А мне не верилось, что Боб ден Ойл благополучный человек, и даже утверждение — в справке — о повышенном и лестном внимании к нему голландских критиков не могло меня переубедить. Почему-то казалось, что этот лауреат и любимец критиков не раз мечтал проснуться с чужим лицом. Но неизменно видел в зеркальце для бритья лишь грустный расплыв мягкого рта, скорбный излом бровей, и верно тогда, чтобы освободиться от смешных надежд, он создал мелкого служащего Яхека, завершившего головокружительным сальтомортале невольную попытку зажить в чужой шкуре. В этом абсурдном на первый взгляд рассказе очень мало абсурдного,

ведь опустившийся уголок рта — лишь символ многих и разных возможностей, равно безнадежных, пробиться в сильные мира сего. Но тому, кто не принял причастия дьявола, путь во власть имущие заказан.

Здесь использован очень распространенный сегодня в западной литературе прием: всего лишь маленькое смещение в сторону от реальности, одна-единственная невероятность, вторгающаяся в нормальное буржуазное бытие, и сразу обнаруживается тщательно убранная с поверхности абсурдность этого бытия, чудовищность как будто бы вполне обыденных характеров, шаткость, непрочность мнимо незыблемых устоев и общепринятых норм.

Мне думается, приемы условно-фантастического, абсурдного, невероятного в литературе особенно хороши, когда надо оживить выдохшихся героев и замученные многими писательскими поколениями темы. Слабовольный, забитый маленький чиновник Яхек — это все тот же бессмертный Башмачкин, притащившийся — не за своей ли шинелью? — из старого Петербурга в современную Голландию. Из гоголевской шинели, принято считать, вышла вся русская литература девятнадцатого века. Рассказать о Башмачкине сегодняшнем, не перепевая Гоголя, не вгоняя читателя в зевоту, можно лучше всего с помощью фокуса, резкого остранения темы и образа. Бобу ден Ойлу этот фокус подсказало зеркало, ежеутренне отражающее невыносимую деликатность черт тихого, небойцового человека.

Отлично придуман и отлично выполнен другой рассказ Боба ден Ойла «Человек без стадного инстинкта». Пассажирский самолет компании «Эр Франс» совершил вынужденную посадку во льдах Гренландии. Рассказчик, человек без стадного инстинкта, уверяет, что иначе и быть не могло, потому что «французские самолеты никуда не годятся», да и что можно ждать от пилота «с внешностью киногероя тридцатых годов»? Радист погиб, радиоаппаратура вышла из строя, но взгляды потерпевших — покорного человеческого стада — по-прежнему с надеждой обращены к портачу-пилоту, который без тени вины или смущения заявляет, что берет на себя ответственность за их целость и сохранность. Рассказчик с нетерпением ждет, когда командир изложит свой план, чтобы поступить наоборот. Пилот осрамился, проявил полную несостоятельность, очевидно, столь же бездарным и губительным будет он и в роли спасителя. Отсюда — сделай прямо противоположное тому, что хочет он, и ты уцелеешь. Логично? Да. Абсурдно? Да. Пилот решает: надо пробираться пешком через ледяную пустыню. Значит, надо остаться у разбитого самолета и никуда не двигаться. Этот смелый вывод кажется настолько убедительным очаровательной Джейн, секретарше богатого старика-американца мистера Лейна, что она остается с человеком, лишенным стадного чувства.

Очень и очень нелегко противостоять тому, кто наделен хотя бы призрачной властью, и покорно-агрессивному человечьему стаду, превращающему мнимую власть в истинную, но рассказчик отважился и получил не только относительный комфорт самолетной кабины вместо ледяного ветра пустыни, но и доверчивое тепло милой девушки Джейн. «Чтобы не замерзнуть, мы все теснее прижимались друг к другу, и наконец я почувствовал, что мы обратились в единое целое». Похоже, он получил нечто большее, чем угрев.

А утром прилетел американский военный вертолет, и они были спасены. Но спаслась и та группа, которая послушно ковыляла вслед за пилотом по снежным увалам,— ее заметили с воздуха. Люди измучились, мистер Лейн был без сознания и не пришел в себя, когда его грузили в вертолет. Парадокс заключается в том, что спастись можно по-разному: и покорно следуя за стадом, и противопоставив себя ему. В данном случае второй способ кажется привлекательнее. Что касается Джейн, то, очнувшись, старый мистер Лейн простил очаровательной секретарше ее предательство.

Он лишь покончил навсегда с путешествиями. Джейн написала об этом приятном событии своему товарищу по несчастью, с которым провела тревожно-упоительную ночь. Больше она не писала. Отсутствие стадного чувства — счастливое свойство, но его мало, чтобы привлечь к себе современную американскую девушку, нужны еще и деньги. Их-то у человека без стадного чувства как раз и не было. А у ничтожного старикашки Лейна были...

В иной тональности выдержан рассказ «Убийца». Начинается он с того, что пожилой, усталый человек, выпивая у стойки неуютного кафе на неуютной, вечно захламленной Ионкхеренстраат, вынул из кармана и положил на стойку револьвер вороненой стали. Поступок, согласитесь, требующий некоторых объяснений. И Серейн, так звали владельца револьвера, охотно дал их и встревоженному трактирщику (правильнее — бармену), и угрюмо всполошившимся посетителям.

Оказывается, он — профессиональный убийца. Занялся этим делом в Америке, куда эмигрировал в пору великого кризиса. Но в Америке тоже оказался кризис, и Серейну, любившему «хлеб с маслом», не оставалось ничего другого, как пойти в убийцы. Работал он на гангстерские шайки, устранял неугодных. «Интересная, живая работа,— рассудительно говорит Серейн,— много свободного времени».

Его рассказ производит большое и чрезвычайно благоприятное впечатление на слушателей. Эти маленькие, невзрачные людишки чувствуют себя приобщенными к таинственному, романтическому миру, не подчиненному обычным законам и правилам. Нравственное чувство онемело в добропорядочных обывателях, все с душевным сочувствием внимают отнюдь не покаянной исповеди душегуба.

ЮРИЙ НАГИБИН
ГОЛЛАНДИЯ БОБА ДЕН ОЙЛА

Заработав достаточно денег, Серейн вернулся на родину и после войны, которую скоротал ночным сторожем в бюро выдачи продовольственных карточек, оказался перед выбором: как жить дальше. Военная дороговизна, инфляция съели весь его нажиток. И тут он вспомнил с своей старой профессии — делать трупы за приличное вознаграждение, благо в Голландии появился спрос на метких и решительных людей. К сожалению, тут нет гангстерских шаек, располагающих деньгами и адвокатами, бедный убийца предоставлен самому себе и беззащитен перед законом. Серейн нашел выход: он стал брать половину договоренной суммы вперед, а работу делать не до конца. Он выслеживал жертву, устраивал засаду, все честь честью, старательно прицеливался, спускал курок, но револьвер не был заряжен. От клиентов не стало отбоя, ибо каждый обманутый изнемогая от злобы, спешил порекомендовать его другому нуждающемуся в услугах наемного убийцы, а тот в свою очередь — следующему. Оказывается, в тихой Голландии полно людей, которым необходимо избавиться от своих ближних. Вот и сейчас Серейн подстерегает престарелую чету. Волнение и восторг присутствующих достигают высшей точки — не каждый день выпадает удача наблюдать убийцу за работой. До чего же тонок пласт нравственности в душах безобидных с виду городских обывателей! Все эти люди, грудящиеся за спиной Серейна, дышащие ему в затылок пивом и можжевеловой водкой, являются по существу сообщниками убийцы, ибо молчаливо желают ему удачи. Но они забыли, что револьвер не заряжен. И когда курок щелкает вхолостую, люди разочарованно расходятся по местам. Они ждали большего.

А Серейн мрачно смотрит на скучную, грязную улицу и тоскует по Америке.

Это страшный рассказ. И дочитав его, я дал себе слово: коль мне приведется быть в Голландии, обязательно разыщу Боба ден Ойла. Очень заинтересовал меня писатель, умеющий облекать жутковатые свои видения в строгую, изящную форму. А попасть в Голландию у меня была возможность с фильмом «Дерсу Узала».

И сбылись мои надежды: я в Голландии. Миновала премьера «Дерсу», и можно целиком посвятить себя поискам Боба ден Ойла. А что мне придется его искать, и, быть может, столь же мучительно сколь совсем недавно Юхана Боргена в Норвегии, для меня было ясно с самого начала. Голландские писатели, как мне показалось, плохо знают друг друга.

— Боб ден Ойл? — чуть в нос проговорила маленькая Пенкала, автор содержательных книг о фарфоре, китайском искусстве, и менее содержательных, хотя пользующихся спросом романов: о переселении души умершего Гитлера в попугая, о похождениях загадочной княгини Клептоманской.— Впервые слышу!

В свой черед наконец-то извлеченный на свет божий Боб ден Ойл скажет:

— Как, как?.. Пенкала? Понятия не имею!..

А ведь не так уж необъятна современная голландская литература. Но нет интереса друг к другу. Каждый обвел себя невидимым кругом, куда допускаются лишь немногие. Нашей широты, чуть неразборчивой (и благословенной), нет и в помине. Никак не могу я привыкнуть к этой разобщенности западных людей.

Правда, все без исключения знают Гуго Клауса, автора скабрезных романов, недавно увенчавшего свою блистательную деятельность на ниве порнографии бракосочетанием с Сильвией Кристаль, исполнительницей роли Эманюэль — героини серии одноименных сексфильмов.

Кроме Гуго Клауса, на слуху еще три-четыре имени, но о литературе говорят мало, даже те, кто ее делают, о голландской — тем паче.

К тому же Боб ден Ойл оказался жителем Роттердама, а между столицей, где я вел поиски, и крупнейшим портом Голландии (ныне, пожалуй, и всего мира) существует извечное соперничество, особенно усилившееся за последнее время, когда Роттердам так вырос, окреп и мощно погнал тоннели метро во все свои концы. Каково было слышать амстердамцам, что я разыскиваю роттердамского писаку!

Юные стажеры нашего посольства, будущие дипломаты, которые как положено русским, все читали и все знали про голландскую литературу, в два счета нашли автора «Крабов в консервной банке» и доставили в Гаагу — в мою «ставку».

Признаться я ждал Боба ден Ойла с некоторым волнением. Одна фамилия чего стоит! Ойл — это сова, сестра ночи, с изжелта-зелеными, прозрачными, слепыми днем и всевидящими во тьме круглыми глазами. Хищница с железными когтями, она избирает своим обиталищем старые, заброшенные кладбища. Абсурдная птица!..

И прилетел Боб Сова в мой временный голландский дом и обернулся человеком, таким высоким, что казалось, под брюками у него ходули, и таким худым, что в моей далеко не сентиментальной душе сразу поселился испуг — не унес бы его влажный ветер обдувающий голландскую площину, возникло желание защитить его, прикрыть, оберечь в мире, опасном, как передний край в час сражения. Ощущение непрочности Боба усугублялось быстрой, какой-то неуправляемой улыбкой, скорее гримасой слабости и доброты, возникавшей из его глубин вопреки отчетливо взятой установке на твердость, мужество и независимость. Он, конечно, очень добрый и наивный человек, что не мешает ни уму, ни проницательности, ни стойкости знающего свою цель таланта. Но это все отдается бумаге, а жизни — нервная сторожкость оленя, растерянная улыбка и великое терпение бед-

[1] Статью Юрия Нагибина «Островитянин (Сон о Юхане Боргене» см. в «Иностранной литературе» № 11, 1976.

няка. Он беден в прямом житейском смысле слова, этот отличный писатель, беден посреди распухшей от изобилия страны. Литературный труд очень низко оплачивается в Голландии, он почти бездоходен, если ты не Гуго Клаус — этакий Санта-Клаус XX века с мешком, набитым непристойностями, не автор фантасмагорических романов о княгине Клептоманской, не старый, заслуженный бард, сподобившийся многих переводов на иностранные языки. Но последних — раз-два и обчелся. Боб ден Ойл за свою литературную жизнь издал всего шесть книг, а тиражи, естественно, невелики. И если б не работала жена Боба (а это в Голландии считается малопочтенным), то семья просто не сводила бы концы с концами. Но сейчас обстоятельства изменились: государство наконец-то оценило заслуги талантливейшего новеллиста и назначило ему ежемесячное пособие в размере жалованья школьного учителя. Теперь он сможет заниматься литературным трудом без тревоги за завтрашний день.

Боб ден Ойл—настоящий мужчина, он напрягается всем своим долгим телом, всей своей гордой душой для самозащиты от сочувствия, упаси боже, от жалости и даже от ничем не обидной симпатии, он готов дать решительный отпор любой бесцеремонной попытке толкнуться в его храм. А ведь он знал, для чего ехал в Гаагу, знал, что ему будет задавать вопросы человек, намеревающийся о нем писать. Но Боб ден Ойл начисто лишен опыта газетной или журнальной работы, он никогда не «собирал материал» в нашем понимании, и такая вот неравная форма общения, когда один спрашивает чуть ли не в манере следователя, а другой отвечает, кажется ему оскорбительной. Он дергается при каждом моем вопросе, в серых глазах проблескивает если и не возмущение, то резкий протест свободного гражданина, не желающего давать кому-либо отчет в своих поступках, тем более в мыслях, потом спохватывается, добрая, слабая улыбка косит рот, и он выфыркивает ответ, сплетая длиннющие пальцы на худом, остром колене, хрустит суставами, сводит узкие плечи, словно собираясь пролезть в игольное ушко, и вдруг откидывается в кресле и устремляет взор мучимого на кресте Себастьяна к потолку, как к небу. А порой он огрызается. Он не дает спуску настырному допросчику и, похоже, очень доволен прочностью своей обороны.

Я и сам отлично сознаю, сколь несовершенен, убог мой метод. Старая пословица гласит: чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть. И это — о простом, бытовом, открытом, ничуть не зашифрованном человеке. А чтобы узнать художника, натуру сложную, противоречивую, не желающую раскрываться, все время скрадывающую себя в защитный панцирь, сколько надо съесть соли? А мне нельзя, у меня гипертония и бессолевая диета. Ну, предположим, я пошел бы на преступление перед своим организмом, но разве дано мне время, чтобы терпеливо выследить этого пугливого оленя. Потому и вынужден я ломиться напролом, хотя прекрасно знаю, что это наихудший способ. Да ведь я и не замахиваюсь на портрет, мне бы хоть эскиз, набросок сделать. А там видно будет: может, я еще побываю в Голландии, может, Боб приедет к нам — он собирается в Москву, и новые переводы его рассказов появятся,— отчего бы не вернуться к этим запискам? А пока продолжаю «допрос»:

— Сколько у вас комнат, Боб?

— Три.— И подскочив, как на пружинке:— У вас что — больше?

Успокаиваю, что у меня тоже три. Слава богу, с бытовой стороной дело покончено. Принимаюсь за новую тему: его литературные корни. Но у Боба утомительная манера или ускользать от прямого ответа в деликатные околичности (смысл их: ну, разве это так важно? Стоит ли тратить время на подобную чепуху?), или ограничиваться телеграфной краткостью. Приходится настаивать, дробить вопросы, отчего возрастает неприятно-следовательское. Наконец, удается установить, что своим учителем он считает Кафку, любит Джойса, Музиля, равнодушен к Прусту. И вот что любопытно: другим своим учителем он считает Чехова, особенно восхищается «открытостью» — недоговоренностью его концовок. А кто родствен ему из современников? Он знает Беккета, Ионеско, но многие другие известные имена вызывают у него подозрительное удивление.

Видимо, и мне не удалось скрыть удивления.

— Подумаешь! — Боб коброй взвился над столом.— Я могу назвать сто имен, которых вы не знаете!

— Несомненно,— согласился я.— Только это не относится к делу.

— Ну да, когда я не знаю — это относится, а когда вы...

— Так ведь это я буду о вас писать, а не вы обо мне.

— А-а!.. Угу!..— пробурчал он с таким ошарашенным видом, словно только сейчас поверил, что о нем действительно собираются писать,— и кобра свернула кольца.

— Боб, ваш основной литературный прием — абсурд, почему вы избрали его?

— А вы оглянитесь вокруг. Каким еще способом можно изображать эту действительность?

Довольно странное, казалось бы, заявление для писателя одной из самых преуспевающих стран Европы. Наряду с ФРГ и Швейцарией Голландия сравнительно мало пострадала от экономического кризиса, охватившего Запад. Безработица невелика, а пособия безработным значительны. Цены, как и всюду, очень высоки, особенно на жилплощадь, но высока и заработная плата. От нефтяного «потрясения» оста-

---

ЮРИЙ НАГИБИН
ГОЛЛАНДИЯ БОБА ДЕН ОЙЛА

лось лишь здоровое пристрастие к велосипеду, колеса крутят и стар, и млад, матери возят младенцев в корытцах, притороченных к багажнику. Города, довольно однообразные (исключение — Роттердам, но о нем особо) и сливающиеся в памяти в один общий город с невысокими, крепкими домами под красной черепицей, с непременными стеклянными башнями и кубами оффисов, банков и отелей «Хилтон», с каналами, отражающими космы плакучих ив,— дикие утки, лебеди и водяные курочки сплываются в стаи у мостов в надежде на подачку,— с величественным готическим собором и церквами самых разных эпох и стилей — от романского до модерна, со старой ратушей и живописной площадью перед ней, усеянной голубями, с широкими тротуарами, сложенными плитняком,— рисунок скорчившейся по нужде собаки и ящика возле нее тщетно напоминает любителям четвероногих друзей о правилах гигиены; с замечательными музеями, с богатейшими магазинами, набитыми всем, что делает современную жизнь такой удобной, легкой, нарядной, так вот, эти основательные, благоустроенные, красивые города, все расширяющиеся и будто стремящиеся сомкнуть свои границы, слиться, подобно тому, как они сливаются в памяти, кажутся воплощением незыблемого порядка, уверенности, спокойствия и какого-то оцепенелого довольства. И пока ты не проник хоть сколько-то за плотную пленку обманной видимости, тебе представляется абсурдной мысль, что «прием абсурда» годится для изображения этой ладной жизни. Да нет же, тут нужен добрый старый голландский жанр, слегка, правда, омещанившийся у Метсю, ну, и натюрморт, конечно: Брейгель-бархатный, так любивший цветы, Хеда, так любивший устало-матовое серебро.

Но загляните поглубже в глаза обитателей крепких домов под красной, потемневшей от времени черепицей — сколько неуверенности, сколько страха перед будущим прочтете вы там. Разговоры — сплошные жалобы, нытье. Налоги... налоги... налоги. Дороговизна... Куда мы идем?.. Куда мы идем?.. Да идем ли вообще?.. Скорее, нас влечет куда-то, как спичечные коробки, окурки, всякий мусор бурливыми весенними ручьями, неудержимо и стремительно несет в сточную канаву. Да, вера в завтрашний день неизмеримо важнее людям сиюминутного благополучия, а если ее нет, если человек то и дело спрашивает себя, что будет завтра со мной, с моей семьей, с моими детьми, то черная тень простерлась над его изобильным столом, красивым жилищем, теплой постелью, его сны беспокойны, вино отравлено, горек хлеб, и мед не сладок, и в каждой радости отстой печали.

Общий климат Европы нездоров, а Голландия — слишком маленькая и слишком плоская страна, чтобы ее не продувало насквозь больными ветрами, зарождающимися далеко от ее равнин.

Но вернемся к Бобу ден Ойлу. Иные писатели ломаются, «интересничают под абсурд», проницательный взгляд легко обнаружит подделку, но этот способ литературного изображения мира может быть естествен, как дыхание, органичен, как почерк, и, как почерк, связан со всей сутью человека. Бобу было девять, когда немецкие бомбовозы растерзали Роттердам.

Он жил в старой части города, приземистой, замшелой, уютной, скопившей множество ценностей, в которых взрослые ни черта не понимали и считали просто хламом: ржавые якоря (среди них один с «Летучего голландца»!), обрывки якорных цепей, увесистые пушечные ядра (их изрыгали пушки Вильгельма Оранского!), уломки чугунных оград, куски черного и белого (кладбищенского!) мрамора, обитая железом дверь в завалившемся заброшенном доме, которую никак не удавалось открыть, но все мальчишки знали: если уж удастся... Вдоль канала, немного отступя от него, заживали чужой век вросшие в землю домишки, одурманенные старостью и непосильным грузом воспоминаний, в них ютились чудаки, бродяги, матросы с разбитого корабля, всякая человечья протерь, что была куда интересней и живописней так называемой чистой публики; там же изгнивали корчебокие лавчонки, торговавшие всем на свете: от липучих конфет до зубов дракона. За каналом, над ярусами домов, дымились трубы старой фабрички и укладывали слои сажи на крыши и мостовые, на зелень, пробивающуюся сквозь камни, и на листья деревьев,— после дождя пониклые ивы роняли тягучие дегтярные слезы. У причалов толкались бортами парусники, моторные лодки, катера, и несметные стаи голубей заливали, как гипсом, белесым, мгновенно застывавшим пометом карнизы и парапеты, тумбы и памятники, флагштоки и мачты, а за этим близким миром уходил к небу другой, исполинский, из стекла и железобетона, мир знаменитых банков, компаний, фирм и роскошных магазинов, переполненных всякой всячиной, объединенной словом: «недоступно». А еще был порт и корабли под флагами разных стран и веселые матросы с качающейся походкой, держащие путь к веселым и страшным кварталам, где их ждали девушки, выпивка и поножовщина.

И все оглядье, и то, что за ним, невидимое, но как бы и видимое — настолько привычно глазам — исчезло, превратившись в ничто, в щебень, труху, пыль, за какие-то минуты.

Надо ли говорить о том, какое впечатление произвело это на душу девятилетнего мальчика, тонкую душу художника, хотя он, разумеется, и не подозревал, что он художник! Но как ни велико было потрясение — на молодом хорошо заживает,— Боб, наверное, выкрутился бы но через пять лет в исходе войны немцы повторили удар. Потом они вразумительно объясняли налет желанием устранить Роттердам как

конкурента Гамбурга. Они метили по порту и верфям, но сильный ветер с моря сносил бомбы, и мертвый город убили еще раз. В пятнадцать лет Боб ден Ойл утратил доверие к небу, к его предательской голубизне.

Он уже не верил ни зримой прочности вещей, ни в охраняющую силу и мудрость отцов, ни в доброту плениших в детстве сказок, ни в то, что есть некто, наблюдающий земной порядок, ни в ответственность человека, ни в смысл и цели бытия. Непрочный, картонный, хлипкий и свирепый мир был безумен и беспощаден к себе самому.

Но надо было жить дальше в этом мире, какой он есть, другого не дано, и Боб жил и постепенно, не скоро, какие-то утраченные ценности возвращались, каким-то нашлась замена, с чем-то пришлось смириться, сжиться, как сживается человек с осколком, лежащим под сердцем и годами не напоминающим о себе, чтобы вдруг вонзиться иглой в средоточие жизни. Но это все в будущем...

Время после войны наступило очень деловое, энергичное и коммерческое, и Боб чувствовал себя в нем одиноко. Ему казалось, что люди не потрудились даже оглянуться вокруг, проститься с мертвыми, подумать тихо и скорбно, почему обратилось в руины и прах их прошлое, хотя бы просто глубоко, глубоко вздохнуть. Нет, они сразу принялись действовать, суетиться, обогащаться — корысть захлестнула даже юных,— наверстывать упущенное за войну. Конечно, это говорит о неистребимой жизнестойкости и жизнелюбии человека, но Бобу с того не легче, он не находил себе места в безоглядно ломящемся вперед, сметающем все на своем пути бурном потоке. Он кое-как закончил школьное учение и, не задаваясь мыслью о высшем образовании — и не только по недостатку средств, а и потому, что не видел в нем смысла,— пошел работать в контору пароходной компании. Он стал мелким служащим вроде Яхека, одним из тех, о ком так интересно писать, но кем так неинтересно быть.

После скучной, не утомляющей, а отупляющей работы он медленно и бесцельно тащил по улицам свою длинную вечернюю тень. Город стремительно отстраивался, но из развалин вставал не его Роттердам, а какой-то новый, могучий, поражающий воображение, чужой город. Своим стал страшный памятник «Май 1940», поставленный знаменитым Цадкиным на бомбовом пустыре, который еще не скоро станет площадью. Трагедия дважды уничтоженного города влита в скрученного мукой, с пробитой, разорванной грудью и дико вывернутыми суставами бронзового гиганта. Он неописуемо страшен, чудовищен, как горячечный бред, но он и до стона прекрасен, ибо, уже убитый, длит миг, отобранный у вечности, чтобы обратившись к небу запрокинутым лицом и взброшенными вверх руками, послать туда не мольбу, не вопль жалобы и боли, не проклятие, а то, что куда сильнее: счет крови. Его лица не видно, оно всегда, где бы ни стояло солнце, скрыто тенью рук, лицо как бы уничтожилось в муке. Ночами в снах Боба бронзовый страдалец обретал лицо — его лицо...

Бытовое одиночество нарушилось женитьбой и рождением сына. К этому времени Боб уже пробовал писать. В 1958 году появился в печати его первый рассказ «Завтра, если будет светить солнце». К слову, одна из самых горьких утрат Боба — потеря уверенности в том, что и завтра солнечный свет озарит землю. Наконец-то он почувствовал, что порвал тенеты одиночества в главном для себя смысле и его растерзанная войной суть еще может срастись. Рассказ остался почти незамеченным, как то обычно и бывает с первым рассказом, но не беда — важна сама возможность быть услышанным, уже это дает надежду, силу и веру, что ты больше не один. Ну, хоть в чьем-то сердце отозвалось твое слово?..

Оно отозвалось в сердце его собственной жены, внимательно и неназойливо следившей за литературными опытами мужа. Она сказала: «Плюнь на свою контору. Пиши. На жизнь я заработаю». И Боб ден Ойл принял жертву. Через два года после этого разговора вышел первый сборник рассказов «Птицы смотрят», в который было заложено все то, что, развиваясь и обогащаясь жизненным и литературным опытом, сделало его одним из лучших рассказчиков в современной голландской литературе.

Рассказ, давший название книге, был посвящен теме, наиболее близкой Бобу ден Ойлу с юношеских лет: одиночеству и его преодолению. Жил одинокий человек и любил только птиц. Он был так одинок, что решил уехать в Португалию, потому что дальше ехать некуда. Но там в полнейшей изоляции его любовь к птицам вспыхнула с удвоенной силой. В городе птиц не было, он поехал на окраину и убедился, что птицы исчезли. У человека появилась в жизни цель: сделать так, чтобы птицы опять были. И он стал счастлив и уж не чувствовал себя одиноким.

Был ли счастлив Боб ден Ойл, осознав литературу как единственную цель в жизни,— не знаю. Да и бывают ли вообще счастливые писатели? Я имею в виду не тех, кто, поплевывая, заполняют бумагу словами, а тех, для кого непосильное занятие литературой — рок. Счастливому человеку — рай на земле. А в раю литература не нужна, это уж точно. Но известное удовлетворение Боб несомненно чувствовал: премия Амстердама была признанием его профессиональности. Жена надсаживалась недаром.

Вновь мы встретились с Бобом через несколько дней в Роттердаме. Я уже успел

ЮРИЙ НАГИБИН
ГОЛЛАНДИЯ БОБА ДЕН ОЙЛА

расшибиться в кровь о монумент Цадкина и усиленно врачевал себя роттердамскими видами, чуть подпорченными строящимся метро, перепахавшим город на военный лад, когда в конце улицы появилась длинная фигура Боба. Высокие люди кажутся особенно высокими в помещении, но Боб нарушил это правило: между двумя рядами домов он казался еще выше, чем при первой встрече в домашних условиях. Он медленно плыл над уличной толпой, принадлежа ей нижней половиной туловища, а вокруг его головы парили голуби. И улыбка уже не казалась случайной, не туда забредшей гостьей, готовой мгновенно слинять в самолюбивый нахмур, ее прочно держали сухие, обветренные губы, и в глазах было что-то такое, отчего у меня потеплело на душе.

Боб сводил нас в «свой» Роттердам, вернее, туда, где некогда был его Роттердам. Все-таки кое-что тут осталось и от тех домишек, и от тех лавчонок, и от того замечательного хлама, хотя быть может, и домишки, и лавчонки восстановили себя из останков былого, а хлам скопился в войну. Но мне стало легче представить себе мир маленького Боба. К сожалению, разговора не получилось, Боб, очевидно, переоценил свою стойкость и непробиваемость, он притемнился, замкнулся, а там и вовсе уполз в свою раковину, и вытащить его оттуда не было никакой возможности.

Он сам вылез на свет божий в торговом центре — гордости Роттердама, шедевре современной ансамблевой архитектуры, совершенном и целесообразном, как космическая ракета. Он постарался возместить потери в общении, какие мы понесли у осколков его детства. К тому же в нем проснулся здоровый практицизм, и он решил показать, что тоже не лыком шит и не витает в облаках, а прочно вколачивает подошвы в землю, ушлый роттердамец, один из тех расторопных голландцев, что от века умели и зашибать, и считать деньгу.

— Тут все бесконечно дорого,— рассуждал Боб, пока мы медленно и оторопело брели вдоль витрин, вдыхая миндальный запах гвоздик в каменных вазонах.— У меня есть гонорар в Советском Союзе. Я думаю там одеться. У вас наверняка все дешевле.

— Разумеется! — И я вспомнил фразу одного остроумного писателя: «Манекенам было стыдно, что они так плохо одеты».— Боюсь, не окажется вашего размера. Мы народ кряжистый и не особо рослый.

— Досадно!—поморщился великий практик и островидец.— Я так на это рассчитывал. А машину?..— сказал он неуверенно.

— Вы хотите на гонорар за три рассказа купить машину?

— А что — не хватит?

— Знаете что,— осенило меня,— купите лучше русскую матрешку.

— Это одна в другой? — улыбнулся Боб.— Я давно мечтал о такой матрешке. А мне хватит денег?

— Хватит!..— уверенно сказал я...

Боб жил недалеко от центра, но словно бы и далеко: здесь было тихо, довольно пустынно и сумеречно, улица сама себя погружала в тень. Удивительно, как сумел он выкроить посреди щедро озвученного движением и строительством, многолюдного города такой укромный уголок. Напротив его дома соборно высилось торжественное здание банка.

— Здесь я держу свои сбережения,— с усмешкой заметил Боб.

Нижний этаж дома, где жил Боб, занимал обширный магазин; темнота еще не наступила, а уже фосфоресцировали двухметровые буквы его названия: КЛИМАКС. На витринах множество изделий из нержавеющей стали и алюминия кожи и гипса, различное электрооборудование, сложные аппараты с пультами управления, что-то вроде космического скафандра и шлемофона, катапультирующее устройство и водолазный костюм. Я подозрительно глянул на Боба: не примешалась ли к трезвым голландским будням какая-то гофманиана в современном оформлении, порожденная силовым полем его неукротимой фантазии? Но безмятежное, простодушное и отрешенное лицо Боба рассеяло подозрения.

Мы поднялись по узкой лестнице на пятый этаж — лифта не было — и вступили в жилище Боба, которое он с некоторой дозой самодовольства назвал при первой нашей встрече «типично голландским интерьером». Тут не было ничего от жирного голландского быта: ни мягкой мебели, ни дельфтских ваз, ни горок с фарфором и хрусталем, ни картин и картинок в багетных рамах, ни тех бесчисленных безделушек, которые якобы украшают жизнь, на деле же засоряют. Спартанская простота, ничего лишнего, человеческий дух может спокойно витать по всем трем комнатам — общей и двум спальням — и ни за что не зацепиться. Мозговой центр дома — маленький кухонный столик, за которым Боб работает, у него нет кабинета.

Мы познакомились с женой Боба: сильная проседь в коротко стриженных волосах, мальчишеская худоба, синие застиранные джинсы, крепкое рабочее рукопожатие узкой руки, и с сыном: метр девяносто пять, длинные волосы, синие застиранные джинсы, босые ноги пугающего размера и подобающая юношескому возрасту чуть надменная хмурость. Есть еще два члена семьи, притворившиеся кошками. Охолощенный дымчатый кот пошел в тело: велик, раскормлен, ленив, густая шуба делает его еще толще, ласково-безразличный сибарит, он нежится, потягивается, выбрасывая палками лапы на холщовых подушках, лежащих прямо на полу. Кошка, белая с черными пятнами, и тоже насильственно лишенная способности к деторождению, еще больше и увесистей кота; исполненная скептического, недоброго интереса к окружающему, она все время просидела на старом проигрывателе, презирая нас от всей кошачьей души. Черное пятно загибалось с шеи на скошенный подбородочек, образуя там нечто вроде бороды, под розовой кнопкой носа помещался черный

чаплинский квадратик. Человечье лицо развязно выглядывало из кулачка круглой морды.

У кошек была жутковатая манера вдруг уставиться тебе в лицо и неотрывно смотреть, упруго сужая прорезь зрачка, пока он вовсе не исчезал в слившемся в сплошное круглое пятно аквамариновом райке. Но кошки продолжали видеть этими слепыми кружками, их уши и шерсть на загривке отвечали каждому вашему движению, и мороз по коже подирал от всевидящей слепоты. Даже шерри, которым Боб как-то пугливо угощал нас, не могло разогнать густого мистического тумана. Неуютно было за журнальным столиком, заменявшим обеденный. Ден Ойлы совсем не бытовые люди, все трое. Сильная творческая воля внешне самого слабого и непрочного из них пронизывает дом почти мучительным напряжением.

А разговор шел, разумеется, о литературе. Листая свой новый сборник, Боб коротко излагал содержание рассказов, о которых мне хотелось знать как можно больше. И будто заворожило меня, таким я стал покладистым, все понимающим, даже заведомо чуждое, и ничего не мог поделать с вселившимся в меня соглашателем.

— Один молодой человек прочел в газете, что продается орган, и сразу пошел туда... (И правильно сделал. Любой разумный человек поступил бы так же на его месте... Легко ли в наше время купить орган?!) Он пришел, а там вовсе не орган продается, а контора по ограблениям (Надо было это предвидеть. Ну, кто, скажите на милость, будет продавать орган частному лицу?) Он сумел вырваться и при этом покалечил кого-то.. (Парень, видать не промах! Умеет за себя постоять. Так им и надо, будут знать в другой раз!..) Он ушел, а совесть точит. Из-за того, покалеченного. Как жить дальше?.. (Действительно, проблема: вроде бы и не виноват, а поди ж ты!.. Вот куда заводит человека желание купить орган...)

Мерещится мне или на самом деле кошка насмешливо фыркает и оглаживает лапой черную бороду?

— Молодой человек страдал умственным расстройством. Он решил обратиться к врачу...

Очень предусмотрительно, одобряю я про себя И тут мне начинает казаться, что и у меня неладно с головой,— не выдерживает старый праведный реалист напора абсурда. А занедуживший мозгами молодой человек так и не попал к врачу — он старался держаться знакомых улиц, а они к врачу не вели.

...Мы шумно и сердечно прощаемся в прихожей. Боб ден Ойл галантно подает моей жене пальто, она любезно благодарит, и мы выходим. В машине обнаруживается, что на жене пальто Боба. Он перепутал. Но как не заметила жена, что пальто ей неимоверно велико, как не заметили мы — наш друг, дипломатический стажер, и я, что полы волочатся по земле,— это необъяснимо. Жене хочется вместе с Бобом посмеяться над забавной путаницей, и она отправляется сама для обмена. Возвращается в своем, мы трогаемся, и тут стажер с ужасом замечает, что оставил у Боба черный плоский чемоданчик-дипломат. Он не расстается с этим чемоданчиком, придающим ему солидность и вес. Там нет ничего секретного: книжки Боба, сегодняшние газеты, земляничная жвачка, баночка паштета и сухие хлебцы, но будущий Чичерин в отчаянии. Он усиленно тренирует свою память, внимательность и, разумеется, бдительность — и вдруг такой афронт. А что, если б там оказался договор о ненападении с княжеством Лихтенштейн? В расстроенных чувствах отправился он за чемоданчиком.

Наконец мы тронулись. Но странные чары не развеялись. Мы проехали всего лишь два-три квартала, и жена радостно воскликнула:

— Вот здорово, уже Гаага!

— С чего ты взяла?

— А вон Дворец конгрессов.— Она показала на залитое оранжевым светом величественное здание.

— Господь с вами! — разбитым голосом сказал стажер.— Это клуб гомосексуалистов «Ганимед».

...Я не люблю категорические утверждения там, где дело касается искусства. Например: писатель не может без питательной среды, подразумевая под этим в равной мере круг людей, ценящих, понимающих его, и собратьев по перу, близких мировоззрением, отношением к жизни и литературному делу Почему не может? Может, коли так складываются обстоятельства. Безмерно одинокий Франц Кафка, а из новых — Сэлинджер, избравший добровольное затворничество. Я думал, что Боб ден Ойл принадлежит к таким одиночкам и ему надо черпать мужество в себе самом и в любви-жалости родных людей, но ошибся.

Я не сказал, что во время нашей экскурсии по Роттердаму Боб завел нас в новый, знаменитый на всю Европу концертный зал. Не стану расписывать архитектурные и прочие достоинства выдающегося сооружения, скажу лишь, что это не только помещение для концертов, но и культурный центр Роттердама. Здесь устраиваются самые разные выставки: от картин до лыж, проводятся дискуссии, обсуждения новых явлений в музыке, литературе, живописи, здесь же «имеют место», пользуясь языком официального велеречия, ежегодные поэтические форумы.

Боб ден Ойл познакомил меня с главой поэтического штаба, устроителем международных сходок стихотворцев, бескорыстным энтузиастом, работающим не покладая рук на общественных началах ради великого дела сближения людей. Этот славный человек предложил устроить мой литературный вечер в одной из народных

ЮРИЙ НАГИБИН
ГОЛЛАНДИЯ БОБА ДЕН ОЙЛА

библиотек города. Вечер состоялся. О нем было объявлено в газетах, и небольшой зал, которым располагает библиотека, не вместил всех любителей российской словесности. Сюда съехались слависты из Амстердама, Утрехта, Лейдена, пришли местные литераторы, среди них один, самостоятельно изучивший русский язык, учителя и просто люди, которым это почему-то было интересно. Явился сияющий Боб ден Ойл со своим семейством.

До того как вечер начался, мы долго томились в битком набитом помещении библиотеки среди стеллажей, шкафов и полок с книгами, где было не присесть и нечем дышать, до одурения накачиваясь черным кофе,— огромный кофейник не сходил с электрической плитки. И тут я увидел на столике, возле деревянного ящичка с карточками абонентов, фотографию Боба, очень похожую на ту, что помещена в «Иностранной литературе», и очень непохожую на живого Боба, рядом лежали газетные вырезки опять-таки с портретом Боба и небольшая книжка, изданная в 1975 году, в обложке цвета голубиного крыла, на которой было написано крупно: БОБ ДЕН ОЙЛ. «ЛЮДИ» — и помельче: «Пятнадцать портретов». Он не дарил мне этой книжки и даже не упоминал о ней в разговоре.

— Любите вы его? — спросил я библиотекарш.

Их было две: одна пожилая, но очень моложавая, розовая, бодрая, другая молодая, но старообразная, бледная и пониклая, как без времени увядшая лилия.

— Он — наш!—ответили в один голос, но первая вскинула голову и засияла глазами, а вторая потупилась.

«Наш»... Хорошо это прозвучало. Вот здесь, в этой непривилегированной, общедоступной народной библиотеке, где не только берут книги для чтения, но сходятся люди, любящие литературу — и работающие профессионально, и лишь пробующие свои силы в низании слов, а также группирующиеся вокруг рабочего журнала «Вак»,— здесь Боба любят и считают своим.

— А что это за книга? — На обороте супера Боб в рубашке и белых брюках, очки на носу, играл в какие-то супершахматы на гигантской доске, уложенной посреди лесной поляны.

Первая (радостно). Это новая книга Боба!

Вторая (жалобно). Это совсем новый Боб.

Я (нахально). Подарите мне эту книгу. Я собираюсь писать о нем.

Первая (доверчиво). А вы его любите?

Вторая (умоляюще). Вы хорошо о нем напишете?

Я (безответственно). Еще бы!

Друзья-стажеры перевели мне рассказы, вернее сказать, те почти стенографически записанные подлинные жизненные истории, которые составили эту книгу. До того бесхитростны по исполнению эти истории, до того свободны от вмешательства авторской фантазии, направляющей воли, вообще от всякого творчества, что иные превосходят в своем невероятном простодушии самый беззастенчивый абсурд. Мне даже подумалось поначалу, что такова внутренняя установка Боба: дать окружающей его действительности самой доказать свою абсурдность. Мельтешня, жалкие потуги разных малоприметательных, случайных людишек, выхваченных Бобом наугад из мировой суеты, растворяются без следа в океане бесцельности, в котором они барахтаются от рождения.

Но когда знакомишься со всей книжкой, то обнаруживается, что дискредитация бытия вовсе не входила в намерения Боба ден Ойла. В его книге встречаются люди, которые находят свое место в жизни, обретают веру в себя, хотя бредут почти вслепую, спотыкаясь, падая, набивая шишки, но это к делу не относится. Смысл непохожей на все написанное Бобом прежде книжки в освоении новой манеры. Он начисто отказывается от условности, от всех привычных приемов, которыми владеет мастерски, стремится к предельной простоте, краткости, доходчивости, и чтоб ничто не стояло между ним и действительностью. Это какой-то аскетический реализм. И хотя победы он тут — увы! — не одерживает, сама попытка его заслуживает внимания и уважения.

Почти каждого, даже самого сложного писателя с возрастом, если постарению сопутствует не угасание творческих сил, а накопление души и разума, заворачивает к простоте. Ему хочется быть понятым, хочется все свое узнанное, выношенное, выболенное излить в других, в мир, который переживет его. Это и есть бессмертие, а не памятники и мемориальные доски. Надменной и упоенной юности во власти вдохновенного и темного бормота наплевать на доходчивость, на отзвук в чужом сердце, она слышит лишь собственное переполненное, сильно и гулко бьющееся сердце. Как непрогляден был ранний Пастернак и как прозрачен, родниково прозрачен стал он в последних песнях.

Но вообще-то разговор о простоте в искусстве совсем не так прост. Поздние стихи Мандельштама куда труднее для восприятия, нежели эллински ясный «Камень» его начала. Но сам Мандельштам, без сомнения, воспринимал их иначе: как предельное сближение своей сути с сутью мироздания, как высшую, бесхитростную простоту, свободную от котурн, от книжных, исторических и мифологических связей. Но не будем углубляться в дебри, ибо в нашем случае мы имеем дело с прямым и четким движением писателя к простоте.

К сожалению, Боб ден Ойл слишком заторопился в простоту, в обыденность, запрыгал длинными ногами даже не через две-три ступеньки, а через целые лестничные пролеты, но в этом нет большой беды, если иметь в виду судьбу писателя, а не мелочь частной неудачи.

Лев Толстой говорил когда-то о популярнейшем в ту пору И. Дружиниче, авторе модного романа «Полинька Сакс», что не

верит в него, поскольку Дружинин не способен отказаться от всего ранее написанного и начать сначала. Уж он-то, Толстой, знал о себе, что способен на это, хотя за плечами у него было нечто посерьезней «Полиньки Сакс». Вот эта, столь ценимая Толстым способность писателя к обновлению присуща Бобу ден Ойлу. За маленькой книжечкой «Портреты» — смелый, широкий духовный жест. Трудно сказать, по какому пути пойдет Боб ден Ойл, но он идет, а не стоит на месте — вот что важно.

Я пишу это и вспоминаю идущего Боба, идущего в прямом, физическом смысле, по темной, секомой мелким, но напористым дождиком улице, сперва вровень, потом следом за машиной, увозящей меня с того роттердамского вечера. Машина то и дело притормаживает, лавируя среди людей, дружно окуполившихся черными глянцевыми зонтиками. У Боба нет зонтика, голова не покрыта, но он не обращает на это внимания. Он держит глазами машину, улыбается и слабо машет рукой. И я, опустив стекло, машу ему и улыбаюсь, но мне грустно. Грустно, что он сейчас станет воспоминанием, этот чистый, бескорыстный человек, ничего не выгадывающий у жизни, кроме литературы, кроме права теплить свою свечку, отдавать, ничего не ожидая взамен: ни денег, ни почестей, ни власти, ни славы. И я вспоминаю, что апостолы тоже не были ни гениями, ни тайными советниками, ни правителями, ни кавалерами орденов, а простыми людьми, рыбаками, и нравственная сила их — от бога.

Мы уже далеко, но долгая тень Боба, раскатанная по влажной мостовой фонарем, бежит за нами, бесконечно удлиняясь, слабея, редея, но не угасая совсем; пренебрегая углами и поворотами, она простирается за улицу, за Роттердам и, прозрачная, еле угадываемая, втягивается в мой сегодняшний день.

◆

Заметки на полях

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

В связи со своим очередным съездом чехословацкие писатели подводили итоги проделанной работе, взвешивали стоящие перед ними проблемы. Появился ряд материалов, обобщающих литературную жизнь страны. Иногда это итоговые сборники — своеобразные коллективные размышления о пережитом. Один из таких сборников подготовлен известным критиком Витезславом Рзоунеком [1]. В него вошли статьи по ключевым проблемам чехословацкой литературы, опубликованные в последние годы в «Руде право» и в журнале «Литерарни месичник». Мы хотели бы представить их советским читателям, потому что эти заново осмысленные публикации в сумме дают не только целостное и разностороннее представление о современном творческом процессе в стране, но и отражают динамику процесса, узловые моменты в движении литературы и литературно-критической мысли Чехословакии.

Подлинно художественные ценности преимущественно создаются тогда, когда чувство гордости за свершения своего народа соединяется у художника с глубоким чувством ответственности за то, что было выстрадано и завоевано его страной в прошлом, за то, чем она живет сегодня. Об этом, о месте чехословацкого искусства в современной идеологической, духовно-нравственной жизни пишет в статье, открывающей книгу, В. Рзоунек. Разоблачая ревизионистские теории 60-х годов, содействовавшие проникновению в область художественной практики буржуазной идеологии, критик одновременно показывает, что истинно плодотворное развитие современного чехословацкого искусства возможно лишь в русле духовных ценностей социализма, только на путях социалистической культуры.

«Человек и мир, окружающий его, человек и мера его самопознания по отношению к обществу, в котором он родился и живет, всегда определяли содержание и форму искусства,— говорится в статье.— ...В искусстве всегда отражается уровень эстетического освоения мира, основанный на конкретной общественной практике. Если эта практика изменилась, если она радикально покончила с политикой, которая угрожала повернуть развитие вспять, если эта практика утвердила социальную правду социалистического общества, если она делает возможным проявление творческой инициативы социалистического типа, дает реальную перспективу отдельной личности и всему коллективу, то это значит, что литература, накрепко связанная с обновленной революционной практикой, должна стать искусством, которое помогает рождению нового».

[1] Strana literatuře. Literatura stranė. Praha, Svoboda, 1976.

Возросший за последние годы удельный вес искусства в общественно-идеологической жизни Чехословакии проявляется в значительном расширении границ его нравственных исканий, в усилении его гуманистического пафоса. В духе социалистической морали и этики утверждает оно идеал современного человека, в котором полнота человеческого счастья сливается с полнотой его социальной активности.

«В противовес асоциальным героям литературы 60-х годов,— пишет В. Рзоунек,— которые отражали мелкобуржуазные, мещанские «идеалы», хотя последние и выдавались за универсальные человеческие понятия и ценности, сегодня мы имеем дело с героями, связанными с конкретной общественной средой».

Раскрывая социально-философское и этическое содержание социалистической концепции человека, чехословацкая критика утверждает, что лишь на ее основе возможно глубокое проникновение в современность с точки зрения ее революционного развития, открытие подлинно гуманистических законов человеческого бытия, новых черт характера современника.

«Если мы хотим ответить на вопрос, каковы конкретные причины многообразия чешской и словацкой литератур, их художественного богатства, которые столь резко контрастируют с худосочностью и эфемерностью псевдолитературы 60-х годов,— подчеркивает Рзоунек,— мы должны искать их именно здесь».

Духу социалистической литературы отвечает, например, поэзия В. Завады, И. Тауфера, Д. Шайнера, приобщающая к многоликому, многоголосому миру современности, смыкающая день сегодняшний с днем прошедшим, чтобы высветить духовный, нравственный опыт народа. Этим духом пронизана проза Я. Козака, в которой передается «ликование и жизнеспособность социалистической нови, скромное величие социалистической морали», а также романы Я. Кострґуна о современной чешской деревне — сущность раскрываемых в них конфликтов и характеров служит свидетельством того, что «место человека в коллективе измеряется мерой его способности быть строителем нового общества, ставшего явью, исторически оправданной, указывающей путь в будущее». На четкие социалистические ориентиры нацеливает современника и чешский исторический роман М. Кратохвила, Й. Томана, Н. Фрида, В. Каплицкого, В. Неффа, укрепляющий мысль о том, что историю творит именно народ, который питает национальные традиции.

Социалистическая концепция человека предполагает бескомпромиссное обличение чуждых социалистическому мировосприятию взглядов и чувств. Об этом, о высокой нравственности, которая поднимается до общественно значимой принципиальности, говорит Г. Грзалова. Как яркую черту нынешней чешской прозы она отмечает ее принципиальную непримиримость ко всем проявлениям мещанства, обывательского равнодушия, приспособленчества, стяжательства, карьеризма:

«...Литература с успехом выполняет задачу борьбы с мещанством, критического анализа его сущности, задачу его разоблачения и осмеяния».

Пристальное внимание чехословацкого искусства после кризисных 1968—1969 годов к его социальной функции, его активная ориентация на социалистические идеалы эпохи, восстановление во многом прерванных связей с революционным искусством 20—30-х гг. явились живительной почвой для новых произведений в чешской и словацкой поэзии, прозе и драме последних лет.

«...Активность и творческая энергия авторов старшего и среднего поколений, с давних пор и безраздельно преданных социализму, коммунистической партии, и строго продуманное, программно и заботливо направляемое наступление целого отряда молодых писателей, осуществляемое при широком сотрудничестве со всем культурным фронтом и при его поддержке»,— так определяет Г. Грзалова в статье «За правдивое художественное выражение современности» одну из главных особенностей нынешней литературной жизни Чехословакии.

Об успехах, достигнутых чешской литературой 70-х годов, можно судить по обобщающей статье Я. Козака «Чешская литература после XIV съезда КПЧ и ее перспек-

тивы». Козак замечает, что прошло каких-нибудь пять лет с тех пор, как работает новый Союз чешских писателей. И тем не менее в жизни страны это глубоко содержательный период, в течение которого чешская и словацкая литературы, приобщаясь к современной действительности, отражая преобразующую силу народа и его партии, сумели стать активным созидательным фактором общества.

«За последние пять лет, с 1971 по 1975 г., только в Чехии,— подводит итоги Козак,— было издано 669 оригинальных произведений: романов, сборников рассказов и стихов, путевых дневников и другой художественной литературы,— общим тиражом 11 250 000 экземпляров. В 1974 г. было издано 127 названий, в 1975-м — 173, а в плане прошлого года уже значилось 187. Вместе с переизданием произведений чешской классической прозы и современных прогрессивных авторов за этот период было опубликовано 1285 книг тиражом более чем 26 млн. экземпляров... В какой из капиталистических стран, в которых буржуазные идеологи всех мастей и их прислужники кричат о «кладбище культуры» в Чехословакии и «стене молчания» наших писателей, в какой из капиталистических стран издание книг достигает соответствующих масштабов? Много ли народов, даже гораздо более многочисленных, могут похвалиться таким числом писателей, книги которых выходят такими тиражами? В какой из капиталистических стран писатель пользуется таким уважением читателей?»

Перечисляя имена прозаиков и поэтов, творчество которых прочно вошло в сознание тысяч и тысяч читателей, слушателей и зрителей, Козак особо останавливается на воспитательной стороне их произведений. Они приближают читателя к большим явлениям современности, помогают постичь самого себя, стать единомышленником в большом коллективе строителей социализма.

«Большим успехом,— пишет Козак по поводу творчества поэтов и прозаиков среднего и молодого поколения,— является то, что среди них нет ни одного сколько-нибудь значительного таланта, который в своем творчестве и в своей гражданской позиции не разделял бы программы партии. А это имеет огромное значение для сегодняшнего дня, а еще больше для будущего. Произведения чешских и словацких писателей, взаимно дополняя друг друга, сливаются в единый мощный поток нашей социалистической литературы, которая в многообразии художественных форм выполняет свою незаменимую общественную функцию».

К такому же итогу вместе с Я. Козаком приходят и другие авторы книги — В. Рзоунек, Г. Грзалова, Й. Рыбак, Я. Дворжак, О. Рафай, Я. Неедла, Я. Беранек, З. Куфнерова.

В статье «За тесную связь литературы с жизнью» Я. Дворжак важнейшим качеством сегодняшней чешской и словацкой литературы называет ее народность. Поднимая важную проблему адресата искусства, критик продолжает начатый другими авторами разговор о высоком художественном мастерстве, сознательно поставленном на службу народу, который становится соучастником в формировании и развитии социалистической культуры:

«Речь идет при этом не о любой, а об органической связи, при которой, ни в коей мере не поступаясь самобытностью литературы как искусства, писатели постоянно повышают единство идейного и эстетического воздействия искусства, а тем самым и его коммуникативность. Искусство — по мысли Ленина — воздействует на всего человека: на его разум, чувства, волю. Тот факт, что социализм придает первостепенное значение связи культуры, в том числе науки, искусства и литературы, с жизнью, имеет свои исторические аналогии в эпохах великих общественных перемен, например, в эпохе Ренессанса или Просвещения. Но в отличие от этих эпох в эпоху социализма строительство культуры становится делом всего трудящегося народа».

Как к определяющему фактору художественного сознания XX столетия чехословацкие критики и писатели обращаются к Октябрьской революции. Являясь мощным источником социальной активности, она принесла уверенность в осуществлении самых высоких идеалов человечества. Победой Великого Октября открывается новая эпоха

в развитии всемирной истории и искусства, в развитии истории и искусства Чехословакии. В книге приводятся слова И. Тауфера:

«Советский Союз прочно вошел в сознание нашей современной литературы и искусства, потому что его рождение и развитие являются неотъемлемой частью нашей современной истории... Наше отношение к Советскому Союзу определяется историческим единством целей, за которые боролся и сознательный чехословацкий пролетариат, подлинный представитель нации в XX веке и творец ее современной истории, освещенной светом Великого Октября».

Исторически новый тип общественного бытия, как это показано во многих статьях, влечет за собой углубление реалистического видения мира, открытие все новых и новых сторон и явлений жизни и нравственно-психологических состояний личности.

Р. ФИЛИПЧИКОВА

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЯЩИК» В ТРАНСВААЛЕ

Введение телевидения на юге Африки началось только в прошлом году и, по официальным наметкам, должно занять несколько лет. В связи с этим в еженедельнике «Лиснер», органе Британской радиовещательной корпорации (Би-би-си), появилась серия любопытных статей. Их автор, журналист Тревор Филпот, пытается ответить на вопрос, почему же до сих пор

«в этой стране, где главный город выглядит, как Детройт; в стране, которая горделиво считает себя силовой станцией всего континента, свою технологию горного дела — лучшей в мире, а свою хирургию в области операций на сердце — самой смелой и самой успешной; в стране, которая хвастается семнадцатью университетами. Почему же в этой стране так долго держат электронный занавес задернутым? Зачем? И кому это надо?»

Тревор Филпот приводит объяснение, которое он считает широко распространенным:

«Иностранные противники здешних порядков, либералы, осуждающие апартхейд и защищающие свободу слова, да и левые, добивающиеся изгнания белых капиталистов из Африки,— все они говорят попросту, что националистические политики боятся телевидения и его воздействия на умы черного населения».

С такой оценкой Филпот не согласен.

«Это неверная аргументация. Стоит правительству захотеть — и оно сможет беспрепятственно использовать телевидение для своих целей. Оно сможет изо дня в день непрестанно проповедовать идеи апартхейда — устами не только белых, но и хорошо вышколенных черных. В каких-то странах телевидение, вероятно, способно служить делу революции, но здесь, в Южной Африке, наверно, были другие причины, чтобы не давать ему ходу».

Пытаясь найти эти причины, Тревор Филпот считает нужным прежде всего послушать доводы самых лютых врагов «голубого экрана» в ЮАР.

«В течение 15 лет чемпионом борьбы против телевидения был доктор Альберт Герцог. Назвав телевизор «дьявольским ящиком», Герцог объявил, что телевидение — это отрава для всего мышления как черной молодежи, так и молодых африканеров; что оно подорвет влияние церкви и авторитет родителей; что оно превратит бронзового, любящего свежий воздух юношу в сутулого пучеглазого неврастеника, поклоняющегося ложным идеалам; что оно разрушит так тщательно выпестованный язык африкаанс; что со временем оно приведет к гибели всего уникального в африканерском образе жизни».

Альберт Герцог в 1962 году заявил, что телевидение придет в Южную Африку только через его труп, да и впоследствии не раз повторял подобное. И ведь это говорило

не частное лицо, а представитель правительства — министр почты и телеграфа. А его друг Хендрик Фервурд, южноафриканский премьер-министр в 1958—1966 годах, попрекал Соединенные Штаты за то, что американцы проводят у телевизора в двадцать раз больше времени, чем в церкви.

Хендрик Фервурд и Альберт Герцог в течение многих лет возглавляли правящую Националистическую партию, которая считает себя «выразительницей» национальных интересов африканерского народа. Этот народ на заре нашего столетия был известен как буры, но сами они, подчеркивая свою давнюю связь с Африкой, называют себя африканерами, а свой язык — африкаанс; этот язык и породил слово «апартхейд» (иногда у нас его пишут неточно — апартеид, как если бы оно принадлежало английскому языку). Буры-африканеры ведут свою историю от тех голландцев и французов, которые переселились на юг Африки еще в XVII столетии, и, прежде чем превратиться в нынешний трехмиллионный народ, прошли долгий и сложный путь.

Тревор Филпот пытается разглядеть привычки и предрассудки, которые накопились на этом пути, чтобы понять, не кроется ли тут одно из искомых объяснений.

Такой ход мыслей можно понять. Дело в том, что Альберт Герцог и его сторонники, запрещая телевидение, ссылались именно на африканерские национальные традиции.

При ссылках на уникальность африканерского образа жизни особый упор делался на религиозность африканеров, на их строгий кальвинизм, на особую приверженность Библии, да и на их якобы весьма скептическое отношение к «суетности» европейской цивилизации.

Все это действительно издавна принято связывать с образом бура-африканера, но не у всех это вызывало такой восторг, как у Альберта Герцога. Стоит привести один-два примера.

Марк Твен, побывав когда-то на юге Африки, писал в присущей ему резковатой манере:

«Суммируя все добытые мною сведения о бурах, я пришел к следующим выводам:

Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим чернокожим слугам, ленивы, искусны в стрельбе и верховой езде, увлекаются охотой, не терпят политической зависимости; хорошие отцы и мужья... еще до недавнего времени здесь не было школ, детей не учили; слово «новости» оставляет буров равнодушными — им совершенно все равно, что творится в мире...»

А о самом известном из буров, президенте Трансвааля «Дядюшке» (на языке африкаанс — «оом») Пауле Крюгере, ходил такой рассказ (привожу по петербургскому журналу «Мир божий»» за июнь 1900 года):

«Однажды он принял участие в одной охотничьей экспедиции, в которой находились англичане, голландцы, немцы и буры. Вечером, вокруг бивуачного костра, зашел разговор о литературе и завязался горячий спор между немцами и англичанами насчет того, кто выше: Шекспир или Гёте?

Оом Поль не принимал никакого участия в разговоре, а сидел молча и потряхивал трубочкой.

— Ну, а вы как думаете, Оом Поль? — обратился к нему один из споривших.— Кто выше: Шекспир или Гёте?

— Не читал ни того, ни другого! — последовал откровенный ответ.

— Бог мой! — воскликнул пораженный немец.— Вот человек, которого буры называют великим, а он никогда не читал Гёте!

— Никогда не читал Шекспира! — вскричал в негодовании англичанин,— так что же вы, в таком случае, читаете, черт вас возьми?

— Только это,— отвечал Оом Поль, вытаскивая истрепанную Библию из своего кармана.— Я читаю ее каждое утро и вечер, ежедневно, в течение сорока лет, и все-таки не постиг всех ее красот. Когда я изучу Библию, то, пожалуй, займусь тогда Гёте и Шекспиром».

Вот это и есть, хоть и в шаржированном виде, та давняя жизнь, к которой апеллировал Альберт Герцог. Но неужели все еще жива такая патриархальность? В наши дни, в 1976 и 1977 годах?

Тревор Филпот побывал на теперешних бурских фермах.

«В здешней жизни господствует церковь. По воскресеньям фермеры облачаются в черные костюмы, их жены и дочери натягивают свои длинные перчатки, надевают шляпы для защиты от солнца... и все идут на утреннюю службу».

Филпот рассказывает, что и сейчас «церковь организует то, что является общественной жизнью». Всемерно поощряются молодежные загородные экскурсии и пикники с молитвенными собраниями у бивуачных костров, действуют многочисленные общества по изучению Библии, проводятся церковные концерты.

И все-таки даже на бурских фермах, в этих уголках патриархального быта, все мечтают о телевизоре. Разумеется, о таком, который не нарушил бы этой патриархальщины. Вопрос о введении телевидения обсуждается на церковных собраниях. Там провозглашают:

«Мать и отец должны контролировать все, что появляется в доме: почту, библиотечные книги, радиопередачи — и телевизионные программы, конечно, тоже».

Или:

«Наше счастье, что у нас есть Совет по контролю за изданиями (цензура.— **А. Д.**). Он оградит нас от всего вредного и безвкусного, что появляется в телевидении».

Когда-то И. А. Гончаров и живописец А. В. Вышесловцов, путешествуя по Южной Африке, нашли на бурских фермах местных Собакевичей и Коробочек. Но обыватель, восхваляющий цензуру! Это уже для Салтыкова-Щедрина.

И все-таки все эти поклонники запретов сейчас ратуют за телевидение. А в общем хоре голосов Филпот услышал и такие, уже никак не вяжущиеся с патриархальными идеалами:

«Оно (телевидение.— **А. Д.**) не может разрушить нашу общественную жизнь, потому что у нас не существует никакой общественной жизни».

Так что даже в сельской местности

«все готовы ринуться к телевизору — даже через труп благочестивого д-ра Герцога,— если все равно уж нет другого пути».

Это об отношении к телевидению белых. Филпот суммирует его в подзаголовке «Возраст невинности кончается?».

Ну, а другая сторона вопроса — как относятся к телевидению африканцы, «черные», большинство населения Южной Африки? И как власти относятся к тому, что телевизор может вторгнуться в жизнь африканцев?

Творцы политики апартхейда — раздельного развития — считают, что вообще современная европейская культура только портит, развращает африканцев.

«Они называют это «лишением африканца его собственной культуры», оплакивают утрату традиций племенной жизни, уверяют, что черные общины «не способны к ассимиляции» и что даже долгое пребывание в городах «никогда не может рассматриваться как первый шаг для получения полных прав гражданства в районах обитания белых».

Вместе с тем в самом Соуэто, крупнейшем африканском пригороде Йоханнесбурга, Филпот слышал, что

«подавляющее большинство людей, живущих сейчас в Соуэто, никогда не знали другого дома. Это земля, которую они желают считать своей, это их родной город, и они хотят, чтобы уровень их жизни возрастал, пока он не достигнет уровня жизни белых со всеми их западными выдумками, вплоть до телевидения и всего остального».

Во всяком случае так говорила Филпоту дама-экскурсовод в экскурсионном автобусе, объезжавшем Соуэто. Иным путем оказаться здесь белый человек не может. Запрещено белыми властями.

Африканцам обещано, что в 1980 году они получат собственное телевидение — со своими черными дикторами, своими программами на языках сото и группы народов нгуни. Можно, конечно, смотреть и те программы, которые вводятся уже сейчас,— на английском и на языке африкаанс. Нельзя же прямо это запретить?

Один из фермеров-африканеров даже сказал Тревору Филпоту, что телевидение «успокоит» африканцев.

> «Пусть посмотрят, как живут черные в других странах. Может быть, поймут, что здесь им не так уж худо».

Но для подавляющего большинства из 18 миллионов африканцев телевизор остается недоступной роскошью. Бывает, что в африканских пригородах оборотистые торговцы заводят у себя телевизоры и собирают желающих — конечно, за плату, как в кино. Правда, пожилых людей заманить трудно.

> «Мать и отец в большинстве семей работают, и когда они, окончив трудовой день, возвращаются домой в переполненных поездах, то после приготовления ужина уже не остается никаких сил — только бы добраться до постели».

Но молодежь приходит. Как же она воспринимает это зрелище?

> «Когда семья спит на земляном полу в хижине без окон и варит еду на дровах в своем единственном горшке, разве может ее не возмутить и не озлобить мир телевизионной рекламы: напитки со льдом на столиках возле плавательного бассейна; летящие над волнами в глиссерах девушки, опрысканные дезодораторами, со струящимися, вымытыми шампунем волосами; окаймленные пальмами бухты, к которым вы приближаетесь на сверкающих самолетах? Разве они не захотят, как это уже произошло в Анголе и Мозамбике, взяться за нож или ружье, чтобы добиться того, что они считают своей долей?»

Оценка Филпота выражена, мягко говоря, своеобразно, но он все же видит социальную роль телевидения куда реалистичнее бурских фермеров. Да и в целом его статьи — еще одно доказательство того, что глубокие социальные проблемы автоматически встают при любых рассуждениях о телевидении.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

◆

Наши гости

Леслав Бартельский

Ежи Плеснярович

ПОЛЬША

Наши гости хорошо известны в Народной Польше. Леслав Бартельский — видный журналист, педагог, писатель, один из руководителей варшавского отделения Союза польских писателей.

Основная тема творчества Л. Бартельского — судьба его поколения, прошедшего через годы войны и активно участвующего в социалистическом строительстве. «Именно война сделала меня писателем», — признался он в одном из интервью.

Ежи Плеснярович — поэт. Он дебютировал незадолго до войны сборником «Первая песня». Сейчас часто выступает как переводчик русских и украинских авторов, профессиональный театральный режиссер.

В ходе нашей беседы Л. Бартельский поделился своими впечатлениями о современной польской литературе.

— Иногда говорят, что польскую литературу за границей знают плохо, что она провинциальна. Это неверно, ее знают во многих странах, ее много переводят, на сценах зарубежных театров идут пьесы польских авторов. Пример ее популярности — хотя бы «Варшавская поэтическая осень», когда к нам съезжаются поэты со всего мира. Поэзию у нас знают хорошо, она интенсивно соотносится с жизнью, имеет свое лицо, связана с традициями как Востока, так и Запада.

При этом, что очень характерно, активно выступают поэты старшего поколения. Так, Ярослав Ивашкевич начал писать стихи еще в 1913 г., а последние его сборники невозможно приобрести: они моментально раскупаются. Да и проза его последних лет вся — на грани стиха и прозы.

Попробую назвать несколько имен прозаиков, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. У вас, к сожалению, мало знают такого большого писателя, как Теодор Парницкий, писателя-философа, новатора в области исторического романа. С интересом встречена книга Ежи Путрамента «Акрополь», в которой автор анализирует механизм предательства. Большим успехом пользуется повесть Богдана Чешко «Наводнение» — размышление бывшего партизана о судьбах поляков в послевоенные годы. Эта отлично написанная книга представляет собой своего рода лириче-

скую «исповедь сына века». Со многим в книге не соглашаешься, но она никого не оставляет равнодушным. Большое впечатление произвел роман Анджея Кусневича, бывшего узника фашистского лагеря. «Третье царство» — роман о двух поколениях немцев. Все с нетерпением ждут новой книги Войцеха Жукровского. По мнению многих, это будет выдающееся произведение.

Особого внимания заслуживает издание мемуаров, дневников, исторических эссе. Здесь созданы такие выдающиеся произведения, как «Дневники» Зофьи Налковской и «Фантомы» Марии Кунцевич. С интересом я слежу за эссеистикой Станислава Лема, которую ставлю выше его научной фантастики. Совершенно в необычном жанре написана книга Тадеуша Конвицкого «Календарь и клепсидра» — своеобразный иронический дневник.

Что я могу сказать о своем новом романе «Кровавые крылья»? Польская пресса откликнулась на него весьма широко Трактуют его по-разному. Сам я хотел показать в нем идеологическую, политическую атмосферу, в которой формировалось поколение наших отцов. В нем масса исторических реалий. Главное, о чем я хотел сказать,— об ответственности писателя и человека за свою деятельность. Я не считаю свою книгу произведением документального жанра, это прежде всего роман, хотя сюжет его коренится в реальных условиях межвоенной Польши.

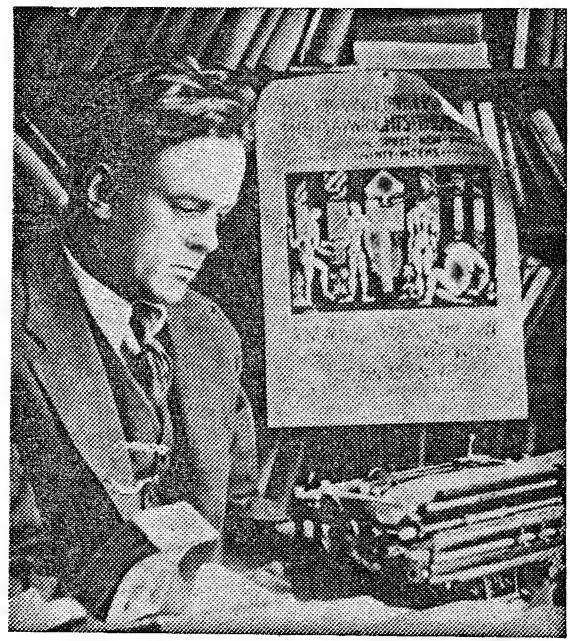
Я ничего не сказал о достижениях деревенской и военной прозы — это тема особого разговора. Завершая свои достаточно субъективные суждения, хотел бы еще раз указать на разнообразие стиля, тематики, жанров в современной польской литературе.

Коллега Л. Бартельского Ежи Плесняровичкоротко рассказал о ситуации в современном польском театре, отметив возрастание роли интеллектуального театра. Он подчеркнул, что польские режиссеры смело обращаются к творчеству таких сложных авторов, как Витольд Гомбрович Станислав Игнацы Виткевич, Славомир Мрожек. Высоко оценивает Е. Плесняровичи творчество Станислава Гроховяка, недавно умершего поэта и драматурга. Одним из лучших его произведений он считает пьесу «Мальчики».

В. АГРИКОЛЯНСКИЙ

◆

Публицистика



ТАМАРА ХОВИ

ДЖОН РИД — СВИДЕТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с английского
Г. ЕРОФЕЕВОЙ

Из-за океана пришла новая книга «Джон Рид — свидетель революции». В серии работ о знаменитом революционере, которые увидели свет в Америке в последние годы, у этой явные преимущества: она обстоятельна, хорошо документирована, непредвзята в своих обобщениях, правдива. Впрочем, это естественно, если учесть, что автор ее — Тамара Хови.

Однако немного истории. В силу обстоятельств, смею думать счастливых, я имею возможность сослаться на личные свидетельства. Все началось с разговора с Джеймсом Олдриджем, английским писателем, автором широко известных у нас романов, которого я знал по войне — Олдридж был военным корреспондентом. И после войны писатель не порывал связей с советскими друзьями и часто бывал в Москве. Где-то в августе шестьдесят первого года Олдридж возвращался домой, и группа московских друзей писателя собралась по этому случаю на Белорусском вокзале. Наш разговор обратился к творческим планам, рукописям. Речь зашла о Джоне Риде, которому была посвящена глава в моей новой работе[1], и Олдридж сказал, что в семье его американских друзей Тамары Хови и Ли Голда, которых жестокая волна маккартизма выбросила на парижский берег, хранится архив революционера, разумеется нигде не публиковавшийся и никому не известный. Поезд ушел так внезапно, что я не успел закрыть блокнота, в который записал адрес парижских друзей писателя. У меня был всего лишь адрес, но было ощущение, что я неожиданно обрел нечто значительное.

Читатель, очевидно, знает, что рукописи Рида — явление сегодня уникальное. Наше собрание этих рукописей небогато. Все, чего я желал в этой связи: побывать в Париже и получить копии ридовских текстов. Никогда не забуду октябрьского дня 1961 года, точно пронзенного неистовым здешним ливнем, когда я явился в дом друзей Олдриджа, находящийся на авеню Обсерватуар. Хозяйки не оказалось дома, и мне открыл двери Голд... Впрочем, по инерции я начинаю воспроизводить рассказ, быть может, известный читателям по книге моих поисков. Короче, буквально из рук в руки я принял архив и привез его в Москву. Кроме тридцати трех писем Рида, телеграмм и обширного досье приказов, прокламаций, афиш, собранных писателем в

[1] Саньва Дангулов. Пятнадцать дорог на Эгль М., «Советская Россия», 1974. *(Прим. ред.).*

© Tamara Hovey, 1975.

городах и селах Мексики, мне была передана рукопись воспоминаний Карла Хови о Джоне Риде, никогда не публиковавшаяся.

Тогда же я передал драгоценный дар, как того хотели Тамара Хови и Ли Голд, нашему архиву, который хранит литературное наследие Ленина. Многие из наших работ о Риде, вышедшие в последние годы, как я заметил, учли ридовские письма, привезенные из Парижа. Рукопись Карла Хови, так и не увидевшую свет в Америке, я передал издательству «Художественная литература», и книга была издана. Наш ГИХЛ выпустил ее с превеликим тщанием, понимая, как она значительна.

А затем я встречал Тамару Хови и Ли Голда в Москве. В течение тех нескольких дней, которые они провели в столице, готовясь к поездке в Вильнюс — предки Тамары, очевидно по линии матери, происходили из Литвы,— беседа неизменно возвращалась к Риду. И мне открылся мир американцев. Быть может, закономерно, что Рид столь прочно завоевал симпатии этой семьи и в какой-то мере на нее воздействовал. Этим людям должны были импонировать демократизм Рида, его интеллект, его нравственность. Но было и иное, на что заметно указывал разговор с американцами: возможно, Рид был той фигурой, которая сближала нас, будь то насущное сегодня или завтра.

Я показывал американским друзьям столицу, и неизменно разговор возвращался к человеку, чья любовь к Риду сберегла драгоценные ридовские реликвии и вызвала к жизни одну из самых волнующих книг о выдающемся американце,— я говорю о Карле Хови. Очень хотелось, чтобы книге был предпослан рассказ об авторе — его написала его дочь. Вот что она писала: «Мой отец, Карл Хови... родился в Бостоне в старинной американской семье... Сын полковника армии северян, раненного в битве при Геттисберге, он воспитывался в тихой патриархальной обстановке в Новой Англии. В юности он учился в Гарвардском университете у профессора Чарльза Коупленда, чьи вдохновенные лекции слушал и Джон. Окончив Гарвард, отец стал газетным репортером.

Это был высокий, хорошо сложенный человек приятной наружности, любивший и прекрасно знавший художественную литературу. В то время ему уже, вероятно, было свойственно то, что я наблюдала в нем позднее и что являлось одной из главных его черт: он считал, что все на свете принадлежит ему, он считал Америку своей страной. Он и ему подобные основали ее и боролись за нее. Он не желал никому уступать ни дюйма...»

Итак, произошло любопытное: в свет вышли две книги о Джоне Риде, первая из которых написана отцом, а вторая дочерью. Тот, кто читал «Львенка» К. Хови, наверно, согласится, что это истинно художественная книга. Интонация книги строга, а в картинах мексиканского восстания даже сурова, но рассказ неизменно убедителен. Этой убедительности помогают главы-воспоминания, рисующие портрет Джона Рида. Читатель проникается доверием к автору. Конечно же, интерес Карла Хови к своему герою не просто интерес к талантливому человеку — Хови в ту пору было многое симпатично в характере и, пожалуй, во взглядах Рида. Хови — либерал, сподвижник Линкольна Стеффенса. Решив написать книгу о Риде, Хови должен был либо опустить своего героя до уровня либерала, либо сам подняться до его ступени. Хови обратился ко второму пути, впрочем, «обратился» не то слово, он, смею высказать предположение, встал на этот путь в силу той позиции, которую избрал, повествуя о Джоне Риде. Но тут Хови, сам того не ведая, вступил в конфликт с теми, кто должен был бы издать его книгу. Рассказывая о порядках в журнале, который он редактировал, Хови восклицает: «Мне лично не часто приходилось видеть, чтобы хорошие рукописи отклонялись глупыми и продажными редакторами». Очевидно, мораль этой фразы такова: главное, чтобы рукопись была хороша, остальное совершится само собой, при этом порядки капиталистической Америки не будут тому помехой. Наши читатели располагают русским текстом книги и способны оценить ее достоинства. Тем не менее книга Хови так и не была издана в Америке.

Допускаю, что такая же судьба ожидала и книгу Тамары Хови, если бы не одно обстоятельство, оказавшееся сильнее тех преград, которые воздвигла тут современная Америка. Дело в том, что Америка переживает пору необыкновенного интереса к отечественной истории начала века, да, тому самому времени, когда могучая социальная волна, вызванная революцией в России, поставила перед народом заокеанской державы вопрос о социальных реформах. Ни одна фигура не отождествляла так полно революционных устремлений Америки этой поры, как фигура Джона Рида. Здесь причина того необыкновенного интереса к Риду, который наблюдается на американской земле сегодня. Об этом свидетельствует и такой факт: в последние десять лет в Америке не раз выходили книги, в которых жизнь и борьба Рида оказывались предметом пристального внимания. Правда, книги были разные. Слишком очевидна была тенденция деформировать образ Рида, вопреки общеизвестным свидетельствам, в частности свидетельствам самого революционера и его ближайших друзей, представить дело так, будто под конец жизни Рид разочаровался в своих революционных идеалах. Книга Тамары Хови рисует правдивый образ Рида.

Именно образ Рида: это писательская книга. Нам известна повесть Тамары Хови, которую в свое время напечатала «Иностранная литература» (1969 год, № 11, 12). Издательская ремарка к книге о Джоне Риде гласит: «Тамара Хови — романист и сценарист, живет в Париже. В своей исследовательской книге она имела возможность опереться на неопубликован-

ные письма Рида к ее отцу, который был другом Рида и редактором журнала «Метрополитен». Таков текст издательской ремарки. Но сама Тамара Хови свою задачу видит шире. Во вступлении к книге она пишет: «Джон Рид умер в тридцать три года, и его короткое, но блистательное пребывание на земле стало легендой, до сих пор волнующей многих. Люди знают его книги, но каким он был сам? Как случилось, что мальчик, родившийся в богатой, привилегированной семье, став взрослым, отказался от материальных благ, которыми мог бы пользоваться, и столь глубоко познал жизнь угнетенных, о которых писал, что в конце концов сроднился с ними и телом и душой?»

Не случайно Тамара Хови предпослала своей книге именно эти строки. Тут есть одна особенность: желание видеть среду, из которой вышел Рид, не монолитной. Ну, что ж, тут есть свои резоны: как ни едина буржуазия в своем отношении и к главным социальным проблемам народа, и к проблемам войны и мира, в ее среде, наверно, имеют место свои противоречия, своя дифференциация. Рид — вопрос особый, но интерес именно к этой стороне в биографии Рида объясняется причинами вполне определенными. Этот вопрос всегда волновал американское общество, и тем более он волнует его в наше время, для которого идея разрядки, идея сосуществования, как и участие в этом движении либеральной буржуазии, имеют свое значение.

В мягкой живописной манере (в какой-то мере свойственной писательскому почерку и ее отца) Тамара Хови воссоздает образ Джона Рида, революционера и человека. В том рассказе, который ведет автор о жизненной стезе Рида, человеческий портрет героя занимает большое место. Родословная Рида, его детство и отрочество на родном ему «диком Западе», университетские годы — Гарвард, первая любовь и первое революционное крещение — стачка в Патерсоне... Но этот человеческий портрет не очень-то отвлечен. Тамара Хови соотносит его с тем главным, что она обозначила во вступлении: как сложился характер героя, свободолюбивый и творческий, характер поэта и, пожалуй, воителя... Мы сказали «воителя», и тут у автора книги были свои возможности, бесценные.

Дело в том, что письма Джона Рида Карлу Хови обнимают значительную пору в жизни героя. Правда, среди них нет писем из революционного Петрограда, но многое в них как бы предваряет для Рида революционный Петроград: письма из восставшей Мексики, письма из Европы, охваченной пламенем мировой войны. Иначе говоря, Тамара Хови благодаря этим письмам обрела единственную в своем роде возможность исследовать, как складывалось мировоззрение революционера, мужал его характер бойца, то есть осветить тот самый период в его жизни, который наименее исследован.

В самом деле, если в Патерсоне, а вслед за этим в Мексике, Рид получил свое боевое крещение как революционер, то европейская война явилась для него школой зреющего сознания, школой социальной прозорливости. Именно отсюда, из Европы, Рид, взглянув на Мексику, во многое проник, многое додумал, а возможно, даже переосмыслил. Удачи и неудачи мексиканских героев, сражающихся за свободу, отсюда были виднее. По-иному Рид взглянул и на Панчо Вилью — как ни самоотвержен был вожак мексиканских крестьян, как ни воинственно предан идее народного восстания, жестокой борьбы с сильными мира сего, которых явил наш многосложный век, революция ждала человека иного типа. Три года, которые Рид прошагал огненными путями Америки и Европы, многому научили и его: он видел жизнь и умел ее наблюдать. Если суждено разразиться событиям, способным потрясти мир, то это произойдет в России — эту мысль вывел американский революционер, направив свои стопы в Россию. Если кратко определить смысл тридцати трех ридовских писем, которые сберег Карл Хови и которые во многом легли в основу содержательной книги Тамары Хови, то его можно определить так: от Вильи к Ленину...

Все в той же мягкой манере, со скромной простотой и непредвзятостью Тамара Хови пишет об отношениях Рида и Ленина:

«Ленин, с которым Рид теперь виделся часто, одобрил его решение жить среди рабочих — так он лучше всего мог узнать Россию и выучить русский язык... Ему нравилось беседовать с Ридом, и они провели немало долгих вечеров в квартире Ленина в Кремле, до рассвета обсуждая положение профсоюзов в Америке, гражданскую войну в России, проблемы философии и многое другое».

Но, быть может, книге Тамары Хови свойственны достоинства, которые литература о Джоне Риде учтет на будущее? Какие именно достоинства? О первом я сказал: с завидной последовательностью прослежено становление Рида-революционера.

Книга рисует образ писателя, значительно заявившего о себе в «Восставшей Мексике» и «Десяти днях, которые потрясли мир», как, впрочем, и в двух других книгах: мы говорим о своеобразных ридовских однотомниках — сборниках рассказов и стихов. Первый из них вышел вскоре после смерти Рида, второй должен быть собран с достойной тщательностью и издан. В этих своих работах — рассказы и стихи — Рид предстает перед читателем, смеем думать, в новом свете, явив такую сторону своего дарования, которую широкий читатель знает недостаточно. Мы видим, как происходило становление взглядов Рида-писателя, как формировалось художническое умение Рида, чье влияние при этом было для него благодатным. Тамара Хови воздает должное двум фигурам, сыгравшим тут свою роль: гарвардскому профессору Чарльзу Таунсенду Коупленду и выдающемуся сыну Америки, писателю-рево-

люционеру Линкольну Стеффенсу, который был близок семье Рида.

Творческая история замечательной книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» еще не написана, поэтому каждое свидетельство особенно ценно. Тамара Хови тут вносит свой скромный вклад, воссоздав жизнь Рида в период, когда он собирал материал для своей великой книги. Ценны наблюдения автора, относящиеся к американской колонии в Петербурге и к политической характеристике позиции американцев, живших в ту пору в русской столице и общавшихся с Ридом.

Как мне представляется, все эти достоинства в сочетании с доброй позицией автора, относящейся к главным вопросам жизни и деятельности Рида как революционера и художника, делают книгу Тамары Хови явлением, заметным в литературе об американском борце за свободу.

Во время недавней поездки в Париж я был у Тамары Хови и Ли Голда в их новой квартире неподалеку от Латинского квартала. У меня была большая беседа с Тамарой Хови о Риде и о том интересе, какой это имя вызывает в современном мире. Как мне кажется, моей собеседнице приятно было узнать, что в серии публикаций, предваряющих 60-летие Октября, журнал «Иностранная литература» решил познакомить читателей и с ее книгой. Тамара Хови показала мне комплект «Метрополитена» — в какой-то мере семейную реликвию Хови,— обратив внимание на очерки Рида. Мы установили, что далеко не все из них вошли в книги Рида, известные читателю. Мне показалось, что мою собеседницу заинтересовала мысль, к которой все чаще обращаются те, кто приобщен к наследию великого революционера: собрание сочинений. Благодарно собрать все написанное Ридом в прозе, поэзии, публицистике. Если бы такое издание удалось осуществить, интерес к нему был бы велик и в США, и в Советском Союзе.

Итак, перед нами книга Тамары Хови «Джон Рид — свидетель революции». Книга с интересом принята на родине революционера, надеюсь, ей будет оказан добрый прием и нашим читателем. Благородная работа Тамары Хови, как и работа ее отца о знаменитом революционере, несомненно явится предметом исследования и у нас. Это определено растущим значением Джона Рида, истинного американца, понявшего, что есть революционная Россия, и протянувшего ей руку братства.

САВВА ДАНГУЛОВ

Когда безвестный молодой человек из Портленда (штат Орегон) начал работать в одной из нью-йоркских газет, его имя — Джон Рид — никому ничего не говорило. А через десять лет оно уже принадлежало самому читаемому в мире американскому журналисту, чьи статьи и книги и сейчас, спустя более полувека, сохраняют свою притягательность и силу. Чем объясняется столь поразительный взлет? В большой мере — его личностью, его талантом, а остальное довершили события, о которых он писал.

Приехав в 1911 г. в Нью-Йорк, чтобы начать свою литературную карьеру, Джон Рид оказался в самой гуще борьбы, которую вели радикалы. Роль простого зрителя его не удовлетворяла: весь свой талант, всю кипучую энергию он вкладывал в участие в этой борьбе, с головой окунаясь во все нараставший поток катаклизмов которыми ознаменовалась его эпоха: кровавые схватки стачечных боев, восстание в Мексике, мировая война, социалистическая революция — недаром он получил прозвище Неистовый.

Его очерки о стачке рабочих шелкоткацких фабрик в Патерсоне (штат Нью-Джерси) — первые в своем роде не только потому, что он знакомился с фактами на месте событий, но и потому, что жил среди их героев,— сразу же принесли ему репутацию блестящего репортера. Год спустя, благодаря газетным и журнальным корреспонденциям о гражданской войне в Мексике, объединенным затем в книгу «Восставшая Мексика», он стал самым популярным и наиболее высокооплачиваемым из профессиональных журналистов. А еще через несколько лет, после репортажей с западного и восточного фронтов первой мировой войны, после опубликования многих статей, рассказов и еще одной книги, Джон Рид создал свой шедевр «Десять дней, которые потрясли мир» — безупречное по точности, страстное документальное повествование о революции в России,— за все это он и снискал славу «отца современного журнализма».

Джон Рид умер в тридцать три года, и его короткое, но блистательное пребывание на земле стало легендой, до сих пор волнующей многих. Люди знают его книги, но каким он был сам? Как случилось, что мальчик, родившийся в богатой, привилегированной семье, став взрослым, отказался от материальных благ, которыми мог бы пользоваться, и столь глубоко познал жизнь угнетенных, о которых писал, что в конце концов сроднился с ними и телом и душой? Как случилось, что изнеженный ребенок, физически слабый и робкий, превратился в

юношу, который смело устремился вперед, навстречу опасностям, не страшась ни пуль, ни тюрьмы? Как случилось, что из мальчика, чьими предками были в основном расчетливые дельцы и светские дамы, менее всего причастные к творчеству, вырос один из самых ярких и талантливых литераторов своего времени?

На протяжении своего бурного пути Джон Рид написал много рассказов о трудных, полных драматических перипетий судьбах других людей. А это — история его собственной жизни.

Тамара Хови
Париж
Сентябрь 1974 г.

В школе Джон Рид слыл незаурядным рассказчиком всяких небылиц. Впрочем, когда он утверждал, что родился в замке, это была истина, которую ни один из тогдашних обитателей города Портленда в штате Орегон не смог бы опровергнуть. Если даже они не видели собственными глазами, так уж конечно слышали о сером особняке в стиле французского шато, который стоял на вершине самого высокого холма в городе среди садов и великолепного парка. Этот дом принадлежал бабушке Джона — Шарлотте Грин и назывался «Кедровый холм».

Там 20 октября 1887 г. Шарлотта Грин с гордостью объявила о рождении внука. На церемонии крестин в епископальной церкви святой Троицы младенец был наречен Джоном Сайласом Ридом. Из церкви молодые родители вернулись с ним в «Кедровый холм» к миссис Грин, где Джон провел первые девять лет своей жизни.

Обширное имение было замечательным местом для игр маленького мальчика. В саду была большая оранжерея, где рос виноград, а по парку бродили ручные олени. В конюшнях стояли породистые лошади, которых запрягали в красивые коляски, вывезенные Генри Грином, покойным дедом Джона Рида, из-за океана. Перед домом простиралась широкая лужайка, где бабушка устраивала в летние вечера роскошные приемы. На елях, окаймлявших лужайку, укреплялись газовые рожки, и их колеблющийся свет озарял танцующие пары.

Отец Джона Рида, Чарльз Джером Рид, был нью йоркцем и приехал в Портленд как представитель процветающей нью-йоркской фирмы сельскохозяйственных машин, чтобы содействовать продаже ее продукции на северо-западе страны. Он и сам был состоятельным человеком и пользовался популярностью, во многом благодаря своему остроумию. Его забавные рассказы оживляли скучные деловые завтраки в Арлингтонском клубе, куда допускались лишь избранные, и вскоре он стал его председателем.

Впоследствии президент Теодор Рузвельт назначил Чарльза Джерома Рида ответственным за расследование скандального дела о расхищении государственных земель железнодорожными и лесопромышленными компаниями, о подкупах и взятках, которые получали не только мелкие служащие, но и федеральные судьи и члены американского сената. Рискуя карьерой, положением в обществе и даже жизнью, Чарльз Джером Рид вступил в борьбу с коррупцией и стал самым горячим поборником социальной справедливости.

Мать Джона, Маргарет Рид, занятая многочисленными светскими обязанностями, оставляла Джона на попечение няни, но все же нежно заботилась о своем хрупком сыне. Подобно бабушке она тоже поощряла любознательность мальчика и выбрала для этого способ, повлиявший на все его будущее: она научила его читать и ввела в мир книг.

Маленький Джон мог сколько угодно бродить по обширному поместью, но ему не разрешалось общаться с теми, кого в семье не считали равными себе, и, возможно, именно этот запрет пробудил у него интерес к людям, которые жили в Портленде за рекой Уилламет.

Но удовлетворить свой интерес в ту пору он не мог, и неудивительно, что долгие дни, проведенные в одиночестве за железной решеткой имения бабушки, побудили его взяться за перо. В его воображении рождались романтические рыцарские сюжеты, которые он записывал торопливыми каракулями. Сочинял он и пьесы, которые, став постарше, разыгрывал на чердаке вместе со своим младшим братом Гарри. Наконец он написал шуточную историю Соединенных Штатов. В каком-то отношении это был самый важный труд Джона Рида, ибо, сочиняя его, он решил — как позднее вспоминал в своей незавершенной автобиографии «Почти тридцать» — посвятить жизнь тому, чтобы стать «великим поэтом и писателем».

В июне 1910 г. Джон Рид окончил Гарвардский университет. Его родители приезжали на выпускные торжества. Джон Рид сидел на заполненном до отказа стадионе, слушая напутственные речи, но мечтами уносился далеко за пределы

обвитых плющом стен колледжа. Он думал о совете своего любимого учителя Чарльза Таунсенда Коупленда, или попросту Копи, как звали его студенты: своими глазами увидеть мир и написать о том, что он увидел.

Получив диплом, он поехал к отцу обсудить свой план; он хотел поступить на корабль, чтобы переплыть через Атлантику в Европу, а затем, подрабатывая чем придется — быть может, и гонорарами за путевые очерки,— объехать вокруг света. Отец выслушал этот романтический, сугубо непрактичный проект и тут же одобрил его. Таков был этот человек: ему не хотелось, чтобы сын сразу же со школьной скамьи сел за конторку, как пришлось сделать ему самому.

И вот ранним июльским утром Рид и его товарищ по Гарвардскому университету Уолдо Пирс отплыли в Ливерпуль на «Бостониен» — судне для перевозки рогатого скота, нанявшись ухаживать за быками. Рид познакомился с Пирсом, когда писал для гарвардского журнала «Лампун», — Пирс, ставший впоследствии известным художником, славился в университетском городке своими остроумными карикатурами. Сын богатых родителей, Пирс вполне мог позволить себе приобрести билет на какой-нибудь роскошный лайнер вроде «Мавритании», который со всеми удобствами и комфортом доставил бы его в Европу, где он собирался изучать искусство. Однако Рид, которому не терпелось испытать жизнь закаленных моряков — членов экипажа «Бостониен», сумел убедить его, что художнику совершенно необходимо познакомиться с неведомым ему миром (впрочем, после первого же дня, проведенного на «Бостониен», Пирс исчез с судна и предпочел все-таки отправиться в Европу на «Мавритании»).

Заботам Рида было поручено сто быков. Ему приходилось дважды в день приносить по ведру воды для каждого из своих подопечных и накладывать им сено — после этой работы у него все суставы ныли. Он стоял на вахте с восьми вечера до четырех утра. Когда на море поднималось волнение, быки в тесных загонах в трюме начинали неистово метаться. Он лавировал среди угрожавших ему со всех сторон копыт и рогов и вновь привязывал сорвавшихся с привязи. С трудом проглотив две-три ложки несъедобного варева, он отставлял жестяную миску и, полумертвый от усталости, валился на койку. Но уснуть ему не удавалось: в кубрике стоял тяжелый дух от грязной мокрой одежды, его соседи пьяно ругались или оглушительно храпели.

В Ливерпуле Рид расстался с «Бостониен» и несколько недель странствовал по Англии. Все его имущество состояло из грубой одежды и пары башмаков на толстой подошве. Он направился к горам Уэльса, стараясь не пропустить ничего интересного на своем пути — будь то празднество в богатом поместье или крестьянская танцулька в маленькой деревушке. Он бродил до тех пор, пока не стер ноги в кровь, и тогда устроил себе передышку на день. В письме домой он рассказывал, как «люди приходили издалека посмотреть на сумасшедшего американца, который бродит пешком, когда можно спокойно ездить».

В середине августа Рид отправился в Лондон за Пирсом, и оттуда они вместе отбыли в Париж.

Париж — Город Света, бесчисленных сверкающих огнями кафе и сомнительных похождений, город искусства, красоты и любви — полностью оправдал в глазах Рида свою репутацию. Сегодня во фраке и галстуке он проводил вечер в элегантном, роскошном ресторане «Максим» в компании гарвардских выпускников, во все горло распевал потом вместе с ними на улице свои песенки из студенческих постановок, а назавтра — в парусиновых брюках и рубашке апаш отплясывал яву с хорошенькой барменшей в соседнем дансинге, украшенном цветными лампочками и серпантином. А на третий вечер сидел в твидовом костюме на званом обеде и обсуждал с гарвардским профессором Шофилдом — тот приехал в Париж прочесть курс лекций в Сорбонне — проблемы искусства и культуры Старого Света.

Рид отправился в Испанию, побывал в Толедо, Бургосе, Вальядолиде, Мадриде, а с наступлением осени сел в поезд и вернулся в Париж. В плохоньком номере дешевой гостиницы он принялся писать стихи и рассказы, но вскоре понял, что вряд ли сумеет заработать себе здесь на жизнь. По зрелом размышлении он раздумал продолжать путешествие вокруг света и решил провести в Европе еще два месяца а потом вернуться домой и там подыскать себе работу.

По возвращении из Европы Риду захотелось обосноваться в Гринвич-Виллидже. Эти «джунгли» из узких извилистых улочек, расположенных вдали от величественных небоскребов Манхэттена, в двадцатые годы нашего века были пристанищем длинноволосых бедных, но преданных искусству художников, поэтов и писателей, ютившихся в дешевых меблированных комнатах. Многие недавние его обитатели уже стали литературными знаменитостями: Стивен Крейн, Фрэнк Норрис, Вилла Кейтер и Теодор Драйзер. Риду хотелось попасть в их число.

В своей незаконченной автобиографии «Почти тридцать» он писал:

«Нью-Йорк казался мне городом чудес... Я бродил по улицам, между уходящими в небо башнями небоскребов в деловых кварталах возле

доков Ист-Ривера, где пахло пряностями, парусниками былых времен, пробирался сквозь густую толпу Ист-Сайда — по неведомым городам внутри городов... Как-то летом я всю ночь просидел на вершине пилона Уильямсбергского моста, а другую проспал в корзине с кальмарами на Фултонском рынке, где в синеватом свете дуговых фонарей блестели красные, зеленые, золотые обитатели моря. Я натыкался на изумительные, никому не известные ресторанчики, где можно попробовать блюда всех стран мира. Я узнал, как раздобывают наркотики, где можно нанять убийцу, чтобы свести счеты с врагом, какой пароль откроет двери игорного притона или подпольного дансинга. Я изучил парки, улицы с роскошными дворцами, театрами и отелями и районы, уродливо разрастающиеся на севере города, точно злокачественная опухоль, ветшающие кварталы, где жизнь все больше замирает, и площади и улицы, где былое прекрасное безмятежное существование тонет в нарастающем реве трущоб...

Я бывал на балах гангстеров, в Таммани-холле, совершал вылазки с Ассоциацией Тима Салливана, шатался по Кони-Айленду в жаркие летние вечера... В квартале от моего дома можно было найти все приключения мира, в миле от него — любую чужеземную страну».

Рид полюбил Нью-Йорк, хотя наряду с величием видел его безобразие — этим он был обязан удивительному человеку, который первым познакомил его с огромным городом. Линкольн Стеффенс, сорокачетырехлетний вдовец с мягкими манерами, был другом отца Джона Рида. Журналист по профессии, он прославился как «разгребатель грязи» — его перо, точно грабли, извлекало на свет и выставляло напоказ политическую грязь из самых потайных углов.

Статьи Стеффенса и книга «Позор городов» вызывали восхищение у радикально настроенных людей, которые выступали против социальной несправедливости того времени: нечеловеческих условий труда на заводах и шахтах, нищеты, порождаемой постоянными экономическими кризисами, и униженного положения женщин, которые не имели права голоса — наравне с умалишенными и детьми.

Политические познания Рида, почерпнутые главным образом в колледже из речей в студенческом социалистическом клубе, были обрывочны и случайны. Стеффенс вскоре заметил это и с готовностью помог Риду восполнить пробелы его образования — не только из дружбы к его отцу, но и потому, что сразу проникся симпатией к молодому человеку, полному жизнерадостности.

Он брал его с собой на собрания социалистов, анархистов, сторонников введения единого налога, профсоюзных руководителей и тех, кого Рид называл «схоластами-утопистами и мелочными доктринерами, цепляющимися за юбки Перемен». Он послал его в книжный магазин радикала Фрэнка Шея со списком рекомендованной литературы. А главное, он советовал ему ходить по городу и самому его исследовать. Тут он проявил интуитивную мудрость, ибо Рид принадлежал к тем людям, которые больше узнают из собственного опыта, чем из чужих рассказов.

«Мне надо было видеть все самому,—писал он в «Почти тридцать».— Все это я почерпнул не из книг... Бродя по городу, я видел уродливую нищету и все то зло, которое она влечет за собой, видел страшное неравенство между богачами, у которых было слишком много автомобилей, и бедняками, которым не хватало на еду».

Стеффенс не только содействовал укреплению и росту уровня социального сознания Рида, но и помог ему найти работу — сначала временную в газете «Нью-Йорк глоб», а затем место в штате журнала «Американ мэгэзин», который кроме беллетристики печатал разоблачительные статьи. Рид должен был исполнять всего лишь обязанности корректора и читать рукописи, но для начала и это было хорошо, и он был признателен Стеффенсу.

Однажды Риду предложили что-нибудь написать для нового раздела «Американ», озаглавленного «Интересные люди», и он посвятил восторженную статью Чарльзу Таунсенду Коупленду. Затем в сотрудничестве с писателем Джулианом Стритом он переработал рассказ, написанный по впечатлениям от плавания на судне для перевозки скота, который вышел в журнале «Сатердей ивнинг пост» под названием «За бортом». Другой его рассказ, «Человек с берегов Сены», год пылился на полке редакционного шкафа, пока не появился в переработанном виде на страницах журнала «Сенчури». Затем журнал «Кольерс» печатает его редакционную статью «Иммигранты», «Трэнд» — очерк «Невольная этика большого бизнеса». Артур Фут пишет музыку к его стихотворению «Странник по велению сердца».

Рид почувствовал себя профессиональным писателем, и в литературных кругах Нью-Йорка о нем уже стали говорить как о «восходящей звезде».

Перед ним вставала дилемма, решения которой вначале он не находил: с одной стороны, он хотел излагать собственные убеждения, не подчиняясь ничему,

кроме интеллектуальной честности и верности своим идеалам художника, а с другой — ему надо было зарабатывать на жизнь. Однако вскоре он обнаружил, что не одинок: та же дилемма стояла перед другими писателями, которые уже нащупывали путь к ее разрешению, организовав собственный журнал под названием «Мэссиз».

Журнал «Мэссиз» стал издаваться в начале 1911 г. как орган, посвященный проблемам единства и солидарности в социалистическом движении, кроме того, он печатал разоблачительные статьи и произведения европейских писателей. Однако четко выраженного направления у журнала не было, а его финансовое положение оставалось весьма шатким. Рид узнал о «Мэссиз» осенью 1912 г., когда новый редактор журнала — бывший преподаватель эстетики в Колумбийском университете — начал реорганизацию издания — с целью удовлетворить растущую потребность читателей в радикальных статьях, произведениях литературы и искусства, которые отвергались коммерческими журналами.

В один прекрасный день Рид пришел в редакцию «Мэссиз» с рассказом «Куда влечет сердце» о горькой жизни девушки из дансинга. «Респектабельные» журналы отклонили этот рассказ — их не устраивал его бескомпромиссный реализм. Истмен сразу же взял его — а заодно и Рида: и как постоянного автора, и как штатного сотрудника журнала. Рид даже принял участие в составлении новой программы журнала, объявившего, что он будет печатать то, что «слишком неприкрашенно и правдиво для коммерческой прессы», бороться с косностью и догматизмом и «проводить свою линию, не угождая никому, в том числе и читателям журнала».

Влияние «Мэссиз» росло. Рид сотрудничал на его страницах со многими ведущими писателями и художниками того времени — с такими, как Джон Слоун, Арт Янг, Джордж Беллоуз, поэтами вроде Артуро Джованнити, Луиса Антермейера и Гарри Кемпа. В журнале в течение многих лет печатались Карл Сэндберг, Шервуд Андерсон, Бертран Рассел, Вэчел Линдсей.

Журнал «Мэссиз» не был в состоянии платить гонорары своим авторам, но Рид получал от работы в нем нечто более важное, чем деньги. Пусть ему приходилось зарабатывать на жизнь рассказами, написанными на потребу журналов, где хорошо платили, зато он мог публиковать то, что хотел, на страницах «Мэссиз». И, что еще более важно, эта свобода пера, которую предлагал «Мэссиз», открыла для него новую сферу деятельности, всегда его манившую и ставшую теперь для него главной,— журналистику.

Однажды вечером Рида пригласили домой к Биллу Хейвуду. Хейвуд — Большой Билл, как его называли тысячи трудящихся всей страны,— был социалистом, одним из основателей и руководителей профсоюзной организации «Индустриальные Рабочие Мира». Приглашенные расселись на полу, потому что в освещенной свечами комнате почти не было мебели.

Большой Билл говорил о событиях в Патерсоне — городе в штате Нью-Джерси, где около двадцати пяти тысяч рабочих шелкоткацких фабрик бастовали, требуя восьмичасового рабочего дня. Стачечников бросали в тюрьмы по ложным обвинениям, полицейские избивали дубинками даже женщин, а итальянского рабочего Модестино застрелил наемный охранник заводовладельцев. Но как ни странно, о забастовке в Патерсоне в Нью-Йорке не знал почти никто — по вине печати, заявил Хейвуд. Газеты с самого начала заключили заговор молчания с владельцами патерсоновских шелкоткацких фабрик. Они не желали ничего печатать о забастовщиках, которые отчаянно нуждались в средствах и моральной поддержке.

В отличие от Большого Билла Рид не знал по собственному опыту, что такое побои, тюрьма, преследования. Но он испытывал к забастовщикам самое горячее сочувствие и сознавал серьезность того, о чем говорил Хейвуд. Это понимали и другие собравшиеся. Было ясно, что сообщение о забастовке в Патерсоне во что бы то ни стало должно попасть на страницы нью-йоркских газет. Но как это сделать? И тут в первый раз заговорила женщина в малиновом платье, которая заинтересовала Рида, едва он вошел в комнату. Голос у нее был мягкий, почти робкий, но то, что она предложила, было смело и оригинально: нужно силами патерсоновских текстильщиков поставить инсценировку забастовки, и пусть они покажут ее в нью-йоркском «Мэдисон-сквер Гарден».

Присутствующих это предложение привлекло, но они усомнились в возможности его осуществления. Как привезти тысячи рабочих в Нью-Йорк? Как за один вечер превратить неграмотных иммигрантов — ведь большинство рабочих было иммигрантами — в актеров? И главное, кто способен создать и поставить такую инсценировку?

Рид тут же предложил свои услуги. Он записал имя женщины — Мейбл Додж — и ее адрес и сказал, что придет к ней в ближайшее время: они вместе подготовят текст спектакля, но прежде он напишет репортаж о патерсоновской забастовке и как-нибудь добьется, чтобы его напечатали.

На следующий день еще до рассвета Рид уехал в Патерсон и, сойдя с поезда в шесть часов утра, увидел серые улицы, затянутые сеткой моросящего дождя, на которых не было ни души. Но еще по дороге к фабричному району он насчитал по меньшей мере двадцать полицейских, неторопливо направлявшихся туда с дубинками под мышкой. Потом появились рабочие, которые шли, подняв воротники пальто и засунув руки в карманы. Рид очутился на длинной улице, по одну сторону которой тянулись жилые дома, а по другую — корпуса фабрик. В дверях и в окнах домов смеялись и болтали мужчины и женщины, словно после завтрака в праздничный день.

«Неожиданно появился полицейский, размахивавший дубинкой. «А-а-ах»,— пронеслось по толпе. Шестеро мужчин укрывались от дождя под навесом у входа в пивную. «Проходите! Нечего здесь стоять!» — заорал, надвигаясь на них, полицейский. Они спокойно повиновались. «Убирайтесь с улицы! Расходитесь по домам! Нечего здесь стоять!» Все молча разошлись, но тотчас же вернулись, едва он ушел. Подошли еще полицейские, но ни брань, ни угрозы ничего не дали — никто не отвечал. Небритые, растерянные, с мутными от бессонницы глазами, эти полицейские явно выбились из сил за девять недель забастовки.

Вдоль фабричных корпусов выстроилось примерно четыреста пикетчиков. Несколько полицейских расталкивали их, выискивая, к чему бы придраться. Появился рабочий, направлявшийся на работу под охраной двух сыщиков. На него со всех сторон зашикали. Двое молодых итальянцев, стоявшие у фабричной ограды, выкрикнули насмешливую ирландскую угрозу: «А ну-ка, скэб, пойди сюда, я тебе башку оторву!» Полицейский тут же схватил их за плечи.

«Проваливайте отсюда к черту!» — орал он и, загнав их в угол, начал пинать ногами. Толпа стояла молча, никто не шелохнулся.

Немного дальше мы увидели, как дюжий полицейский вдруг остановился перед молоденькой женщиной с зонтиком, стоявшей в пикете. «А тебе какого черта здесь нужно? — гаркнул он.— Убирайся домой!» И он ткнул дубинкой ей в лицо. «Не пойду я домой!» — крикнула она, и глаза ее сверкнули гневом...

Постепенно в полной тишине подходили все новые пикетчики. Они расхаживали по тротуару парами или целыми группами. Смеха уже не было слышно».

До этого момента Рид был просто зрителем, но тут, против воли, он превратился в участника событий. Дождь полил сильнее, и он попросил разрешения у какого-то мужчины встать под навес на крыльце его дома. Путь к крыльцу преграждал полицейский, и Риду пришлось его обойти. Внезапно полицейский обернулся и спросил у владельца, только ли жильцы дома стоят на крыльце.

Как писал Рид:

«Мужчина указал на себя и на трех забастовщиков, но отрицательно мотнул головой в мою сторону.

— Так убирайся отсюда к черту, — заорал полицейский, грозя мне дубинкой.

— Но мне разрешил здесь встать хозяин этого дома.

— Ну и что? Делай, что тебе говорят. Убирайся отсюда, да поживее, черт побери!

— И не подумаю!

Тогда он взбежал на крыльцо, схватил меня за локоть и грубо стащил на тротуар. Второй полицейский схватил меня за другой локоть, и они отшвырнули меня!»

Вскоре после этого Рид, у которого отобрали все личные вещи, уже сидел в арестантской одежде в «камере для осужденных» окружной тюрьмы Пассаик. Его приговорили к двадцати дням тюремного заключения за неподчинение полицейскому.

Рид в первый же день своего заключения убедился, что написать репортаж о событиях в Патерсоне будет не так-то просто. Среди сорока с лишним заключенных в одной с ним камере четырнадцать были забастовщиками. Но Рида больше всего заинтересовал человек, которого он несколько раз видел издалека на политических собраниях. Он сразу узнал высокий лоб и пламенные глаза руководителя забастовки итальянца Карло Треска. Тот разговаривал с другим заключенным, объясняя ему, что такое принципы классовой борьбы. Рид подошел к ним и с обычной своей непосредственностью попробовал присоединиться к их разговору. Треска поглядел на него с подозрением, а когда Рид принялся расспрашивать его про забастовку, и вовсе замолчал. Остальные забастовщики, опасаясь, что к ним подослали шпиона, последовали примеру товарища.

Однако на другое утро Рида неожиданно вызволили, правда, не из тюрьмы, но из полной изоляции. В камеру ввели Хейвуда. Большой Билл, которого арестовали без всякого обвинения, дружески поздоровался с Ридом. Он заверил остальных, что Рид человек надежный и при нем можно говорить свободно. Треска извинился за холодный прием накануне, но Рид уже забрасывал его вопросами...

Все последующие дни и ночи забастовщики постоянно окружали Рида. Сидя на полу, он слушал их рассказы о том, как они попали в тюрьму — одних арестовали за участие в «незаконных сборищах», когда они просто расхаживали перед фабрикой, других за «устройство уличных беспорядков», хотя они мирно шли домой.

Иногда в камеру вводили новую группу арестованных забастовщиков, и рассказы на время прерывались. А как-то раз их перебил надзиратель, сообщив, что друзья Рида предложили уплатить за него штраф. Но Рид покачал головой. Пусть лучше пришлют сигарет и что-нибудь съестное. Он не хотел покидать тюрьму. Ведь он не только собирал материал для репортажа, но и жил среди тех, о ком писал. Впервые он на опыте узнавал то, о чем раньше только читал или слышал от других людей. Его едва не избил полицейский, его бросили в тюрьму, где пусть ненадолго, но все же он разделял с забастовщиками их тяжелую участь,— теперь он не просто симпатизировал им, но испытывал чувство солидарности с ними.

И забастовщики ответили ему тем же. До тех пор они питали глубокое недоверие к журналистам, но этот был не похож на остальных. Газеты никогда не выступали с их позиции, события излагались всегда только с точки зрения предпринимателей, городских властей, полиции. И вот теперь Джон Рид готов был высказаться от их имени.

«Покидая тюрьму,— писал Рид,— я попрощался со всеми этими добрыми, мужественными людьми, которых как-то поднимало участие в благородном деле... Они толпились вокруг меня, хлопали меня по плечу, пожимали руку, дружески, горячо, доверчиво...»

Рида продержали в тюрьме всего четыре дня. Владельцы фабрик, полиция Нью-Джерси и тюремные власти были сыты им по горло. В газетах появились возмущенные заметки о его аресте. И этим наделенным властью людям пришлось с горечью признать, что заключение в тюрьму «одного паршивого гарвардского поэта» сделало то, чего не смогла сделать забастовка двадцати пяти тысяч текстильщиков: оно разрушило стену молчания, которой газеты окружили забастовку. Нельзя было больше молчать о том, что происходило в Патерсоне, и вскоре нью-йоркские газеты начали помещать подробные сообщения о забастовке.

Рид написал о ней для «Мэссиз». В статье «Война в Патерсоне» он ярко изобразил борьбу рабочих и закулисную игру политических сил. Репортаж раскрыл редкостный талант Рида-журналиста. Его коллеги со все большим убеждением говорили о нем как о «восходящей звезде».

Джон Рид и Мейбл Додж начали работать над инсценировкой и сразу же обнаружили родство взглядов — никакая идея одного не казалась другому слишком смелой. И наоборот. «Мэдисон-сквер Гарден» занимал целый квартал, он вмещал одновременно три арены и два оркестра цирка Барнума и Бейли — но они его заполнят! Осуществить представление с участием более тысячи текстильщиков, которые говорят на разных языках,— задача почти невыполнимая, но они ее решат! Чтобы арендовать «Мэдисон-сквер Гарден» даже на один вечер, потребуется целое состояние — но они раздобудут эти деньги!

Рид оставил работу в «Американ мэгэзин» и все свое время отдавал постановке. Он работал дни и ночи, спал мало, не раздеваясь. Ему постоянно приходилось ездить из Нью-Йорка в Патерсон, где он вместе с забастовщиками репетировал сцены будущего спектакля.

И своей профессии журналиста он не забывал. Постоянные поездки в Патерсон воскрешали в памяти четыре дня, проведенные в тюрьме, ужасающие условия, в которых содержались заключенные. Так родился репортаж «Гостиница шерифа Рэдклифа». Хотя касался он трагических сторон социальной действительности, написан он был в сатирическом ключе, и Рид подумал, что его может взять какой-нибудь крупный журнал, рассчитанный на широкие круги читателей. Он решил предложить его «Метрополитену».

«Метрополитен» был популярным, прекрасно оформленным, иллюстрированным периодическим изданием. От других иллюстрированных журналов того времени он отличался тем, что постоянно печатал первоклассные литературные произведения — в числе его авторов можно назвать такие блистательные имена, как Джордж Бернард Шоу, Д. Г. Лоуренс, Джозеф Конрад, Герберт Уэллс, Арнольд Беннет, Редьярд Киплинг, Эдна Фербер, Фанни Хёрст, Руперт Хьюз, Ф. Скотт Фицджеральд и многие другие. Откликался журнал и на радикальные веяния времени, печатая статьи о социальных реформах и даже о социализме. Рид вложил свою рукопись в конверт: в худшем случае он просто потеряет марку.

Несколько дней спустя редактор «Метрополитена» Карл Хови извлек материал Рида из кипы рукописей, пришедших самотеком. Увидев, что это репортаж о тюремных условиях, он приготовился сдерживать зевоту: как правило, очерки подобного рода бывали томительно тяжеловесными. Однако его ожидал приятный сюрприз — оригинальность авторской манеры изложения подкупала с первых же строк.

Карл Хови не подозревал тогда, что это лишь первый из множества репортажей этого автора, которым предстоит попасть на его редакторский стол, и что он кладет начало плодотворному сотрудничеству между Ридом и журналом «Метрополитен». Много лет спустя Хови в своих воспоминаниях о первом очерке Джона Рида отметил:

«Он писал так, что казалось, порыв свежего ветра, распахнув окна, ворвался в затхлую обитель, в которой прозябала наша литература. Появился новый писатель, засиял свет нового таланта».

Вскоре Рид появился в редакции «Метрополитена», и Хови заметил, что он предпочитал оставаться на ногах все время, пока слушал или говорил,— впрочем, вначале говорил он мало.

«Рид спросил:
— Вам, вероятно, нужно подумать, как быть с моим материалом?
— Нет.
— Вы хотите сказать?..
— По-моему, он великолепен. Я просто в восторге».

Рид уже давно ушел, а лицо его все еще стояло перед глазами Хови:

«...лицо это было красивым и значительным — молодое, обаятельное лицо человека, бурно радующегося жизни; и все же при взгляде на него было ясно, что эти спокойные глаза в любую минуту могут вспыхнуть гневом. Гордая посадка головы говорила о решительности и мужественности, а уверенность, с какой он держался, так естественно сочеталась со скромностью, что не могла производить неприятное впечатление.

...Я поймал себя на мысли, что, хотя он как будто и не похож ни на Гарри Кемпа, ни на Эптона Синклера, ни на Вэчела Линдсея, ни на Карла Сэндберга, он чем-то все-таки напоминает их всех сразу. Должно быть, потому, что принадлежит к одной с ними породе «новых демократов», во весь голос говорящих правду о современниках».

Рид с удвоенным энтузиазмом принялся за работу над постановкой. 17 июня 1913 г. более тысячи забастовщиков отправились из Патерсона в Нью-Йорк в специальном поезде из четырнадцати вагонов. Во главе с оркестром «Индустриальных Рабочих Мира» они прошли по Пятой авеню и направились в «Мэдисон-сквер Гарден», где в этот вечер собралось пятнадцать тысяч зрителей. Рабочие и работницы приехали не только из Патерсона, но из всех восточных штатов, и к ним во множестве присоединились сочувствовавшие им нью-йоркцы. Когда пронзительный фабричный гудок возвестил о начале представления, в зале сразу наступила тишина и все глаза обратились к сцене, по которой сотни закутанных людей брели к холодному, зловещему, подсвечиваемому из глубины сцены зданию, поглощавшему их, одного за другим — к фабрике. Снова раздался гудок, и с грохотом заработали машины. Затем все смолкло, и послышалось пение «Марсельезы»: рабочие покидали фабрику в первых лучах зари, в один голос объявив о забастовке.

Это был «Первый эпизод», и так эпизод за эпизодом Джон Рид на протяжении нескольких волнующих часов воссоздавал на сцене историю десятинедельной борьбы патерсоновских забастовщиков. Когда из глубины сцены вынесли гроб Модестино, итальянского рабочего, застреленного в самом начале стачки, и забастовщики, один за другим, возлагали на гроб красные гвоздики, невидимая преграда между участниками спектакля и зрительным залом рухнула. Зрители были захвачены драматическими событиями в Патерсоне, вновь развертывавшимися перед ними. Сами того не зная, они присутствовали при рождении нового жанра драматического представления, хотя термин «живая газета» тогда еще не был придуман.

На следующий день пресса разразилась похвалами «замечательному спектаклю», «зрелищу такой силы и яркости, перед которым должны поблекнуть все остальные». Отмечалась и работа Рида: «Сцены спектакля развертывались с такой убеждающей достоверностью, что те, кто их видел, никогда их не забудут». Газеты указывали также, что «Мэдисон-сквер Гарден» даже в дни самых ожесточенных политических кампаний, пожалуй, не знал подобного стечения публики — в вечер инсценировки событий в Патерсоне зрители забили огромный зал до отказа.

Весною 1913 г. в Мексике вспыхнуло крестьянское восстание, а к осени оно уже переросло в ожесточенную гражданскую войну. «Метрополитен» собирался послать в Мексику специального корреспондента. Линкольн Стеффенс назвал имя Рида. И Карл Хови решил испытать молодого репортера, чьи статьи уже произвели на него сильное впечатление. Но сразу же возник вопрос о том, о какой из воюющих сторон будет он писать — война в Мексике была сложной эпопеей.

На одной стороне — военная диктатура, полностью подчиненная воле жестокого тирана, пьяницы и кокаиниста генерала Викториано Уэрты. Его воинство официально именовалось «федералистами», но большинство мексиканцев называло их «уэртистами». Уэрта воплощал в себе высокомерие и террор, которые правили в Мексике с того времени, когда несколько веков назад испанцы одержали победу над ее гордым и миролюбивым народом. Он защищал интересы сказочно богатых помещиков, на которых, поколение за поколением, работали полукрепостные мексиканские пеоны. До гражданской войны только одной семье в Мексике принадлежало 17 млн. акров земли.

На другой стороне — мексиканское крестьянство, пеоны. В южном штате Морелос они сражались под командованием крестьянского революционного вождя Эмилиано Сапаты. На севере страны они образовали армии конституционалистов, подчинявшиеся временному правительству Венустиано Каррансы, провозгласившего себя «первым вождем революции». Поначалу Карранса принимал участие в сражениях, но будучи по своему складу скорее теоретиком, чем практиком, человеком действия, он в конце концов устранился от личного участия и уехал на запад страны, откуда наблюдал за успехами своих генералов.

Одним из этих генералов был бывший разбойник Панчо Вилья. В марте 1913 г. он организовал крестьянский партизанский отряд и нанес поражение федеральным войскам на севере под Хименесом, захватил город Чиуауа и совершил молниеносный рейд на Хуарес. Он образовал повстанческое правительство в северной Мексике, где распределял конфискованные земли между пеонами и раздавал деньги и продовольствие беднякам. Этот мексиканский Робин Гуд, совсем недавно никому не известный, за несколько месяцев приобрел славу избавителя своего народа.

После продолжительных споров за столиком в баре «Холланд-хауз» было решено, что репортажи о войне в Мексике Риду следует писать из лагеря Вильи. А для солидности Риду надо бы стать еще и корреспондентом какой-нибудь крупной газеты. Рид договорился с «Нью-Йорк уорлд» и через несколько дней сел на поезд, идущий в Техас.

Вестибюль отеля в Эль-Пасо был забит людьми — богатые мексиканские помещики, бежавшие из страны с золотом, зашитым в седла, финансисты с Уолл-стрита, обеспокоенные судьбой своих мексиканских акций, сыщики, секретные агенты, журналисты. Эти последние собирали сведения о мексиканской войне у беженцев, но Рид, как раньше в Патерсоне, хотел писать свои репортажи непосредственно с места событий, и он уехал из Эль-Пасо в Пресидио на американском берегу Рио-Гранде.

На противоположном берегу реки был мексиканский город Охинага, занятый федеральными войсками генерала Меркадо. Рид не собирался оставаться с федералистами, но ему нужен был предлог, чтобы попасть в Мексику, и он послал записку Меркадо, прося дать ему интервью. Ответ он получил не от Меркадо, а от другого федерального генерала, Паскуаля Ороско, перехватившего его записку.

В нем говорилось:

«Достопочтенный и достоуважаемый сэр!

Если вы ступите на землю Охинаги, я поставлю вас к стенке и с превеликим удовольствием собственноручно продырявлю вам пулями спину».

Рид вскоре убедился, что обсуждать его назначение военным корреспондентом в тихом баре «Холланд-хауз» — это одно дело, а переходить вброд желтую мелкую Рио-Гранде — совсем другое.

«Едва я пересек границу,— писал он в «Почти тридцать»,— как меня охватил ужас. Я боялся смерти, увечий, чужой страны и чужого народа, чей язык и образ мыслей был мне неизвестен. Но страшное любопытство гнало меня вперед...»

Рид скрылся из Охинаги прежде, чем генерал Ороско успел узнать о его пребывании там, и отправился в Чиуауа, где находилась штаб-квартира Панчо Вильи. Там на Плаза-де-Армас тысячи жителей города собрались перед дворцом, чтобы присутствовать при церемонии награждения генерала Вильи медалью.

«— Ya viene! Вот он! Да здравствует Вилья! Вилья — друг бедняков! Прокатившийся из задних рядов гул приветственных возгласов нарастал мощным крещендо казалось, что именно он взметнул в воздух тысячи шляп. Оркестр во дворе заиграл национальный мексиканский гимн, и с улицы на площадь вышел Вилья.

На нем был старый походный мундир, на котором не хватало пуговиц. Щеки его заросли щетиной, шляпы на голове не было, и нечесаные волосы торчали вихрами. Он шагал чуть косолапя, сутулясь, засунув руки в карманы брюк.

Проходя между двумя застывшими шеренгами солдат, Вилья смущенно улыбался и кивал какому-нибудь compadre[1] в шеренге. Его приветствовали губернатор Чао и секретарь штата Террасас в парадных мундирах, офицеры вытянулись по стойке «смирно».

Встречали его словно Наполеона!»

По установившейся мексиканской традиции офицеры принялись произносить длинные цветистые речи. Они восхваляли Вилью за его доблесть, непоколебимое мужество, патриотизм, которым он заражал всех... Вилья слушал, изредка позевывая,— это высокопарное красноречие явно забавляло его и в то же время надоедало ему. Наконец вперед торжественно выступил полковник, держа в руках картонную коробочку с медалью.

«Выжидательная тишина воцарилась в зале, передавшись даже толпе на площади. Вилья посмотрел на медаль, почесал затылок и, нарушив благоговейную тишину, сказал громко:

— Уж больно она мала, чтобы ею награждать за весь тот героизм, о котором вы столько тут наговорили!

И мыльный пузырь империи лопнул от громовых раскатов хохота.

Все ожидали, что Вилья произнесет полагающуюся в таких случаях благодарственную речь. Но когда он окинул взглядом всех этих блестящих, образованных людей, которые говорили, что готовы умереть за Вилью, за пеона, и говорили это искренне, и увидел в дверях оборванных солдат, которые давно уже вышли из рядов и забили коридоры, не сводя глаз со своего любимого compañero[2], он еще яснее понял, что́ несет в себе мексиканская революция.

Сморщившись, как всегда, когда он напряженно думал, он наклонился над столом, стоявшим перед ним, и сказал настолько тихим голосом, что его с трудом можно было расслышать:

— У меня нет слов. Одно могу сказать: мое сердце навсегда ваше».

Когда такие репортажи начали приходить в Соединенные Штаты, редактор «Метрополитена» понял, что не ошибся, послав в Мексику двадцатишестилетнего Рида. Это был не сухой анализ фактов, а яркое описание событий, в котором угадывалась рука талантливого литератора. Рид не просто рассказывал о том, что наблюдал, но рисовал живую, полную образов картину, и читатель чувствовал себя очевидцем событий. До репортажей Рида Вилья представлялся американцам кровожадным бандитом, жестоким, недалеким, примитивным, карикатурным дикарем. Под пером Рида карикатура преображается в мастерски написанный портрет живого человека. Именно это нужно было «Метрополитену», и Карл Хови телеграфировал Риду: «ВЫ ШЛЕТЕ НАМ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАТЕРИАЛ МЫ В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ...»

В Чиуауа Рид часто встречался с партизанским вождем — либо дома у Вильи, либо в его служебном кабинете, где среди своих надежных, преданных compañeros Вилья занимался всяческими административными вопросами в роли то губернатора штата Чиуауа, то генерала северной армии конституционалистов. Было известно, что Вилья отказывался принимать журналистов, но к Риду это не относилось. И не только потому, что Вилья поддался обаянию личности молодого репортера или был благодарен ему за подарки: седло, ружье с золотой монограммой и глушитель системы «максим». Бывшего разбойника увлекали вопросы, которые задавал ему Рид,— ни о чем подобном его прежде не спрашивали. Что он думает о предоставлении права голоса женщинам? Как он смотрит на социализм?

«— Социализм... а что это такое? Вещь? Это слово попадалось мне в книгах, а я читаю мало».

Что же касается права голоса для женщин, то Рид так описывает реакцию Вильи на его вопрос:

«Однажды я спросил его, будут ли женщины в новой республике иметь право голоса. Он в это время валялся на кровати, расстегнув мундир.

— Да нет, пожалуй,— сказал он и вдруг удивленно приподнялся.— То есть что значит «иметь право голоса»? Вы спрашиваете, будут ли они выбирать правительство и проводить законы?

Я ответил, что подразумевал именно это и что в Соединенных Штатах женщины уже пользуются таким правом.

---

[1] Кум *(исп.)*.
[2] Товарищ *(исп.)*.

— Ну что же,— сказал он, почесывая затылок,— если ваши женщины у вас выбирают, то почему бы и нашим у нас не выбирать?

Эта возможность, по-видимому, очень его позабавила, и он долго продолжал ее обдумывать, глядя то на меня, то куда-то в сторону.

— Может, и будет, как вы говорите,— сказал он наконец,— но я как-то не думал об этом раньше. По-моему, женщины созданы для того, чтобы о них заботиться и любить их. А настоящего ума у них нет. Они не способны понять, что хорошо и что плохо. Они слишком мягкосердечны и жалостливы. Женщина, например, не смогла бы отдать приказ расстрелять предателя.

— Ну, я в этом не совсем уверен, mi General,— сказал я.— Женщины при случае могут проявить большую твердость и жестокость, чем мужчины.

Он посмотрел на меня, дергая усы. Потом взглянул в ту сторону, где его жена накрывала на стол к обеду.

— Oiga [1],— позвал он,— поди-ка сюда. Слушай. Вчера я поймал трех предателей, которые перебирались через реку, чтобы взорвать железнодорожный путь. Как я должен поступить с ними? Нужно их расстрелять или нет?

Смутившись, она схватила его руку и поцеловала.

— Я в этом ничего не понимаю,— сказала она,— тебе лучше знать.

— Нет,— продолжал Вилья,— я предоставляю решать тебе. Эти люди хотели прервать сообщение между Чнуауа и Хуаресом. Они предатели — федералисты. Как быть с ними? Расстрелять их или нет?

— Ну что ж, расстреляй,— сказала миссис Вилья.

Он весело рассмеялся.

— А ведь в том, что вы говорите, есть правда,— заметил он, обращаясь ко мне, и много дней после этого расспрашивал горничных и кухарку, кого они хотели бы иметь президентом Мексики».

Землю и образование для народа — таковы были цели Панчо Вильи. Никаких личных честолюбивых помыслов он не вынашивал и считал Каррансу своим jefe — своим командиром. Правда, в дальнейшем между ними возникли резкие разногласия, но в то время будущим президентом Мексики он видел образованного Каррансу, а не себя.

Рид не собирался держаться в стороне от театра военных действий и писать свои репортажи по чьим-то рассказам. Он хотел жить среди сражающихся пеонов. Как-то утром он услышал, что армия генерала Урбина подходит к линии фронта около Дуранго, и решил отправиться туда. Урбина разрешил ему сопровождать прославленный отряд La Trora, уже отличившийся в битвах за мексиканскую революцию.

Вначале солдаты— оборванные, босые пеоны — поглядывали на Рида с подозрением. Он был американцем, гринго, а они во всех гринго видели врагов. Ведь американцы, которых они знали, были владельцами рудников и заставляли пеонов работать, словно рабов. Им не верилось, что Рид действительно интересуется ими и сочувствует их делу, как это следовало из его расспросов. Хотя держались они дружелюбно, беззлобно, посмеивались над его ломаным испанским языком и, поддразнивая, называли «ми-и-стером», многие были убеждены, что его подослали иностранцы, а может быть, даже и уэртисты, чтобы шпионить за ними.

Рид сознавал это и старался разрушить барьер, отделявший его от них. Но в Мексике не было Билла Хейвуда, который заверил бы их в его надежности, как тогда в патерсоновской тюрьме. Ему надо было самому завоевать доверие мексиканцев, и скоро они убедились, что он совсем не изнеженный гринго. Ему предложили выпить полбутылки сотоле — на редкость крепкой водки, и он выпил ее залпом. Во время танцев вечером на заброшенной асьенде вызвали его сплясать хоту, и он после упорных попыток овладел быстрыми фигурами танца. Когда забили быка и не было времени варить мясо, он наравне со всеми ел его сырым. А когда надо было решить, где ему жить: с офицерами или в душной, переполненной казарме с солдатами Рид выбрал казарму.

Однако как-то вечером солдат Хулиан Рейес, все еще подозрительно относившийся к гринго, сел возле него.

«Он был сильно пьян, глаза его горели фанатическим огнем.

Он вдруг повернулся ко мне.

— Ты будешь воевать вместе с нами?

— Нет,— сказал я.— Я корреспондент. Мне запрещено сражаться.

— Врешь! — закричал он.— Ты просто трусишь. Как перед богом — наше дело правое.

— Да, я знаю. Но мне приказано не принимать участия в боях.

— Какое мне дело до того, что тебе приказано! — закричал он.—

[1] Послушай *(исп.)*.

Нам не нужно корреспондентов, не нужно, чтобы о нас писали в книгах. Нам нужны винтовки, нужно убивать... Трус! Уэртист!

— Хватит!— сказал кто-то, и, подняв взгляд, я увидел, что надо мной наклонился Лонхинос Гуерека.— Хулиан Рейес, ты ничего не понимаешь. Этот compañero приехал за тысячи миль по суше и по морю, чтобы рассказать своим землякам правду о том, как мы боремся за свободу. Он идет в сражение безоружным, значит, он храбрее тебя, потому что у тебя есть винтовка. Уходи отсюда и оставь его в покое!»

Недоверие к Риду было полностью рассеяно, и солдаты с этих пор считали его своим. Ночью у костра они рассказывали ему о своей трудной, голодной жизни и надеждах, осуществления которых ждали от демократической Мексики. Они шутили с ним и пели, а нередко кто-нибудь одалживал ему коня. Тогда он ехал в общих рядах и разговаривал с солдатами. Он узнал, что многие из них еще недавно вели жизнь разбойников, а некоторые были так бедны, что не имели плаща. Но Рид вновь и вновь убеждался в их поразительной честности. У него было сто пятьдесят песо, которые он открыто клал рядом с собой, когда ложился спать. И никто не тронул этих денег. Хотя провизии и табака не хватало, солдаты внимательно следили, чтобы Рид ни в чем не нуждался.

Ему довелось лично убедиться в легендарной храбрости батальона своих новых товарищей, когда тысяча colorados (добровольцев-уэртистов, отличавшихся особой жестокостью) напали на сторожевой пост из ста человек в Кадене, охранявший горный проход. Но эта сотня без колебаний бросилась в атаку на приближавшегося противника, в десять раз превосходившего их численностью. Даже те, у кого не было оружия, скакали вместе с остальными, крича: «А ну-ка, задушим их голыми руками». В кровавой схватке погибли почти все сто человек, но Риду удалось спастись.

«Я был не очень испуган,— писал он позднее.— Просто мне казалось, что погибнуть — значит не справиться с порученной мне работой. Меня не покидала мысль, что об этом надо непременно написать».

Пройдя около ста миль по пустыне, Рид разыскал отряд и отправился с ним дальше. Иногда он уезжал для выполнения специальных заданий — так, он взял интервью у Венустиано Каррансы, все еще жившего в уединении, а позже изложил истинные факты дела о смерти шотландского помещика-миллионера, которого якобы расстреляли солдаты Вильи, что чуть было не вызвало иностранную интервенцию. Но он опять возвращался туда, где шли бои, и во время наступления на Торреон, главный оплот армии Уэрты, ехал в эшелоне с солдатами Вильи, вновь наблюдая тесную близость крестьянского вождя и его солдат-пеонов.

Четыре месяца, которые он провел в Мексике, оказали сильное влияние на его личность. Он обрел уверенность в себе как в человеке и писателе. «Так хорошо я еще никогда не писал»,— отметит он позднее в «Почти тридцать». Если он, переходя мексиканскую границу, испытал смертельный страх, то вскоре открыл, что «пули не так уж страшны и страх перед смертью не столь велик».

Но всего важнее было слияние с народом и его жизнью.

«Эти четыре месяца скачки верхом на коне по раскаленным равнинам, ночлегов на земле рядом с hombres ...постоянной близости с ними и на отдыхе и в бою были, вероятно, лучшим временем в моей жизни... Я любил их и любил эту жизнь. Я вновь обрел себя».

Многие друзья писали Риду в Мексику, хваля его статьи, которые появлялись в журнале «Метрополитен» и газете «Уорлд». Уолтер Липпман писал ему: «Как-то неловко говорить близкому знакомому, что он гений, но ты сейчас в дикой стране. Я просто выразить не могу, как хороши эти статьи... У тебя верный глаз и истинный талант рассказчика... Если бы все исторические события описывались только так! Я утверждаю, что настоящий репортаж начинается с Джека Рида. Ну и, конечно, это подлинная литература!»

И все же Рид не представлял себе, насколько он знаменит. Однако, едва вернувшись в Нью-Йорк, он узрел большое объявление в «Нью-Йорк таймс» о его репортажах в «Метрополитене» и рисунок, на котором он выглядел героем. На бортах грузовиков, развозящих газету «Уорлд», он прочел свою фамилию с добавлением «американский Киплинг» и узнал, что сам великий Киплинг сказал: «Благодаря его очеркам в «Метрополитене» я увидел Мексику».

Шел 1914 год. Европа была на пороге войны, и Хови предупредил Рида, что ему в ближайшее время надо будет вновь отправиться за границу.

В опубликованной в журнале «Мэссиз» статье «Война торговцев» Рид, оценивая природу первой мировой войны, сделал выводы, к которым большинство историков пришло десятки лет спустя, когда в Германии и в Италии власть захватил фашизм и началась вторая мировая война. «Подлинная война,— писал

Рид в своей статье,— началась задолго до того внезапного разгула смерти и разрушения, который являет собой лишь один из ее эпизодов. Она свирепствует десятки лет, но о ее битвах сообщалось так мало, что их не замечали. Это война торговцев». Однако в то время такая точка зрения выглядела слишком радикальной, и общественное мнение далеко не единодушно приняло дальнейшее утверждение Рида: «Мы не должны позволить одурачить себя трескучими передовицами о либерализме, ведущем священную войну против тирании. Это не Наша Война».

Общие интересы угнетаемых тружеников Европы, по его мнению, связывали их более тесными узами между собой, чем с собственными правительствами, стремившимися превратить их в солдат. Простые люди, которым предстояло погибнуть в грядущей войне, вызывали у него сочувствие, независимо от их национальной принадлежности.

На итальянском пароходе, плывшем «под покровом темноты с погашенными огнями», Рид добрался до Неаполя, а оттуда отправился в Рим. «Метрополитен» поручил ему написать о вступлении Италии в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Однако итальянское правительство медлило, и в атмосфере неопределенных слухов и сплетен, которым не предвиделось конца, Рид не находил ничего интересного для репортажей. Тем временем германские войска во Франции перешли в наступление, и он решил отправиться на север. Он уехал в нейтральную Швейцарию, в Женеву, и там сел на последний поезд в Париж.

Но хотя в Париже Рид все время ощущал близость войны, он и другие корреспонденты никак с ней прямо не соприкасались. Собирать сведения было неоткуда, кроме официальных, прошедших цензуру сообщений. Более того, во время первой мировой войны у военных корреспондентов не было ни особого статуса, ни прав. Наоборот, как гневно писал один крупный журналист того времени, «во всех армиях корреспонденты были так же «желанны», как плавучие мины». Журналисты знали, что Париж лихорадочно готовится к осаде, что немцы находятся от него всего лишь в нескольких милях, и тем не менее даже самые именитые из них не могли добиться разрешения выехать в действующую армию.

Рид пришел к выводу, что вырваться из этой насильственной изоляции можно, только махнув рукой на все установленные правила. Роберт Данн из газеты «Нью-Йорк пост» был того же мнения. Сказавшись больными, они получили пропуск в Ниццу для восстановления здоровья. Наняв автомобиль, они отправились в сторону юга. Пропуск помог им беспрепятственно миновать зону обороны Парижа, но, как только город остался позади, они повернули на северо-восток.

Рид и Данн ехали навстречу толпам беженцев, бредущих по обочинам дорог, мимо деревень, лежащих в дыму развалин. Ночь они провели около склада с боеприпасами, беседуя с часовыми, а на следующий день пытались добраться до фронта. Но какую бы дорогу они ни выбрали, их заставляли вернуться, пока в конце концов они не были задержаны англичанами. Те передали их французским жандармам, которые отправили их по этапу в Тур, заставив предварительно подписать клятвенное обязательство больше не пытаться проникнуть в прифронтовую полосу.

Хотя эта поездка дала Риду возможность написать очерк для «Метрополитена», он снова оказался в тупике, так как ни о каких поездках по Франции не могло быть и речи. В поисках материала он уехал в Лондон и из английской столицы прислал репортаж о настроениях в стране. Он писал о равнодушии английских рабочих к войне, слишком далекой от их проблем, и противопоставлял его показному патриотизму богачей и светских дам. Эта статья оскорбила президента журнала «Метрополитен» англичанина Уигхэма, да и по мнению Хови она оставляла желать лучшего. Журнал не стал ее печатать.

Окольным путем через нейтральные страны Рид добрался до Берлина, где попытался получить разрешение побывать на линии фронта, в котором ему отказали во Франции. Хлопоты заняли несколько недель, но в конце концов германские власти согласились отправить американского сенатора Альберта Бевериджа и группу корреспондентов (среди которых были Рид и Данн) через оккупированную Францию на бельгийский фронт. В немецких автомашинах они доехали до Лилля и далее в Комин и Утем.

При приближении к фронту они услышали грохот немецких батарей; в небе вели воздушный бой немецкие и французские самолеты. Их привезли на один из наиболее спокойных участков фронта, но рвущиеся неподалеку снаряды отбили охоту почти у всех членов группы смотреть что-либо еще. Только Рид и Данн хотели попасть в окопы, где солдаты вели бой. После ужина в полевой штаб-квартире их двоих повел туда немецкий офицер. Об этом посещении Рид написал для «Метрополитена» очерк «В немецких окопах»:

«Мы, спотыкаясь, брели по дороге в непроглядной тьме — Данн, я и офицер... Дождь лил не переставая. Справа от нас изувеченные сна-

рядами стволы деревьев резко выделялись на фоне адского сияния ракет. Свист пуль у нас над головами сливался в непрерывный звук... В полумиле впереди, немного левее, три большие гаубицы одна за другой глухими ударами сотрясали воздух. Под ногами хлюпала грязь...

Внезапно мы оказались в переднем окопе. Вдоль стенки траншеи стояли солдаты плечом к плечу под прикрытием тонких стальных щитов с прорезями для винтовок. Промокшие насквозь, вжимаясь в липкую глину, они стояли по колено в бурой жиже и стреляли по восемь часов в сутки... Стрелявшие не обратили на нас никакого внимания. Они напряженно всматривались сквозь прорези в темноту, выжидая, чтобы следующая ракета позволила различить хотя бы легкое движение...

Вверх по пологому холму тянулась неровная линия французских окопов — черная щель в земле, освещаемая вспышками винтовочных выстрелов. Между вражескими окопами простиралась полоса жидкой грязи, блестевшая, точно илистое морское дно, обнаженное землетрясением. Совсем близко лежали груды трупов французских солдат в синих шинелях, тремя плотными ровными рядами, как они упали полторы недели назад — с тех пор перестрелка здесь не прекращалась.

— Посмотрите!— воскликнул лейтенант.— Их понемногу засасывает грязь! Еще три дня назад их было больше. Вон, видите, торчит рука, а там — нога? Тела уже засосало...

— Здесь можно не копать могил. Мертвецы сами себя погребают».

Рид провел в воюющей Европе пять месяцев, и вера Карла Хови в способности молодого корреспондента оправдалась сполна. В ноябрьском и декабрьском номерах журнала, а также в номере за март 1915 г. были напечатаны очерки Рида «Отношение к войне», «С союзниками», «Немецкая Франция» — интересные и содержавшие богатую информацию. Но когда в апреле 1915 г. появился его последний репортаж «Ночь в немецких окопах», он знаменовал собой появление совершенно нового стиля повествования о войне и о тех, кто в ней участвует. Как писал в своих воспоминаниях Хови:

«Для читателей этот взволнованный рассказ Рида явился откровением. Впервые перед ними предстала беспощадная картина современной войны, о которой они ничего не знали или лишь смутно догадывались: невыносимая горечь, мучительное однообразие окопных будней, нечеловеческая усталость и нервное напряжение солдат, на которых обрушивается апокалипсический огненный смерч, перепахивающие землю разрывы снарядов, тысячи незарытых трупов...

Очерк Рида был первым сокрушительным обвинением войне, и тот, кто прочел его, не мог уже больше, спокойно отсиживаясь дома, рисовать себе войну в светлых и героических красках — как подвиг, духовно возвышающий человека. Война была испытанием человеческой выносливости, пределы которой невозможно установить.

Наконец сам Рид, эта заблудшая душа, прожившийся до нитки бродяга и гений, явился собственной персоной; пишущий эти строки видит его так ясно, словно вот сейчас стоит он в дверях кабинета, высокий, сильный, в обтрепанной солдатской шинели, и, смущенно улыбаясь, протягивает рукопись. Рид знал: незачем спрашивать, справился ли он на этот раз».

Теперь «Метрополитен» собирался послать его в Восточную Европу, и, пока шла подготовка, Рид провел два месяца в Нью-Йорке. За это время он не раз подвергался нападкам критиков. Только что основанный журнал «Нью рипаблик», одним из редакторов которого был Уолтер Липпман, опубликовал статью последнего под заглавием «Легендарный Джон Рид». Критические высказывания Липпмана носили сугубо личный характер, но это не удивило тех, кому было известно, что они все больше расходятся во взглядах на конфликт в Европе. Политическая позиция Рида, включавшая и его лозунг «Это не наша война», казалась Липпману «слишком упрощенной». Рид же видел в хитроумных редакционных статьях «Нью рипаблик» идеологическую подготовку для оправдания возможного вступления в войну Америки. Глубокое расхождение во взглядах незаметно изменяет личные оценки. И вот человек, который менее года тому назад безудержно хвалил Рида, называя его «гением», а его мексиканские репортажи — «настоящей литературой», теперь писал:

«Мне трудно представить себе такую форму катастрофы, которую Джон Рид не испробовал бы к полному своему удовольствию. Он наполовину растерял свой талант, бросившись в коммерческую печать, упивался льстивыми похвалами, разыгрывал из себя циничного военного корреспондента и принимал позу ибсеновского героя... По самому своему характеру он не может быть ни профессиональным писателем, ни репор-

тером. Он должен получать удовольствие. Революция, литература, поэзия — всего лишь предметы временного увлечения, случайные эпизоды его жизни. Порой он находит приключения в собственной фантазии, а чаще преображает то, что испытал. Он принадлежит к числу тех, кто вполне серьезно взвешивает всякие избитые фантастические варианты: уйти в плаванье простым матросом, спасать красавиц, охотиться на львов или пытаться облететь на самолете земной шар... Рид принадлежит к тем неподатливым людям, кому невыносимы организованный монотонный ритм и блага нашей цивилизации. Подогнать его под мерки этой цивилизации — значит уничтожить его личность. Порой, когда он очертя голову бросался навстречу бедам, увлекая за собой и других, когда его идеи становились особенно путаными, я пытался его урезонивать. Но самые логичные и стройные аргументы только наводят на него мучительную скуку... Ничего с ним не поделаешь».

Хотя за этими нападками сквозила искренняя привязанность, их односторонность вполне могла возмутить Рида; да, он наслаждался тем, что делал, но он был тверд в своих убеждениях. Повторяя вновь и вновь в репортажах того времени: «Это не наша война», он действительно так думал, что позднее и доказал, когда после вступления Америки в войну его антивоенная позиция грозила ему тюрьмой.

В марте журналу «Метрополитен» удалось отправить Рида в Европу, на восточный фронт. С ним поехал Бордмен Робинсон, художник газеты «Трибюн», иногда публиковавший свои рисунки в «Мэссиз». «Метрополитен» дал им солидные суммы и полную свободу в выборе материала. И вскоре в Нью-Йорк начали приходить яркие очерки с талантливыми иллюстрациями Робинсона из Салоник, Белграда, Софии и маленьких безвестных городов с трудно произносимыми названиями — Перемышль, Залещики, Прнявор.

Их то и дело арестовывали и высылали за попытки проникнуть в запрещенные районы, добраться до фронта на Балканах или в России. Тем не менее время от времени они умудрялись, обманув бдительность часовых, садиться в специальные поезда и пересекать закрытые границы. Однажды они просидели четырнадцать дней под арестом в городе Холм, за линией русского фронта. Когда их отпустили, они отправились в Петроград — где им приказали немедленно покинуть страну наикратчайшим путем и больше в нее не возвращаться. Русские чиновники вообще не могли понять, как два иностранца умудрились забраться так далеко без разрешения на въезд.

В конце концов они добились своего — на страницах «Метрополитена» один за другим появляются репортажи Рида, иллюстрированные поразительными по своей силе рисунками Робинсона. То, что для большинства американцев было лишь неясными пятнышками на географических картах, вдруг преобразилось в реалии обычаев, национального, религиозного колорита, антипатий и пристрастий народов Восточной Европы. В этих репортажах бесконечное разнообразие отдельных человеческих судеб вдруг обретало странное единство в том, что Рид назвал «сумасшедшей демократией битвы».

«По другую сторону Застевны, остановившись возле разрушенных домов, чтобы напиться, мы увидели австрийских военнопленных. Они брели по дороге под палящими лучами солнца. Их было человек тридцать... и среди этих тридцати человек по меньшей мере пять национальностей: чехи, хорваты, венгры, поляки и австрийцы. Один хорват, два венгра и три чеха не знали буквально ни слова ни на одном языке, кроме родного, и, конечно, ни один австриец не знал ни единого чешского, хорватского, венгерского или польского слова. Среди австрийцев были тирольцы, венцы и один полуитальянец из Полы. Хорваты ненавидели венгров, венгры — австрийцев, а с чехами вообще никто не хотел разговаривать. К тому же они резко разделились по социальным прослойкам, и каждый презирал тех, кто стоял ниже.

Их взяли в плен во время ночной атаки на берегу Прута, и за два дня они прошагали более двадцати миль... Молодой доброволец из польского легиона с волнением спросил, верно ли, что Румыния намерена вступить в войну. По-видимому, да, ответили мы, и вдруг он, весь дрожа, закричал:

— Боже мой, боже мой! Что нам делать? Сколько еще будет тянуться эта жуткая война? Мы хотим только одного: мира, тишины и покоя. Нас разбили, но мы потерпели почетное поражение. Англия, Франция, Россия, Италия — весь мир выступил против нас. Мы можем сложить оружие с честью! Почему эта бессмысленная бойня продолжается?

Остальные слушали его угрюмо и молча».

Вернувшись в Америку, Рид в декабре 1915 г. отправился в Портленд повидаться с матерью. В консервативных кругах портлендского общества царили

те же милитаристские настроения, с которыми ему пришлось столкнуться в Нью-Йорке, вся эта атмосфера ему невыносима. Не прожив там и дня, он уже пишет другу в Нью-Йорк, как был бы рад опять очутиться на Манхэттене. Мать добра и нежна, но совершенно безнадежно отстала в политическом отношении, и ему буквально не с кем словом перемолвиться, добавлял он.

Однако две недели спустя его настроение изменилось — он познакомился с Луизой Брайант-Труллингер. Миссис Труллингер была женой портлендского дантиста, но брак этот не принес ей счастья, она стремилась быть независимой личностью, не желая оставаться «миссис такой-то». Эта молодая женщина с румяным, обрызнутым веснушками лицом и красивыми серыми глазами родилась в англо-ирландской семье и выросла на Западе Соединенных Штатов. Окончив университет в Орегоне, она нашла себе работу на консервной фабрике в Сиэтле. Однако ей хотелось стать художницей и писательницей, и вскоре она начала публиковать в портлендской газете рисунки моделей одежды и очерки, а потом познакомилась с Полем Труллингером и вышла за него замуж.

Выписывавшая журнал «Мэссиз», Луиза знала, кто такой Рид, и восхищалась его репортажами. Прочитав в местной газете о его приезде в Портленд, она попросила своих друзей — художника Карла Уолтерса и его жену Элен, которые были в хороших отношениях с Ридом, познакомить ее с ним. Но за несколько дней до устроенного с этой целью званого обеда Луиза и Рид случайно встретились на собрании художников. Рид нашел в этой привлекательной женщине родственную душу. И они сразу же убедились в своей интеллектуальной близости — Луиза полностью разделяла его радикальные настроения. Она показала ему кое-какие из своих очерков, и они ему понравились. Они встречались чуть ли не каждый день, и на обеде у Уолтерсов им ничего не пришлось объяснять: хозяева сразу поняли, что перед ними пара влюбленных.

В конце декабря Рид вернулся в Нью-Йорк, и Луиза, порвав с Труллингером, приехала к нему. Они поселились в квартире на Вашингтон-сквер, где завели совместное хозяйство, что, говоря по правде, трудно было назвать хозяйством, так как оба не слишком беспокоились о том, вымыта ли посуда и в порядке ли шкафы. Они целиком отдались работе и делам радикального движения. Луизе было столько же лет, сколько Риду,— двадцать восемь, но он был уже признанным писателем, а она еще только искала признания.

Рид гордился миловидной и умной женщиной, которую он спас от скучной жизни в Портленде и неудачного брака. Он показывал ей Нью-Йорк, знакомил со своими друзьями. Ее присутствие помогало ему в работе над рассказами, над стихами, которые он отбирал для сборника «Тамбурин», и над статьями, которые были направлены против подготовки к войне. В одном из номеров журнала «Мэссиз» он писал: «В стране запугиванием изо всех сил внедряют «героический дух». Сам же он считал героизмом совсем другое и в статье «Герой-пацифист» восхищался Бертраном Расселом, которого в Англии приговорили к тюремному заключению за выступления против войны. В статье «Республику держат за горло» он разоблачал силы, скрывавшиеся за призывами быть готовыми к войне. Так, он писал, что Лигой национальной безопасности управляет президент оружейной корпорации, и называл других промышленных, железнодорожных и финансовых магнатов, которым война сулила рост прибылей. Он не остановился даже перед тем, чтобы привести имя миллионера Гарри Пейна Уитни, владельца журнала «Метрополитен», который Теодор Рузвельт всячески старался превратить в рупор политики подготовки войны. Рид явно ставил под угрозу свое будущее журналиста, но шел на это, лишь бы донести до читателей свои антивоенные идеи. Редакторы «Метрополитена» уже искали дипломатичного способа освободиться от Рида, хотя и сожалели о потере журналиста, которого еще недавно называли лучшим очеркистом мира.

Хови писал в своих воспоминаниях:

> **«Мы, сотрудники «Метрополитена», могли проявлять порядочность только в известных пределах Нам разрешалось зондировать «язвы общества», не прикасаясь, однако, при этом к наиболее болезненным местам...**
>
> **Рид знал, на что идет; и, отказываясь следовать путем, на который уже ступило его отечество, поднимая знамя восстания, он нашел себя. И с его взглядами — а нам следовало бы тогда лучше понять, во что вылилась мечта поэта о всеобщем благоденствии,— нельзя было рассчитывать на широкую поддержку, когда вся страна буквально рвалась на войну...**
>
> **У Рида хватало смелости открыто выступать против войны, которую он ненавидел. Но «Метрополитен» не мог уже больше предоставлять ему трибуну: если бы даже издатели разделяли точку зрения Рида, о чем в данном случае не могло быть и речи, то его сотрудничество доконало бы журнал...»**

«Метрополитен» был для Рида главным источником заработка, и теперь ему надо было подыскивать что-то другое. Однако он скоро убедился, что многочисленные предложения высоких гонораров в других газетах и журналах подразумевали, как и в «Метрополитене», молчаливое обязательство поддерживать позицию редакции в отношении войны. Рид был вынужден отказываться от них. Даже если бы он хотел, он не сумел бы писать то, во что искренне не верил. Те нормы, которых он придерживался на протяжении всей своей карьеры журналиста, да и самая его натура исключали идею приспособленчества. С точки зрения Рида, ему был открыт только один путь — по-прежнему писать то, во что он верил, для все более сокращавшегося числа газет, которые еще были готовы печатать его статьи.

Выбор, перед которым он стоял, явился настоящей проверкой характера. Ему пришлось отказаться от роли некоронованного монарха среди современных журналистов, стать обозревателем в газете «Нью-Йорк мэйл», получая весьма скромное жалованье. А после того как в апреле 1917 г. Америка вступила в войну, ему пришлось пожертвовать и личной безопасностью — теперь критика правительства или его политики могла означать не только потерю работы, но тюремное заключение сроком до двадцати лет.

Новый закон о шпионаже объявлял преступлением отказ служить в армии или выступления против призыва, и около двух тысяч человек попали в тюрьму за его нарушение. Еще один закон, «Об антиправительственной агитации», был направлен против «тех, кто прибегает к бранным выражениям по адресу правительства или институтов страны». По этому закону было арестовано много радикально настроенных людей; их держали в заключении без права выдачи на поруки, а затем приговаривали к длительным срокам тюремного заключения. Полицейские разгоняли митинги и избивали даже случайных зрителей. По стране прокатились вспышки массовой истерии. «Бдительные» заставляли противников правительственной политики вставать на колени и целовать флаг. Профсоюзных руководителей обмазывали дегтем и обваливали в перьях. Священников-пацифистов изгоняли из их приходов хлыстами и дубинками.

Тем не менее Рид выступал против войны с прежней резкостью. Вечером в тот день, когда газеты объявили о вступлении США в войну, в Вашингтоне состоялся огромный пацифистский митинг. Когда на нем были прочитаны известные слова президента Вильсона: «Наступил день, когда Америка получила почетное право своей кровью и мощью отстаивать принципы, которым она обязана своим существованием и счастьем», на трибуну поднялся Рид. «Это не моя война,— заявил он,— и я не буду ее поддерживать». Несколько дней спустя, давая показания на заседании юридической комиссии конгресса по вопросу о законе о шпионаже, Рид заявил: «Я не сторонник мира любой ценой и не последовательный пацифист, но в этой войне я участвовать не буду. Вы можете расстрелять меня, если попытаетесь меня призвать, но я знаю, что есть десятки тысяч таких, как я...»

Хотя сам Рид оказался под судом только много месяцев спустя, он испытывал другие виды давления. Старые знакомые, опасавшиеся теперь, что их увидят в обществе радикала, начали его избегать. Он получил письмо от брата, который добровольно пошел в армию. Гарри писал, что нет смысла противиться тому, чего нельзя изменить. Пришло письмо и от матери из Портленда. Она писала: «Мне больно, что сыну твоего отца, по его словам, безразлична родная страна и ее флаг. Видит бог, я не хочу, чтобы ты сражался за нас, но я не хочу и того, чтобы ты сражался против нас словом и пером. И если ты будешь продолжать это теперь, когда война объявлена, я вынуждена сказать, что мне будет поистине стыдно. Полагаю, ты скоро убедишься, что большинство твоих приятелей и поклонников — иностранцы по рождению и настоящих американцев среди них сравнительно немного».

Тем не менее Рид продолжал писать в «Мэссиз», а когда оказывалось возможным — и в «Мэйл», протестуя против того, что постановления правительства нарушают конституционные права граждан, что профсоюзы теряют все, чего им удалось добиться с таким трудом, что жадность тех, кто наживается на войне, не знает предела. «Нельзя допускать, чтобы какая-то группа или класс американцев делали из войны прибыльное предприятие, нельзя позволять им наживать за счет народа огромные деньги на истреблении человечества».

Он продолжал писать до тех пор, пока не стало смысла писать, так как война пропитала все стороны американской жизни, и подавляющее большинство перестало прислушиваться к нему. Тогда он начал писать для себя, и его автобиография открывалась следующими словами:

«Мне двадцать девять лет, и я знаю, что часть моей жизни кончилась — кончилась юность. Порой мне кажется, что кончилась и юность мира,— мировая война сказалась на нас всех, и в то же время это начало нового этапа жизни; и мир, в котором мы живем, настолько полон стремительных перемен, красок и глубокого смысла, что мое воображение невольно рисует блистательные и пугающие возможности будущего».

Рид рассказывал о том, какое влияние на его политические взгляды оказала работа репортера, когда он занимался вопросами рабочего движения. Описывая стачки, которые он освещал в своих репортажах и которые укрепили в нем веру в неизбежность классовой борьбы, он добавил:

«От всей души я хочу, чтобы пролетариат восстал и завоевал свои права,— иного пути получить их у него нет. С каждым годом возможности мирного протеста и законных действий все больше ограничиваются».

Сторонник политических реформ, воспитанный таким их страстным поборником, как Линкольн Стеффенс, он преображался в революционера, и мировая война сыграла в этом процессе свою роль.

«Война сокрушила веру в экономический и политический идеализм... Я не могу выбирать между двумя сторонами — мне они равно отвратительны обе. И мировая война для меня — это остановка в жизни, развитии человечества. Я жду, жду, чтобы все это кончилось, чтобы жизнь возобновилась и я смог бы найти свое дело».

Когда в марте 1917 г. в Америку пришло известие о революции в России, о свержении царя, на Рида оно особого впечатления не произвело. Он полагал, что феодальная Россия, в которой не было ни промышленной, ни буржуазной революции, попросту в политическом отношении догнала наиболее развитые государства и стала капиталистической страной. Однако летом, когда ведущей силой в России стали выступать организованные группы рабочих, солдат и крестьян, поставившие своей целью превратить капиталистическую систему в социалистическую, Рид изменил свою точку зрения. Он писал в «Мэссиз»:

«Мы приносим свои извинения русскому пролетариату за то, что называли события в России «буржуазной революцией». Мы видели только «фасад». В действительности же, как мы понимаем теперь со все большей ясностью, речь шла о долго подавлявшемся возмущении народных масс, конечной его целью было построение нового человеческого общества на земле. Сам факт, что народные массы в России готовились создать совсем новый вид правительства в стране, занимающей одну шестую часть земного шара, не имел прецедента в истории человечества».

Рид твердо решил поехать в Россию, чтобы писать об этом. Луиза горела желанием поехать с ним и была аккредитована в качестве корреспондентки газетного синдиката. Однако в установившейся в стране реакционной атмосфере репутация Рида как радикала, которая помогала ему, когда он писал о революции в Мексике и о рабочем движении в Соединенных Штатах, превратилась почти в непреодолимое препятствие. Газеты, которые год назад были готовы послать его в любое место мира и платить ему любые деньги, теперь — как ни велик был соблазн — опасались иметь с ним дело. Он обращался в редакции Нью-Йорка, Вашингтона, Балтиморы, но послать его в Россию соглашались только некоторые левые и авангардистские органы печати — однако ни у одного из них не было средств, чтобы оплатить его проезд туда.

Некоторое время казалось, что Риду так и не удастся получить это самое крупное журналистское задание в его жизни. Однако Юджин Буасвен, верный поклонник «Мэссиз», собрал необходимую для поездки сумму у людей, симпатизировавших журналу. Рид был аккредитован в качестве корреспондента не только журнала «Мэссиз», но также и журнала «Севен артс» и социалистической газеты «Нью-Йорк колл». Он был освобожден от военной службы из-за перенесенной им операции почек, и государственный департамент выдал ему паспорт. В середине августа 1917 г. он и Луиза уехали в Россию, чтобы собственными глазами увидеть то, что в своей автобиографии он назвал «блистательными и пугающими возможностями будущего».

Пароход «Соединенные Штаты» (датский, несмотря на свое название), на котором плыли Луиза и Рид, у берегов Нью-Фаундленда повернул на северо-восток к Полярному кругу, подальше от вод, кишевших немецкими подводными лодками и минами союзников, и через две недели прибыл в нейтральную Скандинавию и бросил якорь в Христиании, теперешнем Осло. Оттуда Луиза и Рид переправились в Стокгольм, а затем — на пароме через Балтийское море — в Финляндию. В Выборге они пересели на поезд, направлявшийся в Петроград.

Путешествие было долгим, сложным и утомительным: постоянные задержки, проволочки, обыски на границах. Однако Рид не тратил времени напрасно и брал интервью у всех, у кого мог. Он общался с русскими политическими эмигрантами, в свое время покинувшими Россию из-за преследований царского правительства и возвращавшимися на родину. Он разговаривал с делегатами-социалистами из Англии, Франции, Голландии, Германии и России, приехавшими в Стокгольм на международную конференцию. Таким образом он сумел понемногу разобраться в событиях, происходивших в России. Когда Рид и Луиза при-

были в Петроград, город ликовал — попытка генерала Корнилова установить военную диктатуру окончилась полной неудачей.

Рид писал Бордмену Робинсону, с которым побывал в России за два года до этого, когда их послали в Восточную Европу:

«Старый город неузнаваем! Радость там, где царило уныние, уныние там, где царила радость. Мы находимся в самой гуще событий, и поверьте, это замечательно. Все настолько драматично, что не знаю, с чего начать...»

И действительно, контрасты были поразительны, и чтобы наблюдать их, Риду достаточно было выйти из маленькой квартирки, которую они сняли. На улицах бедняки с раннего утра до позднего вечера стояли в длинных очередях за пайком хлеба, который нередко и не доставляли в булочную. Рабочие и крестьяне ругали правительство за то, что оно срывает проведение земельной реформы и бросает революционеров в тюрьмы. Изнуренные, голодные солдаты в длинных обтрепанных шинелях произносили речи, призывая к массовому дезертирству из армии.

В первые недели после приезда Рид бродил по городу, вступая в разговор с самыми разными людьми: купцами, промышленниками, влиятельными политическими лидерами, заводскими рабочими, женщинами, стоявшими в очередях за хлебом, солдатами, приехавшими с фронта. Он задавал им вопросы, мешая английские, французские, русские и немецкие слова, но каким-то образом добивался, что его понимали. Он выслушивал различные истории и тут же быстро записывал их своим собственным кодом — это были обрывки фраз, отдельные слова, имена.

По ночам в затемненной квартире, где редко включали электрический свет — в городе не хватало энергии,— Рид склонялся над рабочим столом и при мерцающем свете свечи, которую Луиза раздобыла в заброшенной церкви, приводил в порядок свои заметки.

А утром он снова спешил то на митинг, то на галерею для журналистов в Совете республики Керенского, то на заседание городского Совета. Он набивал карманы листовками, которые раздавались на улицах, прокламациями, расклеенными на стенах общественных зданий, газетами всех направлений, которые покупал на углу в киоске. Если революция потерпит поражение, они превратятся в ненужный хлам. Это он хорошо понимал. Но если она победит, в его руках окажутся бесценные исторические материалы, которых ни у кого больше не было ни времени, ни желания собирать.

Рид посещал заседания цеховых рабочих комитетов. Там он встречался с рабочими, взявшими в свои руки закрывшиеся или терпевшие убытки заводы. Они добивались повышения заработной платы, снижения себестоимости, повышения производительности. Рид побывал в Сестрорецке, где рабочие не только организовали доставку продовольствия в город, но и создали рабочую больницу.

Он посетил воинские части, сражавшиеся с немцами на Северном фронте, и познакомился с деятельностью солдатских комитетов.

Правительство Керенского не было способно ни бороться со спекулянтами и саботажниками, ни покончить с дезорганизацией в различных сферах хозяйства, и Рид наблюдал, как народ постепенно начинал сам налаживать жизнь страны в тылу и руководить действиями армии на фронте. Это осуществлялось через Советы, руководящим органом которых был Центральный Исполнительный Комитет Всероссийских Советов, находившийся в Петрограде. Таким образом в России наряду с официальным правительством Керенского действовало второе правительство, состоявшее из представителей рабочих, солдат и крестьян.

В «Почти тридцать» Рид писал о том, как он хотел бы, чтобы «пролетариат восстал и завоевал свои права». И теперь, когда это происходило у него на глазах, он не пытался скрывать своего энтузиазма. Его открытое сочувствие большевикам вызывало немалую озабоченность в американском посольстве, которое с тревогой следило за американцами, жившими в Петрограде. Кроме Бесси Битти, корреспондентки газеты «Сан-Франциско бюллетен», в столице были и другие американцы, приехавшие в Россию помогать революционным силам,— священник из Огайо Альберт Рис Вильямс [1], один из лидеров социалистической рабочей партии Борис Рейнштейн и американские радикалы Зорин, Гамберг, Билл и Анна Шатовы. Но с точки зрения американских дипломатов, репутация Рида как писателя, не скрывавшего симпатий к революции, делала его особенно опасным — ведь сами они отнюдь не сочувствовали большевикам. Они знали, что, вернувшись в Америку, Рид не будет молчать. После того как он выступил на митинге в защиту анархиста Александра Беркмана, заключенного в Америке в тюрьму, посол Дэвид Френсис приставил к нему секретных агентов. Они выкрали его бумажник с письмами к социалистическим руководителям, с

[1] А. Р. Вильямс был журналистом, представлял в России социалистическую прессу США.

которыми он встречался в Стокгольме по пути в Россию. За ним теперь следили день и ночь, но он был аккредитованным корреспондентом, и посольство было вынуждено пока предоставлять ему свободу действий.

Рид стал знакомой фигурой в Смольном, где он брал интервью у партийных руководителей и присутствовал на собраниях в большом зале. Позднее он так описывал царившую там атмосферу:

«В длинных сводчатых коридорах, освещенных редкими электрическими лампочками, толпились и двигались бесчисленные солдаты и рабочие, многие из них сгибались под тяжестью тюков с газетами, прокламациями, всевозможной печатной пропагандой. По деревянным полам непрерывно и гулко, точно гром, стучали тяжелые сапоги... Повсюду висели плакаты: «Товарищи, для вашего же здоровья соблюдайте чистоту»...

В обширной и низкой трапезной в нижнем этаже по-прежнему помещалась столовая. За 2 рубля я купил себе талон на обед, вместе с тысячью других стал в очередь, ведущую к длинным столам, за которыми двадцать мужчин и женщин раздавали обедающим щи из огромных котлов, куски мяса, груды каши и ломти черного хлеба...

В южном крыле второго этажа находился огромный зал пленарных заседаний. Во времена института здесь устраивались балы. Высокий белый зал, освещенный фарфоровыми белыми люстрами с сотнями электрических лампочек и разделенный двумя рядами массивных колонн...

Напротив зала находилась мандатная комиссия съезда Советов. Я стоял в этой комнате и глядел на прибывавших делегатов — дюжих бородатых солдат, рабочих в черных блузах, длиннобородых крестьян. Работавшая в комиссии девушка, член плехановской группы «Единство», презрительно усмехалась. «Совсем не та публика, что на первом съезде,— заметила она.— Какой грубый и отсталый народ! Темные люди...» В этих словах была правда. Революция всколыхнула Россию до самых глубин, и теперь на поверхность всплыли низы»[1].

6 ноября, когда Рид сошел с трамвая у Смольного, он заметил, что перед зданием установлены орудия. Двойные ряды часовых охраняли внешние ворота, и пропуск, который он предъявил, был изучен с особым тщанием.

В длинных сводчатых коридорах нижнего этажа царила суета. По коридорам сновали люди — ошалевшие рассыльные, члены комитетов с набитыми портфелями, политические комиссары. Накануне Рида остановил в коридоре восемнадцатилетний юноша, председатель Военно-Революционного комитета, и, пожав ему руку, объявил, что Петропавловская крепость — старинная тюрьма, оплот царского, а теперь Временного правительства — перешла на сторону Советов. Как и армейский полк, вызванный Керенским в столицу. Правительство отключило телефонную сеть, но связь с заводами и казармами поддерживалась по-прежнему с помощью военно-полевых аппаратов. Тогда же кто-то из дежуривших в Смольном добровольцев-связных, через которых посылались указания в отдаленные районы города, сообщил Риду, что все уже готово и ждут только сигнала.

Когда 6 ноября Рид вошел в большой зал заседаний, там было полно народу. Петроградский Совет заседал круглые сутки. Многие высказывались в поддержку немедленного свержения правительства Керенского. Однако сменявшие друг друга на трибуне руководители социал-демократов агитировали за осторожность, спокойствие, призывали умерить революционный пыл. Это были представители группировок, искавших компромисса с правительством Керенского.

Рид вышел из зала в четыре часа утра. Он понимал, что подобные выступления не остановят развития реальных политических событий — революционные силы уже действовали. В вестибюле человек с винтовкой за плечом сказал ему, что из Смольного направлен отряд солдат и моряков с заданием захватить телефонную станцию, телеграф и государственный банк.

Однако ни в этот, ни в следующий день — 7 ноября,— когда Рид, встав поздно, пошел бродить с Луизой по городу, настоящих боев еще не было.

«У западного угла (Зимнего) дворца стоял большой броневик с красным флагом... Выход на Новую улицу был перегорожен баррикадой — бочки, ящики, старый матрац, поваленный вагон. Конец набережной Мойки был забаррикадирован штабелями дров. Короткие поленья с соседнего склада были сложены вдоль здания и образовали брустверь.

— Что же, тут будет бой? — спросил я.

— Скоро, скоро!— беспокойно отвечал солдат.— Проходи, товарищ, как бы тебя не задело! Вон с той стороны придут...— И он показал в сторону Адмиралтейства.

[1] Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир. М., Госполитиздат, 1957, стр. 49—50.

— Да кто придет-то?

— Этого, братишка, не могу сказать,— ответил он, сплевывая»[1].

Однако, кроме отдельных стычек, до ночи настоящих сражений не было.

«...Мы зашли пообедать в «Hotel de France». Только мы принялись за суп, к нам подошел страшно бледный официант и попросил нас перейти в общий зал, выходивший окнами во двор: в кафе, выходившем на улицу, было необходимо погасить свет. «Будет большая стрельба»,— сказал он... У нас были билеты в Мариинский театр, на балет (все театры были открыты). Но на улице было слишком интересно»[2].

Они с Луизой направились в Смольный, где обстановка была совершенно иной, чем накануне. На съезд прибыли делегаты со всей России, и в большом переполненном зале царила приподнятая атмосфера. Депутаты приехали с наказом от Советов с заводов, деревень и фронта немедленно свергнуть правительство Керенского и провозгласить Республику Советов. Умеренные социал-демократические лидеры, которые накануне призывали к осторожности и спокойствию, были выведены из президиума, и их место заняли новые члены, в основном большевики. Неожиданно раздался непонятный звук, более низкий, чем гул толпы, мощный и грозный — это был орудийный выстрел с крейсера «Аврора», стоявшего на Неве и находившегося под командой моряков-большевиков.

Рид, Луиза и несколько других американцев поспешили на улицу. Перед Смольным стоял большой грузовик. Солдаты кидали в кузов связки бумаг. «Куда вы поедете?!» — крикнул им Рид. «По всему городу!» Американцы показали свои удостоверения и залезли в кузов.

«...Огромная машина рванулась вперед... Промчавшись мимо костров у внутренних и внешних ворот, освещавших красным светом сгрудившихся у огня рабочих с винтовками, машина, подпрыгивая и мотаясь из стороны в сторону, вылетела на Суворовский проспект. Один из наших спутников сорвал обертку с одной связки и принялся пачками разбрасывать в воздух какие-то листочки. Мы стали помогать ему... Я взял одно из воззваний и, пользуясь редкими уличными фонарями, кое-как разобрал:

«К гражданам России!

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов...» [3]

В эти тревожные и трудные дни Рид оставался в Петрограде. Он наблюдал, он записывал, он перерабатывал короткие заметки в статьи и вдруг узнал, что почти все они, когда попадают в Америку, не публикуются, а складываются в ящик стола. Он был потрясен. Нарастающая волна политических преследований в Соединенных Штатах обрушилась и на «Мэссиз» — журнал был закрыт, а его редакторы обвинены в антиправительственной агитации. В том же обвинили и Рида. В августе 1917 г. на перепечатанной в журнале статье врача о психических заболеваниях в армии — поперек нее — крупным шрифтом были набраны его слова: «Вяжите смирительную рубашку своему сыну-солдату». За эти шесть слов его собирались предать суду как изменника.

Рид сообщил в Америку, что готов вернуться и предстать перед судом, но до отъезда продолжал пополнять свои драгоценные заметки и наблюдать за развитием событий. На другой день после исторического штурма Зимнего дворца он сидел в большом зале в Смольном, когда:

«...Громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума...

Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому не замечая нараставшую овацию,

[1] Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир, стр. 82.
[2] Там же, стр. 86.
[3] Там же, стр. 95.

длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

«Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!»[1]

Прежде чем покинуть Россию, Рид успел съездить в Москву. Контрреволюционеры распускали тревожные слухи о большевиках, чтобы сорвать первую попытку неискушенного в управлении государством народа создать собственное правительство. Так, например, утверждали, что большевики разрушили все дворцы и церкви в Кремле. Рид с Луизой отправились в Москву, чтобы самим увидеть, что там происходит. Слухи оказались ложными, и Рид специально записал, насколько мало пострадал от боев Кремль — златоглавое сердце древней столицы России.

Луиза спешила вернуться на родину, чтобы поскорей написать статьи о революционных событиях, и 20 января она выехала из России. Рид задержался еще на несколько недель, чтобы собрать как можно больше материала. Он попросил, чтобы его отправили как официального курьера — в этом случае его бумаги были бы свободны от таможенного досмотра. Наркоминдел предложил назначить его советским консулом в Соединенных Штатах Америки. Рид согласился, но это вызвало протест в американской печати, и правительство США заявило, что отказывается признать это назначение.

Рид выехал из России в начале февраля, но в Христиании, где он должен был сесть на пароход, направлявшийся в Америку, американский консул уведомил его, что госдепартамент отказывается выдать ему въездную визу. Пароход ушел, а следующего надо было ждать два месяца, и Рид волей-неволей остался в Скандинавии до апреля. Госдепартамент, очевидно, рассчитывал, что в течение двух месяцев советское правительство не продержится — контрреволюция восторжествует, а тогда пусть Рид говорит и пишет, что хочет: к тому времени, когда он доберется до Америки, все это утратит интерес.

Позиция госдепартамента отнюдь не была оригинальна. В других странах, как и в самой России, было немало людей, которые уповали на скорый провал нового социального эксперимента. В ноябре Рид в письме в журнал «Мэссиз» писал: «У пролетарской революции нет иных друзей, кроме пролетариата». Сам он теперь уже полностью причислял себя к пролетариату.

Рид снял в Христиании комнату и нашел себе работу стенографа, дополнительно подрабатывая статьями для скандинавских газет. А все свободное время он посвящал работе над историей первой в мире победившей социалистической революции. Он твердо знал, что не только через два месяца, но и далее в будущем эта революция останется важнейшим событием века.

Рид вернулся в Нью-Йорк утром 28 апреля 1918 г. Луиза встречала его на пристани, но ей пришлось прождать более восьми часов, пока полицейские агенты кончили обыскивать багаж и одежду Рида. Они конфисковали начатую рукопись, а также все остальные его бумаги. Только к вечеру он с Луизой смогли наконец добраться до своего отеля. Теперь перед Ридом встала сложная задача: добиться, чтобы ему вернули его записи и документы — без них он не мог написать задуманную документальную повесть о революции. Он засыпал госдепартамент письмами, но ответ был один и тот же: бумаги будут возвращены ему, как только закончится проверка.

Риду надо было как-то зарабатывать на жизнь, а это оказалось делом непростым из-за политических репрессий, которым подвергались радикалы.

Журнал «Мэссиз» начал выходить вновь под названием «Либерейтор», и на его страницах часто появлялись статьи Рида, как и на страницах социалистической газеты «Колл», но журналы, платившие гонорары своим авторам, боялись его как огня. В письме Линкольну Стеффенсу, помощью которого он хотел заручиться, чтобы вытребовать наконец свои бумаги у властей, Рид привел ему свидетельство Освальда Гаррисона Вилларда из «Нэйшн» о том, что этому журналу пригрозили закрытием, если он опубликует его статьи. Журнал «Кольерс» вернул ему уже набранный рассказ. А больше никто не отважился вообще иметь с ним дело.

Рид был общепризнанным лучшим журналистом страны. Никто не отрицал, что собранный им материал не имеет себе равного по важности, и тем не менее ему не давали возможности написать репортаж о величайшем событии эпохи.

Оставалось только одно — публичные лекции. Правда, за них платили мало, но зато он мог рассказать своим соотечественникам о русской революции.

Рид выступал в Бостоне, Ньюарке и Бруклине. В Детройте он начал свое выступление, обратившись к аудитории по-русски: «Товарищи...» — и присутствовавшие, среди которых было много американцев русского происхождения, устроили ему овацию. А в заключение полиция арестовала наугад 150 человек, которые были выпущены только утром.

---

[1] Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир, стр. 116, 117.

В Чикаго он выступил перед членами фабианского клуба, присутствовал на суде над 101 членом союза «Индустриальных Рабочих Мира», которые обвинялись в агитации против службы в армии (в действительности же расправа над ними была частью общей кампании против радикалов). Среди подсудимых был Билл Хейвуд, старый знакомый Рида по забастовке в Патерсоне, которого вместе с девятью другими приговорили к 20 годам тюремного заключения.

В Филадельфии власти закрыли зал, в котором Рид должен был выступать. Тогда он увел тех, кто пришел его слушать, в тихий переулок и начал свою речь, но был тут же арестован за подстрекательство к мятежу и антиправительственные заявления. У него потребовали залог в 5000 долларов Через несколько месяцев его вновь арестовали в Нью-Йорке, в Бронксе, по такому же обвинению, и вновь был назначен залог в 5000 долларов. К тому времени, когда начался суд, он арестовывался трижды и общая сумма залога составляла 12 тысяч долларов. Присяжные разошлись во мнении — так что Рид был освобожден и продолжал писать для левых журналов и газет и выступать с лекциями.

Луиза тоже читала лекции. В начале 1919 г. она выехала в большое лекционное турне и побывала в Вашингтоне, Чикаго, Детройте, Миннеаполисе и Сан-Франциско. Находясь в разлуке, Рид и Луиза часто обменивались нежными письмами. Когда в конце своего турне Луиза заболела гриппом, Рид обеспокоенно писал: «Я страшно тревожусь за тебя... Пожалуйста, приезжай поскорее домой... За городом удивительно хорошо. Я подрезал сегодня фруктовые деревья и виноградные лозы... Все птицы уже вернулись и летают от скворечника к скворечнику, выясняя, какова квартирная плата».

Это было время, когда они с Луизой были особенно близки, помогали друг другу переносить все трудности и выдерживать натиск внешнего мира. Поддержка Луизы была тем более дорога Риду, что многие прежние друзья не одобряли его нынешней деятельности. Линкольн Стеффенс в письме с горечью советовал Риду быть осторожнее, не идти против течения — общественное мнение «больно», писал Стеффенс, и будет лучше, если он на время перестанет писать политические статьи. Многие гарвардские его однокашники не скрывали своего в нем разочарования.

Когда в конце осени 1918 г. правительство наконец вернуло его бумаги, Рид, отложив все остальное, заперся и буквально не вставал из-за письменного стола. Госдепартамент выжидал более полугода, прежде чем пришел к выводу, что бумаги Рида больше не представляют опасности: в России бушевала гражданская война и большевиков повсюду теснили. Недавние победы белых армий над красными, казалось, сулили скорое поражение советской власти. Многие страны, в том числе и Соединенные Штаты, послали отряды легионеров для оказания военной поддержки белым генералам. Руководители госдепартамента не сомневались, что конец социалистической революции близок.

Рид собрал поразительно интересные документы. У него были подборки газет: «Русские новости», «Вестник России», «Пресс-бюллетень», издававшийся ежедневно французским информационным центром в Петрограде. Он собрал прокламации и объявления, расклеивавшиеся в Петрограде с середины сентября 1917 г. по конец января 1918 г. У него имелись официальные публикации всех правительственных законов за тот же период. И даже секретные договоры и документы, обнаруженные в министерстве иностранных дел, когда его захватили большевики. Ну и, конечно, множество собственных записей.

Рид забраковал начало книги, написанное им в Христиании, и приступил к работе заново. Трудясь по шестнадцать, а иногда и по восемнадцать часов в день, он раскрывал свою тему не только с горячностью убежденного сторонника революционеров, но и с беспристрастной невозмутимостью исследователя-летописца. Он прошел большой путь с тех пор, когда сочинял рассказы в дешевом парижском отеле. Позади остались годы приобретения профессионального опыта в Мексике, Европе, Америке. Не прошла даром и борьба последних лет с враждебной позицией журнальных редакторов. Все это развило и отточило его дарование журналиста, и теперь, хотя он вовсе не отказался от яркого стиля, который стал его второй натурой, ему удалось показать такое точное, исчерпывающее знание своего материала, что ни один честный критик не мог его ни в чем упрекнуть В предисловии к книге Рид писал:

> **«Что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а победа большевиков — явление мирового значения...**
>
> **В борьбе мои симпатии не были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину»**[1].

Прием, оказанный книге «Десять дней, которые потрясли мир», когда она вышла в издательстве «Бони энд Ливерайт» в марте 1919 г., был данью мастер-

[1] Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир, стр. 13.

ству Рида-журналиста. Она появилась в тот момент, когда антикоммунизм в Америке достиг своего апогея. Агенты министра юстиции А. Митчела Пальмера преследовали радикалов по всей стране (так называемые «пальмеровские рейды»), и более десяти тысяч человек были брошены за решетку. Тем не менее книга Рида силой фактов и мастерством победила политические предрассудки и вызвала огромный интерес не только у читателей, но и у критиков. Она получила положительные отклики в таких газетах и журналах, как «Нью-Йорк Американ», «Филадельфия паблик леджер», «Лос-Анджелес таймс», «Ревью оф ревьюз». Разумеется, ряд газет занял враждебную позицию. Бостонская газета «Транскрипт» прямо спрашивала, как могло такое солидное издательство, как «Бони энд Ливерайт», пасть настолько низко, чтобы опубликовать такую книгу. Но несмотря на подобные выпады, через три месяца было распродано три тиража и вышел четвертый. Причем эти четыре тиража вовсе не представляют реальное число читателей — «Десять дней, которые потрясли мир» читались нарасхват, и одна книга проходила через сотни рук — в лагерях лесорубов, на заводах и фабриках,— пока буквально не рассыпалась на отдельные страницы. В разных странах вышли переводы — в том числе и в России. Ленин нашел настолько правдивым отражение революционных событий, что написал к книге предисловие, которое печаталось во всех последующих изданиях.

Рид обдумывал планы новых произведений. Он, конечно, не мог предположить, что «Десять дней, которые потрясли мир» окажется его последней книгой. Для него она была первой частью серии, лишь началом выполнения обязательства, взятого им на себя, когда он приехал в Петроград осенью 1917 г. Он рассчитывал написать по меньшей мере еще два тома — их примерное содержание уже вырисовывалось в его голове. Один он предполагал назвать «От Корнилова до Брест-Литовска» и описать в нем деятельность революционных организаций, а также структуру Советского государства. В «Дыме восстания» он собирался выступить с импрессионистическими зарисовками своих первых впечатлений после приезда в Россию и тех, что принесет будущее.

Чтобы осуществить эти планы, Рид, конечно, должен был вернуться в Россию, и совершенно неожиданно ему представилась такая возможность. В сентябре Коммунистическая Рабочая партия решила послать его делегатом на Конгресс Коммунистического Интернационала в Москву.

Выехать из страны законным путем ему было трудно — он знал, что госдепартамент никогда не выдаст ему паспорта. Но ирландский революционер Джеймс Ларкин помог ему раздобыть документы на чужое имя, и он нанялся кочегаром на скандинавский пароход. В Бергене он тайно сошел с парохода, через Финляндию, враждебную большевистскому режиму, добрался до России, где все еще продолжалась гражданская война, и в декабре приехал в Москву.

Его радостно встретили старые друзья, с которыми он сблизился в первые дни революции, а также бесчисленное число новых, приобретенных благодаря книге «Десять дней, которые потрясли мир». Как почетному гостю ему предложили удобную квартиру с питанием, но он отказался. Рида поражало мужество народа, не устрашившегося ни голода, ни болезней, бороться с которыми мешала блокада, препятствовавшая доставке продовольствия и медикаментов. Он поселился в комнате в рабочем районе и сам готовил себе еду на железной печурке.

Ленин, с которым Рид теперь виделся часто, одобрил его решение жить среди рабочих — так он лучше всего мог узнать Россию и выучить русский язык,— но и упрекнул его за то, что он постоянно перенапрягает свои силы. Человек с одной почкой должен больше считаться со своим здоровьем, предупреждал Ленин. Ему нравилось беседовать с Ридом, и они провели немало долгих вечеров в квартире Ленина в Кремле, до рассвета обсуждая положение профсоюзов в Америке, гражданскую войну в России, проблемы философии и многое другое.

По предложению Ленина Рид начал писать статьи для официального органа Коммунистического Интернационала о политической ситуации в Соединенных Штатах. Рид добросовестно выполнял свои обязанности представителя Коммунистической Рабочей партии, но он приехал в Россию и по другой причине. При первой же возможности он отправился в поездку по стране, чтобы увидеть, какие перемены произошли за последние два года. По ухабистым дорогам и замерзшим рекам он ездил из города в город, из деревни в деревню, присутствуя то на суде, то на спектакле рабочего театра, собирая статистические данные об урожае пшеницы и картофеля, о числе строящихся школ. Он беседовал с крестьянами, солдатами, рабочими на заводах. Это была та жизнь, которую он любил, и его записные книжки быстро заполнялись. Он вернулся в Москву переполненный впечатлениями, которые собирался изложить на бумаге, но очередная неожиданность помешала ему. Еще до его отъезда из Америки там были запрещены как Коммунистическая, так и Коммунистическая Рабочая партии. Теперь Рид узнал, что против 123 членов этих организаций выдвинуты новые обвинения. В списке стояло и его имя, а потому, как и раньше, он решил по-

ехать в США и предстать перед судом, хотя ему почти наверняка грозила тюрьма. Он попытался выехать — сначала через Латвию, но перейти линию фронта оказалось невозможным. Тогда он спрятался в бункере финского парохода, идущего в Швецию. Однако в Або его обнаружили. По распоряжению финских властей его арестовали и посадили в одиночную камеру. Ему было запрещено писать или получать письма. Он искал способ сделать свой арест достоянием гласности, и, наконец, через либерально настроенную финку Айно Мальмберг ему удалось послать сообщение о том, что его казнили. Десятого апреля нью-йоркские газеты объявили о его «казни». Хитрость Рида удалась: государственный департамент вынужден был дать опровержение — Рид жив и находится в Финляндии. Теперь он получил возможность написать Луизе. «Финны поставили меня в известность,— сообщал он,— что держат меня в тюрьме по просьбе правительства Соединенных Штатов». Вне себя от ярости, Луиза делала все, что было в ее силах, добиваясь освобождения Рида из тюрьмы. Вскоре Рид узнал, что немалое число лиц в Америке бросились оказывать ему помощь, в том числе Хови и Уигхэм, его старые редакторы из «Метрополитена». Советское правительство, со своей стороны, вело переговоры с финским правительством, предлагая в обмен на Рида выдать двух арестованных контрреволюционно настроенных профессоров. Финны согласились, и в начале июня Рид был освобожден. Однако американский консул отказался выдать ему паспорт. У него не осталось выбора, и, отказавшись от своего намерения вернуться на родину, он уехал в Москву.

Рида поразили перемены, которые произошли в Москве за три месяца его отсутствия. Была весна, и сады стояли в цвету. Ремонтировали разрушенные дома, заново красились общественные здания. В переполненном театре Шаляпин пел в «Фаусте». Россия была преисполнена оптимизма, несмотря на страшные опустошения и тяжелые условия жизни — победа осталась за советской властью, и гражданская война приближалась к концу.

Однако его русских друзей встревожили перемены, которые произошли с ним самим. За долгие недели, проведенные в сырой камере, где его кормили сырой рыбой, он исхудал и ослаб. Все, кто его знал, не сомневались, что он болен. Однако Рид вновь окунулся в лихорадочную деятельность: посещал заседания Второго Конгресса Коммунистического Интернационала, писал доклады, произносил речи. Как специальный делегат съезда народов Востока в Баку он проехал в бронепоезде через южную Украину, еще охваченную гражданской войной, и добрался до берегов Каспийского моря. Рид выступил на съезде с речью, обращенной к двум тысячам делегатов различных стран Азии. На обратном пути в Москву на поезд напала банда. Рид упросил красноармейцев, бросившихся в погоню за бандитами, взять его с собой и поехал с ними в разбитой крестьянской повозке, на которой они установили пулеметы.

В Москве его ждала Луиза, только что приехавшая из Соединенных Штатов. Она привезла ему письмо от матери, написанное в ответ на его письмо из тюрьмы в Або. Маргарет Рид давно смирилась с мыслью, что ее сын таков, какой он есть. Она писала:

«Мне стало грустно, милый, когда я прочла твои слова о том, что ты чувствуешь себя эгоистом. Не надо так думать. Ты поступаешь так, как считаешь правильным,— большего никто из нас не может требовать от себя, и если мы делаем иначе, то поступаем неверно. Я боюсь только за твою жизнь, а в остальном меня устраивает все, что устраивает тебя».

Луизу напугала худоба и бледность Рида. Но он отмахнулся от ее тревожных расспросов и потащил с собой по городу. Они побывали у Ленина, слушали в Большом «Князя Игоря», обошли все картинные галереи. При этом Рид продолжал посещать заседания и писать доклады.

Недели через две он слег, заболев гриппом, как считали вначале. Он продолжал работать, но через неделю врачи установили, что это не грипп, а сыпной тиф, и его увезли в Мариинскую больницу под надзор лучших московских врачей. В больнице Рид попросил, чтобы ему доставили стенографическую запись его выступления на Конгрессе — он хотел внести исправления. Но у него уже не было сил держать карандаш... Тиф делал свое дело, а лекарства, которые могли бы спасти ему жизнь, лежали где-то на складах других стран — блокада советских портов продолжалась.

Джон Рид умер 17 октября 1920 г., за несколько дней до того, как ему исполнилось тридцать три года. Неделю к его телу был открыт доступ для прощания во Дворце труда. В карауле у гроба стояли красноармейцы. В воскресенье тысячи людей направились в траурной процессии к Красной площади, где его похоронили у Кремлевской стены. Четырнадцатого ноября Луиза Брайант послала письмо редактору журнала «Либерейтед» с подробным рассказом о своих последних днях с Ридом.

«Мы провели вместе всего неделю, и тут он заболел. А мы были так безумно счастливы, обретя друг друга... Его одежда превратилась в лох-

мотья. Нужда вокруг так действовала на него, что он не хотел ничего брать для себя. Я была потрясена и поняла, что сама не способна на такую беззаветную самоотверженность...

У меня нет сил писать о его болезни, такая это была мука. Но мне хочется, чтобы вы все знали, как упорно он боролся за жизнь. Если бы не его воля к жизни, он умер бы гораздо раньше. Старые сиделки украдкой уходили в часовню, молились за него и ставили у образов свечи. Даже они были тронуты, а ведь им каждый день приходится видеть, как умирают люди...

В день похорон мы собрались в большом зале, где он лежал... Было холодно, сумрачно, и, когда процессия тронулась, пошел снег. Я видела, как вокруг плачут люди, и видела знамена, а революционный траурный марш все звучал и звучал, полный надрывающей душу скорби...

Речей я не помню. Я помню только, как дрожал голос у говоривших. Потом я вдруг заметила, что наступила тишина и знамена торжественно склонились. Я услышала, как первые комья земли застучали по гробу, и вдруг перестала осознавать окружающее. Очнулась я дома в постели спустя целую вечность.

Но побывала на Красной площади еще раз после того, как там собралось столько людей, чтобы с почестями похоронить нашего любимого Джека Рида. Я пришла туда в середине дня, когда, кажется, мимо спешила вся Россия — запряженные в сани лошади, бряцающие колокольчиками, крестьяне с узлами, солдаты, с песнями отправляющиеся на фронт. К могиле подошли солдаты. Они с почтением сняли свои шапки. «Какой это был хороший человек!— сказал один.— Он приехал к нам чуть не через весь мир. Это был один из наших...»

Когда известие о смерти Джона Рида пришло в Америку, тысячи заключенных в тюрьмы радикально настроенных рабочих встретили его в скорбном молчании. Американские газеты, которые с такой легкостью поносили его при жизни, писали о нем и его работе с большим уважением. Его старый учитель Копи, не разделявший его политических взглядов, тяжело переживал утрату. Он рассказывал студентам своего курса о смелости и принципиальности Рида, той смелости, которая давала ему силу верить в предсмертные часы, что его не ждет забвение.

И Рид был прав. Тому порукой сотни статей, две редкие по выразительности книги и шедевр «Десять дней, которые потрясли мир» — непревзойденное свидетельство живой истории.

Мир все еще потрясают политические отзвуки тех социальных переворотов, свидетелем которых был Джон Рид в 1917 г. Уже более полувека люди ведут ожесточенные споры о таких понятиях, как социализм, капитализм, эволюция, революция...

Когда после смерти Джона Рида американцы-радикалы начали создавать клубы его имени, Маргарет Рид написала Стеффенсу, указывая, что ее сын мог бы не одобрить подобного использования его имени. Стеффенс, который, пожалуй, понимал Рида как никто другой, ответил, что во время их последней встречи Рид упрекал его за то, что он не поддержал открыто революцию. Стеффенс добавил, что Рид скорее возразил бы против того, что клубы Джона Рида не идут достаточно далеко.

«Он мог сказать им то, что однажды сказал мне на улице в Нью-Йорке: «Идти вперед — до конца».

На протяжении тридцати трех лет своей жизни молодой человек из Орегона верно следовал совету, который дал Стеффенсу. Он шел до конца.

◆

Антирубрика

ЖАК ПРЕВЕР

Стихи

■

Перевод с французского НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

ЛЮБОВЬ К РОБОТУ

Человек пишет на машинке любовное письмо и клавиши машинки
отстукивают человеку ответ
Ведь эта машина так совершенна лучшей машины нет
счетная машина для сведения любовных счетов и для забвения
любовных отчетов
И человек сидя в своей машине для езды внимает машине для чтения
которая ему читает ответ написанный на пишущей машинке для сочинения
И в дополнение к счетной машине знаний человек покупает машину любви
гарантирующую исполнение желаний
И объясняется ей в любви с помощью пишущей машинки а также
машины мечты
И в довершение машина любви обманывает его не без успеха
с другой машиной машиной смеха

ВРЕМЯ ТАК БЫСТРО БЕЖИТ!

Хорошо бы найти такого историка
социолога футуролога астролога
который сможет научиться
логически
теоретически

математически
экономически
предугадать
нарисовать
предсказать
предначертать
исторически
в 1750 году то что случится в 1780
в 1780 году то что случится в 1793
в 1793 году то что случится в 1815
в 1815 году то что случится в 1830
в 1830 году то что случится в 1848
в 1848 году то что случится в 1870
в 1870 году то что случится в 1871
в 1871 году то что случится в 1900
в 1900 году то что случится в 1914
в 1914 году то что случится в 1918
в 1918 году то что случится в 1936
в 1936 году то что случится в 1940
в 1940 году то что случится в 1944
в 1944 году то что случится в 1950
в 1951 году то что случится в 1970 и в 1981
и это будет лишь малая толика того что случится в то время
к которому мы относимся хронологически.

ИСПОЛИНСКАЯ ЗЕМЛЯНИКА

За стеной из толстого стекла
расположен музей машин
В маленькой витрине со льдом
выставлена земляника
посетители толпятся стремясь разглядеть знаменитую землянику
исследования показали что высота деревьев приносивших такие
плоды достигала
трехсот метров

Рядом с земляникой
экспонируются детали дерева
шипы
и подшипники
Совсем маленький саженец дерева земляники
великий натуралист Эйфель
принес в Париж вместе с сажей в своей шляпе
Можно увидеть также шляпу ученого
металлический цилиндр называвшийся печной трубой

Эти ценнейшие находки чудесным образом обнаружены спустя столетия
при раскопках Марсова поля где произрастало последнее
дерево исполинской земляники
земляне той отдаленной эпохи широко использовали его плоды
в земледелии
дерево которое наши предки называли древом познания древом
жизни и смерти

В другом зале музея
кареты того времени
с рисунками восстанавливающими внешний вид
морских коньков
и данными о численности этих животных
двадцать две лошади
сорок лошадей и т. д.
Примечание
Беговые коньки располагались под капотом экипажа и лошадиные силы приводили его в движение вместо воды так что в дальнейшем древние стали называть их просто двигателями

К этой эпохе относится также возведение собора Парижской богоматери построенного Корбюзье безусловно одного из последних молитвенных предприятий созданных рабочими-священнослужителями развалины которого были посещаемы туристами из всех частей света

Несомненно также что прославленная эпоха асфальтированных оазисов в Африке в то время еще только начиналась.

(XXV век нашей эры)

В ВАШЕ ВРЕМЯ

I

Вкус к абстрактной музописи и конкретной жузыке
придает вам нежный румянец ценителя и прелестный цвет лица утонченного меломана

II

Прежде всего нужно быть глуховатым
а также подслеповатым
и туповатым
и только тогда когда музыка будет другими оценена
заклеймена объяснена и признана годной к употреблению
в качестве музыки
можно себе отбивать ладони
неистово яростно звонко
как будто вы шлепаете ребенка.

ЖЕРТВА ВЕЖЛИВОСТИ

Человек покупает газету и бросает ее, едва проглядев. Кто-то бежит за ним и ее поднимает...

— Месье, вы уронили газету.

— Спасибо,— говорит человек.

— Не за что, пустяки,— отвечает другой, уходя... и человек не решается снова бросить газету... он читает ее... и черным по белому видит новость, которая переворачивает всю его жизнь.

Потрясенный и растерянный, он не понимает, где находится, и спрашивает дорогу у прохожего, и прохожий останавливается и с радостью, любезно и долго объясняет ему маршрут: это совсем рядом, в двух шагах.

Вдруг человек вспоминает: это совсем не то, ему нужно в противоположную сторону, но прохожий, уходя, оборачивается и улыбается, и человек идет дальше.

Он никак не может поступить иначе, он не может обидеть этого прохожего, такого милого и любезного, и он теряется в непостижимом лабиринте, и наступает ночь, и он встречает женщину, которую потерял из виду пять лет назад. Он сообщает ей новость, прочитанную в газете, она плачет, падает в его объятья, и на них обрушивается несчастье, точно так же, как раньше.

У мужчины и женщины снова одна душа, и она разрывается под гнетом прописных истин.

КОНТРОЛЕР

Проходите проходите
Поспешите
Проходите проходите
Не стойте поспешите
Слишком много пассажиров
Слишком много
Пропустите следующих
Дайте дорогу
За вами очередь
Вас уже ждут
И те у дверей
И те кто еще в животах матерей
Все должны жить
Хоть немного
Спустите спустите
Спустите курок
Вас слишком много
Освободите место
Вам ведь давно известно
Здесь все на короткий срок
Проходите проходите
Вас ждут
Один вокруг света маршрут
Один по свету маршрут
Один маршрут и конец
Проходите проходите
Торопитесь
Будьте вежливы
Не толпитесь

СОВРЕМЕННОСТЬ

Экспозиция универсальна
Галерея машин небесных и адских
Открыта для обозрения
И полицейские на перекрестках
Стран и столиц
Регулируют уличное движение крови
Весь мир
Стоит в очереди
Чтобы увидеть
В павильоне черной металлургии
Невиданный аттракцион
Свободу потерянную в лесу белых батонов

■

КЛАРИСС РАЦИФАНДРИХАМАНАНА

Кто я?

РАССКАЗ[1]

■

Перевод с малагасийского ЛЮДМИЛЫ КАРТАШЕВОЙ

Как-то ночью я проснулся в холодном поту. Одна мысль не давала мне покоя. Прямо как запутанный клубок, где не видно конца нити и не знаешь, за что потянуть, как бы ни хотелось распутать. «Кто я?» — без конца спрашиваю я себя. Чей я сын? Чей муж? Кому я свекор? Зять? Отец? Внук? Дедушка? Может, я болен и потерял память? Вдруг и впрямь я болен? Да нет, конечно же нет. Ведь я нормально разговариваю с людьми, верно отвечаю на их вопросы. Но порой мысль ускользает, ее никак не удержишь, и я становлюсь просто сумасшедшим.

Начну с самого начала. Когда-то, я отлично помню, у меня была совершенно нормальная память, даже, можно сказать, превосходная. Например, события, происшедшие со мной в детстве, легко в ней всплывают.

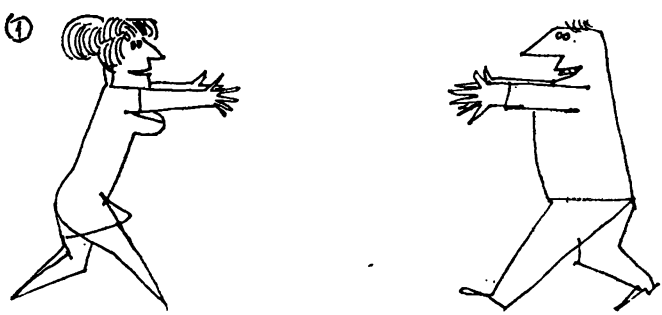
Я хорошо помню деревню, где родился. Помню источник на западной окраине. Помню ров, окружавший деревню. Я мог бы назвать каждую дырку в заборе, с закрытыми глазами нарисовать деревья, на которые мы лазили мальчишками. Я хорошо знаю своего отца, и если я задаю себе вопрос: «Чей я сын?» — то тому есть причина. Но об этом потом.

Время шло. Я рос высоким, худым, но стройным и сильным парнем. Моим бицепсам могли позавидовать спортсмены. И, может быть, именно поэтому я женился на девушке очень хрупкой. Я горячо любил ее и оберегал. Но судьба определила ей очень короткую жизнь...

Я сильно страдал после ее смерти, но старался крепиться. И помогла мне в этом Сели. Вскоре я понял, что без Сели не могу. Многие осуждали меня, когда я решил на ней жениться. Родственники покойной жены злобно шипели: «Вот, не успели еще у твоей жены остыть ноги, а ты ей уже нашел замену!» Я вытерпел все. Я женился на Сели. Отец не препятствовал. Он лишь бросил как-то мимоходом: «Ты еще молод — тебе только двадцать пять. Жена твоя на пятнадцать лет старше. Смотри, сынок, недаром говорят: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Действительно, Сели — намного стар-

[1] Вариация на тему рассказа Марка Твена «Трагическое родство».



ЧИК ДАМАДЯН. Румыния. Из сборника «Юмор на всех языках».

ше, но это не остановило меня. Она была так энергична, жизнерадостна и приветлива. Я был счастлив, что моя жена такая свежая, полная жизни. Она как будто заключила союз с молодостью. Сели и вправду была молода — кожа гладкая, походка легкая, грудь пышная. Просто настоящая красавица. Природа, а не косметика. Мне казалось, что время никогда не коснется ее. Никто бы не поверил, что дочери Сели уже восемнадцать лет. Зори была так же красива, как и мать.

Мне безумно нравилось, что у меня такая взрослая дочь. Зори стала называть меня «папа». Сначала ей это давалось с трудом. Потом, правда, когда стали жить вместе, она привыкла. Счастье и радость вошли в наш дом. Мы с Сели любили друг друга. Зори была нашей радостью. Мне так хотелось больше зарабатывать денег — надо же заботиться о взрослой дочери. Вскоре Сели забеременела. Зори с нетерпением ждала появления маленького нового существа. Я всегда мечтал не отстать от наших предков [1]. Но сколько бы у нас ни было детей, они всегда будут младшими братьями и сестрами Зори.

Но... Тут как раз и начинается путаница. Я как белка в колесе совсем потерял голову... Отец женился. Я не осуждал его — мама умерла очень давно. Но для меня это было как удар грома, когда я узнал, что его женой станет... Зори. До сих пор не могу опомниться.

Отцу — под пятьдесят, но его нельзя назвать старым. Крепкий, ни одного седого волоса, ни одной морщинки, ни одного выпавшего зуба. Спина прямая, плечи расправлены. Товарищи шутя называли его «молодой человек преклонного возраста».

Отец влюбился, влюбился по уши в Зори. Она тоже полюбила его. Итак, у меня появилась мачеха. С этого момента и началось мое душевное смятение.

Зори теперь уже не называла меня «папа». Да и верно, ведь я был ее сын. Однако каждый раз, как я подумаю, что я сын Зори, у меня начинается путаница в голове.

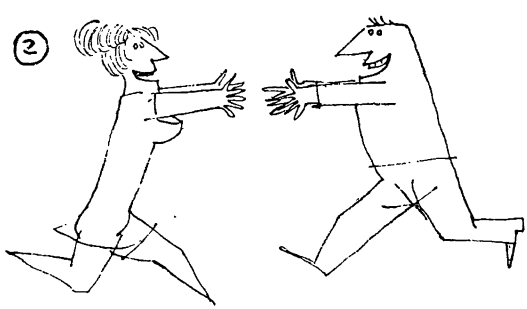
«Кто я?» — вот вопрос, о котором я не хотел думать, но он преследовал меня, как собственная тень. Я был отцом Зори. Но Зори, моя дочь, стала теперь моей матерью — ведь она заменила маму, она носила фамилию моего отца, она была его женой перед богом и людьми. Да, теперь она моя мать... И по правилам я должен звать ее «мама», как зову отца «папа».

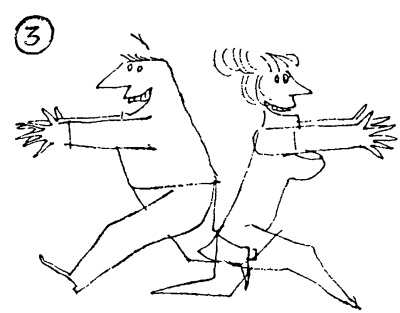
Дальше — больше... Отец, которого я звал папой с того момента, когда произнес первое слово, стал теперь моим зятем — ведь он муж моей дочери.

Семья разрасталась. У нас с Сели родился сын. Мы его назвали Нири. Нири был вторым нашим ребенком, первым была Зори. Да, Нири был моим сыном, младшим братом Зори. Младшим братом Зори? Значит, младшим братом жены моего отца? Да, действительно Нири был младшим братом жены моего отца, следовательно, шурином папы. И, значит, Нири мне не сын, а дядя — ведь он брат Зори, моей мачехи.

Я хватался за голову. Нет, нет. Нири — мой сын. Я собственными глазами видел, как Сели, моя жена, родила его. Но что значит видеть собственными глазами? Папа зовет его шурином. Шурин

[1] Иметь семь мальчиков и семь девочек. *(Прим. перев.)*





папы? Но тогда действительно Нири мой дядя.

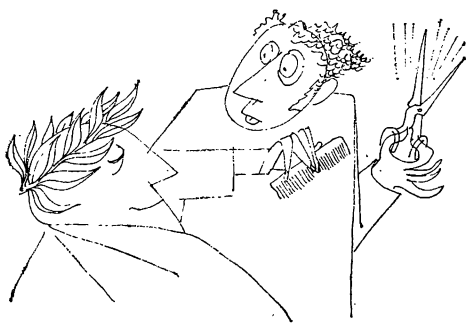
У папы и мачехи тоже родился мальчик. У меня появился хорошенький пухленький братик. Его назвали Манга. Но нет, я не прав. Манга не мой младший брат — ведь он сын Зори. А Зори наша старшая дочь, значит Манга — наш внук.

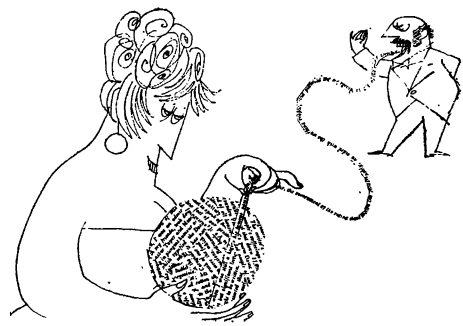
Я не могу больше об этом думать. Я совсем запутался. Пытаюсь выяснить родословную Нири. Зори — наша старшая дочь. Сын Зори Манга наш внук. А так как Зори моя мать, то само собой разумеется, что Нири, наш сын,— ее внук. Следовательно, Нири нам не сын. Раз он внук Зори, нашей дочери. выходит, он нам правнук?

Но как согласиться с этим, хоть оно и похоже на правду? Истина же в том, что Нири не племянник Манги, а мой сын, и, следовательно, Манги приходится дедушкой, раз мы с женой родители Зори, его матери. Значит, Нири не кто иной, как дядя Манги.

Я не успокоюсь, пока не разберусь во всем этом. Буду искать помощи у Сели, моей любимой жены. Будем вместе доискиваться ответа, потому что это сводит меня с ума. А разве Сели моя жена? Отнюдь. Она же мать Зори, моей мачехи, и, значит. моя бабушка. Да, Сели — моя бабушка, и я — внук Сели, если Зори, моя мачеха, ее дочь.

Сели? Да, в самом деле она моя бабушка. И так как муж моей бабушки мой дедушка... Господи, спасите меня, скажите мне, кто я? Я муж Сели, Сели моя бабушка. значит, я сам себе дедушка? Боже, я схожу с ума: кто же я?





ЧИК ДАМАДЯН.
Румыния.
Из сборника «Юмор на всех языках».

◆

Среди книг

Издано в СССР

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА — ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Альфредо Варела. Стихи. Составитель и автор предисловия Н. Булгакова. Перевод с испанского Риммы Казаковой. Москва, «Прогресс», 1976.

Всего тридцать стихотворений собрано в этой книге. Они очень разные: поэма «Слово борцам» и трехстрочная «Исповедь», содержащее политическое кредо автора стихотворение «Завербован, да!» и острый памфлет на «одноглазого пирата» («Даян»), сугубо лирическое интимное «Встретить рассвет с тобой» и веселая юмористическая «Анкета». Стихи эти затрагивают многие грани действительности и человеческого бытия, но есть в них объединяющее начало. Это величайший гуманизм автора, его вера в человека и любовь к нему. К человеку — убежденному, идейному борцу, созидателю новой жизни («Тост предместий и пампы», «Твое послание, Назым») и к тому, кто ушел из жизни, погибнув в борьбе:

Ради моих детей,
ради твоих детей,
ради его детей —
ради всех детей
против всех смертей —
сколько великих смертей!..
но
они во всем, что живо!

(«Слово борцам»)

Написанная в 1967 году поэма «Слово борцам», этот пламенный призыв поэта, звучит актуально и сегодня, когда мы узнаем об очередных злодейских убийствах патриотов, людей прогрессивных убеждений, совершенных зловещим «Антикоммунистическим альянсом Аргентины».

О народ: не позволь,
чтобы длилась безумная эта боль.
Свой авангард неподкупный,
свой мужественный венец
заслони стеной недоступной,
защити наконец,
свой аромат сохрани,
спаси свой лучший цвет,—
ведь для тебя готовили они
счастье, которому равного нет.

Так же актуально звучит памфлет «Просочившиеся (Монолог Толстой Сеньоры)», в котором автор едко высмеял «охоту за ведьмами». Под влиянием разнузданной антикоммунистической пропаганды обывателю, перепуганному мелкому буржуа повсюду мерещится «коммунистическое проникновение». Собирательный образ Толстой Сеньоры олицетворяет влиятельные реакционные круги аргентинского общества. Толстая Сеньора во всем видит «проникновение»:

...в кровь просочились
красные кровяные шарики,
которых гораздо больше, чем белых,
христианско-западных.
Нашли муку,
просочившуюся в хлеб. И даже
правительство
полно переодетых красных,
выдававших себя за генералов.

Для нее национальный гимн — «подрывная песня», выдающиеся государственные и политические деятели прошлого, в том числе Майской революции 1810 года («состряпанной на московское золото, как известно»),— подозрительны. Уповает она на то, что «...в продаже есть чудесная антикоммунистическая сыворотка».

Нам, советским людям, особенно дороги стихи Альфредо Варелы, написанные им в

годы тяжелых испытаний, выпавших на долю нашей Родины. Они полны солидарности с нашей борьбой, глубокой симпатии, восхищения мужеством и героизмом советских воинов и всего советского народа, защищавших не только свою Родину, но и весь мир от фашистской чумы, веры в победу правды («Только война» и «Они всегда в строю»).

Для Альфредо Варелы, коммуниста с юношеских лет, члена ЦК Коммунистической партии Аргентины, родником, питающим творчество, всегда была партия. Все в жизни Варелы как гражданина, писателя и поэта связано с партией, с борьбой за победу коммунизма, пронизано глубокой верой в торжество идеалов марксизма-ленинизма, ибо

В Партию вступает Жизнь.
Подпиши ей партбилет, товарищ!

(«Тост предместий и пампы»)

До появления этого поэтического сборника мы знали Альфредо Варелу как прозаика, острого публициста, откликающегося на самые животрепещущие проблемы современности. «Темная река» [1], «Аргентинский журналист в Советском Союзе», «Куба — да!» [2], многочисленные статьи, интервью, появляющиеся в советских периодических изданиях. Мы привыкли видеть его на трибунах форумов борцов за мир. Ленинград и твердыня на Волге, Бухенвальд и Хиросима, Лидице и Хатынь, пылавшие в огне города и села Вьетнама, героическая Куба, близкая всем честным людям земли Анголы — где только не побывал этот страстный пропагандист, активный поборник мира! Он по праву заслужил высочайшие награды — Золотую медаль Жолио Кюри, орден Дружбы народов и международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами».

Р. Казакова приоткрыла читателю новую, поэтическую грань таланта Варелы. Однажды при мне у Риммы Федоровны спросили: «Почему вы решили переводить стихи Альфредо Варелы? Ведь в Латинской Америке есть и другие известные и талантливые поэты прошлого и настоящего».

«Да, много есть талантливых поэтов, но далеко не у всех чувства высокого гражданского долга и подлинной партийности в истинном значении этих слов так сильны, как у Варелы», — ответила Казакова.

Я хорошо знаю Альфредо Варелу вот уже более двадцати лет. Много раз встречались мы в Москве и в далеком Буэнос-Айресе. И всегда поражает он своим жизнелюбием и человеческой теплотой. Не так давно нашему аргентинскому другу исполнилось шестьдесят лет. «Впереди у меня еще половина жизни», — говорит Альфредо Варела. Возвратившись на родину, в свою любимую Аргентину, после многолетней работы в качестве секретаря Всемирного Совета Мира, он с головой окунулся в кипучую деятельность. Он полон энергии, творческих замыслов и планов.

«Мне очень приятно, — признается Варела, — что некоторые мои стихи переложены на музыку. Молодой талантливый аргентинский композитор (он учился в Москве в консерватории имени Чайковского) создал кантату для шести голосов в сопровождении оркестра народных инструментов. Там есть и лирическая часть, есть и волнующей силы марши. Нет, широкой публике это произведение пока не известно. Но гимн павшим в борьбе товарищам будет исполняться. Такое время наступит. Я обязательно вновь напишу о Паране, о том, какие изменения произошли в тех местах, где родился мой первый роман «Темная река», как живут там теперь и борются люди. Я обязательно переведу на испанский язык стихи Агостиньо Нето — великого сына свободной Анголы». И мы уверены, что задуманное сбудется.

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ

В ПОИСКАХ ИСТОКОВ

Мелвин Брэгг. За городской стеной. Перевод В. Ефановой и М. Мироновой. Послесловие Г. Анджапаридзе. Москва, «Прогресс», 1975.

«Постепенно он пришел к заключению, что жизнь его ничего не стоит, что он зря размотал ее... Но в глубине души он верил, что возрождение возможно». Именно поэтому — разочаровавшись в своей бестолково-суетливой лондонской жизни, но в то же время не до конца утратив веру в возможность жизни иной, — Ричард Годвин, герой романа английского писателя Мелвина Брэгга, и стремится найти убежище в горной деревушке Кроссбридж.

Ричарду двадцать четыре года, он работал на телевидении. Остальное время вел «веселую» жизнь: в быстром темпе сменяли друг друга приятели, «девочки», увеселения — «галдеж! галдеж! галдеж!». Но однажды ему это надоело, бесповоротно.

Ричарду опротивел мир, где ценится только успех, стремиться к которому побуждает, по его меткому определению, не что иное, как жадность, жажда власти или жажда наживы. «Я хочу, чтобы моя жизнь приобрела значение», — говорит герой. Что же помешало ему продолжать безмятежно-бездумное существование, совсем не тяготящее, например, его приятеля Дэвида Хилла? Он, кстати сказать, неглупый молодой человек и время от времени весьма остроумно высмеивает тягу «массовой культуры» ко всему модному: «новенькое — во что бы то ни стало новенькое». Высмеивает и благополучно карабкается вверх по скользкой лесенке Успеха.

Мелвин Брэгг резко судит «общество вседозволенности», где отношения людей выхолощены, где нормой становятся равнодушие, безразличие, опустошенность. Соб-

[1] Рецензия на русское издание этой книги была опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1975.
[2] Опубликовано в «Иностранной литературе» № 12, 1960.

ственно, на эту тему написано немало книг, это утверждение стало общим местом чуть ли не в каждом западном романе о сегодняшнем дне. У Брэгга вместо холодной, монотонной констатации — острая боль, напряженные поиски выхода, стремление это отчуждение преодолеть.

В Кроссбридж Ричард бежит, надеясь обрести душевное равновесие и смысл существования. Местечко это как нельзя больше отвечает его намерениям: тишина, покой, неторопливый уклад жизни, наполненной трудом. Деревня расположена в Камберленде, районе, где происходит действие почти всех романов писателя. Камберленд — родина Брэгга, и поэтому, быть может, так мягко и лирично описана природа этого довольно сурового края. Брэгг, безусловно, поэтизирует, порой даже несколько мифологизирует обычаи и местных жителей. Все здесь пронизано «чувством истории». Несколько лет назад в одном интервью Брэгг сказал: «Камберленд для меня не просто место действия, это — прошлое, прошлое Англии». И люди не утратили здесь связи с прошлым, с землей, своих «корней».

Очень выразительна в романе сцена сельской ярмарки. Красочно нарисованы ярмарочные торги, праздничное оживление, скачки. Изумленному Ричарду повсюду мерещатся чосеровские персонажи. Герой (а вместе с ним автор) восхищается людьми, еще не отвыкшими работать руками и гордиться своим трудом.

Такую же человеческую неподдельность Ричард обнаруживает у своих соседей в Кроссбридже — пожилой четы Бити, Эгнис и Уифа, — и чем ближе он с ними знакомится, тем больше привязывается. Особенно восхищает его Эгнис, ее энергия и самоотверженность, с какой отдает она себя семье и заботам односельчан. По горло занятая домашними делами, она ухитряется найти время устроить праздник для деревенских детей, организовать работу женского клуба, помочь украсить к празднику церковь. Она полна какой-то удивительной доброты и бодрости, «бодрости человека, который со смыслом живет на земле».

Мелвину Брэггу дорога сельская Англия, где еще сохранились «объединяющие свойства людей»; он описывает ее с нескрываемой любовью, пожалуй, даже идеализирует. Но Брэгг достаточно трезво замечает, что «больные» проблемы, которые в городе обостренно-очевидны, не обошли и эти места. Они проявляются и в том, что молодежь покидает деревню — и порой рвутся коренные, глубинные связи с родной деревней, ее жизненным укладом.

Именно это случилось с Дженис, дочерью Эгнис и Уифа. Умная, честолюбивая, она мечтает вырваться из деревни. Ей это удается: Дженис поступает в университет в ближайшем городке, Каркастере. Безудержное стремление к независимости кончается плачевно: Дженис ждет ребенка и вынуждена вернуться к родителям. Но ни рождение дочери, ни любовь Ричарда, который становится ее мужем, не могут надолго удержать Дженис в Кроссбридже. «Она не видела ничего похвального в чувстве долга» и не задумывалась над понятиями «добро» и «зло». «Быть свободной от всех привязанностей» и «никого не впускать к себе в душу» — таковы ее жизненные принципы.

Равнодушие и эгоизм Дженис наносят Ричарду, только-только начавшему оттаивать, тяжелый удар. Он снова сникает, оставляет школу, куда устроился было преподавать историю. Если и в лучшие минуты Ричард чувствовал, что его «деревенская идиллия» неестественна, являясь по сути эскепизмом или в лучшем случае только отсрочкой, то теперь он осознает это со всей очевидностью. Вначале ему казалось, что «свобода начинается именно так — с отсутствия определенности». Выяснилось, что нужно знать, чего хочешь, что собираешься защищать в жизни: «Нужно иметь право сказать: вот на этом я стою».

Ричард пока не может со всей ясностью определить, на чем именно он стоит. Но общение с такими людьми, как Уиф и Эгнис, не прошло для него даром: Ричард будет теперь искать свою правду и доброту.

Как и у многих других современных английских писателей (С. Хилл, Д. Лессинг, А. Мердок), поиски Мелвина Брэгга носят отчетливо моральный характер: выжить в сегодняшнем обществе бездушия, уверен писатель, можно, лишь сохранив в себе человека. «Пока какая-нибудь струна добра не зазвенит на весь мир и не отзовется в сердцах людей, все попытки протестовать (против несправедливости.— *И. В.*) бесполезны».

Безусловна ограниченность такой позиции, но в обществе, где черствость и бездушие — норма, где значение имеет лишь Успех, защита моральных ценностей может обрести силу протеста.

Отметим, что роман М. Брэгга написан в 1968 году — в бурный год, когда многие страны Западной Европы и Америку захлестнула волна молодежных выступлений, показавших со всей очевидностью, что молодые не приемлют прогнившие буржуазные ценности, не приемлют яростно, но зачастую ничего, кроме исступленного эпатажа, им не противопоставляют. Произведения многих английских писателей о молодежи написаны именно с этих позиций [1]. Поиски М. Брэгга — сколь бы отвлеченными они ни были — пожалуй, более позитивны.

Писатель продолжил их в последующих романах, из которых наиболее важны «Батрак» (1969) и «В Англии» (1971), составившие дилогию. Теперь Брэгг в поисках «корней», «истоков» обращается к истории рабочей Англии (это по-прежнему Камберленд) и прослеживает судьбу нескольких поколений семьи Таллентайров — с конца девятнадцатого до 30-х

[1] См., например, роман П. П. Рида «Дочь профессора» (Москва, «Прогресс», 1974 г.).

годов нашего века. «Связь времен», преемственность гуманистических традиций, достоинство простого человека — вот что главное для автора в этих романах. В области же художественной формы Брэгг явно чужд бесцельных экспериментов, он развивает традиции добротной реалистической прозы — критики недаром постоянно сравнивают его с Т. Гарди.

И. ВАСИЛЬЕВА

«ОГНЯ СЛЕДЫ...»

Лиляна Стефанова. Избранная лирика. Перевод с болгарского. Составление Л. Шикиной. Предисловие Вл. Солоухина. Москва, «Молодая гвардия», 1976.

Познакомившись с небольшим стихотворным сборником известной болгарской поэтессы Лиляны Стефановой, нельзя не согласиться с характеристикой ее поэзии, данной Владимиром Солоухиным в предисловии: Стефанова «поэт лирический, но и социальный, и — не побоюсь сказать — публицистический (если не всегда, то, во всяком случае, не боящийся публицистичности в своих стихах)».

Политические, социальные события — настолько трудный и сложный жизненный материал, что весьма немногим удавалось воплотить его в истинную поэзию, сделать достоянием подлинного искусства. Известно слишком много примеров неудач, когда из-под пера даже очень одаренных авторов выходили творения мертвые, искусственные, в которых риторические пассажи подменяли искренность чувства. Атрофированные эпитеты, ходульные, неестественные метафоры, выспренность тона — вот характерные признаки этих псевдопоэтических произведений.

А вот стихи Лиляны Стефановой радуют неподдельным чувством, органичностью формы, гармонией.

И если даже иногда прослеживается очевидное влияние того или иного поэта, то именно в данном случае уместно напомнить известный афоризм, гласящий, что песня, не похожая ни на какую иную песню, плохая. Пускай, например, чувствуется интонация М. Светлова в стихотворении «Кубинка», тем не менее искренность его и подлинное, глубинное авторство Л. Стефановой не подлежат сомнению.

Одна из величайших трудностей как в становлении поэта, так и в последующей его работе в том и заключается, чтобы не просто отвернуться от близкого по духу и манере и потому особенно опасного в смысле влияния мастера слова. Причем неведение только кажется спасительным. Нельзя облачать душу в некую строкоотталкивающую защитную духовную ткань. Нет, напротив! Надо принять такого поэта, полностью изучить, словно бы переболеть им — и чем сильнее он, тем болезнь мучительней и опасней,— а затем суметь победить его воздействие. И тогда большой поэт неожиданно превращается в друга, обогатившего еще одного поэта.

Когда я читал стихотворение «Пожары», то сначала подумал: надо бы взять к нему хотя бы эпиграф из поэмы «Облако в штанах» Маяковского. Там ведь тоже пожар сердца и пожарные: «Нагнали каких-то. Блестящие! В касках! Нельзя сапожищами. Скажите пожарным...» Почти натуралистическое описание любовного пожара у Л. Стефановой (тоже с пожарными в касках), казалось бы, требовало эпиграфа. И все-таки, после трезвого размышления, я отказался от этой претензии к автору. Потому что интонационно у нее все совсем другое и несет отпечаток личной индивидуальности:

Дымок желаний,
Славы дым,
Свинцовый блеск висков седых,
Глаза пустынные под фетром...

А это все огня следы,
Зола, застывшая под ветром.

(Перевод Вл. Солоухина)

Только потому, что уже доверял автору, доказавшему свою самобытность, я стал читать стихотворение с таким не предвещавшим ничего нового и интересного названием, как «Вопросительный знак». И первые же строки, исполненные поэтической энергии и свежести, втянули меня в это длинное стихотворение:

Вопросительный знак,
Неизвестность, зовущая властно.
Я устала стремиться, и радует точка
меня.
Но вздымается бич,
И мгновенно из точки бесстрастной
Возникает вопрос,
Будоража,
Толкая,
Маня...
. . . . . .
Отвечай, хоть умри. И, поняв
неизбежность ответа,
Я ищу,
Я мечусь,
И покоя — ни ночью, ни днем.
Очертанья его узнаю я в дымке
паровоза,
В полосе самолета среди золотой
синевы,
И в изогнутой ветке любимым
подаренной розы,
И в упрямом наклоне усталой его
головы.

(Перевод Вл. Солоухина)

Лиляна Стефанова не скована поэтическими традициями. Она равно владеет и свободным стихом, и рифмованным. Новизна многих ее образов и свойственные ей формы всегда органичны, всегда вытекают из потребности как можно точнее, идентичнее выразить чувство.

Современные критики вели и продолжают вести споры, на мой взгляд схоластические и бесплодные, о разновидностях поэзии, стараясь измерить некоей духовной термопарой, в каких стихах больше рассудка, в каких — чувства.

По-моему, это ненужное занятие. Равно как и попытки точно определить признаки специфически женской поэзии или мужской. Была бы поэзия истинной (вот истинность поэзии действительно нужно устано-

вить и доказать!), была бы поэтическая индивидуальность. А чего больше в произведении — мысли или чувства, мужественности или женственности, не имеет значения.

В небольшой книжке Л. Стефановой можно обнаружить стихи всех перечисленных видов. Причем и стихи «мужского» звучания, и стихи, исполненные женственности, и стихи, где главенствует мысль, и другие, являющиеся средоточием чувства, — все они явно принадлежат перу одного автора. Отмечены именно его манерой. И это главное.

В заключение хотелось бы отметить мастерство, добросовестность, труд переводчиков Вл. Солоухина, Ю. Друниной, Л. Шикиной и других, бережно сохранивших дух поэзии Л. Стефановой, ее суть. Сохранивших, как сказано в стихотворении «Пожары»,— «огня следы...»

ВАДИМ СИКОРСКИЙ

МНОГОЛИКИЙ БРАТ МОЙ...

Голоса Америки. Из народного творчества США. Перевод с английского. Составители Л. Переверзев, Ю. Хазанов. Предисловие С. Лосева. Послесловие Т. Голенпольского. Москва, «Молодая гвардия», 1976.

Я сижу в засаде, в густых зарослях, среди огромных дубов, лип, сосен и юкковых деревьев. Лицо мое покрыто татуировкой, но она лишь еще больше оттеняет его красоту и мужественность. На шее у меня ожерелье из клыков кугуара, в волосах — соколиное перо, на ногах — кожаные штаны и бесшумные мокасины, украшенные бисером, мехом и кусочками цветного сукна.

Зовут меня Чингачгук, а может быть, Ункас, и я поджидаю здесь своего заклятого врага, врага всего моего племени — он должен вот-вот пройти по этой тропе...

Мне девять лет, брату — немногим больше, мы без устали бродим вдоль берегов Саскуиханны, охотимся, вволю сражаемся с бледнолицыми: мы вырываем бичи из рук жестоких надсмотрщиков и переправляем невольников-негров с Юга на свободный Север только одним нам известными тропами (этим же, кроме нас, занимаются Гарриет Тамбен и фермер Джон Браун с сыновьями); мы ищем золото на Клондайке и на Юконе; плывем на плоту по Миссисипи и кричим хриплыми лоцманскими голосами: «Марк твейн!», мы изо всех сил помогаем негру Джиму и старому дяде Тому...

Пока нас не загоняют в постели, мы успеваем совершить такое число смелых и благородных поступков, которого хватило бы всему нашему поколению на две полные жизни.

У нас на книжных полках рядом с Пушкиным, Толстым, Жюлем Верном, Верисгофером, Уэллсом стоят потрепанные тома Фенимора Купера, Майна Рида, Джека Лондона, Марка Твена, новеллы Вашингтона Ирвинга, стихи Генри Лонгфелло...

С детства окружают нас книги, волнующие романтикой открытия новых земель, путешествий и приключений, романтикой борьбы слабых против сильных, борьбы за справедливость. Позднее в наше бытие входит куда более сложная, более жизненная психология — страсти по Фолкнеру, лабораторная аналитичность Синклера Льюиса, напряженная недоговоренность Хемингуэя и Сэлинджера, грустная лиричность Сарояна, безжалостная доброта Чивера и Капоте, ясная глубина Стейнбека и Джойс Кэрол Оутс.

Но поэзия «Гайаваты» (в великолепном и точном переводе Ивана Бунина), по остроумная назидательность «Сказок дядюшки Римуса» не уходят из наших повзрослевших душ.

К сожалению, в основном этим, крайне ограниченным, списком народных американских сказаний в изложении Г. Лонгфелло и Д. Харриса сводилось до недавней поры перечисление известных на русском языке произведений американского фольклора. К ним, пожалуй, можно было бы еще добавить отдельные переводы индейских, эскимосских, негритянских и «белых» сказок и легенд в различных сборниках, а также вышедшие сравнительно недавно в издательстве «Прогресс» две книги: «Всевидящий глаз» (1964) и «Однажды жил человек» (1968).

Между тем все сильнее и настойчивее интересуют нас истоки американского фольклора, всех трех его ветвей — красной, черной и белой, то есть индейской и эскимосской, негритянской и творчество белых поселенцев-колонистов.

Читатели, наверное, всех возрастов любят сказки, притчи, легенды.

Возможно, поэтому автор этих строк, уже бесповоротно выросший из всех индейских и ковбойских костюмов, несказанно обрадовался, когда А. Алексеева, заведующая литературной редакцией издательства «Молодая гвардия», обратилась к нему:

— Знаете, очень хочется издать сборник американского фольклора. И чтобы он был по возможности представительный.

— Конечно,— согласился я.— И чтобы не только проза, а и баллады, стихи.

— И песни. Хорошо бы с нотами,— добавила редактор Г. Быкова.

И начался сбор материала.

Главная наша трудность была не в самом собирании: века постарались и накопили для нас материала более чем достаточно. Куда сложнее было его отобрать, да еще придумать принцип построения книги и ее название. Мы насочиняли множество заголовков, каждый из которых казался самым удачным одному из нас и совершенно не нравился остальным. Правда, мы быстро сошлись на том, что сборник не должен носить академического характера, что цель его главным образом познавательная, «обще-

читательская» и интересен он должен быть для читателей примерно от десяти до девяноста лет.

Огромные фонды Всесоюзной библиотеки иностранной литературы были в нашем распоряжении. Оттуда, а также из кое-чьих личных запасов мы почерпнули антологии известного Б. А. Боткина, сборники М. Горема и М. Джегендорфа, «Мешок с американскими песнями», который заполнил в свое время К. Сэндберг, «Американские рабочие песни», сборники негритянского фольклора, составленные Л. Хьюзом или совместно с А. Бонтемом. Были использованы и книги индейского и эскимосского фольклора, авторами которых являлись Куртис и Рассмуссен, А. Дэй и Д. Рейд, Г. Химмельхебер и многие другие. Привлечен был материал из периодических изданий, песенные альбомы А. Ломакса, мелодии и тексты индейских песен, собранные совсем недавно и любезно предоставленные нам Сат-Окхом (Суплатовичем), сыном индейского вождя и польки, жившим в детстве среди индейцев Северной Америки, ныне моряком польского торгового флота.

Я уже сказал о сложности отбора материала, о поисках принципов построения нашей книги. Да, мы много раз собирались и много спорили. Советовались с известными фольклористами, с научными сотрудниками Института США, с сотрудниками посольства США в Москве... И было о чем.

В самом деле, разве не правы были молодой специалист А. Ващенко и переводчик С. Северцев, когда отстаивали как можно больше «жизненного пространства» на страницах книги для индейцев? Ведь это они, индейцы, так же как и эскимосы, пришли в Америку из Азии около 30 тысяч лет тому назад. Они были здесь первыми. Недаром эскимосы называли себя «инуит» — то есть «люди». Пришельцы постепенно разделялись на оседлые и кочевые племена, на земледельцев и охотников; одни селились в горах и на равнинах, другие — в пустынях и на побережье, и племена эти были так же многообразны и несходны по своей культуре, как многообразна и противоречива природа самого американского континента.

Потому-то в произведениях аборигено-американского фольклора речь идет о Молодости мира, о Великой тайне жизни, о первом, подчас робком, познании окружающего, связанного с первой борьбой, первыми надеждами...

И как было не понять сетований переводчиков Т. Каминской и Б. Щедриной на то, что очень уж «потеснили» эскимосов?

Да, но ведь в книге надо было достаточно полно отобразить и творчество белых жителей Америки, чья история жизни на американском континенте началась ранним апрельским утром 1607 года, когда три пострадавших от бури корабля Лондонской судовой компании бросили якорь в Чесапикском заливе. Вот так родилась будущая Виргиния, один из Восточных штатов, которые стали называться Новой Англией и еще Страной янки — Янкиленд. А к середине восемнадцатого века здесь сложился своеобразный характер устного творчества — в основном шутливый, перемежающий правду с совершенно чудовищными небылицами.

Но разве не создали своего абсолютно оригинального фольклора чернокожие невольники, впервые завезенные голландским парусником из Африки в 1618 году?!

И народные, уже не безымянные певцы и поэты старой и совершенно новой формации — индейцы, негры, белые? Как же решиться не упомянуть их, не напечатать стихи и песни Вуди Гатри и Дядюшки Дейва Мейкона, Пита Сигера, Алана Ломакса, Баффи Сейнт-Мери, Мальвины Рейнольдс, Питера Ла Фаржа, Боба Дилана, Арло Гатри?..

За то, чтобы как можно полнее представить все эти этнические группы и наиболее выразительно и доходчиво связать фольклор с историей самой Америки, которая как раз и находила в нем свое отражение, ратовали с вполне законными основаниями переводчики и составители.

А наши издатели, не оспаривая «законности» подобных притязаний, говорили о художественном оформлении, на которое тоже требовалось место; о желательности вступления и послесловия, о том, что интересно было бы напечатать музыкальные строки некоторых песен и не менее полезно было бы воспроизвести их в английском оригинале; и все это действительно было интересно, полезно, необходимо и даже обязательно...

И вот уже позади и придумывание, и «увязывание», и споры, и ожидания. Теперь всех нас волнует одно: как встретит книгу читатель?

ЮРИЙ ХАЗАНОВ

В ФИНША ПРИШЛА НОВАЯ ЖИЗНЬ

То Хоай. Западный край. Роман. Рассказы. Сказки. Предисловие Н. Никулина. Составитель и переводчик М. Ткачев. Москва, «Прогресс». 1975.

Открывая сборник произведений вьетнамского писателя То Хоая, вышедший на русском языке в серии «Мастера зарубежной прозы», читатель оказывается в мире первозданной природы: уходящие к облакам горы; ручьи, то стремительно низвергающиеся с горных круч, то тихо журчащие в нежно-зеленых зарослях; горная дорога, прорезающая бурно разросшийся лес; узкие ущелья, темные и загадочные. В зарослях — охотник, натянувший звонкую тетиву самострела и целящийся в оленя. На лесной поляне — девушка в длинной цветастой юбке играет на свирели, а юноша вторит ей на народном музыкальном инструменте кхене.

Населяет этот живописный край множество разных племен, и вот о жизни этих племен, о трудных человеческих судьбах ведет свой рассказ То Хоай в романе «Западный край».

У тихой речной заводи живет одинокий старик из племени са. Убогая хижина, бедный алтарь предков. С той поры как подрос и выучился ловить рыбу, плести шалаши да мастерить на сваях помосты, прошел он в поисках пропитания по трем рекам — от верховьев до устьев, и в песне, что поет он о своей горькой доле, звучит печаль целого племени.

Красивая жена молодого кузнеца Тоа понравилась сыну уездного начальника. Тоа заточили в темницу и подвергли пыткам, а жена его, которая не могла больше жить среди людей после того, как над ней надругались, покончила с собой.

Древний старец, ссохшийся как мумия, приходил на ярмарку, садился около торговца солью и неотрывно слезящимися глазами смотрел на белую сверкающую глыбу. Ему нечем было заплатить за соль, продукт привозной и потому дорогой. Но каждый год, по изнуряющей жаре, в ночном, пронизывающем холоде, по каменистым горным тропам, босиком проделывал он многодневный путь, чтобы полюбоваться сверкающими кристаллами.

Мужу старой крестьянки Зианг Шуа, отцу троих малолеток, пришлось бросить плуг в борозде. Его погнали носильщиком с грузом опиума, принадлежавшего уездному начальнику. Одна из лошадей оступилась и сорвалась в пропасть, погонщику же удалось ухватиться за каменный выступ, но слуга начальника, разъяренный потерей опиума, столкнул несчастного вслед за лошадью.

Так из описания разных человеческих жизней под пером романиста вырисовывается судьба многострадального народа, жестоко угнетавшегося и пришлыми французскими колонизаторами, и местными богатеями.

На страницах книги То Хоая народ этот предстает трудолюбивым, одаренным и жизнедеятельным. С чувством законной гордости говорит о своих соплеменниках человек из народности мео: «Мы, мео, испокон веков корчуем лес, пашем поля, собираем навоз, бережем влагу: и земля у нас круглый год не пустует. Мы разводим тучных коров и быков... Знаем мы, как отыскивать мед горных пчел — дивного вкуса и сладости. Мы и чай выращиваем, и горечавку, и тамхат —на продажу. Мео искусны в литье и ковке, умеют обжигать известь и делать черепицу. Нету ремесел, что были бы нам не под силу».

Подробно и обстоятельно рассказывая о жизни горских племен, их быте, их песнях и танцах, легендах и поверьях, То Хоай выступает и как романист, и как бытописец, и как этнограф.

То Хоай описал Западный край на переломном этапе его истории. Наступил год, когда, действуя совместно с партизанами, Народная армия взяла крепость Финша и освободила город Иен. Сбежал уездный начальник, скрылись вожди племени мео. Хозяином земли стал народ.

Как мощная горная река увлекает за собой все, что встречается ей на пути, так и революция вовлекла в свой поток жителей горного края. По разные стороны баррикады оказались сыновья крестьянки Зианг Шуа. Один — в рядах борцов за народную власть, другой — среди наемников контрреволюции. О трагической и вместе с тем поучительной судьбе отщепенца повествуют наиболее сильные страницы книги.

Наступившая после Освобождения новая жизнь изменила и судьбы уже знакомых нам героев. Выучился на фельдшера Тхао Кхай — сын тетушки Зианг Шуа, которого когда-то в детстве вместе с семьей изгоняли из деревни, как «одержимого бесом». Кузнец Тоа стал председателем уездного комитета. Крестьянин Панг — председатель деревенской общины, призванный организовывать жизнь по-новому, но, как с юмором замечает автор, сам он все еще сомневается — а не кроется ли бесовская сила в этом керосине, который продают теперь во вновь открывшемся магазине.

В заключительных главах романа запечатлены перемены, увиденные То Хоаем в местах, куда впервые пришел он вместе с бойцами и партизанами и трижды пересек из конца в конец горы северо-западного Вьетнама: «...край этот, читатель, право же, не узнать! Наверно, и нам с вами стоит приглядеться к переменам, совершающимся повсюду, от Наданга до Финша». В Наданге организован партизанский отряд. Контрабандисты и лазутчики теперь не посмеют сунуться. Создаются трудовые бригады по совместной обработке земли. К людям пришел достаток. В Финша открылась школа, работают курсы ликбеза.

В однотомник входит пять удачно подобранных рассказов То Хоая: они отражают разные исторические эпохи, разные стороны жизни и отличаются по стилевой манере. Короткий, полный грусти рассказ «Месяц, который не умел разговаривать» — о неразделенной трагической любви. О делах и трудах дядюшки Бао, члена комитета самообороны и уличного комитета, человеке добром и отзывчивом — рассказ «Улица».

Большой успех принесла То Хоаю вышедшая в 1941 году повесть-сказка «Жизнь, приключения и подвиги славного кузнечика Мена, описанные им самим». Эта сказка и несколько других также включены в однотомник. В сказке «О мышиной свадьбе, которая чуть было не состоялась» То Хоай, вопреки рогаткам свирепствовавшей в старом Вьетнаме цензуры, высмеял французские колониальные власти в образе кровожадного Кота, который всегда появлялся с Запада.

В обстоятельном предисловии к однотомнику Н. Никулин рассказал о жизни и деятельности То Хоая — литератора, журнали-

ста, газетчика, патриота и неутомимого общественного деятеля.

Таким образом, в сборнике многогранно представлено творчество выдающегося вьетнамского писателя, внесшего большой вклад во вьетнамскую литературу и в литературу Азии в целом.

А. ИВАНОВА

Издано за рубежом

В ОЖИДАНИИ НОВОГО РОМАНА

Arthur Maimane. Victims. London, Allison and Busby, 1976.

В Лондоне вышел в свет первый роман южноафриканского писателя Артура Меймана (с 1961 года живущего в Англии), автора ряда рассказов, печатавшихся в разных журналах, а также пьесы, поставленной одним из лондонских театров. Жаль, что роман «Жертвы» опубликован лишь теперь: он был написан около десяти лет назад, и той Южной Африки, которая в нем изображена, больше не существует. В результате массовых насильственных переселений исчезли черные районы и поселки, описанные Мейманом. Изменился не только фон (действие развертывается в Иоганнесбурге), изменилась политическая атмосфера, а также образ мышления угнетаемых южноафриканцев, которые сейчас вступают в заключительную стадию борьбы за свое освобождение. А потому всякий южноафриканец неизбежно задастся вопросом, насколько тема, поднятая Мейманом, актуальна теперь для его страны.

Время действия, как сказал Артур Мейман в своей речи на приеме, устроенном в связи с выходом его книги,— первое десятилетие после введения апартеида, что и определяет судьбы и переживания персонажей. Однако следует сразу же указать, что расизм был одним из столпов южноафриканского общества еще в первые годы колонизации, и апартеид, введенный нынешним правительством, когда оно пришло к власти в 1948 году, представляет собой лишь крайнюю форму выражения этого расизма.

Завязка романа — изнасилование белой женщины черным, и сюжет строится на последствиях, которые оно имело и для нее, и для насильника. Оба они — «жертвы», как и те, кто близко с ними связан.

Черный совершает это преступление, чтобы «отомстить» за себя всей расистской системе, осквернив ее «святая святых» — культ Белой Женщины. Невольно возникает вопрос, насколько самоанализ, которому предаётся мейманов ский Филлип Моконе, совместим с подобными действиями. Его духовный мир, пусть в чем-то и темный, его споры с приятелями-журналистами о политических и социальных проблемах Южной Африки представляются малотипичными для человека, способного напасть на беззащитную женщину.

«— Ты жалеешь себя?

— Да, пожалуй,— признал он, помолчав.— И жалею, что мы живем в стране, где человека вынуждают на подобное».

Для Моконе изнасилование — это демонстрация его ненависти к белым, но, поскольку роман строится вовсе не как аллегория, трудно поверить, что насильник будет теоретизировать по поводу своего преступления. Затем близость с другой белой женщиной, возникшая из взаимного чувства, и далее брак с любимой черной девушкой пробуждают в нем раскаяние, и он даже приходит к своей жертве, чтобы както оправдаться.

Сама «жертва», Джин Райен, также вынуждена прибегать к демонстрациям. Ее муж поначалу относится к ней с бережным сочувствием, хотя, конечно, и испытывает отвращение при мысли, что к его жене прикоснулся черный. Но когда она объявляет, что беременна, а затем решает сохранить ребенка, он не выдерживает. Сам он не способен иметь детей, и тот факт, что его жена забеременела от черного, для него особенно оскорбителен. Его поведение вполне соответствует нормам расистского общества. Они разводятся, и Джин становится изгоем — друзья и знакомые не хотят иметь с ней ничего общего, раз она готова стать матерью цветного ребенка. Так она протестует — то ли против лицемерия, то ли против расизма: «Я рожу моего ребенка... Это всерьез? Брошу вызов и ему и всем этим самодовольным рожам? Хочу доказать свою храбрость?» И снова возникает вопрос: типичны ли такие мысли для жертвы изнасилования?

Можно возразить, что эти персонажи вовсе не были задуманы как типичные для Южной Африки. Но в таком случае намерение автора показать, что все люди по обе стороны цветного барьера — жертвы расизма, заранее обречено на неудачу. Как бы то ни было, действующие в романе белые — это не заурядные южные африканцы. Все они принадлежат к кругу попивающих коктейли либералов, с которыми Мейман общался в те дни, когда работал репортером еженедельника «Голден сити пост» и журнала «Драм». Это обитатели богатых пригородов Иоганнесбурга, которые в знак протеста против законов о спиртных напитках наперебой приглашали на свои вечеринки черных интеллигентов, но Артур Мейман совершенно напрасно считает, что они — это «все белые». Нет, они — лишь те белые, с которыми писатель и другие представители черной интеллигенции встречались как с хорошими знакомыми. Джин Райен принадлежит к этому же кругу, чем, возможно, и объясняются ее дальнейшие «либе-

ральные» решения. К тому же предки ее были выходцами из Уэльса, а замужем она за ирландцем, и ее трудно счесть типичным воплощением южноафриканской Белой Женщины.

Если Артур Мейман хотел показать, как расизм воздействует и на черных и на белых — превращая и тех и других в «жертвы», ему не следовало бы примешивать сюда размышления о поверхностном либерализме, которым он предается в романе. Эти темы лучше было бы рассматривать раздельно, тогда реакция его персонажей на насилие не была бы столь неубедительной.

Автор даже прямо выражает свое саркастическое отношение к либералам, замечая в предисловии: «На всех «смешанных» вечеринках в богатых пригородах Иоганнесбурга нас, «молодых черных интеллигентов», постоянно спрашивали, когда же мы напишем Великий Южноафриканский Роман. И эта книга — мой вариант такого романа». Стоило ли писать столь длинное произведение, чтобы подтвердить основательность этой насмешки?

В послесловии, добавленном в 1976 году, автор указывает, что «положение в Южной Африке стало с тех пор гораздо хуже». Рецензент позволит себе не согласиться с этим: положение в Южной Африке стало гораздо лучше, потому что «жертвы» ведут борьбу с расизмом, как никогда раньше, и с оптимизмом смотрят в демократическое будущее Южной Африки. Артур Мейман утверждает, что он «не политик», но для того чтобы создать хороший роман, вовсе не обязательно быть политиком. Однако «Жертвы» обладают рядом художественных достоинств, и если бы Мейман снова обратился к темам, которые он затрагивал в своих рассказах, его книга, вероятно, стала бы значительным вкладом в южноафриканскую и афро-азиатскую литературу Но мы надеемся, что автор не отказался от мысли о втором романе и в будущем нам предстоит познакомиться с его новыми работами.

АЛЕКС ЛА ГУМА

г. Лондон

ЛЕГЕНДА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Jurij Brězan. Krabat oder Die Verwandlung der Welt. Berlin, Neues Leben, 1976.

Один из наиболее значительных писателей ГДР Юрий Брезан по происхождению сорб, и дарование его сформировалось на стыке славянских и германских культурных традиций. Сын крестьянина-бедняка, Брезан с детства был «своим» в сорбской деревне, чью жизнь в прошлом и в наши дни он воссоздал очень ярко во многих своих книгах. Участник (с 17 лет) антифашистского Сопротивления, Брезан после разгрома фашизма был руководящим работником комсомола в сорбском национальном округе и лишь с 1949 года целиком посвятил себя литературной работе.

Новый роман Юрия Брезана «Крабат, или Изменение мира» стоит в ряду тех произведений социалистического реализма, авторы которых в средствах художественного выражения отступают от жестких канонов «классики», ищут новых форм исследования действительности.

В романе сплетены, взаимно «пронизаны» два повествования. Одно — весьма современная история гениального биолога, генетика Яна Сербина, открывшего «формулу жизни»: ее применение дает возможность «перестраивать» человеческую биологию, физиологию, психику, влиять на поведение человека. Время действия этой «современной истории» — наши дни, 1973 год, а место — глухая деревенька в сорбском краю ГДР, Швеция, где Ян Сербин получает Нобелевскую премию, и Рим, где он попадает во власть тех сил капиталистического мира, которые стремятся завладеть его открытием.

Второе повествование начинается с сотворения мира, с того дня, когда библейский господь бог поделил (согласно сорбским легендам) землю и тварь земную между «знатным» и «мужиком» — Крабатом.

«Знатный» (впоследствии он назван графом Рейссенбергом) «логически» убедил господа бога в том, что все лучшее должно принадлежать ему, а то скудное, на что может прожить Крабат, — он должен получить лишь из рук «знатного». И для верности тот наложил свое клеймо не только на домашний скот, но и на плечо мужика. Так оно и пошло дальше. Но в те же дни творения и «распределения» никому не нужную мельничку на ручье забрал себе (неведомо откуда взявшийся) мельник и трубач — Якуб Кушк, а вскорости появился на свет «дружко» всех будущих свадеб Петер Сербин. Впрочем, есть в народе мнение, что он и Крабат — одно лицо.

Крабат, несмотря на все свои человеческие черты и слабости, все-таки по существу — не «лицо», а «бунта вечного дух непреклонный», а может быть, как полагает автор, он носил и много других имен — от Спартака до Яна Гуса.

И его борьба (с помощью мельника-трубача) с Рейссенбергом носит былинно-сказочный характер. А «укоренена» в исторической реальности судьба рода Сербиных и их многовековое сопротивление произволу Рейссенбергов — трагические эпизоды этого неравного поединка изображены в романе с большой силой. С такой же силой и мастерством нарисован в романе и сегодняшний день Сербиных — стариков, доживающих свой век в ветхом домике на холме, окруженном легендарными реликвиями — памятниками истории и природы.

Дети далеко от дома. Одна дочь, красавица Урсула, — за границей: ее муж (швед) — капиталист; другая, Катя, живет далеко от родителей и занята своей семьей.

Сын, Ян Сербин, стал великим и знаменитым ученым и давно забыл путь домой. А на «дом» наступает «прогресс», новый день, в котором будущее строится порою слишком «суммарно» и «волюнтаристски».

В части романа, которая исследует вопросы ответственности, нравственности, борьбы за лучшее будущее человечества в формах и образах легенды, притчи, сказки, в таком же «ключе» ставятся и те проблемы, которые — уже в реальном мире наших дней — должен будет решать биолог Ян Сербин.

Так (все в те же дни творения), Люцифер, пожалевший обобранного Крабата, украл для него у господа бога трость черного дерева с набалдашником из слоновой кости, где выгравирована история Адама и Евы. А трость эта — волшебная палочка, осуществляющая любой приказ или пожелание хозяина. Но все — и как будто разумные, полезные, бесспорные и «волюнтаристские» приказы Крабата ведут только к бедам и катастрофам, так что он зарекается творить чудеса. Опасность и безнравственность «волюнтаристски» совершаемых чудес поймет в свое время и гениальный ученый Ян Сербин и пожертвует жизнью, чтобы закрыть эту возможность для тех, кто стремится использовать его открытие в подобных целях.

Смысл и «легендарной» и «современной» линии романа — один Достичь «страны счастья», «изменить мир», «убить страх», пригвоздить к дереву волка Рейссенберга, принимающего все новые обличья, можно не с помощью тех или иных «чудес» науки или техники, а лишь с помощью нового устройства *всего мира*, братской солидарности трудового человечества, покончившего с эксплуатацией, неравенством, войнами, поставившего науку, «чудеса» на службу всеобщему счастью.

Очень сильно и убедительно звучит в романе брехтовская тема ответственности ученого, необходимости той связи науки с интересами трудового народа, человечества, которая не даст использовать ее для смерти и разрушения.

Сам Ян Сербин гибнет в поединке с одним из некоронованных королей капиталистического мира, и все же в смерти своей он одерживает победу для человечества, потому что в поединке этом он «становится Крабатом» — и он, уже «бунта вечного дух непреклонный», морально разоружает другого, тоже гениального ученого — Лоренцо Цебалло, воплощающего в себе ту «чистую», оторванную от народа и человечества науку, чьи великие достижения неизбежно попадут в грязные и корыстные руки, послужат угнетению и смерти. Лоренцо — и лишь он один — мог бы догнать Яна Сербина, самостоятельно прийти к уже сделанному тем открытию, но моральная сила и стойкость Яна заставляют Лоренцо добровольно отказаться от дальнейших опытов.

Для меня убедительны обе взаимопроникающие линии романа — «сказочная» и «всамделишная», и сливаются они хорошо — то в поэтическом пафосе, то в иронии, то в озорстве.

Мне думается, однако, что те «экскурсы» сказочных героев в реальную современность, «облик» которой дан через ироническую символику, порою несколько отяжеляют повествование. Иррационализм капиталистической экономики, расизм, социальное неравенство, военная агрессия, «сладкая жизнь» «ста семейств», уродство человеческих отношений автор раскрывает ярко, образно, средствами, я бы сказала, реалистического гротеска. Он и здесь стремится до самых «закоулков» исследовать то, что делает с людьми капиталистическое общество. Но все же богатство это читатель порою ощущает как «переизбыток».

И еще одна чудесная черта романа — это показ силы «вечно женственного», воплощенного в матери, жене, возлюбленной, подруге, тема неотделимости подлинной любви от борьбы за человеческое достоинство и счастье всех людей мира.

Е. КНИПОВИЧ

О ЖЕНЩИНАХ АЛЖИРА

Françoise Corrèze. Femmes des Mechtas. Paris, Les Editeurs Français Reunis, 1976.

Франсуаза Коррез — поэт. Благодаря ее сборникам — и самому первому «Что я хотела бы сказать» (1954), и более поздним «От одного солнца к другому» (1968), «Рассвет и зерно» (1969) — мы полюбили мягкий и теплый голос писательницы, лаконичный стиль и ясный язык, которым рассказывает она о том, что происходит в мире.

Будучи по профессии учительницей, Франсуаза Коррез преподавала в школах Вьетнама и Алжира.

Из Вьетнама она привезла стихи вьетнамских детей, безыскусно поведавших о драме и несломленной вере в будущее своей родины («Песня продолжается», 1971), а также книгу «Ростки бамбука» (1972), посвященную вьетнамской молодежи.

И вот после длительного пребывания в Алжире появилось ее свидетельство о жизни востока этой страны — «Женщины из кишлаков». Здесь, на высокогорном плато Ореса, где в 1954 году вспыхнуло пламя Сопротивления, Франсуаза Коррез наблюдала, вникала, слушала, интересуясь в первую очередь женщинами из кишлаков, их каждодневной, зачастую тяжелой жизнью, их надеждами и тем, как, борясь за новый Алжир, воюют они с нищетой, предрассудками и невежеством. Скромные, незаметные женщины, которые сражались часто бок о бок с мужчинами, сегодня упорно и терпеливо стараются преодолеть отсталость, вызванную колониальным господством, и создать иную, счастливую жизнь.

Франсуаза Коррез не скрывает своей симпатии к новому Алжиру и алжирским женщинам (да и почему бы ей скрывать это?), но в ее очерках нет ни нарочитости, ни назидательности. Писательница точна в своих наблюдениях, она умеет различать нюансы и понимать с полуслова. Страницы

ее книги исполнены братских чувств и в то же время отличаются психологической тонкостью и глубиной.

Книга содержит очень существенные приложения, где помещены некоторые данные анкет, проведенных на тему: «Положение женщины дома и вне дома»; здесь же можно прочитать и отдельные ответы опрошенных девушек и женщин. В книгу включено эссе о движении добровольцев, участвующих в претворении в жизнь аграрной реформы; перед нами и общий анализ таких проблем, как крупное землевладение в районе Айн-Бейда, мелкая собственность, ирригация, эмиграция, борьба с неграмотностью, школьное образование.

Эти материалы, исторические и социологические, подкрепляют увиденное собственными глазами писательницы, что все-таки составляет основу книги, богатой деталями повседневности, описаниями деревень и домов, портретами, меткими наблюдениями над нравами и языковыми особенностями. Поэт и этнолог здесь объединились, чтобы создать очень точную и любовно выписанную картину, поучительную и вместе с тем трогательную: «Радушная улыбка освещает на мгновение ее (Фатимы.— *П. Г.*) темные глаза, не оживив, однако, печально-задумчивого лица.

От бесконечных стирок платье ее выцвело. Из-под красно-черной косынки спускаются две тяжелые темные косы, окаймляя овал лица, покойная невозмутимость которого лишь подчеркивает тонкие черты. Вскоре, устроившись в беседке из виноградных лоз, мы пьем традиционный кофе, поданный в маленьких чашечках без блюдец, какие можно купить на любом базаре или у молодых разносчиков — вместе с синими кофейниками, блестящими кастрюлями, ложками, ножами и разрисованными блюдами, вперемежку сложенными в большом тазу из зеленой пластмассы».

Светлой надеждой проникнута эта книга, но автор ее не умалчивает и о том, что еще предстоит сделать стране. Действительно, «двенадцати лет недостаточно, чтобы покончить с гетто, в котором по вине колониализма жили народные массы — и в прошлом и в настоящем самый надежный потенциал социалистической революции». В качестве эпиграфа к книге Франсуаза Коррез выбрала совет, данный Катебом Ясином: «Искать надо, идя в народ». И отправившись в народ, она нашла там чистоту, достоинство и мужество, которые позволят построить счастливый Алжир, — на это полное право имеет его народ.

ПЬЕР ГАМАРРА

г. Париж

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЕНСАЦИИ

Stefano D'Arrigo. Horcynus Orca. Milan, Arnoldo Mondadori, 1975.

Двадцать лет вынашивалась и переделывалась эта книга, прежде чем можно было написать слово «конец» и передать рукопись издателю. Потом — всплеск рекламы и первые, благоприятные, отклики в прессе. Некоторые говорили о «долгом путешествии от мифа к роману», другие утверждали, что речь идет об «одном из крупнейших литературных произведений новеченто», третьи подчеркивали, что перед нами «достопамятное деяние», четвертые, как «Унита», уточняли, что роман «колеблется между эпической фантазией и неонародничеством». А критик Пьетро Читати, говоря об авторе, заметил, что он из тех, кто «никогда не кажется удовлетворенным, никогда не кажется довольным».

Он упорствует, повторяет, повертывает то так, то этак, растягивает, развивает, закручивает и видоизменяет каждый мотив. И поэтому всякий, кто знакомится с книгой, испытывает чувство боли и чуть ли не ярость, видя, что такой талантливый писатель становится жертвой вампира, высасывающего лучшие соки его дарования. Но как бы то ни было, «длинный, длинный роман, почти что целая жизнь» актуален для сегодняшнего момента, и о нем говорят не только самые серьезные и добросовестные критики, но и все те, кто следит с социальной и политической точек зрения за событиями культурной жизни, происходящими в Италии.

Роман, о котором идет речь,— «Horcynus Orca»; в нем 1257 страниц, почти рекорд, если говорить о среднем размере итальянских романов. Автор, вызывающий столько споров, — Стефано Д'Арриго.

Надо сказать, что едва лишь рукопись была отправлена в типографию, издатель Мондадори развернул максимально широкую рекламную кампанию, чтобы нанести контрудар другому «монументу» современной итальянской культуры, а именно «Истории» Моранте, книге, о которой журнал «Иностранная литература» подробно информировал своих читателей [1].

Шумная предварительная реклама была воспринята как самый настоящий «бум» и, следовательно, как фактор отрицательный, ненужный, если речь идет о серьезном произведении. С другой стороны, она возбудила большой интерес, и, едва лишь книга вышла, начались обсуждения и дискуссии, которые помогли прояснить целый ряд вопросов, поднятых книгой.

Постараемся восстановить историю создания этого романа, начав в первую очередь с личности самого автора. Родившийся в 1925 году в Сицилии, на побережье Ионического моря, у самой горловины пролива, между «Сциллой и Харибдой», Д'Арриго приехал в 1946 году в Рим как «поденщик умственного труда в поисках работы». Начал он с писания стихотворений, а затем принялся работать над большой книгой, которую высоко оценило жюри, состоящее из таких деятелей, как Витторини, Дзават-

[1] См. статью Ц. Кин «Прошлое, которое не посмеет вернуться» в № 2, 1975.

тини и Монтале: жюри присудило премию за еще незаконченную рукопись. Впоследствии, в 1960 году, Витторини опубликовал в своем замечательном журнале «Менабо», внесшем столь живительную струю в итальянскую культуру, большой отрывок из этой работы — около ста страниц.

Однако практически книга оставалась неизвестной и влиятельной критике, и читателям.

Но Д'Арриго терпелив и методичен. Он пишет, будто вышивает словесный узор, добавляет, переделывает. Работа этого писателя похожа на работу исследователя: автор стремится добиться максимального эффекта, вводя в текст типичные выражения «диалекта-языка» Сицилии. Проходят годы. «Я состарился над этой книгой,— признается Д'Арриго друзьям,— вдобавок меня еще будут упрекать за то, что я создал легенду о самом себе. Но для того чтобы не превратиться в легенду, я должен был бы проводить все свои дни и все вечера в кафе, с другими». Д'Арриго хочет сказать, что его долголетняя, упорнейшая работа явно противоречила жажде популярности и легкого успеха. Другие, полемически заявляет писатель, пекли по книге в год и приобрели известность, завоевывая премии. А Д'Арриго в это время продолжал работать...

Следовательно, в романе особенно важен долгий период его «созревания». Отсюда ожидание и интерес критики. Уже заглавие, само по себе странное, предвещало нечто неуловимое, оригинальное, необычайное.

Кроме того, сюжет также отнюдь не прост. Книга повествует о том, как осенью 1943 года, когда в разгромленной, раздавленной войной Италии обнажились все раны, все человеческие, моральные, социальные и политические проблемы, в родные места возвращается бывший военный моряк, молодой человек по имени 'Ндрия Камбрия. Он проделывает пешком долгий путь по опустошенной войной Калабрии, стремясь добраться до своей земли — Сицилии. Именно в описании этого долгого пути обнаруживает Д'Арриго все свое дарование рассказчика, стилиста, исследователя. «В книге,— говорит он,— нет ни одного придуманного словообразования. Я работал над ней, опираясь на точные филологические данные. В книге налицо все лингвистические островки, которые, вместе взятые, образуют остров Сицилию».

Автор старается объяснить смысл и назначение своих лингвистических изысканий: «В одной лишь провинции Мессина, как раз там, где хочет высадиться 'Ндрия Камбрия, сохранились все лингвистические напластования, оставленные в наследие сменявшими друг друга завоевателями. В Сицилии нет диалектов, там существуют различные типы языков: греческий, латинский, арабский, французский, арагонский. Это не мертвые языки, на них продолжают говорить. Это и не совершенно отрезанные один от другого языки, хотя на первый взгляд может показаться, что между ними нет никакой взаимосвязи. Я как раз и стремился к тому, чтобы разрушить ходячие представления о типично сицилийском и восстановить слой за слоем язык Сциллы и Харибды. Иначе говоря, меня интересуют не различные диалекты, а воссоздание полноценного, всеобъемлющего языка. И если я чувствую, что какое-то слово звучит сухо и жестко, я доверяюсь красоте общего звучания, ритмически-звуковым требованиям определенной фразы».

Лингвистические изыскания для писателя — не самоцель. Опираясь на них, он повествует о судьбе своего героя, который совершает столь долгий путь, чтобы добраться до родных мест. Он проходит пешком всю Калабрию, но ему предстоит перебраться через узкий пролив между Калабрией и Сицилией. Все это «гомеровские места». И закономерно, что в романе возникает сильный и сказочный образ Цирцеи — волшебницы из «Одиссеи». Непонятная и яркая, мистическая и загадочная женщина, Цирцея совершает таинственные путешествия между Сциллой и Харибдой. Именно Цирцея поможет 'Ндрии Камбрии совершить переправу через пролив. Образ этот нужен роману, чтобы начать затем философский разговор о людях, их нужде, о разрушении цивилизации и падении морали, вызванных войной. Страницы, насыщенные символами, сменяются конкретными житейскими описаниями.

Вернувшийся с фронта 'Ндрия Камбрия с помощью Цирцеи возвращается наконец на свой остров. Но остров окружен коварными дельфинами fere, которые становятся наряду с людьми действующими лицами романа. Объясняя их природу и свойства, Д'Арриго в одном из интервью сказал, что сицилийские рыбаки так прозвали эту разновидность дельфинов, диких и свирепых. Они стремительно размножаются и становятся все более опасными. Зона, где когда-то, до войны, все было иначе, сейчас находится в их власти. Бедный 'Ндрия Камбрия, преодолевший столько препятствий и трудностей, чтобы вернуться на родину, видит, чувствует и наконец осознает, как изменились его земляки, которые не верят в былые нравственные ценности и предали забвению нормы, когда-то определявшие поведение и взаимоотношения рыбаков. Эти страницы, пожалуй, самые сильные в романе. Некоторые из числа самых авторитетных итальянских критиков отметили, что здесь, в рыбацком поселке, происходит почти «органический распад» тех принципов коллективной жизни, которые когда-то казались незыблемыми. Война и фашизм, виновный в этой войне, подорвали то «чувство энергичной мужественности», что было так дорого 'Ндрии Камбрии. Коварные fere сыграли в этом процессе распада решающую роль. Мы понимаем, что это — аллегория, с помощью которой писатель выразил свое отвращение к фашизму и к войне.

И вот на этом фоне возникает наконец Орка, давшая название роману. Она тоже принадлежит к породе дельфинов, но Орка — нечто совсем иное, нежели fere. Это гро-

мадное морское животное, потомок библейских Бегемота и Левиафана. Орка обладает способностью беспрепятственно плавать по всем морям и океанам, сама по себе она не коварна и не злобна, но ее прозвали Оркой, приносящей Смерть (Horcynus Orca). Как раз в те дни, когда 'Ндрия Камбрия начинает с ужасом понимать, как страшна окружающая его реальность, к берегам Сицилии приплывает из северных морей страшно израненная, почти ослепшая Орка.

До сих пор ее чтили и боялись. Но теперь fere замечают ее слабость. Они набрасываются на нее и стараются поразить жизненно важные центры. Орка безуспешно пытается спастись. Воды Ионического моря становятся красными от крови этого гигантского животного, подобного дрейфующим обломкам, или паруснику, плывущему без руля, или величественному поваленному дереву. Fere, устремившиеся на трагический пир, победили. Но смерть Орки — лишь один момент драмы, а не эпилог ее. Труп Орки прибит к берегу, и теперь вслед за fere дожидаются своего часа и рыбаки, которые начинают торговать трупом. Отвратительные обстоятельства, сопровождающие эту спекуляцию, свидетельствуют о полном нравственном падении когда-то честных и мужественных людей. Теперь они стремятся только к обогащению, конкурируя друг с другом. Все былые моральные ценности коллектива забыты.

Когда-то, в ранней юности, 'Ндрия Камбрия бесконечно верил этим людям, но теперь юношеские иллюзии гибнут бесповоротно, прежние «идолы» низвергаются. Гибель Орки приобретает символическое значение. 'Ндрия Камбрия, размышляя о жизни и смерти, открывает для себя прежде неведомые истины. Он становится сильнее и мудрее, пережитые ужасы войны не забыты, но нельзя принимать их пассивно — с иллюзиями покончено, однако пора думать о чем-то ином, высшем, подлинном. Орка погибает после долгих странствований. В какой-то мере моряк 'Ндрия Камбрия похож на Орку. Он тоже серьезно ранен, он — жертва войны, потрясений 1943 года. Но ранен он в борьбе за иное, лучшее будущее.

Стефано Д'Арриго размышляет о смысле истории. Он пишет усложненно и трудно, даже зашифрованно, но основная идея романа так или иначе проясняется. Речь идет не только о личной судьбе героя — 'Ндрии Камбрии. Однако одновременно с процессом постепенного внутреннего духовного роста, прощания с иллюзиями прошлого и открытия новых позитивных ценностей Камбрия неумолимо приближается к смерти. Он, как отдельный индивидуум, обречен. По замыслу автора он должен погибнуть, и смерть внезапно застает его в море, подобно тому как это случилось с Оркой. Смерть — выразимся словами, которыми заканчивается книга,— избирающая как идеальное место «море слез, смыкающееся и размыкающееся при каждом ударе весла, глубоко, как можно глубже, там, где море есть море».

Вот и прочитана эта книга — более тысячи страниц. Д'Арриго хотел создать современную эпопею, напоминающую величественный эпос и мифологию Гомера. В основе его замысла лежало восхищение основами народной жизни, естественными чувствами доброты, солидарности, чести, и мужеством, присущими народу. И как противопоставление этому — отвращение ко всему жестокому, антигуманному, бесчеловечному, что несет миру фашистский милитаризм. Эти идеи, повторяю, выражены усложненно. Не случайно многие итальянские критики упрекали Д'Арриго за то, что он слишком пристрастен к подробностям, слишком многословен. Мало того, некоторые критики признавались, что им не удалось преодолеть «подводные камни» первых страниц. Но как бы то ни было, большинство с этими трудностями справилось, подтверждением чего явились десятки и десятки рецензий, интервью, заметок, появившихся в итальянской печати — в журналах и газетах.

Так или иначе книга, которую сам Д'Арриго определяет лишь как «рассказ о возвращении», заняла подобающее ей место. Можем ли мы считать, что гибель 'Ндрии Камбрии свидетельствует об историческом пессимизме писателя? Отнюдь нет. Это лишь гибель одиночки. Критик газеты «Унита» В. Спинацола писал: «Главная идея сводится к тому, что народная община должна возродиться и остаться верной самой себе». Антифашистский пафос романа также неоспорим, хотя сама усложненность текста порою затрудняет понимание символов и аллегорий. Роман этот глубоко философичен, но ясно, что Д'Арриго верит в конечную победу доброго, н а р о д н о г о начала над злобными силами фашизма, развращавшего сознание людей.

Может быть, слишком много места в романе занимают лингвистические изыскания писателя, они интересны и важны сами по себе, но усложняют чтение. Конечно, литератор имеет право на эксперимент, но Д'Арриго и сам чувствует, что его текст местами труднодоступен. Недавно он признался друзьям, что хочет переработать роман, так как «ритм повествования слишком напряжен и нужно добиться большей музыкальности». Кроме того, Д'Арриго собирается писать и нечто новое. «У меня есть одна идея,— сказал он,— но говорить о ней еще слишком рано». И добавил, что, после того как закончил свой роман, ему казалось, что очень долго он будет не в состоянии вновь взяться за работу. «Теперь это ощущение прошло. Теперь я понял,— заявил Д'Арриго,— что снова смогу писать».

КАРЛО БЕНЕДЕТТИ

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН АЙРИС МЕРДОК

В центре внимания британской общественности — новый роман известной английской писательницы Айрис Мердок «Генри и Като», выпущенный издательством «Чатто энд Уиндус».

С каждой новой книгой А. Мердок, пишет рецензент литературного приложения к «Таймс» Д. А. Н. Джойнз, тезис об абсурдности человеческого существования и возможности управлять абсурдом получает все большее художественное и философское подтверждение в ее творчестве.

Как всегда, замечает рецензент, построение сюжета у А. Мердок в достаточной степени схематично. Параллельно в романе развиваются две жизненные истории: Като и Генри, двух молодых людей, друзей с детства, которые, пройдя через серию жизненных испытаний, выпавших на их долю, обретают, по словам критика, «мудрость быть счастливыми».

В молодости и Генри, и Като оставили отчий дом, отвергли ценности отцов. Оба они—блудные сыновья. Като отказался признать рационализм жизненной позиции отца. Он обрел истинное знание, посвятив себя «служению людям», став священником. Генри после смерти старшего брата, которому всю жизнь завидовал, внезапно становится обладателем огромного состояния. Однако и оно не приносит ему счастья. Он выгоняет из поместья мать и ее любовника, а сам отправляется в Америку, где ведет крайне замкнутый образ жизни. Неожиданная встреча с сестрой Като — пересечения человеческих судеб, как всегда у Айрис Мердок, играют большую роль в сюжете романа — коренным образом меняет его жизнь. Семья приносит ему подлинное счастье, он учится мудрости семейного счастья, которое, по мнению Айрис Мердок, «труднее, нежели мученичество».

В известной степени, пишет рецензент «Нью стейтсмен» (с ним согласен и критик из «Таймс литерари сапплмент»), последний роман Айрис Мердок проникнут религиозными настроениями: все ее симпатии отданы Като, носителю христианской морали — силы, способной, как полагает писательница, упорядочить существующий в мире абсурд.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КИПЛИНГА

Судьба литературного наследия Редьярда Киплинга вновь стала предметом комментариев английской прессы в связи с публикацией завещания его дочери Элси Бэмбридж, которая была и литературным душеприказчиком писателя. Она скончалась в Англии в возрасте 80 лет.

По завещанию покойной, рукопись «Простых рассказов с гор» передается Британскому музею, а все семейные дневники, отражающие личную жизнь Киплингов, должны быть сожжены. Это относится как к собственным дневникам Элси Бэмбридж, так и к записям ее матери, охватывающим события 1892—1936 годов. Кстати, именно жена Киплинга была «основоположницей» семейной традиции сжигания документов. Она сожгла записные книжки Киплинга, содержавшие, кроме дневниковых записей, наброски его творческих замыслов и незаконченные произведения, которые так и не были опубликованы. Жена и дочь писателя потратили немалые суммы на то, чтобы выкупить у различных адресатов его письма, которые также были преданы огню.

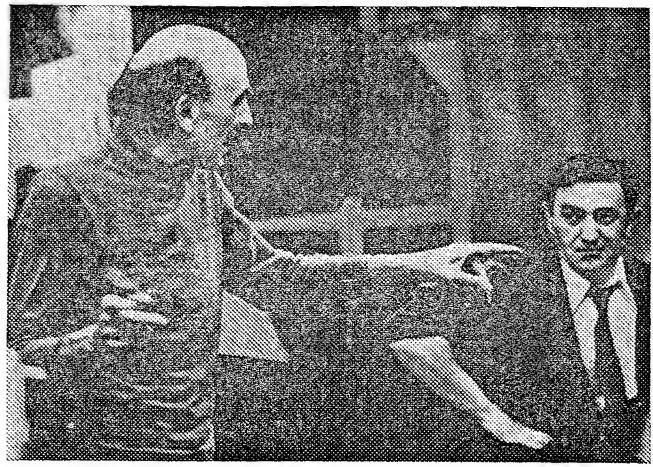
БОЛГАРИЯ

БОЛГАРСКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

Двадцать девять стран Европы, Азии, Африки и Америки участвовали в проходившей в Софии Девятой международной выставке книги, на которой было представлено 22 000 книг — продукция 582 издательств. На высоком уровне находится издательское дело в самой Болгарии, где, как пишет еженедельник «Народна култура», за последние 30 лет было издано около ста тысяч книг тиражом почти миллиард экземпляров. Ширится популярность болгарской книги, в том числе и художественной, за рубежом. Ежегодно за границей выходит около ста книг болгарских авторов.

На выставке были присуждены премии за лучшее издание болгарской книги за рубежом. Жюри рассмотрело 79 книг, вышедших после сентября 1975 года в двадцати странах. Первые премии получили книги: Христо Ботев «Поэзия» (изд-во «Кобунша», Токио); Тодор Живков «О современной Болгарии» (изд-во «Марксистише блеттер», ГДР); вторые премии — Иордан Иванов «Богомильские книги и легенды» (изд-во «Мезон нев», Париж); Христо Смирненский, Гео Милев, Никола Вапцаров «Избранное» (изд-во «Художественная литература», Москва); третью премию — Ангел Каралийчев «Сказочный мир» (изд-во «Альбатрос», Прага). Грамотами награждены книги Йордана Радичкова «Мы, воробышки» (изд-во «Тами», Хельсинки); Тодора Живкова «Болгария в прошлом и при социализме» (изд-во «Прогресс букс», Торонто); Александра Лилова «Критика» (изд-во «Наукове», Варшава); Камена Калчева «Сын рабочего класса» (изд-во «Киндербухферлаг», Берлин, ГДР).

ВЕНГРИЯ



Венгерский Национальный театр осуществил постановку новой сатирической комедии Иштвана Эркеня «Ищущая ключи». Как пишет журнал «Филм, синхаз, мюжика», пьеса, действие которой происходит в одном из домов заводского поселка, рассказывает о сложности человеческих отношений, о нравственных поисках героев.
На снимке: режиссер спектакля, народный артист ВНР Томаш Майер с актером Иштваном Аваром на репетиции.

(Журнал «Филм, синхаз, мюжика»)

КНИГА ПЕРЕВОДОВ АНТАЛА ГИДАША

Вышла в свет книга избранных переводов известного венгерского поэта Антала Гидаша под названием «Облака кричат».

Как пишет в газете «Непсабадшаг» критик Эрвин Хаваш, «творчество и вся деятельность Антала Гидаша являются живым воплощением венгеро-советской дружбы. Гидаш многое сделал как для издания венгерских поэтов на русском языке, так и для издания советских поэтов, в том числе поэтов народов СССР, в Венгрии».

В сборник избранных переводов «Облака кричат» вошли произведения классиков — Державина, Пушкина, Лермонтова, Крылова, Языкова, Тютчева, Некрасова, Горького, Шевченко.

В первые же годы после Освобождения венгерские читатели, благодаря переводам Гидаша, смогли ознакомиться с поэзией В. Маяковского, Д. Бедного, С. Щипачева, М. Исаковского, Ал. Суркова, Л. Мартынова, П. Тычины, Я. Купалы, Я. Колоса, П. Бровки, Джамбула Джабаева.

«Переводы Гидаша,— пишет Эрвин Хаваш,— органически входят в его творчество — такое разнообразное по жанрам и темам и особенно знаменательное тем, что оно всегда несет на себе приметы времени».

ВЬЕТНАМ

СБОРНИК ПЕСЕН ЛЫУ ХЫУ ФЫОКА

Издательство «Зяй фонг» выпустило сборник песен известного вьетнамского композитора Лыу Хыу Фыока, где собраны произведения, созданные им в разные периоды жизни и отражающие важные этапы национально - освободительной

На снимке: Эрвин Гешоннек в фильме «Старая модель», снятом по сценарию Иоахима Новотного режиссером Ульрихом Тайном.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

борьбы вьетнамского народа: «Клич молодых», «Двадцатилетие», «Освободим Юг», «Вперед, к Сайгону!» и др. Сборник, состоящий из 65 песен, издан тиражом в 100 тысяч экземпляров.

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЖУРНАЛА

Вышел в свет первый номер журнала «Шанк хау», органа Союза театральных деятелей Вьетнама. Новое издание будет знакомить читателей с достижениями отечественного и зарубежного театра, публиковать теоретические материалы, пьесы для профессиональных и самодеятельных театральных коллективов. Следующий, второй, номер журнала посвящается проблемам театрального искусства на Юге страны.

ГДР

НОВАЯ КНИГА ГЕРМАНА КАНТА

Еженедельник «Зонntаг» опубликовал отрывок из нового романа Германа Канта «Местопребывание», который вскоре выйдет в издательстве «Рюттен унд Лёнинг».

Герой книги Марк Нибур, по профессии печатник, 1926 года рождения (как и сам Герман Кант). В восемнадцать лет его мобилизуют и отправляют на Восточный фронт, где вскоре он попадает в плен, затем в тюрьму. Его судьба и составляет сюжетную линию романа.

«Но главное в новом романе Канта не сюжет, а размышления автора о том времени и тех процессах, о которых мы и до сих пор мало еще знаем,— пишет «Зонntаг».— Основной проблемой романа становится вина и ответственность тех немцев, которые были мобилизованы фашизмом, за страшную судьбу поляков. И Нибур постепенно понимает, что он, молодой солдат, тоже несет часть этой вины и этой ответственности...

Книга Канта рассказывает о трудном пути от фашистского нападения на Польшу к сегодняшнему дню, к тем дружеским добрососедским отношениям, которые существуют между двумя народами».

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ЭРВИНА ГЕШОННЕКА

Исполнилось 70 лет известному актеру Эрвину Гешоннеку. Многие роли сыграны актером в театре, в частности на сцене «Берлинер ансамбль». Он выступал в пьесах Брехта, Штриттматтера, Гауптмана, Горького, Шоу, Ибсена, Клейста.

Но настоящую славу принесли ему кино и телевидение. Зрители хорошо помнят исполнение им роли полковника Петерсхагена в известном телевизионном фильме «Совесть пробуждается», его участие в фильмах «Знамя Кривого Рога», «Голый среди волков», «Каждый умирает в одиночку», «Якоб-лжец», «Банкет для Ахиллеса» и многих других.

«Фильмы, в которых снимался Гешоннек,— отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд»,— как правило, становятся значительными явлениями в кинематографии Германской Демократической Республики. Гешоннеку удалось создать ряд интересных характеров. Его игру отличает острая социальность, простота, тонкое понимание психологии героев».

«Большой жизненный опыт Эрвина Гешоннека, пережившего ужасы фашистских лагерей Дахау и Заксенхаузена, помогает ему в его правдивом, искреннем, гуманном творчестве»,— пишет газета «Берлинер цайтунг».

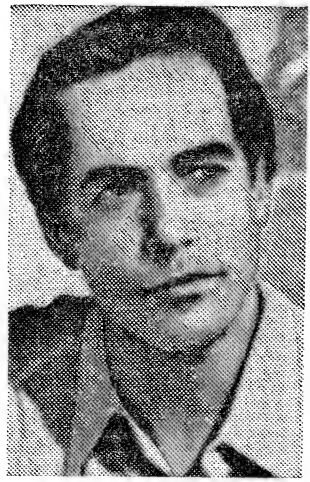
ФРГ

ТРУДНЫЕ ПОИСКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

«Его творчество развивается в стороне от индустрии зрелищ... Он работает на телестудии в Гамбурге почти как затворник — режиссер документальных фильмов Клаус Вильденхан, 46 лет». Так начинает свою статью о документальном кино ФРГ, опубликованную в журнале «Дер шпигель», Петер Штолле. Вильденхана

он называет
типодом ло писателями, ху-
искусства. режиссерами.
денхана,— гречах он с лю-
ле,— раскр минает в своей
сторону з ящая отдельные
«общества ксиму Горькому,
Так, в ка матовой, Борису
в Санкт-у, Михаилу Булга-
вается о еволоду Иванову,
всегдатае Леонову, Илье
вого каба Лидии Сейфул-
нейших р ногим другим пи-
Несколько жиссерам К. С.
хан провел кому, А. Я. Таи-
с места на ейерхольду, ху-
каменщико Э. Грабарю и
чего возн овскому. Встре-
чужбине». атто также с
фильм — «Л ругими русски-
ле» — расска -эмигрантами.
бе за сущест ные контакты
ревне. Крити в его неус-
фильмы Вильд итературове-
каженными, ли универси-
люзий картина сора, выра-
германской де йней мере
сти». альянских
Недавно телев в далеком
веро-западных ра о вместе
показало новую женой
Вильденхана, выпол сновал
совместно с Гизелой Т орый
хаген, — четырехсерий
фильм «Эмден отправляется
в США», рассказывающий о
жизни рабочих крупного
автомобильного концерна
«Фольксваген». Решение ру-
ководителей концерна по-
строить одно из дочерних
предприятий фирмы в США
поставило шесть тысяч ра-
бочих, занятых главным об-
разом на производстве ма-
шин, экспортируемых в
Соединенные Штаты, перед
угрозой лишиться в буду-
щем работы. Фильм сни-
мался в заводских цехах, в
пивных и дома у рабочих.
Но руководство предприя-
тия наложило пока запрет
на съемки. И хотя в органи-
зованной профсоюзом де-
монстрации приняло уча-
стие не так уж много рабо-
чих, для авторов фильма,
подчеркивает Штолле, собы-
тия в Эмдене таят в себе
тенденцию, говорящую о
возможности лучшего буду-
щего.

Эту веру в новую полити-
ческую перспективу разде-
ляют и многие коллеги
Вильденхана, чья сфера дея-
тельности на западногер-
манском телевидении, как
отмечает автор статьи,
очень ограничена. Печален



Испанский режиссер Алессандро Кане поставил на итальянском телевидении фильм о последних днях жизни великого испанского поэта Гарсии Лорки «Убийство Федерико Гарсии Лорки». Исполнитель главной роли актер Роберто Бизакко на вопрос корреспондента «Паэзе сера», какие чувства испытывал он, играя роль поэта, ответил: «Глубокое
лнение от самого прибли-
дят [illegible] человек[illegible]м, что-
бы «дать высказаться с
экрана тем, кто вообще ли-
шен у нас слова». Поэтому
их работы всегда так эмо-
циональны. В то же время
именно это обстоятельство
делает их фильмы, по выра-
жению одного из редакто-
ров телевидения, «столь
плохо включающимися в
смету как в экономическом,
так и в политическом смыс-
ле». Ведь у коммерческого
телевидения, как и других
средств массовой коммуни-
кации в ФРГ,— другая ори-
ентация, пишет Штолле.

ДАНИЯ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ТОВЕ ДИТЛЕВСЕН

Недавно вышли две кни-
ги, посвященные жизни и
творчеству одной из самых
популярных современных
писательниц Дании Тове
Дитлевсен. Первая из них,

КОНГО

«НОВЫЙ РОМАНС»

Так называется книга Ан-
ри Лопеса, известного пи-
сателя и бывшего премьер-
министра Республики Кон-
го, вышедшая в камерун-
ском издательстве КЛЕ. Это
вторая книга писателя, пер-
вая — сборник рассказов
«Племенные предрассуд-
ки»,— опубликованная тем
же издательством, получила
в 1972 году Большую пре-
мию Черной Африки.

«Новый романс» называ-
ют романом нравов совре-
менной Африки. Действие
его происходит в некой
африканской стране, полто-
ра десятилетия назад завое-
вавшей независимость. В
центре повествования — мо-
лодая женщина Вали и ее
муж Нкама, футболист,
развращенный успехом и
почетом, любимец публики.

Все в жизни у Нкамы
складывается легко и про-
сто. Когда же его все-
таки [illegible] работы
новная тематика произведе-
ний Дитлевсен: изображе-
ние внутреннего мира де-
вочки-подростка, девушки,
женщины, размышления о
судьбах женщин и детей в
современном буржуазном
обществе.

Другая книга, под назва-
нием «О Тове Дитлевсен»,
вышла в издательстве
«Гюльдендальс библиотек».
По словам обозревателя
«Информашон», автор книги
Харальд Могенсен вряд ли
сказал что-либо новое о
жизни и творчестве писа-
тельницы. «Это, впрочем, и
не входило в его задачу,—
продолжает обозреватель.—
Многое, если не все, уже
известно от нее самой. Ха-
ральд Могенсен поставил
своей целью добавить лишь
некоторые штрихи к образу
Т. Дитлевсен, хорошо зна-
комому читателям по ее
книгам, которые в основном
носят автобиографический
характер». Книга богато ил-
люстрирована, среди со-
бранных в ней 102 фотогра-
фий многие публикуются
впервые.

На снимке: Эрвин Гешоннек в фильме «Старая модель», снятом по сценарию Иоахима Новотного режиссером Ульрихом Тайном.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

борьбы вьетнамского народа: «Клич молодых», «Двадцатилетие», «Освободим Юг», «Вперед, к Сайгону!» и др. Сборник, состоящий из 65 песен, издан [illegible]ком

ИНДОНЕЗИЯ

ЯВАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОД УГРОЗОЙ

Издательство «Ю. П. Индонесиа» (Джокьякарта) решило переиздать «Сарат Чентини» — знаменитую яванскую поэму, созданную стараниями придворных поэтов Суракарты в начале прошлого столетия. Сюжетная канва поэмы — приключения нескольких молодых людей в водовороте яванской истории XVII века. Поэма вместила в себя столько сведений обо всех областях яванской жизни того времени, что ее по праву называют «энциклопедией яванской культуры». Поэму «Сарат Чентини», переложенную со старинного яванского на латинский шрифт и снабженную необходимыми примечаниями, намечается издать в двенадцати томах, причем каждый том должен состоять из трех выпусков.

В предисловии к первому

«Местопребывание», который вскоре выйдет в издательстве «Рюттен унд Лёнинг».

Герой книги Марк Нибур, по профессии печатник, 1926 года рождения (как и сам Герман Кант). В восем[illegible] лет его моби[illegible] выпуску руководитель издания Х. Карконо Камаджойо просит читателей без задержки подписаться на все издание и пропагандировать его среди друзей и родственников. «Если вы этого не сделаете,— пишет он,— то издание не сможет быть продолжено из-за отсутствия средств».

В своей лекции, прочитанной в последнем семестре 1976 года на литературном факультете Индонезийского университета, Х. Карконо Камаджойо предложил, чтобы в яванских школах яванский язык был уравнен в правах с индонезийским языком. Одновременно он призвал писателей, пишущих на яванском, быть достойными продолжателями традиции классической яванской литературы и не опускаться до копирования далеко не лучших образцов западной литературы. Вырождение яванского языка, пресечение яванской литературной традиции будет невосполнимой потерей для

шоннеку. Мно[illegible] культуры в граны актером [illegible]регает яван- частности на сц[illegible] нер ансамбль». [illegible] пал в пьеса[illegible] Штриттматтера, [illegible] Горького, Шоу, [illegible] Клейста.

Но настоящую с[illegible] несли ему кино и [illegible] ние. Зрители хо[illegible]ЕЙ нят исполнение [illegible] полковника Пете[illegible]ним маль- известном тел[illegible] Гатто на- фильме «Совесть[illegible]ю первую ется», его учас[illegible] «Тайны Си- мах «Знамя Кр[illegible], возвратясь «Голый сред[illegible]ого плена, «Каждый уми[illegible]уровед оста- ночку», «Якоб- немецкой ли- кет для Ахилл[illegible]орой начал бы- других. [illegible]я, и полностью

«Фильмы, [illegible]я исследовани- мался Гешон[illegible]и русской исто- рецензент [illegible] и литературы. Дойчланд»,— с того времени становятся [illegible] развитие слави- явлениями [illegible]талии, которое не- фии Герма[illegible] связано с именем ческой Р[illegible]. Вышедшая сейчас неку уд[illegible]ии его книга «Мои интере[illegible]и с Россией» — не игру[illegible]ко автобиография ученого-слависта и видного переводчика, но своего рода итог его разносторонней деятельности, явившейся немаловажным вкладом в дело ознакомления нескольких поколений итальянцев с русской классической и советской литературой.

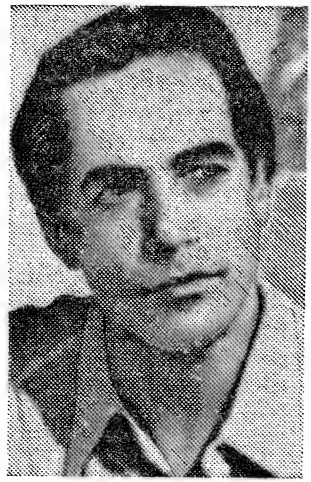
«Прошло уже пятьдесят лет с тех пор, как в 1921 и 1923 годах я установил первые контакты с представителями той литературы, которая очаровала меня еще до того, как я выучил ее язык»,—пишет Ло Гатто. Будучи в Праге, молодой итальянский литературовед познакомился с Мариной Цветаевой, впервые услышал стихи Маяковского и Ахматовой. А в 1921 году известный советский литературовед П. С. Коган пригласил его в Москву на празднование столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского, но поездка состоялась только в 1928 году — Ло Гатто приехал на юбилей Льва Толстого и выступал с докладом со сцены Большого театра.

С тех пор Ло Гатто бывал в Советском Союзе неоднократно, встречаясь с

советскими писателями, художниками, режиссерами. Об этих встречах он с любовью вспоминает в своей книге, посвящая отдельные главы Максиму Горькому, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Михаилу Булгакову, Всеволоду Иванову, Леониду Леонову, Илье Эренбургу, Лидии Сейфуллиной и многим другим писателям, режиссерам К. С. Станиславскому, А. Я. Таирову, В. Э. Мейерхольду, художникам И. Э. Грабарю и П. П. Кончаловскому. Встречался Ло Гатто также с Буниным и другими русскими писателями-эмигрантами.

Все эти личные контакты немало помогли в его неустанной работе литературоведа, переводчика, университетского профессора, выростившего по крайней мере два поколения итальянских славистов. Еще в далеком 1920 году Ло Гатто вместе со своей будущей женой Зоей Воронковой основал журнал «Россия», который просуществовал до 1926 года, превратившись впоследствии в «Журнал славянских литератур». В этом журнале сотрудничали многие представители передовой итальянской культуры той поры, в их числе один из лидеров антифашистской интеллигенции Пьеро Гобетти — друг Антонио Грамши. В трудные времена фашизма изучение русской истории, языка, литературы, искусства давало некоторую возможность узнать, что происходит в Советском Союзе, следить за развитием советской литературы.

Более пятидесяти лет Этторе Ло Гатто переводит русских классиков — Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова и многих других писателей. Его перу принадлежит множество книг и статей — такие, как «История русской и советской литературы», «История России», «История русского театра», биография Пушкина «История одного поэта и его героя». Воспоминания о поездках в Советский Союз, о встречах с писателями — еще один весомый «кирпич» в том огромном здании научного исследования и популяризации русской и советской литературы, которое вот уже более полувека неутомимо строит в Италии Этторе Ло Гатто. Его новой книге посвящает большую рецензию газета «Унита», подчеркивая, что это произведение, подводящее итоги плодотворной работы исследователя более чем за полвека, вместе с тем — свидетельство успехов в целом, достигнутых в Италии в изучении русской литературы.



Испанский режиссер Алессандро Кане поставил на итальянском телевидении фильм о последних днях жизни великого испанского поэта Гарсии Лорки «Убийство Федерико Гарсии Лорки». Исполнитель главной роли актер Роберто Бизакко на вопрос корреспондента «Паэзе сера», какие чувства испытывал он, играя роль поэта, ответил: «Глубокое волнение от самого приближения к человеку, чья смерть воочию показала бесчеловечность и беспредельную жестокость фашистского режима».

В телефильм включены стихотворения Гарсии Лорки, исполняемые на языке оригинала, которые сопровождаются приглушенным синхронным переводом по-итальянски.

На снимке: исполнитель роли Федерико Гарсии Лорки — Роберто Бизакко.

(Газета «Унита»)

КОНГО

«НОВЫЙ РОМАНС»

Так называется книга Анри Лопеса, известного писателя и бывшего премьер-министра Республики Конго, вышедшая в камерунском издательстве КЛЕ. Это вторая книга писателя, первая — сборник рассказов «Племенные предрассудки»,— опубликованная тем же издательством, получила в 1972 году Большую премию Черной Африки.

«Новый романс» называют романом нравов современной Африки. Действие его происходит в некой африканской стране, полтора десятилетия назад завоевавшей независимость. В центре повествования — молодая женщина Вали и ее муж Нкама, футболист, развращенный успехом и почетом, любимец публики.

Все в жизни у Нкамы складывается легко и просто. Когда же его все-таки выгоняют с работы из банка за нерадивость, приятель находит ему новую должность: Нкама едет культурным советником в Бельгию, где продолжает вести прежний образ жизни. Недолгая его «культурная» деятельность заканчивается скандалом. И хотя, вернувшись на родину, он признается, что ничего не смыслит в политике, друзья вновь обеспечивают ему теплое местечко, он едет культурным советником в США.

Рядом с Нкамой в романе — его дружки и приятели, люди того же типа, что и он. По вечерам праздные бездельники собираются в ночном клубе на улице Редьярда Киплинга (название улицы у А. Лопеса также несет смысловую нагрузку). Хозяин клуба Мокавуи, покровительствующий веселой компании,— худший представитель африканцев, разбогатевший на чаевых за свои «мелкие» услуги колонизаторам. Колониальные власти всегда узнавали от него имена «крамольных вожаков» — и в 1943 году, когда начиналась всеобщая забастовка, и в 1957 году,

когда студенты готовились сказать свое «нет» во время референдума и обсуждали это в его клубе. Таковы Нкама и его окружение, изображенные писателем смело и ярко.

Вали, жена Нкамы, отвергает эту жизнь. В Бельгии, куда она приехала с Нкамой, Вали начинает учиться, слушает лекции по философии в Народном университете, много читает, знакомится с разными людьми, не похожими на приятелей ее мужа, друзьями ее становится бельгийская супружеская пара, оба профсоюзные деятели. Вали отказывается вернуться с мужем домой и решает с ним развестись. В письме на родину она пишет, что будет бороться с теми, «кто использует слабости народа в трудный период, объединяясь с бывшими господами». Она хочет доказать, что африканские женщины могут так же бороться, работать и учиться, как мужчины. Этой борьбе Вали собирается отныне посвятить свою жизнь, даже если придется попасть в тюрьму, даже если придется умереть.

Африканские критики отмечают, что А. Лопес мужественно разоблачает пороки современного мира и впервые в африканской литературе так ярко изображает бунт женщины против узаконенного традициями рабского ее положения. Вместе с тем в статье журнала «Африк литтерэр э артистик» писателя упрекают в том, что он сгустил краски. Критик задает автору вопросы: только ли порочными, безответственными и развращенными людьми, как Нкама и его друзья, «населен континент»? Почему только женщина протестует против псевдоценностей их мира? И почему только в Европе героиня осознает свое бесправное положение, «нет ли возможности прозреть в Африке»?

Задавая эти вопросы автору романа, критик тем не менее подчеркивает, что книгу Анри Лопеса можно причислить к лучшим произведениям африканской прозы 70-х годов.

КУБА

НОВЫЙ ФИЛЬМ МИГЕЛЯ ЛИТТИНА

Находящийся в политической эмиграции чилийский кинорежиссер Мигель Литтин — постановщик известных фильмов «Земля обетованная» и «Шакал из Науэльторо» — приехал на Кубу для подготовки съемок нового фильма. Это будет экранизация романа кубинского писателя Алехо Карпентьера «Средство от метода» (название его — ироническое искажение заглавия декартовского трактата «Рассуждения о методе» (1637), ибо герой романа, по словам автора, убежденный противник Декарта). Как заявил режиссер в своем интервью в Гаване, съемки этого совместного кубино-мексиканского фильма будут вестись также и во Франции. Разоблачая механизм диктаторской власти, фильм будет направлен против всех антинародных режимов, и в первую очередь против самого кровавого и страшного режима из всех ныне существующих — режима Пиночета.

«Восходящая звезда кубинского кино» — так пишет о молодой актрисе Дейси Гранадос кубинская пресса. На счету актрисы уже несколько фильмов. В частности, она снималась в популярной картине «Воспоминания об отсталости» режиссера Умберто Соласа.
На снимке: Дейси Гранадос.

(Журнал «Боэмия»)

Режиссер поделился также своими впечатлениями и опытом работы в Мексике, где он теперь живет. Мексику он назвал своей второй родиной — там он поставил «Рудники в Марусии», там предполагает работать и в будущем. Литтин подробно говорил о новом мексиканском кино, воздавая должное тем кинематографистам, «которые стремятся превратить кинопромышленность в орудие борьбы за интересы своего народа и своего континента».

В частности, Литтин рассказал о «Манифесте двенадцати». В этом документе самые видные мексиканские кинорежиссеры высказались за кино, «которое отвечало бы требованиям широкого большинства, требованиям народной борьбы в Латинской Америке и во всем третьем мире» и стремилось бы в своей творческой практике к поискам художественных форм, способных повести его по пути подлинно национальной и революционной кинематографии. Литтин сказал, что верит в успешное развитие мексиканского кино, в его достижения на континенте, где, к сожалению, еще нередко фашизму удается заставить замолчать культуру и искусство, как в Чили и в Боливии.

Сценарий своего будущего фильма, сказал Литтин, он писал в «подлинном и замечательном содружестве» с автором романа Карпентьером и уже завершил работу.

ПОЛЬША

АНТОЛОГИЯ РАБОЧЕЙ ПОЭЗИИ

В издательстве «Ксёнжка и ведза» готовится к печати «Антология современной рабочей поэзии», подготовленная Яном Щавеем. Книга насчитывает 800 страниц, в нее включены стихи ста поэтов — рабочих разных профессий.

«Сто рабочих-поэтов,—

как отмечает журнал «Новые польские книги»,— это подлинное открытие, потому что многие из авторов — истинные таланты, перед которыми открываются широкие перспективы».

«КНИГИ 1976 ГОДА»

Журнал «Нове ксёнжки», ежегодно, согласно установившейся традиции, публикует перечень книг, которые, по мнению редакции, были лучшими в минувшем году.

Последний перечень открывается книгой Ярослава Ивашкевича «Петербург» (см. «ИЛ» № 11, 1976 г.).

Как пишет Войцех Жукровский, «новая книга Ярослава Ивашкевича является для нас бесценным подарком, и я бываю действительно счастлив, когда вновь открываю для себя все ту же безупречность исполненной спокойствия прозы, написанной словно бы нехотя,— прозы образной, способной удержать ускользающие состояния души и быстротекущее время».

Высокую оценку дает В. Жукровский и новому поэтическому сборнику Веславы Шимборской «Большое число». «Ее стихи,— пишет он,— серьезны серьезностью подведения итогов. Она меланхолически посмеивается над собой и своим творчеством. Другие примериваются к пьедесталам, она же стушевывается».

Действие романа самого В. Жукровского «Пляж над Стиксом», тоже причисленного к лучшим произведениям года, происходит в Риме во время конгресса Европейского сообщества писателей. По отзывам критики, автор сумел запечатлеть в нем разносторонний и запоминающийся образ современного художественного мира.

О новой книге Станислава Лема «Насморк» пишет Анна Лабедска. В ней рассказывается о влиянии лекарств на человека — не только физическом, но и психическом. Критик восторженно оценивает книгу, называя ее романом-предупреждением, привлекающим внимание к нерациональному использованию научных открытий.

Збигнев Сафьян, автор многих сценариев (в том числе сценария к нашумевшему многосерийному телевизионному фильму «Ставка больше, чем жизнь», демонстрировавшемуся по советскому телевидению),— мастер острого сюжета. Его новая книга «Ничейная земля» рассказывает историю жестокой борьбы за власть между полковниками в период санации — борьбы, разыгравшейся в предвоенной Польше накануне гитлеровского нашествия. При всей своей сенсационности, отмечает Влодзимеж Мационг, книга глубоко психологична, характеры обрисованы в ней не одномерно, а во всей своей сложности, и написана она на высоком литературном уровне.

В числе лучших книг называются также репортажи Кшыштофа Конколевского «Документированные сказки»; рассказы Станислава Шеница о Юзефе Понятовском «Этот князь больше, чем король»; «Молодость Стефана Жеромского» Ежи Кондзели; «Человек, природа, цивилизация» Стефана Мычковского; «В подпольных типографиях Варшавы» Михала Воевудского, повествующая о борьбе польского народа против захватчиков.

Новый фильм известного польского режиссера Кшыштофа Занусси «Защитная окраска» рассказывает о среде ученых-лингвистов. Фильм ставит острые вопросы о том, кто является истинным ученым. Он рассказывает о молодом герое, который восстает против тех, для кого наука является не целью, а средством для благополучного существования. Фильм направлен против атмосферы равнодушия и инерции в некоторых научно-исследовательских центрах, где все идет на первый взгляд нормально, однако отсутствует истинное, творческое горение. Как отмечает в журнале «Фильм» Тадеуш Соболевский, картина глубоко психологична. Она показывает самых разных ученых: циничного доцента Якуба, нерешительного ассистента Ярека, который не знает, чью принять сторону, студента Конрада, восстающего против консерватизма и застоя в научной среде. По жанру этот фильм — комедия, но комедия не легковесная, а заставляющая зрителя задуматься над тем, что такое долг человека, что такое ответственность ученого.

На снимке: режиссер Кшыштоф Занусси.

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ

Более восьмидесяти лет тому назад румынский прозаик Дуилиу Замфиреску опубликовал роман «Жизнь в деревне», первый в целой серии книг, посвященных теме распада боярской семьи Комэнештяну. За ним последовал роман «Тэнасе Скатиу». А в конце минувшего года на румынские экраны вышел фильм, в основу которого легли оба романа. Оценивая работу создателей картины (сценарист Михня Георгиу, режиссер Д. Пица), старейшина румынских кинокритиков Д. И. Сукяну подчеркнул эстетическую ценность проделанного ими опыта — «вольного» обращения с текстом классических романов Замфиреску, которое на самом деле привело к подлинной верности оригиналу.

Фильм, носящий название «Тэнасе Скатиу», по

словам критика, не только отразил то, что хотел сказать в своих книгах писатель, но и выявил то, в чем он не хотел самому себе признаться — историческую обреченность любимого им патриархального боярства, неминуемость победы таких дельцов, представителей восходящего класса буржуазии, как Тэнасе Скатиу.

Удаче фильма в значительной мере способствовала игра известного актера В. Ребенчука.

США

ВУДИ ГАТРИ — ПЕВЕЦ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

В издательстве «Даттон энд компани» вышла книга талантливого американского певца Вуди Гатри «Крупицы судеб человеческих». Вудро Вильсон Гатри, или попросту Вуди Гатри,— это имя знакомо и дорого каждому простому американцу. Талантливый музыкант и поэт, Гатри стал продолжателем дела Джо Хилла; подобно ему Гатри сделал свое песенное искусство оружием политической борьбы американских трудящихся. «Вуди Гатри,— пишет в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» известный поэт Джеймс Дикки,— поистине лучший выразитель чаяний американского пролетариата за всю его историю».

Творчество Вуди Гатри оказало огромное влияние на развитие американского «фолксонга» (жанр народных песен). «Именно Гатри,— пишет Дж. Дикки,— впервые доказал, что подлинно национальная музыка американского народа — это дуэт гитары и губной гармоники, звук которых сливается со стуком вагонных колес и гудками паровозов». Характеризуя значение песенного творчества Гатри, Дж. Дикки утверждает, что «без Вуди не было бы такого значительного явления, как Боб Дилан». Можно также добавить, что Пит Сигер, Джоан Баэз и многие другие народные певцы Америки были учениками Гатри.

Книга «Крупицы судеб человеческих» вышла с большим опозданием — Вуди Гатри умер в 1967 году, не успев подготовить рукопись для печати. Она является продолжением его двухтомной автобиографии «Поезд мчится к славе» (вышедшей на русском языке в издательстве «Прогресс» в 1968 году) и, по словам Дж. Дикки, представляет собой «хронику буйной, веселой, полнокровной жизни американского простого люда».

«Крупицы судеб человеческих» рассказывают о путешествии, которое девятнадцатилетний Вуди Гатри совершил в начале 30-х годов по реке Рио-Гранде, о его путевых впечатлениях, о встречах со многими людьми и, конечно же, о песнях, услышанных или написанных им в то время. «Уитмен говорил, что ему удалось услышать биение сердца американской земли, познать все ее бесконечное разнообразие,— пишет в заключение Дж. Дикки.— Эти слова можно вспомнить и сейчас, читая увлекательную книгу Вуди Гатри».

«Художник Чарльз Келлер,— пишет американская газета «Дейли уорлд».— известен как убежденный антифашист и гуманист, человек ярко выраженных прогрессивных взглядов». Представляя своим читателям творчество Келлера, газета публикует целый разворот, воспроизводящий его работы, знакомит читателя с жизнеутверждающим искусством художника и рассказывает о его активной общественной деятельности.
На снимке: картина Ч. Келлера «Скрипач».

(Газета «Дейли уорлд»)

ФРАНЦУЗСКИЙ «НОВЫЙ РОМАН» НА АМЕРИКАНСКОЙ ПОЧВЕ

Известный американский романист Гор Видал (его последний роман «1876» стал бестселлером прошлого года) опубликовал в ежемесячнике «Нью-Йорк ревью оф букс» большую статью, в которой анализирует влияние французского «нового романа» на творчество молодых американских писателей.

«Новый роман», пишет Видал, уже может отметить свою двадцатилетнюю годовщину. Это много, учитывая, что речь идет о литературном движении. Однако если спросить у наших специалистов, что они знают об этом явлении, вряд ли можно получить удовлетворительный ответ. Америка познакомилась с идеями «новых романистов» благодаря трудам популярного в США французского ученого Ролана Барта, который оказал значительное влияние на формирование таких писателей, как, например, Дональд Бартельм. А последний заявил года два назад, что среди американских писателей наших дней стоит читать немногих — его, Джона Барта, Томаса Пинчона, Грейс Пейли, Уильяма Гэсса. Все они в большей или меньшей степени испытали влияние идей, которые в течение последних двадцати лет проникали в нашу страну.

Первая книга Бартельма «Вернитесь, доктор Калигари» содержит рассказы, написанные в начале 60-х годов, говорится в статье, то есть в то время, когда книги А. Роб-Грийе и Н. Саррот

стали переводиться на английский язык и выходить в США. Включенные в нее рассказы повествуют о каких-то случайных событиях, герои носят смешные имена, диалоги написаны в манере С. Беккета: «он сказал — она ответила». Затем последовали сборники «Белый снег», «Необычайные интриги, неестественные поступки», «Жизнь большого города». В новых рассказах было все — заголовки, которые разделяли текст на отдельные отрывки, длинные списки имен и названий, черные квадраты посреди белых страниц, огромные «куски» текста без единой точки. В 1972 году вышел сборник «Печаль», в 1974 — «Запретные удовольствия». Картинки все интереснее, их становится все больше, с иронией замечает Видал, а проза — все та же. «Любой писатель,— цитирует Видал Д. Бартельма,— в любой стране может сочинить красивую фразу. Я создаю неуклюжие фразы».

Почти двенадцать лет, продолжает Видал, я пытался осилить «Опьянение марихуаной» Джона Барта, но так и не смог прочитать до конца эту на удивление скучную книгу, хотя другие произведения Дж. Барта читаются сравнительно легко (Видал, очевидно, имеет в виду романы «Плывущая опера», 1956, и «Конец дороги», 1958,— *ред.*). С конца 60-х годов в творчество Дж. Барта проникает «новый роман», и это увлечение обусловило выход книги «Заблудившись в комнате смеха», а затем, в 1972 году, сборника «Химера». Джон Барт как писатель получил традиционное воспитание, пишет Видал, и увлечение его французским «новым романом» было поверхностным: он не знал и не понимал культуру, породившую это явление. Барт не обладает, по мнению Видала, особым литературным дарованием, его произведения страдают от недостатка энергии, замедленного темпа повествования. Не оглядываясь назад, не перечитывая уже написанного, Барт, используя прием «спонтанного письма», не замечает пустоты содержания своих последних книг.

Первый роман Томаса Пинчона «V» был опубликован в 1963 году. В чем-то он схож с произведениями Бартельма: те же смешные имена, те же бесконечные «он сказал — она ответила», те же рисунки в тексте. К счастью, Пинчон не настолько увлечен «французской болезнью», пишет Видал, как Бартельм или Дж. Барт. «Новому роману» он предпочитает собственную технику, собственный художественный мир. Можно с уверенностью сказать, что Т. Пинчон — наиболее талантливый романист из тех, кого, по словам Бартельма, «стоит читать сегодня». «Что же касается самого мистера Бартельма и других избранных им писателей,— заканчивает Видал,— то могу сказать, что после чтения этой сенсационной, но неинтересной прозы я впадаю в депрессию».

ТУНИС

ВОЗОБНОВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Возобновилось издание ежеквартального журнала «Кисас», приостановленное в 1974 году.

Как говорится в редакционной статье первого номера, вышедшего после двухгодичного перерыва, журнал, ранее выходивший в издательстве «Ад-дар ат-Тунисийя», будет издаваться «Клубом новеллы», объединяющим тунисских писателей. Главным редактором журнала «Кисас» стал известный литератор Мухаммед аль-Аруси аль-Матви.

В первых номерах журнала «Кисас» опубликованы рассказы современных тунисских писателей, статьи и исследования по истории тунисской новеллистики, материалы о культурной жизни страны.

ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯМ И УЧЕНЫМ

Журнал «Аль-Фикр» сообщает о присуждении очередных ежегодных премий Министерства культуры за литературную и научную деятельность.

Поощрительных премий за лучшие литературные произведения удостоены писатель Ахмед Мамо (сборник рассказов «Игра со стеклянными кубиками»), драматург аль-Мидани Бен Салех (пьеса «Землетрясение в Тель-Авиве»), поэт Джаафар Маджид (сборник стихов «Завтра взойдет солнце») и поэт Абдельмаджид Шерфи (книга стихов на французском языке «Грезы»).

Книга «Современная тунисская поэзия» Мухаммеда Салеха аль-Джабири и труд «Современная тунисская литература» Абд Зайяна ас-Саади получили премии за лучшие исследования по литературе.

За исследование и публикацию литературных памятников премий удостоены старейший писатель и исследователь фольклора Мухаммед аль-Марзуки (книга «Диван аль-Хакима») и два молодых литературоведа — Омар Бен Салим и аль-Хади аль-Матви (издание дивана старинного поэта аль-Гураба).

Издательству «Ад-Дар ат-тунисийя ли-н-нашр», выпустившему очерк о пирате XVI века «Даргут-райис», присуждена премия за лучшее оформление книги.

ИЗДАНИЕ АРАБСКОЙ КЛАССИКИ

В Тунисе большое внимание уделяется изданию произведений арабской классической литературы. Как сообщает иракский журнал «Аль-Аклям», недавно там вышел в трех томах диван знаменитого слепого арабского поэта-лирика Башшара Ибн Бурда, жившего в VIII веке. Одновременно был опубликован диван известного доисламского поэта Ан-Набиги аз Зубьяни (VI — начало VII века нашей эры).

Оба дивана подготовил к изданию известный тунисский ученый-филолог ныне покойный Ат-Тахир Бен Ашур.

ТУРЦИЯ

НАЗЫМ ХИКМЕТ НА ТУРЕЦКОЙ СЦЕНЕ

Два турецких театра открыли сезон постановкой спектаклей по произведениям Назыма Хикмета.

Режиссер и актер стамбульской труппы «Достлар» Генчо Эркал, пользующийся европейской известностью, создал спектакль для одного актера, в основу которого легло знаменитое стихотворение «Как Керем». Это стихотворение принадлежит к выдающимся произведениям мировой революционной поэзии. Строки его стали паролем для передовых людей Турции.

Ведь если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
так кто же здесь рассеет тьму?

Анкарский театр «Чагдаш сахне» осуществил постановку пьесы Назыма Хикмета «Иосиф и Менофис», в русском переводе известной под названием «Иосиф Прекрасный».

Оба спектакля пользуются большим успехом. «Их главная сила в поэтическом слове Хикмета,— писал критик стамбульского журнала «Миллиет санат дергиси».— Ими нельзя насытиться, они открывают перед зрителем целые миры».

В то же время полиция наложила арест на только что вышедший сборник стихов и статей Назыма Хикмета, которые публиковались в стамбульском журнале «Айдынлык» еще в 1920—1925 годах. Эти стихи и статьи, напечатанные старым арабским шрифтом, сейчас были впервые собраны и опубликованы на латинице Метином Илкином в издательстве «Ода».

Составителю и издателю предъявлено обвинение в «коммунистической пропаганде».

ФРАНЦИЯ

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ В СТРОЮ

«Партийная позиция» — так называется объемистый том, вышедший в «Эдисьон сосиаль», книга мемуаров Жоржа Коньо, ветерана французского коммунистического движения, сенатора, президента Института им. Мориса Тореза. Автор в живой литературной форме рассказывает о своем жизненном пути, начиная с детства и юности.

Жорж Коньо, сын крестьянина, упорным трудом пробился к высшему образованию, долгие годы учительствовал в различных городах Франции; еще в студенческие годы он стал коммунистом, с начала 30-х годов был генеральным секретарем прогрессивной международной организации «Интернационал работников просвещения»: в дни Народного фронта Коньо, член ЦК ФКП, был избран в парламент.

В течение долгих лет Жорж Коньо боролся и борется за демократизацию народного образования в стране; с его именем связано основание первого во Франции Народного университета и создание марксистского теоретического журнала «Пансэ», которым он руководит и поныне.

«Партийная позиция» — книга не только профессионального революционера, но и ученого, литератора, публициста. Автор на протяжении своей долгой боевой жизни побывал во многих странах, встречался со многими выдающимися людьми — в его мемуарах даны точно очерченные портреты Н. К. Крупской, Георгия Димитрова, Пальмиро Тольятти, Марселя Кашена, Габриеля Пери, Д. З. Мануильского. Филолог по образованию, автор работ о Гёте и Гейне, Жорж Коньо часто обращается к творчеству любимых им мастеров французской и мировой поэзии; он рассказывает об участии передовых писателей и поэтов в революционном и антифашистском движении, вспоминает в этой связи и Анатоля Франса, и Анри Барбюса, и Поля Элюара, и Луи Арагона, особенно часто и с любовью говорит о Ромене Роллане.

Последние главы книги посвящены годам второй мировой войны и французскому Сопротивлению (Коньо, заключенный гитлеровского концлагеря под Компьеном, возглавил побег большой группы узников и активно включился в подпольную антифашистскую борьбу). Второй том мемуаров, над которым работает автор, будет посвящен послевоенным годам.

Ныне Жоржу Коньо 75 лет. Вся его сознательная жизнь прошла в напряженной общественной деятельности под знаменем коммунизма, и автор мемуаров считает, что его долг — передать свой богатый жизненный опыт младшим поколениям.

Газета «Юманите» пишет о книге «Партийная позиция»: «Перед нами жизнеутверждающая книга, она побуждает к размышлениям и действию. Перед нами человек, который в 75 лет может бросить на свое прошлое проницательный и спокойный взгляд. Это прошлое касается нас всех, оно крепко связано с более чем полувековой историей нашей партии и рабочего, демократического и национального движения во Франции. Это была эпоха, насыщенная большими потрясениями и глубоко драматическими событиями. Она сформировала людей и потребовала от них выполнения титанических задач. В решающем и главном они выполнили миссию, возложенную на них историей».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Тяжелая утрата постигла чешскую литературу — 27 января 1977 года скончался выдающийся писатель, поэт и драматург, народный писатель ЧССР Йозеф Томан.

Оценивая заслуги писате-

ля в развитии национальной социалистической литературы, газета «Руде право» пишет: «Своей высочайшей словесной культурой Йозеф Томан во многом способствовал повышению художественного уровня чешской прозы. Его неповторимое мастерство, его творчество, насыщенное глубокими гуманистическими и социальными идеалами, навсегда останется ценнейшим вкладом в сокровищницу чешской письменности».

Газета публикует также выдержки из письма Генерального секретаря ЦК КПЧ, президента ЧССР Густава Гусака, направленного Министерству культуры Чешской Социалистической Республики, Союзу чешских писателей и вдове умершего — заслуженной писательнице республики Мирославе Томановой. Президент выражает в нем глубокую скорбь по поводу кончины выдающегося писателя, редкостного человека и принципиального коммуниста, целиком преданного своей социалистической родине и своему народу.

«Его обращенное к людям обширное и многогранное творчество, выраженное идейно ясным и художественно совершенным языком,— говорится в письме президента,— навсегда останется с нами как живая и постоянная ценность нашей культуры».

ВЫПУСК СЕРИИ «КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»

В издательстве «Одеон» вышел в свет 25-й, последний том серии «Классики советской прозы». Названная «Очарованный странник», эта книга содержит новеллы и путевые очерки Михаила Пришвина.

Серия «Классики советской прозы», начатая в 1972 году романом Леонида Леонова «Русский лес», знакомит читателей с произведениями крупнейших советских писателей.

Издатели стремились представить всех выдающихся советских прозаиков и по возможности все тематическое и жанровое богатство советской прозы с 1917 по 1960 год. Каждый том сопровождается обширной статьей об авторе и его творческом пути.

Серия в целом — не только надежный путеводитель по истории советской классики, но и существенный вклад в развитие культурных связей между народами СССР и Чехословакии.

Продолжая начатую традицию, издательство начинает работу над новой серией — библиотекой «Проза народов СССР», в которую войдут самые значительные произведения многонациональной советской литературы.

«ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В Праге, в издательстве Академии наук ЧССР, вышла объемистая книга: второй том «Истории французской литературы XIX—XX вв.», большого коллективного труда. Первый том этого издания, появившийся в 1966 году, получил в свое время весьма положительную оценку в печати ЧССР и в научных журналах ряда других стран, в частности в «Известиях Академии наук СССР». Новый, второй том охватывает период с 1870 по 1930 год, в нем освещено творчество многих крупных французских писателей — отдельные главы посвящены Золя, Мопассану, Франсу, Роллану, Барбюсу, Прусту; подробно освещено также творчество видных мастеров слова, до сих пор еще мало изученных марксистской критикой, — П. Клоделя, А. Жарри, Ж. Бернаноса, П. Валери и других.

В выпущенном издании учтены достижения французской марксистской критики, опыт ученых СССР и других социалистических стран. Вместе с тем чешские и словацкие филологи внесли собственный вклад в изучение новой французской литературы.

Более семидесяти лет не сходит со сцены чехословацких театров драма-сказка «Фонарь» выдающегося чешского писателя Алоиса Ирасека. Острая социальная тема в сочетании со сказочными мотивами народных поверий и легенд придает пьесе очарование вечной молодости и свежести. В связи с исполнившимся в августе прошлого года 125-летием со дня рождения Ирасека драматическая труппа Национального театра открыла этой популярнейшей из его пьес сезон 1976/77 года.

На снимке: Регина Разлова в роли Княгини и Мирослав Зоунар в роли Мельника.

(Газета «Руде право»)

На снимке: картина Ханса Тольстена «Домой».

(Газета «Ню даг»)

ШВЕЦИЯ

ВЫСТАВКА ХАНСА ТОЛЬСТЕНА

В Стокгольме состоялась выставка произведений художника Ханса Тольстена, родившегося и поныне живущего в небольшом промышленном городе Бурленге. После окончания школы Тольстен поступил рабочим на бумажную фабрику, был лесосплавщиком на реке Дальэльвен. Он приобрел богатый трудовой опыт, но постоянным его увлечением оставалась живопись. Ей он отдавал все свое свободное время.

Картины молодого художника привлекли внимание на городских выставках, и Тольстен после нескольких лет учебы целиком посвящает себя искусству. Темой его произведений с самого начала творческого пути стали жизнь и трудовые будни рабочего класса, который он так хорошо знает и по личному опыту, и по наблюдениям в родном Бурленге. Любопытно, что начал Тольстен с увлечения абстрактным искусством, но «детская болезнь» прошла, и он принадлежит к художникам-реалистам. «Подобно всем пролетарским художникам я хочу изображать то, что сыграло решающую роль в становлении моего мировоззрения». — говорит Тольстен, подчеркивая, что в первую очередь он имеет в виду труд, бесправное положение трудящихся на капиталистических предприятиях.

Главное достоинство творчества Тольстена, отмечает критик газеты «Ню даг»,— оптимизм его произведений, вера в силу трудящихся.

Характерна в этом смысле его работа, названная «Домой».

Оптимизм пронизывает все произведения художника, будь то ландшафты родного края или картины на темы заводской жизни, будь то акварель, графика или масло.

ЯПОНИЯ

УСПЕХ ВЫСТАВКИ КАРТИН РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

В Токио, в специализированном зале крупнейшего универмага «Мицукоси», состоялась вторая выставка шедевров русской и советской живописи. На выставке было представлено по одной картине 25 художников. Среди них японская критика выделяет картины Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Николая Ромадина.

Наибольший успех выпал на долю жемчужины русского реалистического искусства XIX века — «Неизвестной» И. Крамского. Миэко Сасаки в газете «Дэйли Емиури» отмечает, что Япония — первая страна, куда Советский Союз направил эту картину для показа широкой публике.

Как сообщает рецензент, «картина производит на посетителей неизгладимое впечатление, и переводчик назвал ее не «Неизвестная», а «Незабвенная».

◆

Авторы этого номера

ТАДЕУШ НОВАК — TADEUSZ NOWAK (род. в 1930 г.).

Польский поэт и прозаик, лауреат Государственной премии ПНР и других литературных премий; автор нескольких книг стихов, повестей, романов. Советским читателям Тадеуш Новак знаком по роману «Черти» («Иностранная литература» № 3—4, 1975), его стихи публиковались в сборнике «Современная польская поэзия» (1971), в альманахе «Поэзия» (выпуск 13-й, 1974), а также в периодических изданиях.

Предлагаемые читателю стихи взяты из книг «Белее, чем снег» («Bielsze nad snieg», 1973), «Избранные стихи» («Wybor wierszy», 1973), «Псалмы» («Psalmy». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1974).

Иллюстрации взяты из книги «Псалмы».

ЕЖИ ХАРАСЫМОВИЧ — JERZY HARASYMOWICZ (род. в 1933 г.).

Польский поэт. Дебютировал стихами в периодике в 1953 г. Начиная с книги стихов «Чудеса» («Cuda», 1956), опубликовал более двадцати поэтических книг. Лауреат премии Министра культуры ПНР за поэтическое творчество.

На русском языке его стихи публиковались в сборнике «Современная польская поэзия» (1971) и в альманахе «Поэзия» (выпуск 13-й, 1974), а также в периодической печати.

Предлагаемые в этом номере стихи взяты из книг: «Миф о святом Ежи» («Mit o swigtym Jerzy», 1960), «Травник» («Zielnik», 1972), «Польская веранда» («Polska weranda», 1973), «Избранные стихи» («Wybor wierszy». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1975).

Иллюстрации — из книги «Миф о святом Ежи» (Kraków, Wydawnictwo Literackie). Художник — польский график Даниэль Мруз.

Подробнее об этих поэтах — во вступлении Н. Астафьевой.

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

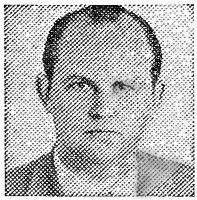
Советская поэтесса, переводчик с польского. Автор книг стихов «Девчата» (1959), «Гордость» (1961), «Кумачовый платок» (1965), «В ритме природы» (1977). В ПНР вышла книга стихов Н. Астафьевой, переведенных на польский язык. «Иностранная литература» печатала ее переводы из Х. Посвятовской, А. Свирщиньской, К. Иллакович, Е. Липской, В. Слободника.

ПЕНТТИ ХААНПЯЯ — PENTTI HAANPÄÄ (1905—1955).

Финский писатель, один из выдающихся мастеров финской прозы. (См. вступление Ю. Александрова.)

Многие произведения П. Хаанпяя переведены на русский язык: романы «Заколдованный круг», «Хозяева и тени хозяев», «Сапоги девяти солдат», «Мука», сборник повестей и рассказов.

Публикуемые рассказы входят в первый том собрания сочинений П. Хаанпяя, вышедший в Финляндии в 1956 году.



АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский переводчик финской прозы. В его переводах печатались рассказы П. Хаанпяя, М. Ларни и др.

ХОРХЕ КАРРЕРА АНДРАДЕ — JORGE CARRERA ANDRADE (род. в 1903 г.).

Эквадорский поэт. Автор стихотворных книг: «Неизреченный пруд» («Estanque inefable», 1922), «Гирлянда безмолвия» («La guirnalda del silencio», 1926), «Вести с моря и суши» («Boletines de mar y tierra», 1930), «Время труда» («El tiempo manual», 1935), «Человек планеты» («Hombre Planetario», 1963). Х. Каррере Андраде принадлежат сборники путевых очерков, литературных эссе, труды по истории Эквадора.

Подборка стихотворений поэта была опубликована в «Иностранной литературе» (№ 2, 1965).

(Подробнее о нем см. вступление к стихам С. Гончаренко.)

Публикуемые стихи взяты из книг: «Место происхождения» («Lugar de origen». Quito, 1951), «Поэтические вехи» («Edades poéticas», Quito, 1958), «Избранные стихи» («Selected poems», New York, 1972).

ГЕРМАН ГЕССЕ — HERMANN HESSE (1877—1962).

Немецко-швейцарский писатель; лауреат Нобелевской и других литературных премий.

Убежденный противник войны, в 1912 г. он уехал из кайзеровской Германии и поселился в маленьком швейцарском городке, где прожил всю жизнь. После второй мировой войны выступал за укрепление мира, против возрождения реваншизма и милитаризма в Западной Германии.

Признание и известность принес Гессе роман «Петер Каменцинд» («Peter Camenzind», 1904), посвященный проблеме самобытности художника в буржуазном мире. Эта проблема, наряду с другими, играла важную роль и в дальнейшем творчестве писателя, особенно в романе-утопии «Игра в бисер» — итоге его нравственных исканий.

Первые переводы произведений Г. Гессе на русский язык появились еще до первой мировой войны. В 1961 г. вышел русский перевод повести «Под колесом», в 1969 г.— романа «Игра в бисер».

В этом номере мы начинаем публикацию романа Г. Гессе «Степной Волк» («Der Steppenwolf», 1927; подробнее о нем см. в послесловии С. Апта). Этот роман войдет в сборник избранных произведений Г. Гессе, выпускаемый издательством «Художественная литература».

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский переводчик, литературовед. В его переводах выходили произведения Эсхила, Платона, Аристофана, Томаса Манна, Кафки, Брехта, Фейхтвангера, Макса Фриша. Автор книги о Томасе Манне и статей по античной и немецкой литературе.

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС— HEINZ PLAVIUS (род. в 1929 г.).

Немецкий критик, литературовед (ГДР). Автор книги «Между протестом и приспособлением» («Zwieschen Protest und Anpassung», 1971), статей, публиковавшихся в литературных и философских журналах, и ряда предисловий к книгам немецких писателей. Подготовлена к изданию в 1977 г. книга Г. Плавиуса «Критерии и критика» («Kriterien und Kritik»).

Статья о прозе ГДР семидесятых годов получена редакцией в рукописи.

НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ (род. в 1920 г.).

Советский писатель, кинодраматург, автор многих повестей, сборников рассказов, очер-

ков, киносценариев. В последние годы вышли книги: «Переулки моего детства» (1971), «Ты будешь жить» (1974), «В апрельском лесу» (1974), «Пик удачи» (1975) и другие. По сценариям Ю. Нагибина поставлено около тридцати художественных фильмов, в том числе «Председатель», «Бабье царство», «Дерсу Узала» (последний фильм удостоен высшей кинематографической награды США — премии «Оскар»). В «Иностранной литературе» публиковались его статьи, эссе, рецензии.

Произведения Ю. Нагибина переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.

■

ТАМАРА ХОВИ — TAMARA HOVEY

Американская писательница, сценарист. Окончила Калифорнийский университет в в Лос-Анджелесе. Много лет работала на киностудиях Голливуда, по ее сценариям поставлено несколько музыкальных комедий и других художественных фильмов, в том числе фильмы «Таманго» и «Полуночный поцелуй», демонстрировавшиеся в Советском Союзе. Когда США захлестнула волна маккартизма, писательница вынуждена была покинуть родину; с тех пор она живет в Париже.

Нашим читателям имя Тамары Хови знакомо по повести «Стремления маленькой мошки» («ИЛ» № 11, 12, 1969).

Мы публикуем отрывки из ее книги «Джон Рид — свидетель революции» («John Reed: Witness to Revolution». New York, Crown Publishers, 1975).

Работая над этой книгой, Тамара Хови использовала неопубликованные письма Джона Рида к ее отцу, Карлу Хови, который был редактором журнала «Метрополитен» и другом Джона Рида. Карл Хови — автор посвященной Д. Риду книги «Львенок», известной советским читателям.

■

ДАНГУЛОВ САВВА АРТЕМЬЕВИЧ (род. в 1912 г.).

Советский писатель-прозаик и драматург, главный редактор журнала «Советская литература». Автор романов «Дипломаты» (1966) и «Кузнецкий мост» (1971), повести в рассказах «Тропа» (1960), книги повестей и рассказов «Учитель словесности» (1974), документальной книги поисков «Пятнадцать дорог на Эгль» (1975), пьес «Признание» (1970) и «Неподсудный Горчаков» (1973).

Книги С. Дангулова переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.

■

ЖАК ПРЕВЕР — JAQUES PREVERT (род. в 1900 г.).

Французский поэт. Автор многих сборников стихов, киносценариев, пьес. Многие его стихи, положенные на музыку, стали популярными песнями. Для творчества Превера характерна любовь к гротеску, каламбуру, игра со словом, обращение к стихам в прозе (например, стихотворение из подборки «Жертва вежливости»). Сатирическая линия неизменно присутствует в его творчестве, начиная с первой книги стихов.

Стихи Превера неоднократно переводились на русский язык, выходили отдельными сборниками, печатались в «Иностранной литературе».

Предлагаемые вниманию читателя стихи взяты из сборников «Слова» («Paroles», 1946), «Зрелище» («Spectacle», 1951), «Дождь и ведро» («La pluie et le beau temps», 1955), и «Ворох хлама» («Fatras», 1966).

■

КЛАРИСС АНДРИАМАМПАНДРИ РАЦИФАНДРИХАМАНАНА.

Малагасийская писательница, председатель Комитета малагасийских писателей, член-корреспондент Малагасийской Академии наук. Начала печататься в 1950 г. Ее перу принадлежат стихи, поэмы, романы, рассказы, пьесы. Творчество ее много раз отмечалось литературными премиями.

В Советском Союзе стихи и рассказы Клариссе Рацифандрихамананы публиковались в периодической печати.

Рассказ «Кто я?» печатается по рукописи.

■

ПЬЕР ГАМАРРА — PIERRE GAMARRA (род. в 1919 г.).

Французский писатель. Автор многих романов, сборников рассказов, репортажей, очерков.

На русский язык переведены его романы «Дети нищеты», «Розали Брусс», «Школьный учитель», «Пиренейская рапсодия» («ИЛ» № 7, 1964), несколько сборников рассказов.

Статья «О женщинах Алжира» перепечатывается из журнала «Эроп» (№ 7—8, 1976).

■

КАРЛО БЕНЕДЕТТИ — CARLO BENEDETTI (род. в 1940 г.).

Итальянский журналист, корреспондент газеты «Унита» в Советском Союзе.

Статья «Об одной литературной сенсации» получена в рукописи.

■

НЯМОСОРЫН ЦУЛТЭМ (род. в 1924 г.).

Монгольский художник, народный художник МНР, лауреат Государственной премии МНР. Родился в Архангайском аймаке в семье скотовода. Трудовую жизнь начал в 1940 г.— сначала учеником, а затем художником Государственного Центрального театра. В 1945 г. был направлен на учебу в СССР, в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова.

Основным жанром в творчестве Нямосорына Цултэма является пейзаж. Его кисти принадлежит много картин — пейзажей монгольской природы: «Юрты в степи», «Белые тучи», «Тихий вечер», «Озеро», «Белая долина», «У реки», «Степная дорога» и других, а также портретов, акварелей.

В 1976 г. в Москве состоялась выставка работ художника.

■

АЛЕКС ЛА ГУМА — ALEX LA GUMA (род. в 1925 г.).

Южноафриканский писатель, лауреат литературной премии «Лотос». Живет в эмиграции.

Многие произведения А. Ла Гумы переведены на русский язык. В «Иностранной литературе» напечатаны повести «И нитка, втрое скрученная» (№ 12, 1965), «В конце сезона туманов» (№ 12, 1972) роман «Каменная страна» (№ 11, 1969). На русский переведена также повесть «Скитания в ночи».

Статья «В ожидании нового романа» получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва. Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/II 1977 г. А 10412. Подписано к печати 11/III 1977 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. Уч.-изд. л. 27,46.

Тираж 600.000 экз. (1-й завод: 1 — 350.000 экз.). Зак. 495.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ковровщицы

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394